

МЭРИ
ШЕЛЛИ

ФОЛКНЕР

Перевод
Юлии Змеевой

Фолкнер
Мэри Шелли

Аннотация
Мэри Шелли. Фолкнер
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII
Глава XIX
Глава XX

Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI. Рассказ Фолкнера
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX
Глава XXXI
Глава XXXII
Глава XXXIII
Глава XXXIV
Глава XXXV
Глава XXXVI
Глава XXXVII
Глава XXXVIII
Глава XXXIX
Глава XL
Глава XLI
Глава XLII
Глава XLIII
Глава XLIV
Глава XLV
Глава XLVI

Глава XLVII
Глава XLVIII
Глава XLIX
Глава L
Глава LI
Глава LII
Истина, или Воспитание сердца. (Любовь Сумм)

Аннотация

Совершив роковую ошибку, капитан кавалерии Руперт Фолкнер терзается виной и теряет волю к жизни — но обретает её вновь, когда встречает на деревенском кладбище оплакивающую родителей шестилетнюю Элизабет. Внутренняя сила, смирение и доброта девочки так впечатляют Фолкнера, что он удочеряет сироту и отныне живет ради неё. Спустя годы Элизабет проникается симпатией к юному аристократу Джерарду Невиллу, которого — как и её опекуна — преследуют призраки прошлого. Тайна, связывающая судьбы двух мужчин, неизбежно будет раскрыта, а молодой женщине придётся сделать страшный выбор и решить, на чьей она стороне.

Написанный на заре Викторианской эпохи роман Мэри Шелли о преступлении и наказании, искуплении и прощении продолжает серию «Переводы Яндекс Книг» — совместный проект с «Подписными изданиями» и «Мастерской Брусникина».

Мэри Шелли Фолкнер

Перевод с английского *Юлии Змеевой*

Директор по контенту Яндекс Книг: *Юлия Мишкуц*
Главный редактор оригинальных проектов Яндекс Книг: *Ксения Грициенко*
Ответственный редактор: *Елена Васильева*
Менеджер проекта: *Дарья Виноградова*
Продюсер аудио: *Елизавета Никишина*

Литературный редактор: *Дарья Ивановская, Любовь Сумм*
Корректор: *Юлия Исакова*

Производство аудио: *Вокс Рекордс*

Обложка: *Наташа Агапова, Наташа Васильева*

В оформлении обложки использован фрагмент иллюстрации «Парижский костюм» анонимного художника к Journal des Dames et des Modes 1805 года (Рейксмюсеум, Нидерланды)

© Ю. Змеева, перевод, 2025
© Л. Сумм, послесловие, 2025
© Яндекс Книги, 2025
© Подписные издания, 2025

* * *

И в память об истории печальной
Алтарь воздвигнут был и дивный храм;
Ступени шли наверх от цветника,
А над калиткой красовалась там
Резная надпись «Верность на века».

***Перси Биши Шелли*[1]**

[1] Примечания: 1

Цитаты из стихотворений приведены в переводе Ю. Змеевой, если не указано иное. — *Прим. ред.*

Глава I

Первая сцена этой истории развернулась в деревушке на южном побережье Корнуолла. Треби (так мы нарекли деревушку, чье истинное название по ряду причин раскрывать не станем) представляла собой скорее маленький поселок, чем настоящую деревню, хотя были в ней два-три типичных для морских курортов дома, чьи ситцевые занавески и тонкий слой зеленой краски сулили удобства «меблированных комнат» немногочисленным купальщикам, которые, прослышав о дешевизне, уединенности и красоте этого места, перебирались сюда из соседних городов.

Этот уголок Корнуолла отличался неповторимой утонченностью, характерной, как известно всякому англичанину, для «райских девонских мест»[2]. Живые изгороди близ Треби, подобные тем, что окружают Долиш и Торки, благоухали

---

[2] Примечания: 2

Здесь и далее в кавычках у автора — цитаты из произведений английской литературы, которые в ее время воспринимались как расхожие выражения. В данном случае — отсылка к поэме Уильяма Вордсворта «Саймон Ли» (у Вордсворта — «средь райских кардиганских мест»). — *Здесь и далее примеч. пер.*

тысячами цветов; Флора раскрасила окрестные поля всеми своими красками; воздух был мягок и бархатист; уютная живописная бухта, ее красные утесы и изумрудный покров, тянущийся до самой линии прилива, — все здесь полнилось торжественностью и возвышало дух. Домики на берегу сулили отдохновение, а природа нарядила их пышнее самых богатых вилл в не столь благодатных краях.

Почти никто не знал об этом уголке, однако все, кому довелось здесь побывать, уже не променяли бы Треби с ее уединенной красотой на более популярные курорты. Деревушка, укрытая скалами с трех сторон, приютилась в центре маленькой бухты. За ней утес обрывался и образовывал неглубокое ущелье, по дну которого тек прозрачный ручей, а на берегах росли фруктовые сады — основной источник дохода для местных жителей. Каменные склоны поросли густым косматым кустарником и пышной зеленью, а выше темнел лес, и не было «зубца, устоя, угла иль выступа»[3], откуда не открывался бы вид на настоящее украшение корнуоллского берега — безбрежное благоухающее поле цветов. Как мы уже упомя-

[3] Примечания: 3

Уильям Шекспир «Макбет» (пер. М. Л. Лозинского). Выражение означает «удобный наблюдательный пункт».

нули, деревушка находилась в глубине бухты; к востоку от нее раскинулся широкий полукруглый мыс, извилистая граница воды и суши, а к западу вид загораживал небольшой скалистый выступ — главная достопримечательность Треби. Невысокий утес, которому бухта была обязана своей живописной красотой, увенчивала деревенская церковь с изящным шпилем.

Нет более милого сердцу англичанина прибежища, чем сельское кладбище — символ отдохновения от городских и мирских забот. В Треби церковный дворик был особенно хорош ввиду своей удаленности от деревушки и расположения на краю утеса с видом на бескрайний океан, пески и саму деревню с ее цветниками, фруктовыми садами и жизнерадостными пестрыми лугами. От церкви к песчаному берегу и пляжу вел неровный и крутой, но все же доступный спуск; деревню от церкви отделяло расстояние чуть больше полумили, однако никакой транспорт не мог там проехать, разве что по верхней дороге, повторяющей береговую линию; длина объездного пути составляла две мили. Само строение, простое и кустарное и оттого еще более живописное, издалека виделось укрытым в тени соседней рощи. Поблизости не было ни жилых

домов, ни хозяйственных строений. Кладбище занимало территорию в два акра; с трех сторон его окружал белый частокол, с четвертой высилась стена, густо увитая плющом; к стене и частоколу вплотную подступал лес, и только на утесе его не было. Шелест крон, шепот волн, редкие вскрики водоплавающих птиц — эти звуки не нарушали, а скорее усиливали царившую здесь атмосферу покоя и уединения.

По воскресеньям на службу съезжались обитатели нескольких близлежащих деревушек. Жители Треби обычно шли в церковь пешком по берегу и поднимались по камням; легким объездным путем пользовались лишь старые и немощные. В другие дни недели на утесе всегда было тихо; покой священных стен лишь изредка нарушался визитом счастливых родителей, явившихся крестить новорожденного; жениха с невестой, радостно спешивших вкусить все прелести и тяготы супружеской жизни; или скорбящих, провожавших родственника ли, друга ли в последний путь.

Беднякам не свойственна сентиментальность. Лишь в воскресенье после вечерней службы одинокая мать порой задерживалась у свежей могилки умершего ребенка или деревенские

старики, сбившись в круг у незатейливых надгробий, вспоминали проделки товарищей своей юности, которым нынешнее измельчавшее поколение, по их словам, в подметки не годилось. В другие дни никто не навещал могилы и не бродил по кладбищу, за исключением ребенка, рано вкусившего горя, но в силу незрелости ума еще не способного до конца осмыслить причину своих слез. Незаметно для всех и в полном одиночестве маленькая девочка по вечерам проделывала путь от деревни до утеса по берегу, легкими шажками взбиралась на не такой уж высокий утес и, отворив белую калитку, ведущую к кладбищу, удалялась в уголок, где в тени подступающих деревьев скрывались две могилы. Из них лишь одна была помечена простым надгробием с указанием имени того, чье тело разлагалось под землей, — Эдвин Рэби; однако все внимание девочки было приковано к другой, соседней могиле, не удостоившейся даже могильного камня, ибо в этой безымянной могиле лежало тело ее матери.

У поросшего травой бугорка девочка садилась, болтала сама с собой и играла до тех пор, пока сгущающиеся сумерки не понуждали вернуться домой; тогда она опускалась на колени, произносила молитву и, пожелав матери спокойной ночи,

покидала место, которое в ее уме было неразрывно связано с той, чью ласку и любовь она помнила и надеялась однажды снова обрести. Случись кому-нибудь обратить внимание на маленькую сиротку, ее внешность, несомненно, показалась бы ему весьма и весьма любопытной. В ее одежде сохранились некоторые приметы благородного сословия, но при этом она не носила чулок, а маленькие пальчики выглядывали из прорех заношенных до дыр ботинок. Соломенная шляпка с выцветшей голубой лентой потемнела от солнца и соленых морских брызг. Сама девочка, встреть мы ее не на кладбище, а в любом другом месте, безусловно, привлекла бы больше внимания, чем ее несуразный наряд. Лицо ее было, что называется, ангельским: на нем читалась непорочность, нежность и, если можно так выразиться, печальная безмятежность, что чаще встречается у детей, чем у взрослых. Золотисто-каштановые волосы разделял пробор, а лоб был высок и светел, как ясный день; глубоко посаженные серьезные глаза смотрели задумчиво и ласково; кожа была чиста, без единого пятнышка, не считая расцветающих на щеках роз; на висках прослеживались все жилки и можно было почти отчетливо увидеть, как в них течет пурпурная кровь; ее губы изящно

изгибались, а сосредоточенное выражение лица казалось одновременно ласковым и умоляющим, но, когда она улыбалась, будто солнце выходило из-за туч и согревало окружающих теплыми незамутненными лучами. Фигура девочки оставалась по-детски пухлой, однако миниатюрные ладони, стопы и тонкая талия не позволяли усомниться, что формы ее в зрелости станут безупречными. Ей было около шести лет: она рано познала неприветливость и жестокость мира, оставшись сиротой без единого друга и без гроша за душой.

Почти двумя годами ранее в Треби с женой и маленькой дочерью прибыл джентльмен и поселился в одном из ранее упомянутых нами домов, где за умеренную плату сдавались меблированные комнаты. Причина их приезда была очевидна: муж, мистер Рэби, умирал от чахотки. Семья прибыла в начале сентября, чтобы укрыться на зиму в здешнем мягком климате. Однако при взгляде на мистера Рэби становилось ясно, что он вряд ли доживет до зимы. Он исхудал и стал похож на тень, а лихорадочный румянец на щеках, блеск глаз и слабость в каждом жесте свидетельствовали о том, что болезнь одерживала верх. Вопреки всем прогнозам он не умер; шли недели, месяцы, а он все здравствовал. Ему ста-

новилось то лучше, то хуже, и вот прошла зима, выдавшаяся в том году необыкновенно теплой. Но задули весенние восточные ветра, и состояние мистера Рэби заметно ухудшилось. Его прогулки на солнце становились все короче; вскоре он вовсе перестал гулять и лишь сидел в саду, потом перестал выходить из комнаты и наконец слег. В первую неделю дождливого и холодного мая он скончался.

Из-за необычайной нежности, связывавшей супругов, вдова Рэби пробудила сочувствие даже у деревенских жителей. Супруги были молоды, вдова отличалась редкой красотой, но еще красивее была дочь, девочка, с которой мы уже успели познакомиться. Росшая под присмотром матери и окруженная ее заботой, она вызывала восхищение и интерес своей безупречной, хоть и детской миловидностью. Всем было любопытно, как поступит потерявшая мужа дама, а она сама, несчастная душа, по-видимому, не представляла, что ей делать дальше, и целыми днями сидела и наблюдала с видом невыразимой безысходности за играми девочки, пока та, заметив материнскую печаль, не бросала свои забавы и не кидалась обнимать, и целовать, и уговаривать улыбнуться. При этом из глаз вдовы начинали катиться слезы,

и испуганный ребенок вторил им и тоже начинал плакать и причитать.

Но какие бы печали и горести ни тяготили несчастную вдову, вскоре всем, кроме нее самой, стало очевидно, что жизненное пламя в ней еле теплится. Она ухаживала за мужем с неустанным усердием и вдобавок к физическому переутомлению страдала душевно; причиной этих страданий отчасти были горе и тревога, а отчасти ее собственная милосердная натура. Мистер Рэби знал, что умирает, и пытался примирить супругу со скорой утратой. Но его слова — слова человека горячо любящего и чрезвычайно набожного, — казалось, лишь убеждали ее скорее последовать за ним и разрывали последние нити, связывавшие ее с землей. Когда он умер, всё в мире, кроме ребенка, перестало ее радовать. Пока отец девочки торжественными речами пытался зародить в сердце супруги смирение и надежду на воссоединение в лучшем мире, малышка сидела на коленях матери или на маленькой табуреточке у ее ног и снизу вверх смотрела на него; на ангельском личике читалась смесь недоумения и страха, а заслышав отдельные слова, казавшиеся ей слишком жестокими и пугающими, она бросалась в объятия

отца и, обнимая его за шею, сквозь рыдания и всхлипы восклицала: «Не оставляй нас, папочка! Ты должен быть с нами, не уходи!»

Во всех странах, кроме нашей, чахотку считают заразным заболеванием, да и здесь это, увы, часто подтверждается. Находясь в тесном контакте с больным, миссис Рэби вдохнула семена недуга, а горе вкупе с ее хрупкой нервной конституцией ускорило течение болезни. Все это видели, кроме самой страдалицы. Ей же казалось, что недомогание обусловлено чрезмерной усталостью и скорбью и отдых вскоре восстановит ее силы; день ото дня ее плоть истончалась, убыстрялось течение крови по жилам, но больная повторяла: «Завтра мне станет лучше». В Треби ей не к кому было обратиться за советом и помощью; она была не из тех, кто водит дружбу с кем придется и доверяется всякому встречному. Она была ласкова, учтива и обходительна, но ее утонченный ум боялся открывать свои глубокие раны людям грубым и бесчувственным.

После смерти мужа она написала несколько писем и самостоятельно отнесла их на почту, нарочно отправившись с этой целью за три мили в ближайший городок, где имелось почтовое отделение. На одно письмо пришел ответ, но

он лишь причинил ей боль, вызвал чрезмерное нервное возбуждение и усилил тревожные симптомы. Иногда она заговаривала о том, чтобы уехать из Треби, но откладывала отъезд до тех пор, пока ей не полегчает; любому было ясно, что этого никогда не случится, но никто, впрочем, не подозревал, насколько скоро наступит конец.

Однажды утром, через четыре месяца после смерти мужа, вдова Рэби вызвала женщину, которая сдавала ей жилье; она улыбалась, на щеках горели два ярких розовых пятна, но лоб был мертвенно-бледен; в самом выражении восторга на ее лице было что-то страшное, но она всего этого не понимала. Она произнесла:

— В газете, которую вы принесли, хорошие для меня новости, миссис Бейкер. В Англию вернулась моя добрая подруга — я-то думала, она все еще на континенте. Я ей напишу. Вы не попросите свою дочь погулять немного с моей малышкой, пока я пишу письмо?

Миссис Бейкер согласилась. Девочку одели и отправили на улицу, а мать села за письменный стол. Через час миссис Рэби вышла из кабинета; миссис Бейкер видела, как она направилась в сад; она спотыкалась, и женщина поспешила к ней.

— Спасибо, — ответила вдова, — вдруг странно

закружилась голова… Мне так много надо было сказать, я очень утомилась, пока писала… закончу завтра… А сейчас мне надо побыть на воздухе и восстановить силы, я едва дышу.

Миссис Бейкер подхватила ее под руку. Слабым неровным шагом больная подошла к скамеечке и с помощью спутницы села. Дыхание ее стало прерывистым; она пробормотала какие-то слова, миссис Бейкер наклонилась, но уловила лишь имя дочери — последнее слово, сорвавшееся с материнских губ. Вздох — и сердце перестало биться, жизнь покинула измученное тело. Бедная хозяйка принялась громко звать на помощь, когда тело вдовы тяжело привалилось к ней, а затем, соскользнув со скамьи, безжизненно рухнуло наземь.

Глава II

К чести миссис Бейкер, до похорон та не интересовалась состоянием дел несчастной съемщицы. Обнаружив на столе кошелек, а в нем — двенадцать гиней, хозяйка удостоверилась, что не останется внакладе. Но как только тщедушное тело несчастной женщины упокоилось под землей, миссис Бейкер решила изучить ее бумаги. И первым ей попалось на глаза незавершенное письмо, которое миссис Рэби писала непосредственно перед смертью. Миссис Бейкер с большим любопытством взялась за чтение с расчетом обнаружить в письме важные сведения. Вот что в нем говорилось:

Моя любезная подруга!

Я только что узнала из газет, что ты вернулась в Англию, а я-то думала, что ты по-прежнему в Европе, хоть и не знала, где именно. Моя дорогая, я не писала так давно, потому что была слишком погружена в печаль и, не зная, что с тобой происходит, не хотела омрачать твое сча-

стье тревогами о моей злой судьбе. Моя дорогая подруга, школьная приятельница и благодетельница, ты расстроишься, услышав о моей беде, и даже сейчас я чувствую себя эгоисткой, навязываясь тебе со своей историей, но мне не на кого больше надеяться во всем белом свете, кроме моей добросердечной и щедрой Алитеи. Возможно, ты слышала о моем горе и знаешь, что смерть отняла у меня счастье, приобретенное в том числе с твоей доброй помощью. Умер тот, кто был для меня всем в этом мире, и если бы не одна маленькая ниточка, я бы с радостью ждала дня, когда мне позволят навек упокоиться рядом с ним.

Дорогая моя Алитея, я часто удивляюсь безрассудству и непредусмотрительности, которые были свойственны мне в юности. Сирота без гроша за душой, я была обречена стать гувернанткой, чтобы заработать себе на пропитание, и лишь благодаря встрече с тобой избежала этой безрадостной доли; под твоей крышей меня увидел Эдвин, и мы полюбили друг друга; его ухаживания и твое поощрение

впервые зародили в моем трепещущем сердце надежду на обладание счастьем. Природная робость мешала мне искать работу, а неуверенность в себе не позволяла даже предположить, что кто-либо может мной заинтересоваться и протянуть руку несчастному дрожащему существу, оберегать и защищать такую, как я; ввиду моего отчаянного положения любовь Эдвина стала для меня источником небывалой, удивительной, божественной радости. Однако я дрожала от страха при мысли о его родителях: войти в семью, где меня считали бы постылой самозванкой, казалось мне невыносимым; но Эдвин и без того был изгоем: отец, братья, все родственники от него отреклись, и, подобно мне, у него никого не осталось. А ты, Алитея, — как ласково, как трепетно ты меня поощряла, как внушала мне, что осуществить заветные мечты о счастье — мой долг! Поистине больше никто не способен на столь крепкие дружеские чувства и не умеет сопереживать даже невысказанным тайнам кроткого сердца; никто не умеет, став пособником чужого

счастья, радоваться за других, как за себя. Восторг на твоем лице при виде счастья, обеспеченного мне твоими усилиями, вызвал в моем сердце благодарность, которая никогда не умрет. И чем же я тебя благодарю — тем, что прошу меня пожалеть и печалю тебя своим горем? Прости меня, милая подруга, и не удивляйся, но именно эта мысль так долго мешала мне тебе написать.

Мы были счастливы; бедны, но счастливы. Бедность меня не пугала, а Эдвин принимал лишения так, будто и не жил никогда в роскоши. Освободившись от оков, наложенных на него ханжеским семейством, он ощутил душевный подъем и стал способен на достижения, что прежде были ему не по силам. Он сделал собственный выбор и теперь стремился доказать, что не ошибся. Я говорю не о нашем браке, а о его решении отступиться от семейной веры и следовать профессии, которой его родные никогда бы не позволили заняться младшему сыну. Он получил право вести адвокатскую практику, ради чего трудился беспрестанно;

он был честолюбив и наверняка добился бы успеха благодаря своим способностям… Но теперь его больше нет — он покинул нас навсегда! Я лишилась самого благородного, самого мудрого друга из всех живущих на земле, самого преданного возлюбленного и верного мужа.

Но я пишу бессвязно. Ты знаешь, как мы жили в Лондоне: бедно, но счастливо; заработанных Эдвином жалких грошей с лихвой хватало на удовлетворение всех наших потребностей; я тогда ни в чем не нуждалась, так как была молода и здорова, а молодым и здоровым нужны лишь любовь и согласие. Все это у меня было, и я чувствовала, что чаша моей жизни полна, а с рождением нашей милой дочери благодать полилась через край. Наше убогое жилище рядом со зданием суда казалось мне дворцом, и я бы стала презирать себя, если бы пожелала большего. Я всегда была довольна тем, что имела, и не боялась это потерять. Благодарила небеса, и мне казалось, что этого достаточно, чтобы выплатить Господу долг за дарованные мне неизмеримые богатства.

Могу ли я выразить, что почувствовала, когда поняла, что Эдвин плохо спит по ночам, заметила лихорадочный румянец на его щеках и непроходящий кашель? Об этом я не смею вспоминать: слезы вмиг застилают глаза, а сердце начинает биться так, что, кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Но роковая правда наконец открылась; прозвучало страшное слово — «чахотка», — и можно было надеяться лишь на смену климата; вот мы и приехали сюда, а теперь все, что от него осталось, покоится на кладбище при местной церкви, и мне бы хотелось, чтобы мой прах тоже покоился там, рядом с ним.

Но у меня есть дитя, моя дорогая Алитея, и ты, чудесная мать, наверняка решишь, что не пристало так убиваться, коль скоро рядом со мной мой ласковый ангелочек. И я, конечно, знаю, что без нее жизнь вмиг потеряла бы для меня всякое значение; так почему же рядом с ней я не становлюсь сильнее, не наполняюсь мужеством? Ведь теперь, чтобы не потерять ее, мне придется забыть праздную жизнь и самой зарабатывать на хлеб. Я

не жалуюсь — точнее, перестану жаловаться, когда мне станет лучше, но сейчас я так больна и слаба, и, хотя каждый день встаю и обещаю себе заняться делом, еще до полудня выбиваюсь из сил; меня одолевают дрожь и слабость, и я иду прилечь.

Когда я потеряла Эдвина, я написала мистеру Рэби, сообщила ему печальную новость и попросила о денежном содержании для себя и ребенка. Мне ответил семейный адвокат; он заявил, что поведение Эдвина послужило причиной непримиримого раскола между ним и его семьей, а я лишь поощряла его непослушание и вероотступничество, потому меня считают пособницей и я не имею права претендовать на содержание. Однако я могу отправить им на воспитание свою дочь, и, если пообещаю больше с ней не общаться, ее вырастят вместе с двоюродными братьями и сестрами и будут относиться к ней как к члену семьи. Недолго думая, я гордо ответила на это письмо, отвергла их варварское предложение и надменно и кратко отказалась

от денежных претензий, сказав, что сама намерена содержать и воспитывать своего ребенка. Боюсь, я поступила глупо, но даже сейчас об этом не жалею.

Я не жалею о порыве, заставившем меня возненавидеть этих жестоких вопреки природе людей и с гордостью заявить о том, что моя бедная сиротка целиком и полностью на моем попечении. Чем они заслужили такое сокровище? Как доказали, что способны заменить любящую и заботливую мать? Сколько цветущих дев принесены в жертву их извращенным взглядам! Какими безжалостными глазами они смотрят на самые естественные проявления эмоций! Никогда моя обожаемая девочка не станет жертвой этого бездушного племени. Помнишь наше прелестное дитя? Она с рождения была всех милее; случись ангелу принять земной облик, он наверняка выглядел бы именно так; ее внешняя красота является отражением ее натуры, ведь, несмотря на юный возраст, она очень восприимчива и умна не по годам, а ее нрав безупречен. Я знаю, что ты не станешь смеяться над

материнским энтузиазмом и не станешь ему удивляться; ее ласковые объятия, ангельские улыбки, серебристая трель ее детского голоска — все это заставляет меня трепетать от восторга. Не слишком ли она прекрасна для этого страшного мира? Этого я и боюсь, боюсь ее потерять, боюсь также умереть и оставить ее. Но если смерть все же настигнет меня, согласишься ли ты заботиться о ней и стать ей матерью? Прости меня за дерзость, но если я умру сейчас, то, по крайней мере, буду знать, что мой ребенок обретет в тебе мать…

Здесь письмо обрывалось; то были последние слова несчастной женщины. Описанная в нем история была печальна, но не нова: в ней говорилось о жестокости богачей и несчастьях, выпадающих на долю детей из благородных семейств. Говорят, что кровь гуще воды, но кто-то ценит золото дороже крови, а сохранение и умножение богатств становится единственной целью жизни и существования; счастье собственных детей в сравнении видится мелочью, и считается даже, что дерзко о нем мечтать, коль скоро

мечта эта противоречит воззрениям семьи и представлениям о ее величии. Жертвами этой чудовищной несправедливости стали и несчастные супруги Рэби; с ними случилось худшее, что только могло, и навредить им теперь уже было невозможно, но об их сироте думали меньше, чем о потомстве самой ничтожной твари, если то могло послужить умножению их богатства.

Читая письмо, миссис Бейкер преисполнилась самодовольства; англичанам свойственно трепетать перед достатком и статусом, и хозяйка порадовалась, что под ее скромной крышей нашел приют сын того… кого именно, она точно не знала, но человека, имевшего старших и младших сыновей и достаточно богатого, чтобы причинять чудовищный вред большому числу людей. Такая власть казалась миссис Бейкер великой и достойной уважения, однако от удовлетворения доброй хозяйки не осталось и следа, когда та продолжила поиски и не обнаружила ни письма, ни документа с полезными сведениями. Все письма были уничтожены, а иных бумаг у молодой пары не оказалось. Невозможно было догадаться, кому адресовано незаконченное письмо; приходилось лишь гадать и блуждать в потемках. Хозяйка пришла в ужас: ей не к кому

было обратиться, некуда отправить сиротку. Житель большого города, возможно, догадался бы дать объявление в газету, но Треби была настолько отрезана от мира, что эта дерзкая мысль никогда не пришла бы в голову ни одному из ее обитателей, и миссис Бейкер, несмотря на возмущение свалившейся на нее ношей и страх перед будущим, было просто невдомек, как отыскать родственников сиротки; единственное, что оставалось, — ждать в надежде, что кто-нибудь возьмется разыскивать девочку.

Прошел почти год, и никто не появился. Кошелек несчастной вдовы скоро опустел; несколько безделушек, обладавших хоть какой-то ценностью, тоже пошли в расход. Содержание ребенка обходилось недорого, но корыстная опекунша беспрестанно твердила о том, как ей не повезло; мол, у нее своя семья и куча голодных ртов. Сейчас маленькая мисс еще кроха, но скоро вырастет; хотя, возможно, тогда станет проще, ведь сейчас ей требуется больше внимания; но поношенная шляпка и дырявые ботинки — просто позор, а разве может она, миссис Бейкер, позволить себе обделить собственных детей и купить новые ботинки неродной дочери? Словом, дела обстояли худо, и в будущем маячил приют, хотя малень-

кая мисс, безусловно, была рождена для лучшей судьбы, и ее бедная мама перевернулась бы в гробу при одной лишь мысли о подобном. Что до миссис Бейкер — конечно, ее можно упрекнуть в излишней щедрости, но она решилась еще подождать, ведь как знать… Тут благоразумие миссис Бейкер останавливало поток ее красноречия, так как она не осмелилась бы признаться ни одной живой душе, что все еще мечтала, как за ее подопечной однажды явится карета, запряженная шестеркой лошадей, и саму миссис Бейкер осыплют подарками и удостоят награды; она даже припрятала на этот случай лучшее платье девочки — хотя та давно из него выросла, — чтобы в день прибытия кареты не ударить в грязь лицом. Эти туманные, но прекрасные мечты скрывались глубоко в ее душе, и она держала их в тайне ото всех, опасаясь, как бы кто-то из соседей, охваченный благородным порывом, не ухитрился бы отыскать благодетелей девочки и тем самым отщипнуть часть воображаемой прибыли. Из-за этих мыслей миссис Бейкер не спешила предпринимать шаги в ущерб своей подопечной, однако ее беспрестанные жалобы не прекращались, с каждым днем становясь всё злее и настойчивее, а мечты всё никак не сбывались.

Тем временем сиротка росла подобно благородной розе, случайно заброшенной в заросли сорняков и колючек; она цвела невиданной в этой глуши красотой, раскрывая свои лепестки и источая аромат амброзии. Ее странное окружение, казалось, никак на нее не влияло. Прекрасная, как райский день, чудом опустившийся на землю, чтобы радовать сердца, она умудрялась очаровать даже свою эгоистичную опекуншу; несмотря на изношенное платье, ее ангельская улыбка, свободная и благородная поступь маленьких изящных ног и льющийся как песня голосок снискали уважение, восхищение и обожание всех жителей деревни.

Первое знакомство несчастного ребенка со смертью случилось, когда она лишилась отца. Мать, как могла, объяснила эту страшную тайну незрелому уму девочки и, пускаясь в свойственные женскому полу сентиментальные фантазии, часто упоминала, что покойный витает над своими близкими и присматривает за ними с небес, где он ныне пребывал. Однако, рассказывая об этом, она все время плакала. «Он счастлив! — восклицала она и тут же добавляла: — Но его здесь нет! Почему же он ушел? Ах, зачем бросил тех, кто так его любил и так отчаянно в нем нуждался?

Как одиноки и несчастны мы теперь, когда его не стало!»

Эти моменты оставили в душе восприимчивого ребенка глубокий след. Когда ее мать унесли и похоронили в холодной земле рядом с супругом, сиротка взяла обыкновение часами сидеть у могил, воображая, что мать скоро вернется, и восклицая: «Почему ты ушла? Вернись же, мама, вернись скорей!» Неудивительно, что такие мысли посещали ее, хотя она была очень юна: дети нередко бывают так же умны, как взрослые, разница лишь в объеме их знаний и представлений; но эти столь часто слышанные слова пустили корни, и маленькое сердечко девочки уверилось, что мама присматривает за ней с небес. И для нее своего рода религиозным ритуалом стало каждый вечер навещать две могилы, произносить молитву и верить, что дух матери, который смутно ассоциировался у нее с покоившимися в могиле останками, слышал ее и посылал ей свое благословение.

А бывало, девочка, предоставленная сама себе и вольная бродить где угодно, сидела с книжкой на могиле матери, как когда-то сидела у ее ног. Она брала с собой на кладбище книжки с картинками и даже игрушки. Деревенские умилялись

трогательному стремлению ребенка находиться рядом с мамой и стали считать ее кем-то вроде ангела; никто не мешал ее визитам и не пытался разубедить в ее фантазиях. Дитя природы и любви, она лишилась тех, кто испытывал к ней самые крепкие чувства; сердца их перестали биться, смешались с почвой и теперь кружились «путем земли с камнями и травой»[4].

Не было больше колена, на которое она могла бы весело вскарабкаться; не было шеи, которую она могла бы нежно обнять, и родительской щеки, на которой запечатлела бы свои счастливые поцелуи. Во всем свете у нее не осталось никого ближе этих двух могил, и она целовала землю и цветы, которые не смела срывать, сидела и обнимала надгробный холмик. Мама была повсюду. Мама лежала в земле, но девочка чувствовала ее любовь и ощущала себя любимой.

В другое время она радостно играла с деревенскими детьми, и порой ей даже казалось, будто она любит кого-то из них; она дарила им книжки и игрушки, уцелевшие от прежних счастливых дней, ибо тяга к благим делам, естественным образом возникающая в любящем сердце, была

[4] Примечания: 4

Уильям Вордсворт «Мой разум спал глубоким сном…» (пер. Ю. И. Лифшица).

сильна в ней даже в столь юном возрасте. Но на кладбище она всегда ходила одна и не нуждалась в спутниках, ведь тут она была с мамой. Правда, однажды она притащила в свой заветный уголок любимого котенка, и тот баловался среди травы и цветов, а девочка играла с ним. Меж надгробий звенел ее веселый одинокий смех, но ей он одиноким не казался: с ней была мама, и мама улыбалась, глядя на нее и ее маленького питомца.

Глава III

Однажды знойным безветренным июньским вечером в Треби прибыл незнакомец. Наблюдать за сменой штиля ветром на побережье всегда интересно, но в этом случае следует обратить на погоду особое внимание, так как именно штиль привел незнакомца в деревню. Весь день в бухте можно было видеть несколько судов, то дрейфовавших в ожидании ветра, то неспешно скользивших по волнам под парусами. С наступлением вечера море успокоилось, но с берега подул легкий ветерок, и корабли — главным образом угольщики — ловили ветер, пытаясь продвинуться вперед короткими рывками и, набрав скорость, наконец получить пространство для маневрирования и выйти в открытое море у восточного изгиба бухты. Тем временем рыбаки на берегу следили за движениями другого судна и даже перекрикивались с матросами, праздно развалившись на песке. Вскоре их отдых прервался из-за оклика с небольшого торгового корабля — требовали прислать лодку для высадки на берег пассажира; рыбаки засуетились, лодка приблизи-

лась к судну, и в нее спустился джентльмен; вслед за ним в лодку передали его саквояж; несколько взмахов веслами — и лодка причалила к берегу, а пассажир спрыгнул на песок.

Новоприбывший отдал краткие распоряжения, приказал отнести свой легкий саквояж в лучшую гостиницу и, щедро расплатившись с лодочниками, направился в более уединенную часть пляжа. Наблюдатели с ходу решили, что перед ними джентльмен, и для жителей Треби этого описания было достаточно, но мы все же добавим несколько подробностей, чтобы выделить его среди большого числа других джентльменов и придать фигуре некую индивидуальность. В идеале хотелось бы обрисовать его внешность и манеры таким образом, чтобы герой предстал в воображении читателя как живой и, случись им встретиться на улице, читатель бы воскликнул: «Вот тот самый человек!» Но нет задачи труднее, чем одними словами донести до другого образ, пусть даже явственно запечатлевшийся в нашем сознании. Индивидуальное выражение лица и особые черты, выделяющие человека из десятков тысяч его собратьев для тех, кто его знает, очевидны глазу, но ускользают, когда пытаешься описать их.

Было в незнакомце что-то, сразу же привлекавшее внимание: свобода движений, решительная манера держаться, самоуверенность и энергия. Угадать его возраст было непросто, так как из-за бронзового загара, приобретенного в тропическом климате, молодая кожа покрылась глубокими морщинами, как у зрелого мужчины, однако сила и гибкость конечностей при этом сохранились, а фигура и лицо по-прежнему оставались совершенными в именно тех частях, где прежде всего проявляются признаки старости. Вероятно, ему было около тридцати лет, не более того, но могло быть менее. Его тело было подвижным, жилистым и сильным, спина прямой, как у солдата (и в целом он производил впечатление военного); он был высок и, пожалуй, красив: глаза светло-серые, пронизывающий орлиный взгляд, лоб изборожден приметами скорее страстного темперамента, нежели склонности размышлять; но лицо при этом казалось очень умным, а довольно большой рот становился красивым, когда незнакомец улыбался. Однако самой примечательной особенностью его физиогномики была переменчивость: на беспокойном и даже свирепом лице отражались мятежные и буйные мысли, а бывало, морщины разглажива-

лись и изящные черты проступали во всей своей безупречности, и тогда лицо казалось почти лишенным всякого выражения. Удивительная это была особенность, — когда этот человек общался сам с собою, его лицо сотрясали шторма, нарушая гармонию черт; при этом, обращаясь к собеседнику, он был сдержан, глаза смотрели внимательно, а лицо хранило безмятежность. Цвет его кожи от природы, видимо, был оливковым, но под влиянием климата она покраснела и задубела, а под натиском неистовых эмоций наливалась кровью. При взгляде на него сразу становилось ясно, что жизнь его была полна невероятных и, возможно, трагических происшествий; однако, перефразируя Шекспира, он скорее грешил сам, чем был жертвой греха[5]; а если не грешил, то, по крайней мере, не принимал обрушивающиеся на него разочарования и печали безропотно, а самолично был творцом своей судьбы. Когда он думал, что за ним никто не наблюдает, на лице его отражалась тысяча противоречивых чувств, глаза метали молнии, и, казалось, он вздрагивал от внезапной боли; его будто бы охватывала неожиданная ярость и обезображивала красоту;

[5] Примечания: 5

Уильям Шекспир «Король Лир»: «Я не так перед другими грешен, как другие — передо мной» (пер. Б. Л. Пастернака).

однако стоило кому-либо к нему обратиться, как все эти приметы мгновенно исчезали, и он преисполнялся достоинства, успокаивался и становился даже обходительным, хотя холодным, вследствие чего собеседник принимал его за человека своего круга, а вовсе не за того, кто под влиянием страстей и необдуманных поступков входит в состояние, внушающее страх любому. Поверхностный наблюдатель счел бы его славным человеком, возможно немного чересчур импозантным; мудреца бы приятно впечатлили его интеллект и знания, эрудиция и легкость, с которой он доставал из хранилищ ума сведения на любую тему. Дух его, вне всякого сомнения, был благороден и свободен; но что же оказало на него столь разрушительное действие, что потрясло его основы и заставило его в столь молодые лета проникнуться презрением к себе?

Таким был незнакомец, прибывший в Треби. Его поведение отличалось той же противоречивостью, что и наружность: внешне он казался спокойным и даже равнодушным, но изнутри терзался самыми бурными и болезненными переживаниями. Высадившись на берег, он зашагал по песку и вскоре скрылся из виду; вернулся лишь вечером с лицом удрученным и усталым.

Приличия ради или из уважения к хозяину таверны позволил поставить перед собой тарелку с едой, но не притронулся ни к пище, ни к питью и вскоре удалился в комнату, однако спать не лег, а несколько часов расхаживал туда-сюда. Как только же наступила тишина и его часы и безмолвные звезды сообщили о наступлении полуночи, он вышел из дома и спустился на берег; там бросился на песок, потом снова встал и пошел вдоль кромки воды; присел, уронив лицо на руки, и сидел так неподвижно до самой зари. С появлением первого рыбака покинул деревню и не появлялся до раннего вечера, и в этот раз набросился на принесенную ему тарелку, как голодающий, но, едва утолив острый голод, снова вышел из-за стола и уединился в комнате.

Достав из саквояжа футляр с оружием, он внимательно осмотрел пистолет, сунул его в карман и снова спустился на берег. Солнце быстро клонилось к горизонту, и путник попеременно бросал взгляды то на него, то на синее море, мирно дремлющее и почти бесшумно омывающее берег. Он казался то задумчивым, то нетерпеливым, а иногда его пробивал холодный пот, будто страшная боль вдруг начинала терзать его; он молчал, но в голове вертелись невысказанные мысли:

«Еще один день! И снова солнце! Чем заслужил я этот день и это солнце? Трус! Зачем страшусь я смерти? И страшусь ли? Нет! Нет! Мне ничего не страшно, кроме этой боли, невыразимых мук и картины полного отчаяния, что до сих пор стоит перед глазами! Будь я уверен, что воспоминания уйдут, когда я вышибу себе мозги, перед смертью я смог бы снова ощутить себя счастливым. Но все напрасно. Пока я жив и живо воспоминание, каждая частица моего существа пропитана памятью о совершенном мною преступлении; я живу в аду, и так будет продолжаться до тех пор, пока не заглохнет мой пульс. Я буду вечно видеть ее тело у своих ног: она потеряна навеки, она мертва, и я тому причиной, я убийца! Смерть станет искуплением. Но даже в смерти я буду проклят, ведь мне уже не вдохнуть жизнь в эти бледные губы. Какой же я дурак! Какой злодей! Скорее, последний акт близок; не медли больше, не то сойдешь с ума и смирительная рубашка станет более подходящим наказанием, чем смерть, к которой ты так стремишься!»

«И все же… — помедлил он и продолжал: — Не здесь и не сейчас; подобные дела лучше делать в темноте. Спеши же, солнце, спрячься! Радуйся, ты больше не узришь меня живым!»

В этот миг его пылкость как будто бы передалась самой Вселенной, и солнце запульсировало с ним в едином ритме. Сияющий круг опустился, и на фоне пылающего неба резко обрисовался силуэт невысокого мыса, увенчанного шпилем. Внезапно новая мысль пришла в голову незнакомцу, и он зашагал вперед по песку и направился к выступающему обрыву. А незадолго до того здесь пробежала маленькая сиротка, вскарабкалась по утесу и, как обычно, села у могилы матери; незнакомец этого не видел.

Он медленным неровным шагом двигался вперед. Тьма заволокла зоркое солнце, которое теперь, казалось, смотрело на него в упор, проникая в самую душу, болевшую и корчившуюся под грузом греха и печали. Очутившись за чертой деревни, он сел на камень, но не погрузился в раздумья, ибо это подразумевало некое осознанное движение ума; к нему скорее можно было бы применить сравнение с поэтом, преследуемым собственными мыслями, гонимым памятью и разрываемым на куски подобно Актеону, которого растерзали собственные псы[6]. Душа его

[6] Примечания: 6

В древнегреческом мифе рассказывается об Актеоне, превращенном Артемидой в оленя и разорванном собственными псами за то, что подглядывал за богиней.

пала под натиском чудовищных воспоминаний, и негде было от них укрыться, некуда бежать; его поочередно обуревали различные чувства — ревность, любовное разочарование, ярость, страх; но хуже всего были отчаяние и угрызения совести. Телесные пытки, порожденные воображением мстительного тирана, не смогли бы вызвать агонию, подобную той, что причиняли ему собственные мысли. Оставшиеся в нем доброта и сила разума лишь усиливали боль от неустанного сожаления и наносили ему более глубокие раны. Глупец! Он не предвидел, что все так обернется! Он думал, что сумеет повернуть ход судьбы в соответствии со своей волей и что для достижения цели достаточно лишь сильного желания. Но к чему привела его непоколебимая решимость добиться своего? *Она* была мертва — прелестнейшее и благороднейшее из земных созданий; ей больше не вкусить ни ласки, ни жизненных радостей; она больше не увидит своего дома и ребенка. Он видел, как она распростерлась у его ног; он засыпал землей ее холодное окаменевшее тело; он был тому причиной, он убийца!

Доведенный подобными мыслями до невыносимого отчаяния, он торопливо нащупал пистолет, встал и продолжил путь. Со всех сторон надви-

галась тьма, но он смог различить перед собой ведущую наверх извилистую тропу; он взобрался на утес, открыл калитку и очутился на кладбище. О, как же он завидовал мертвым, невинным мертвецам, созерцавшим эту бренную картину незрячими взорами и спящим в окружении скорбящих друзей, которых подбадривала вера в мир иной! Невинность и покой представились ему такими прекрасными, такими желанными, но разве он, преступник, мог надеяться обрести их? На небосводе зажглась звезда, за ней другая, и устремленный вверх шпиль церкви, казалось, почти доставал до этих светил. Далее раскинулось темное молчаливое море; вокруг спали мертвые; высокая трава почти не колыхалась в теплой летней тиши. Все было окутано мягким и бархатистым покоем. Какую удивительную радость и благодарность Творцу, должно быть, вызывала у мирного ума безмятежная красота вечернего часа! Душу незнакомца вновь пронзила боль. Лоб судорожно нахмурился. «Если я умру, — воскликнул он, — пусть мертвые меня не отвергнут!»

Он огляделся в поисках укрытия, повинуясь естественному стремлению, которое испытывает всякий человек на пороге смерти, — стремлению найти уединенную пещеру или угол и спрятаться

там, чтобы не осквернять взоры живущих безобразной картиной распада. Он приблизился к выбранному месту и некоторое время стоял, глядя вдаль, сам не зная на что; затем достал пистолет, взвел курок и, упав на поросший травой пригорок, поднес дуло ко лбу.

«Прочь! Уходи! Не трогай мамочку!» — раздался вскрик, но он его не слышал, так как все его органы чувств в тот момент отказали. Он нажал на курок, но кто-то дернул его за руку; пуля пролетела у самого уха и не причинила вреда, но шок от выстрела был настолько силен, что в своем полубессознательном состоянии несчастный поверил, что получил смертельное ранение, повалился на спину и, как потом рассказывал, решил, что это он испустил вопль, хотя кричал на самом деле кто-то другой.

Через несколько секунд он пришел в себя. Однако решимость умереть была столь сильна и настолько невозможной казалась мысль, что он прицелился неверно, что за эти несколько секунд весь мир словно растворился. Вздрогнув и поднявшись, он первым делом воскликнул: «Где я?» Что-то привлекло его взгляд — маленькая белая фигурка, лежавшая от него в нескольких шагах, и два сверкающих в темноте глаза, устремлен-

ных прямо на него. В голове пронеслась ужасная мысль: а что, если он убил не себя, а кого-то другого? С губ сорвался мучительный крик: «Боже милостивый, кто ты? Говори! Что я наделал?» Страх его усилился, когда он увидел, что перед ним маленькая девочка; он помог ей подняться, и ее глаза были полны ужаса и не мертвы; она молчала, но не была ранена, и он взялся ободрять ее и утешать, пока она, оправившись немного, не начала горько плакать, и лишь тогда он с радостью осознал, что это были слезы облегчения и ей уже не страшно. Он приподнял ее с земли, а она, рыдая, пыталась увести его прочь от осквернённой им могилы. В темноте черты ее лица едва просматривались, но все же он заметил, что она была необыкновенно хороша собой: прелестное личико и шелковистые волосы выдавали в ней дитя, которое любили и нежили, оттого он еще сильнее удивился, что встретил ее одну на безлюдном кладбище в столь поздний час.

Он ласково успокоил девочку и спросил:

— Как ты сюда попала? Что делаешь здесь в такой час и так далеко от дома?

— Я к маме пришла, — ответила девочка.

— К маме? Но где она? Я никого не вижу.

— Да здесь же она, здесь; мама здесь, — и девоч-

ка указала маленьким пальчиком на могилу.

Незнакомец вздрогнул; этот простой и нежный детский жест отчасти испугал его, и он наклонился прочесть надпись на надгробии, но различил лишь имя: Эдвин Рэби.

— Это не могила твоей матери, — заметил он.

— Нет, тут лежит папа, а мама рядом, вот здесь.

Мужчина, только что желавший себя уничтожить, ибо угрызения совести выжгли его душу дотла, совсем недавно полностью поглощенный своими чувствами, вздрогнул при мысли об одиночестве и страдании, о которых свидетельствовали эти слова; он внимательно посмотрел на девочку и поразился ее ангельскому виду; она говорила с прекрасной серьезностью, качая головой; губы дрожали, а большие глаза блестели от готовых пролиться слез.

— Бедное дитя, — промолвил он. — Значит, ты — Рэби?

— Мама звала меня малышкой, — ответила девочка. — Дома меня зовут маленькой мисс, но на самом деле мое имя Элизабет.

— Что ж, милая Элизабет, позволь отвести тебя домой; не можешь же ты всю ночь сидеть с мамой.

— Конечно, нет; я как раз собиралась домой, когда вы меня напугали.

— Забудь об этом; я куплю тебе куклу, чтобы загладить свою вину, и всякие игрушки; а пока подарю вот эту красивую вещицу, держи. — С этими словами он снял цепочку со своих часов и бросил ей; ему хотелось скорее отвлечь ее внимание от случившегося, чтобы она об этом забыла и по возвращении домой никому ни о чем не рассказала.

— Но вы больше не шалите, — предупредила она, подняв на него глаза, — и не садитесь туда, где лежит мама.

Незнакомец пообещал, что не станет, и поцеловал ее; он взял девочку за руку, и вместе они пошли к деревне. Элизабет болтала без умолку, и он слушал ее рассказы о матери и отвечал; ему не верилось, что он все еще жив и океанские волны плещутся у его ног, а над головой светят звезды; вместе с тем он испытывал злость и нетерпение из-за отсрочки, словно его план мог сорваться окончательно. Они шли по песку и наконец остановились у двери дома миссис Бейкер. Та стояла на пороге; увидев их, она воскликнула:

— Вот вы где, маленькая мисс, наконец-то! Чем это вы занимались? Вам давно пора в кровать, я

испугалась, где вас носит!

— Не ругайте ее, — вмешался незнакомец, — она задержалась из-за меня. Но почему вы отпускаете ее гулять одну? Так не годится.

— Господь с вами, сэр, — ответила хозяйка, — во всей округе ей ничего не грозит, и, поверьте, она была бы не рада, если бы я запретила ей видеться с мамочкой — так она это называет. Мне некого послать ее сопровождать; я и так держу ее при себе из милости. Но… — Тут в ее голове промелькнула мысль, и голос ее изменился: — Простите, сэр, возможно, вы приехали ее забрать и сами все знаете? Поверьте, я старалась как могла; с тех пор как ее мама умерла, прошло уже немало времени, и, если бы не я, ее давно определили бы в приют. Надеюсь, вы рассудите справедливо и поймете, что я сполна выполнила свой долг.

— Вы ошибаетесь, — ответил незнакомец, — мне ничего не известно об этой маленькой леди; с ее родителями — кажется, они оба мертвы — я тоже не знаком. Но должны же у нее быть другие родственники?

— Родственники есть, и они весьма богаты, — отвечала миссис Бейкер, — но как их найти? Мне тяжело ее содержать, я вдова, и собственных детей у меня четверо; куда мне еще чужие? По-

верьте, сэр, мне очень тяжело, и я часто думаю о том, а правильно ли это — отнимать хлеб у собственных детей и внуков, чтобы прокормить чужого ребенка! Но, будьте покойны, родственники у маленькой мисс есть, и однажды они за ней придут, хотя ее мать умерла десятого августа, почти год назад, и до сих пор никто не справлялся ни о ней, ни о нашей маленькой мисс.

— А отец тоже умер здесь, в деревне? — спросил незнакомец.

— Да, — ответила хозяйка, — ее мать и отец умерли здесь, в этом самом доме, и покоятся на кладбище при нашей церкви. Полно вам, маленькая мисс, не плачьте; столько воды с тех пор утекло, что уж теперь печалиться?

Бедная девочка, до сих пор слушавшая и не понимавшая, о чем речь, при упоминании родителей начала всхлипывать, а незнакомец, потрясенный черствостью тона хозяйки, промолвил:

— Я бы хотел узнать эту грустную историю. Прошу, уложите ребенка, а потом расскажите мне все, что вам известно о ее родителях; возможно, я сумею посоветовать вам, как найти ее родственников, и избавлю от необходимости ее содержать.

— Впервые за долгое время меня кто-то утешил! — воскликнула миссис Бейкер. — Идите в дом, маленькая мисс, Нэнси уложит вас спать, вам давно пора быть в постели. Не плачьте, милая; этот добрый джентльмен заберет вас с собой в красивый дом, где вы будете жить среди знатных людей, и всем несчастьям придет конец! Прошу, сэр, пройдите в гостиную; я покажу вам письмо ее матери и расскажу все, что знаю. Попомните мое слово: если ваш путь лежит в Лондон, вы скоро выясните, что наша маленькая мисс давно бы могла разъезжать по улицам в собственной карете!

Миссис Бейкер пришла в голову новая гениальная идея, превзошедшая даже ее собственные ожидания. Прежние мечты о величии ей наскучили, и, по правде говоря, она боялась, что родственники сиротки не захотят ее знать; но тут ее осенило, что, если она сумеет убедить этого странного джентльмена в правдивости своих слов, тот, вероятно, почувствует себя обязанным взять девочку с собой, когда уедет, и взвалить на себя риск по возвращению сиротки в семью отца; то есть она, миссис Бейкер, освободится от дальнейшей необходимости на нее тратиться, — «и

услыхав намек, она заговорила»[7].

Она рассказала, как супруги Рэби приехали в Треби с дочкой, которая тогда была еще совсем малюткой; как чело умирающего мужа уже тогда было отмечено печатью смерти, и каждый день грозился стать последним, но бедолага продолжал жить. Он сильно мучился, а жена не отходила от него днем и ночью, ухаживала за ним и следила за каждым его взглядом, за появлением легкой бледности или изменением пульса. Они были бедны; у них была всего одна служанка, которую они наняли в деревне вскоре после приезда, ведь миссис Рэби не могла одновременно уделять внимание и мужу, и ребенку; и все равно она делала так много, что в итоге пала жертвой огромного напряжения сил. Она казалась хрупкой и слабой, но никогда не жаловалась на усталость и продолжала ухаживать за мужем с тем же рвением. Ее голос всегда оставался жизнерадостным, а глаза сияли нежностью; втайне ото всех она, несомненно, плакала, но, когда беседовала с мужем или играла с ребенком, всегда казалась энергичной и не унывала; хотя все симптомы указывали на то, что болезнь смертельна, она не впадала в полное

---

[7] Примечания: 7
Перефразированная строка из «Отелло» Уильяма Шекспира.

отчаяние. Когда муж заявлял, что ему полегчало, и ненадолго брал на себя заботы о маленькой дочке, она верила, что он идет на поправку, и твердила: «О, миссис Бейкер, Господь свидетель, ему правда лучше; врачи тоже ошибаются; возможно, он будет жить!» При этом глаза ее наполнялись слезами, а улыбка, как солнечный луч, освещала лицо. Она не сдавалась до самой смерти мужа и даже тогда с упорством, свойственным лишь матерям, продолжала бороться с горем и собственной болезнью, которая уже укрепилась и начала подтачивать ее организм. Теперь все ее силы были направлены на заботу о ребенке; она улыбалась малышке призрачной, но все же теплой улыбкой, согретой ангельской верой и любовью. Так она трепыхалась между жизнью и смертью, и сердце ее до самого конца хранило тепло, любовь и надежду, а огонь в нем пылал ради ребенка, хотя самой ей уже не терпелось освободиться от мук и сойти в могилу, воспарив прочь от забот и печалей бренного мира к небесам, что уже разверзлись и приготовились ее принять. Все это миссис Бейкер описала более примитивным языком, рассуждая о трогательной смеси материнской нежности и благостного томления той, что не стала даже оплакивать мужа,

так как надеялась вскоре к нему присоединиться. Затем она описала внезапную смерть миссис Рэби и положила перед своим слушателем ее незаконченное письмо.

Незнакомец с глубоким интересом начал читать и вдруг страшно побледнел, задрожал всем телом и пробормотал:

— Кому адресовано это письмо?

— Ах, сэр, — отвечала миссис Бейкер, — если бы я знала, все мои беды закончились бы вмиг! Читайте, и вы увидите, что миссис Рэби не сомневалась, что упомянутая леди взяла бы маленькую мисс на воспитание и относилась бы к ней как родная мать, но кто эта леди и где она, мне остается лишь гадать.

Незнакомец стал читать дальше, но его обуревали столь сильные чувства и он так старательно пытался их скрыть, что строчки перед глазами утратили всякий смысл. В конце концов он сказал миссис Бейкер, что возьмет письмо с собой и прочитает на досуге. Он пообещал помочь найти родственников миссис Рэби и уверил, что это не составит труда. Затем он ушел, а миссис Бейкер воскликнула: «Прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы мои усилия оказались не напрасны».

Незнакомец между тем услышал голос из мо-

гилы, и это был не голос мертвой матери — та являлась для него лишь воображаемой фигурой, несмотря на все, что он узнал о ее достоинствах и муках; он был с нею не знаком. Но ее благодетельница, та, на которую бедняжка возлагала свои надежды и доверие, — ее он знал и знал, где она находилась. Алитея! *Сердечная подруга, чудесная мать!* К ней обращались все несчастные сердца, не сомневаясь, что найдут утешение; она предвосхищала просьбы нуждающихся, покоряла сердца своим щедрым и свободным духом и, пока была жива, сияла как солнце, наполняя все вокруг светом и теплом. Но пульс ее утих, а силы упокоились в могиле. Она обратилась в ничто, и он был виновен в том, что это восхитительное существо вдруг стало ничем.

Незнакомец несколько раз перечитал письмо и снова содрогнулся при виде ее имени, выведенного изящным почерком подруги; надежда, которой были пронизаны заключительные строки, заставила его взвыть от отчаяния. Да, Алитея безусловно стала бы сиротке второй матерью — он вспомнил, как она прилежно наводила справки о своей подруге, но так и не узнала о ее несчастной судьбе. В письме говорилось о ней, о его Алитее; в этом он не сомневался ни секунды.

Его Алитее? Роковая ошибка: она никогда ему не принадлежала; а дикая решимость это изменить привела к смерти и разрушению.

Незнакомец взял письмо в гостиницу, но стены и крыша угнетали и казались тюрьмой; он снова стал искать облегчения на свежем воздухе, вышел на берег и быстро зашагал по песку, точно стремясь сбежать от самого себя. Так он провел всю ночь: иногда взбирался на скалистые утесы, затем снова спускался и бросался на песок, растянувшись во весь рост. Волны накатывали на берег, в одинокой ночи ревел океан и слышалось хлопанье крыльев и крик совы, покинувшей свое гнездо на скале. Шли часы, а незнакомец все мерил шагами петляющие бухты, гонимый тысячей мыслей и мучимый самыми болезненными воспоминаниями. Утро застало его за много миль от Треби. Он не останавливался до тех пор, пока впереди не показалась другая деревушка, положив конец его одиночеству; тогда он повернул обратно.

Одни лишь те, кто догадывается о природе его преступления, способны понять борьбу между жизнью и смертью, что велась тогда в его душе. По стечению обстоятельств он забыл пистолет в комнате гостиницы, иначе в приступе дичай-

шего отчаяния наверняка воспользовался бы им и покончил с собой. Он горячо надеялся, что смерть уничтожит память и избавит его от угрызений совести, но вместе с тем в его сознании зародилось чувство, загадочное и необъяснимое с точки зрения обычной логики, — стремление искупить свою вину и загладить грехи. Если он сумеет сделать нечто доброе для одинокой сиротки, вотще оставленной на попечение его жертвы, не компенсирует ли это хоть в малой степени его преступление? Не удвоится ли грех, если будет уничтожена не только Алитея, но и добро, которое та могла бы совершить? Казалось, сам Господь указал ему на необходимость такого поступка, ведь именно рука девочки помешала ему в роковой момент, когда он считал, что лишь секунда отделяет его от могилы. К этим смутным религиозным идеям присоединилось также мужское стремление защитить обиженных и помочь беспомощным. Внутренняя борьба была долгой и страшной. То ему казалось, что откладывать миг смерти будет трусостью и, продолжая жить, он расписывается в собственном предательстве и малодушии. А в следующую секунду приходила мысль, что трусость — это умереть, сбежать от последствий своих поступков и тягости существо-

вания. Глядя на сумеречный блеск моря, он будто бы надеялся, что из туманных вод поднимется видение и укажет или прикажет ему, как поступить. Он взглянул в небеса, спрашивая ответа у молчаливых звезд, и рокот волн словно заговорил с ним мертвым голосом, хрипло бормоча: «Живи! Живи, несчастная тварь! Как смеешь ты уповать на покой, которым наслаждается твоя жертва? Знай, что преступники недостойны смерти — лишь невиновным положена эта награда!»

Утренний ветерок освежил его лоб, и, когда щедрое солнце взошло над морем с востока, путник, бледный и изможденный, устало направился в сторону Треби. Кружилась голова, он чувствовал себя разбитым, но все же преисполнился решимости пожить еще немного — до тех пор, пока не исполнит хотя бы отчасти свой долг по отношению к милой сиротке. Решившись, он почувствовал, словно его бремя уже стало немного легче; то умиротворяющее чувство, что сопутствует раскаянию, проникло в его сердце — первая награда. Как скоро и отчетливо хвалит нас внутренний голос, когда мы поступаем правильно! К тому же он верил, что жить значит страдать; соответственно, для него этот выбор был доблестью, и его захлестнули восторг и пья-

нящее головокружение, что всегда следуют за первой попыткой осуществить благородное намерение, и, несмотря на физическую и душевную усталость, он ободрился. Вернувшись в Треби, он сразу бросился к своей кровати и уснул спокойным сном впервые с тех пор, как покинул место, где лежала та, кого он так преданно любил, хотя и стал причиной ее смерти.

Глава IV

Прошло два дня, и незнакомец с девочкой отбыли в Лондон. В решающий момент миссис Бейкер почувствовала укол совести и усомнилась, благоразумно ли было поручать свою невинную подопечную незнакомому человеку. Однако тот успокоил ее сомнения, продемонстрировав бумаги, где было указано его имя и звание — Джон Фолкнер, капитан туземной кавалерии армии Ост-Индской компании; кроме того, он сразу завоевал ее уважение своей независимой манерой держаться; по мнению миссис Бейкер, такая манера отличала лишь богатых людей.

Теперь ему предстояло собрать все свидетельства и документы, которые могли бы помочь установить личность малышки Элизабет. В наследство ей досталось незаконченное письмо ее несчастной матери, Библия, в которой имелась запись о рождении ребенка, молитвенник и личная печать с выгравированным на ней гербом мистера Рэби (печать миссис Бейкер благоразумно сохранила, а вот часы, поддавшись сребролюбию, продала); маленький письменный

стол, в ящиках которого хранились незначительные бумаги и адресованные Эдвину Рэби письма от неизвестных людей. Просматривая содержимое ящиков, мистер Фолкнер обнаружил маленький иностранный альманах с гравюрами в роскошном переплете; на первой странице красовалась надпись, выведенная изящной женской рукой: *«Моей дорогой Изабелле от А. Р.»*.

Если бы Фолкнер нуждался в доказательствах, подтверждающих его догадку о том, кто была подруга миссис Рэби, он бы их получил; он уже собирался прижать к губам страницу, подписанную дорогим ему почерком, когда, внезапно ощутив, что этого недостоин, задрожал всем телом, прижал к груди книгу и усилием воли сдержал все внешние проявления бушующей агонии, которую испытал при виде почерка своей жертвы. Одновременно он снова преисполнился решимости сделать все необходимое, чтобы осиротевшая дочь ее подруги заняла свое место в обществе. Он считал малышку наследством, завещанным ему той, кого он в последний раз видел бледной и бесчувственной у своих ног; той, о ком мечтал, будучи еще мальчишкой, и кто теперь обратилась в призрак, который будет терзать его совесть до самой смерти. Он не мог оживить покойных

родителей прелестной девочки; знал он также, какой несравненной добродетелью обладала та, чьим заботам поручила ее мать, хотя к каждому воспоминанию о ней примешивалась двойная горечь: сожаление от утраты и ужас при мысли о судьбе, которую он на нее навлек.

Какое странное, непредсказуемое и вместе с тем неумолимое стечение обстоятельств привело его к моменту, когда он вынужден заменить ту, незаменимую! Она мертва — из-за его проклятых махинаций она больше не принадлежала к миру живых, — но каким же чудом он, спасаясь бегством от памяти и совести, решил искупить свою отчасти ненамеренную вину собственной смертью и очутился не где-нибудь, а в Треби! Еще более невероятными казались мотивы, что привели его в сумерках на кладбище, сделали могилу миссис Рэби сценой задуманной трагедии и побудили сиротку, оберегая святое место от осквернения, остановить его занесенную руку и тем самым найти в нем покровителя, — казалось, вся цепь событий держалась на одном тончайшем волоске.

Всякий человек, с кем в жизни хоть раз случалась трагедия, всякий, кто жил и надеялся и чье прошлое и будущее было разрушено одной-един-

ственной фатальной катастрофой, одновременно ужаснулся и поразился бы тому, как незаметно сложились воедино тысячи давно минувших, кажущихся незначительными и тривиальными событий, что привели к печальному концу и послужили невидимой сетью, опутавшей жертву, угодившую в ловушку рока. И если бы самые страшные из этих событий не приключились, процесс разрушения судьбы еще можно было бы остановить, но никто не закричал «Стойте!» и не предсказал еще не случившегося, потому будущее в полной мере унаследовало прошлые печали.

Пораженный удивительными совпадениями, что сопровождали и направляли его шаги и будто бы управлялись незримой, но ощутимой силой, которая ткет вокруг нас причины наших действий, Фолкнер подчинил этой неведомой воле свой прежде непоколебимый ум. Теперь не он вел, а его вели, и его это вполне устраивало; мятежный дух удивлялся новообретенному покою; вместе с тем Фолкнер был доволен собой, а перспектива оказаться полезным стоявшему рядом с ним беспомощному маленькому существу, слабому во всем — не имевшему никаких ресурсов, кроме этого неотразимого права на его помощь, — была ему так приятна, что он сам

удивлялся своим чувствам.

Перед отъездом он снова посетил кладбище в Треби вместе с сироткой. Та не хотела расставаться с могилами и с трудом согласилась оставить мать. Но миссис Бейкер беззастенчиво пользовалась привилегией взрослых обманывать малышей и наврала с три короба: то обещала, что девочка скоро вернется в Треби, то говорила, что она отправляется в богатый дом, где мама встретит ее живой и здоровой. Но, несмотря на ложные надежды, в последние визиты к могилам родителей девочка безутешно плакала и всхлипывала; Фолкнер пытался ее успокоить и говорил:

— Мы должны попрощаться с мамой и папой, дорогая моя; Господь забрал их у тебя, теперь я буду твоим новым папой.

Тут девочка, прижимавшаяся лицом к его груди, подняла голову и детским голоском, коверкая слова, произнесла:

— А ты будешь добр к маленькой и будешь любить ее, как папа?

— Да, милое дитя, обещаю любить тебя всегда; а ты полюбишь меня и станешь называть меня папой?

— Папочка, дорогой папочка! — воскликнула она и бросилась к нему на шею. — Мой добрый

новый папа! — И ему на ухо она нежно, но серьезно добавила: — Но новой мамочки у меня не будет — мне не нужна другая, только моя.

— Нет, дорогая, — со вздохом ответил Фолкнер, — у тебя никогда не будет новой мамочки; та, кто могла бы ею стать, умерла, и ты осталась круглой сиротой.

Через час они выдвинулись в Лондон, но, несмотря на неотступно терзавшие его мысли, Фолкнер все же отвлекался и невольно восхищался обезоруживающим обаянием своей маленькой подопечной, ее очаровательной невинностью и красотой. Мы, люди, так непохожи друг на друга, что порой сложно объяснить, почему некоторые из нас поддаются сильным импульсам, в то время как на других те совсем не действуют. Тем, кто не наделен родительским инстинктом, дети представляются зверьками, безобразными и надоедливыми; другие же видят в них обаяние, затрагивающее глубинные струны души и пробуждающее к жизни все самое чистое и щедрое в нашей природе. Фолкнер всегда любил детей. В индийской глуши, где он прожил много лет, вид молодой туземки с малышом нередко вызывал у него слезы зависти. Светлокожие и хрупкие дети европейских женщин с румяными щечками и зо-

лотистыми волосами пробуждали в нем доброту к их родителям, которых он в иных обстоятельствах не удостоил бы вниманием; обуреваемое жгучими страстями сердце успокаивалось при виде невинных детских проделок, а в силу природной энергии, которую ему редко удавалось полностью израсходовать, он с радостью бросался помогать попавшим в беду. Если даже случайно увиденный беспомощный младенец вызывал у Фолкнера прилив сочувствия, что уж говорить о таком прелестном создании, как Элизабет Рэби: при взгляде на нее это естественное побуждение человеческой души усиливалось стократ. Да и никто не смог бы при виде нее остаться равнодушным; ее серебристый смех проникал в душу; взгляд, попеременно серьезный и веселый, был пронизан любовью; объятия и ласковые слова, мягкое пожатие крошечной ладони и теплые розовые губы — она была сама красота и невинность. А он, несчастный человек, был очарован и жалел ее мать, вынужденную покинуть этот благоухающий цветок, который должен был расти в раю, лелеемый и укрытый на материнской груди, а вместо этого оказался предоставлен всем ветрам.

С каждой минутой спутница Фолкнера все

сильнее его очаровывала. Иногда они выходили из экипажа и поднимались на холм; взяв девочку на руки, он рвал для нее цветы с живой изгороди, а порой она убегала вперед и собирала их сама, безуспешно пытаясь отделить упрямую ветку плетистого кустарника и раня пальчики шипами; тогда он помогал ей и утешал ее. Потом они возвращались в экипаж, она забиралась к нему на колени и втыкала цветы ему в волосы, «чтобы папа был красивым»; а поскольку любая мелочь влияет на ум, чья чувствительность обострена страданиями, он таял, глядя, как она обламывает колючки шиповника, прежде чем украсить им его прическу. Бывало, она вплетала цветы в свои кудряшки и смеялась, глядя на отражение в стекле кареты. А иногда ее настроение менялось, и она принималась серьезно рассуждать о «мамочке». Спрашивала, не расстроилась ли мама, что ее малышка уехала в такую даль, или, вспомнив фантазии, которыми та делилась с ней после смерти отца, спрашивала, не летит ли мамочка с ними по воздуху. С наступлением сумерек она выглянула в окно и прислушалась. «Я ее не слышу; мама больше со мной не говорит, — сказала она. — Наверно, она слишком далеко, на той крошечной звездочке, и, значит, она нас видит.

Ты там, мамочка?»

Красоту и безыскусность проще изобразить на холсте, чем описать словами. Случись нам увидеть прелестную сиротку с поднятым вверх пальчиком изображенной на картине (а таких красивых детей часто изображали итальянские мастера, да даже наш собственный Рейнольдс); случись нам взглянуть в ее серьезные глаза, вопрошающе и ласково выискивающие в сумерках призрачную фигуру матери, будто та вот-вот спустится со звездочки, куда поместила ее детская фантазия; случись нам заметить ее полуулыбку, контрастирующую с серьезностью нахмуренных детских бровей, и вокруг картины собралась бы восхищенная толпа. Этому перу едва ли удастся передать живое изящество маленького ангела, однако сейчас оно было у Фолкнера перед глазами и пробудило в нем сперва жалость, затем глубочайшее раскаяние; он прижал малышку к груди и подумал: «Ах, я мог бы быть куда благороднее и счастливее! Предательница Алитея! Зачем ты сгинула и навек унесла эти радости с собой в могилу?»

Через несколько минут девочка уснула у него на руках. Она устроилась в его объятиях с непринужденной детской грацией; лицо во

сне успокоилось, но по-прежнему дышало нежностью. Фолкнер обратил взгляд к звездному небу. Его сердце преисполнилось нетерпения, и, подобно карте, перед ним развернулась вся его прежняя жизнь. Он желал лишь безмятежного счастья — счастья любви. Но его устремления превратились в змей, которые погубили других людей и обрекли на терзания его собственную душу. Он содрогнулся от угрызений совести при мысли об ужасах, которыми был отмечен его жизненный путь, но, несмотря на это, почувствовал, как внутри него происходит революция. О самоубийстве он больше не помышлял. То, что совсем недавно казалось проявлением мужества, теперь выглядело трусостью. Но раз он выбрал жизнь, где и как он ее проведет? Вспомнив свою одинокую юность, он ужаснулся, и все же ему казалось, что он больше никогда не сможет связать себя узами любви и дружбы.

Он посмотрел на спящую девочку и стал гадать, в силах ли та будет дать ему столь необходимое утешение. Не следует ли ему ее удочерить и приучать к любви, учить опираться лишь на него и становиться для нее целым миром, рассчитывая, что ее нежность и ласка наполнят очарованием его собственную жизнь — ведь без них даже пы-

таться продолжать существовать бессмысленно?

Он задумался, что ждет Элизабет, если он вернет ее в семью отца. О холодной показной доброте дальних родственников он знал не понаслышке; она наполняла его ужасом. Он не сомневался, что родственники Элизабет ничем не отличались от его собственных и были высокомерны и жестокосердны; об этом свидетельствовало их отношение не только к миссис Рэби, но и к собственному сыну, который казался Фолкнеру достойным человеком. Если отдать им сиротку, богатство и статус не заменят любовь и сердечную доброту. Такое мягкое, деликатное и привязчивое создание в подобной среде зачахнет и умрет. С ним же она, напротив, будет счастлива, а он посвятит ей себя полностью и будет удовлетворять все ее желания и бережно лелеять ее кроткий нрав; не будет она знать ни упреков, ни суровости; в беде он всегда раскроет ей свои объятия, а его твердая рука поддержит ее в опасности. Не такой ли судьбы желала бы для нее родная мать? Препоручив ее подруге, она подтвердила, что совсем не хочет, чтобы ее милая девочка попала в руки родственников мужа. Неужто он не сможет заменить подругу, которой столь жестоко ее лишил и чья смерть целиком на его совести?

Люди склонны полагать, что, избавившись от причины дурного поведения, они избавляются и от греха, а потом с чистой совестью совершают ту же ошибку уже по другой причине. Так и сейчас: хотя прошлые проступки еще терзали его больную совесть, Фолкнер вступил на ту же дорожку, которая вначале казалась невинной, но привела к трагическому исходу: он думал прежде всего о своих желаниях, а не о том, что сделать необходимо. Он не предвидел зла, которое несет его выбор, зато зло, которое могло свершиться, случись ему отказаться от столь понравившегося проекта, казалось непропорционально большим. Он не думал о том, какие беды могли ждать сиротку, случись их судьбам переплестись, ведь он как-никак был преступником, пусть и непредумышленно, и, возможно, в дальнейшем он будет призван к ответу или, по крайней мере, ему придется пуститься в бегство и скрываться. Он просто решил, что под его опекой и охраной Элизабет будет счастлива, а под присмотром родственников станет жертвой жестокого равнодушия. Все эти мысли сумбурно крутились в его голове, и он даже не замечал, что сплетает из них картину будущего столь же обманчивую, сколь привлекательную.

Через несколько дней пути Фолкнер и его юная подопечная прибыли в Лондон, и там он вдруг засомневался, зачем отправился именно туда, ведь у него не было никаких планов на будущее. В Англии у него не осталось ни родственников, ни друзей, чья судьба была бы ему небезразлична; он рано осиротел, а воспитателям не было до него дела или, по крайней мере, было недосуг проявлять к нему ласку; даже в детстве он близко знал и любил всего одного человека, и до недавнего времени его судьба находилась в распоряжении этой женщины, но теперь она умерла. Его почти мальчишкой отправили в Индию; там ему пришлось выбираться из нищеты, бороться с одиночеством и собственным мятежным нравом. В нем рано пробудилось обостренное чувство справедливости, отчего он стал горд и замкнут. Вскоре скоропостижно скончались несколько его родственников, и к нему перешло семейное состояние; он продал свои акции в Ост-Индской компании и поспешил на родину, думая лишь об одном; эта единственная мысль настолько захватила его сердце, что он почти не размышлял о своем одиночестве, а если и размышлял, то лишь радовался ему. Теперь же его самоуверенность и неуемные страсти привели к уничтожению

самого дорогого предмета его чаяний; и все же он был рад, что никто его не допрашивал, никто не удивлялся его решимости, не приставал с советами и упреками.

Однако план был необходим. Сам факт, что в его жизни было столько трагедий и сожалений, предписывал необходимость впредь быть предусмотрительнее. Возможно, о его преступлении уже знали или хотя бы подозревали. И, если не вести себя благоразумно, его ждали разоблачение и наказание, а поскольку любовь и ненависть двигали им в одинаковой степени, он не собирался оказывать своим врагам услугу, давая им возможность уличить его.

Нам кажется, что весь мир видит то, что написано крупными буквами на нашей совести. Прибыв в Лондон и оставив Элизабет в гостинице, Фолкнер вышел на улицу с ощущением, что о его преступлении всем известно, и когда встретил знакомого и тот спросил, где он пропадал, чем занимался и почему выглядит таким больным и разбитым, пробормотал в ответ что-то невнятное и поспешил прочь. Но друг схватил его под руку и произнес:

— Случилась странная вещь: никогда о таком не слышал… Я только что разошелся с приятелем

— помнишь мистера Невилла, с которым ты встречался у меня за ужином, когда в прошлый раз был в городе?

Тут Фолкнер прибегнул к своей поразительной способности контролировать мимику и голос и холодно ответил, что да, он его помнит.

— А помнишь, о чем мы говорили, когда он ушел? — продолжил его друг. — И как я хвалил его жену, восхищаясь ее добродетелью? Ах, эти женщины, кто их поймет! Я готов был поспорить на любые деньги, что она не опорочит свое доброе имя, — а она сбежала с любовником!

— Да неужели! — ответил Фолкнер. — И это все? Это та странная вещь, о которой никто никогда не слышал?

— Знал бы ты миссис Невилл, — ответил его спутник, — удивился бы не меньше моего: ведь, несмотря на все ее очарование и жизнерадостность, она ни разу не была вовлечена в скандалы и казалась одной из тех, чье доброе сердце неуязвимо перед стрелами Амура, кто способен на теплую привязанность и вместе с тем отворачивается от страстей, остается выше них и никогда им не поддается. И гляньте: сбежала с любовником! В этом не может быть сомнений, есть свидетели; их заметили вдвоем, когда они уезжа-

ли; и с тех пор от нее не было ни весточки.

— А мистер Невилл не снарядил погоню? — спросил Фолкнер.

— Он даже сейчас их ищет и клянется отомстить; малый разъярен, я в жизни его таким не видел. Увы, он не знает, кто соблазнитель, и беглецы не оставили следов. Но вся эта история весьма загадочна; любовник словно с Луны свалился, подчинил себе самого ангела добродетели, и скрылись они почти мгновенно! Но их должны найти; не могут же они вечно прятаться.

— И что тогда будет? Смертельная дуэль? — тем же ледяным тоном поинтересовался Фолкнер.

— Нет, — ответил его приятель. — У миссис Невилл нет брата, за нее некому стреляться, а муж признает только закон. Он отомстит законными методами и пойдет до конца; он слишком зол, чтобы драться на дуэли.

— Ну и трус! — воскликнул Фолкнер. — Так он лишится единственного шанса поквитаться.

— Я бы не был так уверен, — ответил спутник. — Он уже составил тысячу планов, как наказать обоих преступников, и всё куда страшнее благородной смерти; в нем пробудились истинная злоба и негодование, и он, кажется, торжествует при мысли, что накажет виновных не смертью,

а бесчестьем. Сыплет загадочными угрозами — я, право, не знаю, чем именно он располагает; кажется, есть компрометирующие письма — и твердит, что, как только раскроет личность обидчика — а когда-нибудь это непременно произойдет, — на того обрушится вся его свирепая месть, хотя гордиться тут, я полагаю, нечем. Бедная миссис Невилл! Теперь я думаю, что не так уж она была счастлива с таким мужем.

— Пора прощаться, — промолвил Фолкнер, — мне в другую сторону. Странную ты рассказал историю — любопытно будет узнать, чем все кончится. Прощай!

Несмотря на смелость, граничившую с дерзостью, Фолкнер отпрянул и едва не задрожал, услышав этот рассказ. Он прекрасно понимал, о каком отмщении говорил мистер Невилл, и решил такого не допустить. Планы, прежде туманные, мгновенно обрели более отчетливые очертания. Губы скривились в презрительной ухмылке, когда он вспомнил, что говорил его друг об окутанных тайной последних событиях; он проследит, чтобы обстоятельства этого дела стали в десять раз более запутанными. Горевать о прошлом было бессмысленно; точнее, никакие поступки не помогли бы избавить Фолкнера от

терзавшего его мучительного раскаяния, но это не должно было влиять на его поведение. Он не без удовлетворения представил, как его соперник корчился в муках, не имея возможности отомстить, слепо проклиная неизвестного обидчика, который тем временем удалялся туда, где никакие проклятья ему не грозили. В соответствии со своим планом наутро он отправился в Дувр, взяв с собой Элизабет и решив обрести забвение в дальних странах и незнакомой среде. В то же время он был рад, что девочка едет с ним, так как ее детская ласка уже пролила бальзам на его нагноившиеся раны.

Глава V

Путешественники ненадолго остановились в Париже. Тут, в соответствии с планом запутать следы, Фолкнер оформил несколько денежных переводов. Разложив перед собой карту Европы, он начертил на ней карандашом на первый взгляд бессистемный, но на самом деле продуманный маршрут. Париж, Гамбург, Стокгольм, Санкт-Петербург, Москва, Одесса, Константинополь, Венгрия и, наконец, Вена. Как много миль! В путешествии он наконец станет хозяином своей души и не будет бояться посторонних взглядов; никто не задаст ему коварных вопросов. Он будет смело смотреть в лицо каждому встречному, и никто не распознает в нем преступника.

Брать маленькую девочку в такой извилистый и долгий путь было безумием, но именно ее присутствие пролило золотые лучи на этот бескрайний проект. Он не мог отправиться в путешествие в одиночку, сопровождаемый лишь памятью и совестью. Увы, он не принадлежал к тем людям, в ком ясный взгляд и добрая улыбка мгновенно пробуждают огонек; да, этот огонь

быстро сгорает, но греет и веселит, пока теплится, и не причиняет вреда. Он не отличался непринужденностью духа, помогающей сразу разглядеть хорошее в незнакомых людях и таким образом завести друзей, что отличались бы умом и добротой. То был большой изъян его характера. Он был горд и замкнут. Его расположение необходимо было завоевать; он сближался с людьми лишь в силу длительной привычки и выбирал только тех, кто соответствовал его придирчивому вкусу и с кем он мог бы свободно делиться своими фантазиями; в противном случае он был молчалив и погружен в себя. Всю жизнь он лелеял тайную пламенную страсть, в сравнении с которой все казалось пресным; с годами любовные надежды сменились гложущей болью раскаяния, но все же сердце его до сих пор ими питалось, и если сердцу ничего было не мило, а сила привязанности не заставляла его выйти из своей раковины, он чувствовал себя несчастным. Представляя, как он прибывает в гостиницу, где его никто не ждет, бродит по незнакомым улицам и городам безо всякого стимула, интереса и любопытства, в одиночку преодолевает огромные отрезки пути — бессмысленное действие для большинства и тягостное для него самого, — он

понимал, что будет невыносимо. Другое дело — путешествовать вместе с Элизабет; ее улыбки и нежность, осознание, что он нужен ей, вдохнули жизнь в его замысел. Он полюбил этого ангела невинности и чувствовал, что девочка тоже его любит; это вызывало у него благоговейный восторг. Тем временем Элизабет росла и становилась существом с интеллектом и предпочтениями, надеждами, страхами и привязанностями, и все они были ее собственными, однако она во всем ориентировалась на него, так как он был центром ее мира, без него она не смогла бы прожить и всецело ему принадлежала — не как утраченная любовь его юности, что была с ним лишь в воображении, но мыслями и чувствами навек.

Он планировал организовать путешествие таким образом, чтобы не переутомить девочку и не навредить ее здоровью. Его не заботило, сколько времени на это уйдет; возможно, годы, но сколько, он точно не знал. Зимой, когда переезды становились затруднительными, он планировал останавливаться в крупных городах, купающихся в роскоши. Летнюю жару — пережидать на какой-нибудь вилле, где особенности климата не казались бы такими неприятными. Он мог бы по несколько месяцев проводить в любом

месте, если бы ему захотелось, но его дом был рядом с Элизабет в их дорожном экипаже. Он рассудил, что постоянное передвижение с места на место собьет с толку любого преследователя, а переменчивый образ жизни, мелкие заботы и мимолетные удовольствия бродячего существования займут его ум и не дадут разгореться страстям, которые уже повлекли за собой гибель одной жертвы и заставили его ненавидеть себя до скончания дней. «Я выбрал жизнь, — думал он, — и потому должен спланировать ее. Я должен изобрести метод, благодаря которому буду проживать каждый день от начала до конца, имея на это определенный запас терпения. Каждый день у меня будет одна задача; пока я занят ее выполнением, я не буду думать ни о прошлом, ни о будущем; так дни будут складываться в недели, недели в месяцы, а месяцы в годы, и я состарюсь, путешествуя по Европе».

Дав себе это обещание, он с готовностью начал путешествие и осуществил его в полном соответствии с планом; небольшие изменения маршрута, внесенные позже из соображений удобства или предпочтений, скорее продолжали первоначальный замысел, чем нарушали его.

Фолкнер не принадлежал к людям, о которых

можно сказать: «Это совсем обычный человек». В нем бушевали дикие, неистовые страсти, однако натура его притом была чрезвычайно чувствительной, милосердной и щедрой. В детстве из-за своего бурного нрава и склонности гневаться по пустякам он был несчастен. Общение с себе подобными и осознание, что равные ему достойны уважительного обращения, а слабые — справедливости, умерили его пыл, и все же при любом нарушении планов или при виде несправедливого обращения с окружающими у него вскипала кровь, и он с большим трудом научился скрывать внешние проявления презрения и негодования. Чтобы усмирить свою горячность, он пытался обуздать воображение и культивировать логику; ему казалось, что это ему удается, хотя на самом деле он терпел полную неудачу. Теперь на его попечении находилась сиротка, которую он увез от кровных родственников, от уклада и обычаев родной страны, от школьной дисциплины и общества представительниц ее пола, и не будь Элизабет такой, какая она была, — натурой, в которую никакие обстоятельства не в силах внести дисгармонию, — этот эксперимент мог бы закончиться плачевно.

И все же он искренне надеялся, что путеше-

ствие его осчастливит. Преодолевая большие расстояния с огромной быстротой, лишенный общения с кем-либо, кроме Элизабет, которая с каждым днем все больше очаровывала его мягкостью своего нрава, он почти забыл о черве, глодавшем его душу, и, чувствуя себя свободным, решил, что счастлив. Увы, это было не так; он перешел роковой Рубикон совести, отделяющий невинную жертву от преступника, и, хотя порой удавалось приглушить остроту чувств, как и отсрочить неизбежное наказание — последствие вины, — на его душе по-прежнему лежал груз и лишал его жизнь всякой радости, а его попытки получать удовольствие больше напоминали эксперименты врача, пытающегося смягчить симптомы болезни, чем яркие ощущения здорового человека.

Но потом он стал думать не о себе и существовать не ради себя, а ради излучающего счастье создания, находившегося рядом с ним. Жизнерадостность была преизобильна. Элизабет напоминала поникший в холоде экзотический саженец, который недавно срезали и в начале теплой южной весны вернули в родной климат. На благодатном воздухе молодые нежные листочки раскрылись, средь листвы показались

цветы, а вскоре можно ждать появления сладких плодов. Она привязалась к своему благодетелю не только из-за его доброты; это теплое чувство во многом сложилось благодаря их необычному образу жизни. Поселись они в одном месте, в стране, городе или цивилизованном государстве, Элизабет виделась бы со своим опекуном в определенные часы, иногда гуляла бы с ним или играла рядом в саду; у них были бы разные цели и занятия и мало общего. Теперь же они никогда не разлучались и сидели рядом в дорожном экипаже; вместе приезжали в новое место и вместе его покидали, и в каждом городе посещали достопримечательности. Все радости и неприятности путешествия они делили поровну, и каждая превратность усиливала в ней доверие к нему, а в нем — желание ее защищать; а бывало, они менялись местами, и, несмотря на юный возраст, она успокаивала его нетерпение, а ее веселый голосок и улыбающееся личико избавляли его от раздражительности. Элизабет явственно ощущала скреплявшую их нить. Порой ночь заставала их в дороге; бывало, на пути у них разливалась река, попадалась плохая гостиница, где они вместе терпели неудобства, или вовсе приходилось ночевать в карете. Дрожащая от страха или из-

мученная усталостью Элизабет всегда находила в приемном родителе опору, приют и защиту. Когда она подбиралась к нему ближе и он сжимал ее маленькую ручку в своей ладони или нес девочку на руках, она ничего не боялась, ведь он был рядом. Если на море поднимался шторм, он загораживал ее от свирепого ветра и нередко сам подставлял лицо непогоде, лишь бы укрыть ее и спасти от дождя и холода. Он всегда был готов ей помочь, и помощь эта словно исходила от высшего существа, способного уберечь ее от вреда и вдохнуть в нее мужество. На других детей подобные обстоятельства, возможно, не произвели бы впечатления, но душевные струны Элизабет были столь чувствительны и деликатны, что реагировали на малейшие изменения гармонии.

Она не забыла время, когда, всеми брошенная, ходила едва ли не в лохмотьях, слышала лишь брань да упреки и одна прокрадывалась по берегу к могиле матери. Случись буря, никто не укрыл бы ее и не унял ее страхи. Она вспоминала маленькие неприятности, что иногда с ней приключались и казались страшными опасностями. Некому было спасти ее от бед и спрятать в безопасном месте. Однажды на церковном дворе ее застигла гроза; она поспешила домой, поскольз-

нулась, пытаясь спуститься с утеса по мокрой тропинке, испугалась, снова вскарабкалась наверх и пошла по дороге. Там она заблудилась; сгустились сумерки; промокшая, уставшая, дрожащая от холода и страха, она пришла домой, но вместо приветствия ее отругали, хоть и не со зла, но громко, грубо и обидно. Какой же контраст с этой прошлой жизнью составляло ее нынешнее существование! Ее защитник предугадывал любое ее желание и читал ее мысли, был вечно бдителен и готов помочь, и все его старания сопровождались нежностью, добротой и даже уважением, на которые была щедра его пылкая и благородная душа. Так в детском сердце постепенно родилась благодарность, предвестница чувства морального долга, которому предстояло развиться в последующие годы. С каждым часом ее любовь к нему крепла, привычка взращивала верность и привязанность, которую никакие обстоятельства не смогли бы поколебать.

Однако их соединяла не только его доброта. Элизабет почувствовала его печаль и пыталась развеять уныние. Порой его неистовый нрав обрушивался на других людей, но Элизабет не пугалась, а лишь жалела; если же ей казалось, что его гнев несправедлив, она заступалась за

обиженного и лаской побуждала своего покровителя опомниться. Она рано усвоила, что имеет над ним власть, и из-за этого любила его еще сильнее. Таким образом между ними существовал постоянный взаимообмен благодеяниями, внимательной заботой, терпением, ласковым сочувствием и благодарностью. Если вам кажется, что сиротка по возрасту не была способна на такое, не забывайте, что в чрезвычайных обстоятельствах у людей развиваются чрезвычайные способности, а если какое-то свойство пока не проявилось полностью, это не значит, что его нет. Элизабет не могла выразить цепочку описанных здесь чувств и даже не осознавала, что их испытывает, но все они являлись частью микрокосма растения, пока еще свернувшегося внутри семечка. Порой мы смотрим на зеленую, не сформировавшуюся почку и размышляем, как та становится листом определенной формы и почему лист другого растения не может вырасти на этом темном стебле; а стоит крошечному листочку развернуться, он предстает перед нами во всей своей неповторимости, но вместе с тем сохраняет отличительные признаки вида. Так и Элизабет, хоть и была беспечной и невинной, как все дети, уже проявляла некоторые призна-

ки внутренних качеств: нежность, верность и непоколебимая честность пока дремали в ее сердце, как нераспустившиеся цветы, но обещали раскрыться по мере того, как ее ум наполнялся идеями, а смутные ощущения формировались в окрепшие убеждения.

Опишем, как она менялась с годами. Ей было шесть, когда они покинули Париж, и исполнилось десять, когда после долгих скитаний, преодолев огромные расстояния, они прибыли в Одессу. Элизабет всегда отличало особое сочетание детской игривости и задумчивости, и, даже повзрослев, она его сохранила. Ей нравилось то, что обычно любят дети намного младше, — гоняться за бабочками, собирать цветы, играть с любимыми животными и с интересом слушать волшебные сказки о самых невероятных приключениях; и вместе с тем она замечала все перемены в том, кого называла своим отцом, подстраивалась под его мрачное или разговорчивое настроение, обнимала его, когда ей казалось, что он раздражен, и старалась скрывать дискомфорт, так как его сильно расстраивало, если она уставала или вынуждена была мокнуть и мерзнуть в непогоду.

В Санкт-Петербурге он заболел, и она ни на минуту от него не отходила; вспомнив смерть своих

родителей, она чахла от горя и страха. В другой раз, в российской глубинке, она заболела корью. Они были вынуждены остановиться в убогой хибаре; он ухаживал за ней, но, несмотря на все его усилия, без вмешательства врача ее жизнь была под угрозой, и в этих скверных условиях поправлялась она долго и трудно. Ее прекрасные глаза потускнели, маленькая головка безжизненно поникла. Но даже родная мать не пеклась бы о ней так усердно, как Фолкнер, и после она еще долго вспоминала, как ночью он сидел у ее кровати, подносил питье, разглаживал подушку, а когда ей немного полегчало, взял ее на руки и отнес в тенистую рощу, чтобы она подышала свежим воздухом, но при этом не переутомилась. Эти события никогда не забывались, они составляли красоту и радость их жизни, неотъемлемые, как неотъемлемы от розы ее цвет и аромат. Фолкнер подчас испытывал угрызения совести оттого, что позволял себе наслаждаться присутствием девочки, зато ее восторженное и трепетное обожание к нему не знало границ, и она наслаждалась этим необъятным изобилием.

Глава VI

Поздней осенью путешественники прибыли в Одессу, откуда им предстояло отплыть в Константинополь, в окрестностях которого они планировали перезимовать.

Не стоит полагать, что Фолкнер путешествовал с роскошью и размахом, как истинный *milord anglais*[8]. Карета у него была всего одна — открытая коляска; собственного слуги не имелось, а женщин, нанимаемых для Элизабет, приходилось часто менять. Парижанка, с которой они начали путь, отчаялась уже по прибытии в Гамбург. На смену ей взяли немку, но в Стокгольме ее пришлось уволить. Нанятая следом шведка в Москве заскучала по дому, и в Одессу они прибыли без слуг. Фолкнер не знал, что делать; требования, капризы и жалобы иностранных нянек его утомляли, но Элизабет не могла обойтись без спутницы своего пола, и вот по прибытии в Одессу он немедленно взялся наводить справки и искать таковую. Откликнулись несколько совершенно неподходящих кандидатур; Фолкнера

---

[8] Примечания: 8
Английский лорд (*фр.*).

лишь разозлили их непомерные требования и полная несостоятельность.

Наконец к нему привели женщину, похожую на англичанку; ею она и оказалась. Ниже среднего роста, осанистая, она держалась скромно и сдержанно, а ее опрятность и молчаливость были необычны для служанки и весьма приятны в сравнении с бурной мимикой, крикливыми голосами и неуемными претензиями иностранок.

— Слышала, вы ищете служанку для мисс Фолкнер на время путешествия до Вены; буду рада, сэр, оказать вам свои услуги, — произнесла она.

— Вы служите горничной в семье англичан? — спросил Фолкнер.

— С вашего позволения, сэр, я не горничная, а гувернантка, — чопорно ответила миниатюрная женщина. — Я много лет жила у одной русской дамы в Санкт-Петербурге; потом та привезла меня сюда, а теперь уехала и бросила меня тут.

— Как же так? — воскликнул Фолкнер. — Это несправедливо! Как это произошло?

— По прибытии в Одессу, сэр, эта дама, прежде не проявлявшая особого религиозного рвения, стала настаивать, чтобы я приняла ее веру; я отказалась, и тогда она поступила со мной весьма непорядочно, если позволите заметить, а сама на-

няла девушку-гречанку, оставив меня без средств к существованию.

— Вы пострадали за веру, — с улыбкой подметил Фолкнер.

— На роль мученицы я не претендую, — ответила женщина, — но я родилась и выросла в протестантской семье и не хочу притворяться, что верю в то, чего на самом деле не признаю.

Фолкнера удовлетворил такой ответ, и он внимательнее рассмотрел соискательницу. Она не была безобразной, хотя на ее лице остались небольшие отметины от оспы; черты были непримечательными, рот казался упрямым, а светло-серые глаза, подвижные и умные, все же не могли исправить общего впечатления невзрачности, так как были очень маленькими, а на веках и надбровьях остались следы недуга. Одним словом, женщина не была отталкивающей, но и ничем не привлекала.

— Вы понимаете, что мне нужна служанка, а не гувернантка? — спросил ее он. — У моей дочери нет других слуг, и вы должны обеспечить ей уход, к которому она привыкла, и не считать себя выше этого.

— Я не возражаю, — ответила она. — Мне больше всего хочется покинуть это место, и не за свой

счет. В Вене я без труда найду подходящую работу; мне бы добраться до Германии в обществе порядочных людей, так что я буду признательна вам, сэр, если вы не поставите мне в упрек мое затруднительное положение и поможете землячке в беде.

Фолкнеру понравились ее прямота и жизнестойкость, полное отсутствие претензий и манерности. Он расспросил женщину о ее опыте работы и решил, что в качестве гувернантки она тоже пригодится Элизабет. Прежде он нанимал учителей по разным предметам, однако подобное бессистемное образование не привило девочке ни усердия, ни привычки к ежедневному труду, которые и являются главной целью образования. В то же время он очень боялся оплошать с выбором компании для своей подопечной и извелся от тревоги из-за постоянно сменяющихся нянек. Он внимательно рассмотрел стоявшую перед ним даму: никаких претензий, все просто, без лукавства; соблюдая вежливость, она тем не менее выражалась прямо и немногословно, говорила тихо и спокойно, но не тушевалась и не запиналась. Он спросил ее о вознаграждении; она ответила, что ее цель — бесплатно добраться до Вены, а сверх этого ей нужно немного; работая

гувернанткой, она получала восемьдесят фунтов в год, но, поскольку ей предстоит быть обычной служанкой, она попросит всего двадцать.

— Но я хочу, чтобы вы выполняли обе эти роли, — ответил Фолкнер, — объединим две суммы, я заплачу вам сто.

Луч радости на миг осветил лицо маленькой женщины, но она ответила неизменившимся тоном:

— Я буду очень признательна, сэр, если вы так решите.

— Однако вы должны понимать нашу ситуацию, — продолжил Фолкнер. — Я упомянул Вену, но путешествую ради удовольствия без четких сроков и маршрута. Я не поеду в Германию сразу: мы будем зимовать в Константинополе. Возможно, мне захочется задержаться в тех краях и после Греции отправиться в Италию. Вы не должны настаивать, чтобы я отвез вас прямиком в Вену; возможно, вам будет достаточно попасть в любое цивилизованное место и обосноваться там, а после вы найдете другую семью, которая едет туда, куда вам нужно.

Она согласилась, но со всей серьезностью стала настаивать, чтобы он попросил ее рекомендации у респектабельных семей из Одессы, где она преж-

де работала; иначе, сказала она, он сам не сможет выдать ей достойную рекомендацию. Фолкнер исполнил ее просьбу. Все отзывались о ней наилучшим образом, хвалили ее порядочность и доброту души. «Мисс Джервис — чудеснейшее создание, — сказала жена французского консула, — англичанка до мозга костей: дотошная, чопорная, немногословная, спокойная и холодная. Если что-то противоречит ее правилам, она этого делать не станет ни за что. После того как прежняя хозяйка бросила ее самым постыдным образом, она могла бы жить в моем доме — или в домах четырех или пяти других своих знакомых — и не делать ровным счетом ничего, но она предпочла взять учеников и зарабатывать деньги репетиторством. Возможно, так она пыталась накопить на путешествие, но мы обнаружили, что она посылает деньги в Англию неимущему родственнику и, даже находясь здесь, не забывает поддерживать нуждающихся. У нее золотое сердце, хотя с первого взгляда и не скажешь».

Довольный этим отзывом, Фолкнер решил, что ему повезло обзавестись такой помощницей. В то же время он опасался, что ее присутствие существенно его стеснит. Служанка была лицом незначительным, но гувернантка — та требовала

внимания: к ней следовало относиться как к равной, она станет третьей в их с Элизабет компании. Его замкнутость и тяга к автономности теперь будут сражаться с уважением к чувствам другого человека. Он будет вынужден говорить, хотя хотел бы помолчать; слушать и отвечать на легкомысленные замечания; осознавать, что рядом с ним ежечасно присутствует чужой человек. Все это казалось ему огромным недостатком, но через несколько дней, проведенных в компании новой спутницы, его опасения развеялись. Мисс Джервис обладала многочисленными скрытыми добродетелями, но считала главной из них безукоризненное соблюдение правил поведения: «Единственный ей ведомый обычай — ни разу не сойти с тропы приличий»[9]. Проживание в доме одинокого мужчины несколько противоречило ее понятиям, но чрезвычайная ситуация, в которой она оказалась в Одессе, не оставила ей выбора. Она попыталась уравновесить это зло, стараясь как можно реже попадаться на глаза своему нанимателю. К роли гувернантки ее готовили с детства; все в ней соответствовало этому занятию, и она думала лишь о старательном

---

[9] Примечания: 9
Александр Поуп «Послание к леди» (пер. В. Л. Топорова).

исполнении своего долга. Она использовала простые методы, ставила перед собой четкую цель и уверенно к ней шла; никакие причуды воображения не могли заставить ее отклониться от жестко намеченного прямого курса. Даже в самых сокровенных мечтах она никогда не претендовала на положение выше своего статуса. Единственным долгом для себя почитала усердное и добросовестное выполнение учительских обязанностей и благодаря своему благоразумию, порядочности и неустанному трудолюбию добивалась гораздо больших успехов, чем можно было ожидать от человека столь скромного и неприметного.

С самого начала ее власть над новой ученицей была существенно ограниченна, поэтому наставнице пришлось завоевывать уважение девочки, не пытаясь управлять ею с помощью выговоров. Понадобилось много труда, чтобы пробудить в Элизабет желание учиться; заручившись ее согласием на занятие тем или иным предметом, она терпеливо и упорно поддерживала этот интерес и обучала ее с таким усердием и рвением, что Элизабет стало стыдно отвечать невнимательностью, которая граничила бы с неблагодарностью. К тому же вскоре пробудились любопытство и тяга к знаниям. Ум Элизабет по своему возвышен-

ному строю находил нечто сродное в занятиях науками. Новые идеи складывались в единую систему, приводя к ощущению порядка и контроля; это вызывало желание совершенствоваться. Фолкнер сам отличался недюжинным умом, но получил бессистемное образование; он никогда не жил среди образованных и начитанных людей. Его разум был по-своему силен, но знания обрывочны и хаотичны. Так, он славился наблюдательностью и пылкостью воображения, но все это были качества врожденные, неразвитые и не обогащенные чтением книг. Его ни в коем случае нельзя было назвать педантом. Мисс Джервис, напротив, была очень педантична, и вдвоем они оказались более полезны Элизабет, чем по отдельности. Фолкнер втолковал ей, как важно учиться; мисс Джервис познакомила ее с идеями и опытом великих людей. Подобно всем молодым и горячим умам, полным рвения, Элизабет с бесконечным восторгом зачитывалась античной историей, погружалась в биографии и вскоре нашла для себя образцы для подражания, на которые равнялась в мыслях и поведении, исправляя свои недостатки и стремясь стать честной и великодушной, как те, чьи судьбы она впитывала с замиранием сердца и блеском в глазах.

Между Фолкнером и гувернанткой имелось еще одно существенное отличие: та никогда не хвалила свою подопечную — такое у нее было правило. Она лишь требовала от ученицы должного: упущение было тяжелым проступком, а исполнение — чем-то само собой разумеющимся, избавляющим от упреков, но не более того. Фолкнер, напротив, был полон нежности и энтузиазма и считал малышку крайне одаренной; несмотря на сдержанность в проявлениях своих чувств, он не скрывал, что обожает Элизабет. Он щедро осыпал ее похвалами — она даже плакала от счастья, их услышав, — но, как ни странно, девочка проявляла больше рвения ради скупой оценки мисс Джервис и сильнее ей радовалась. Гувернантка и приемный отец возбуждали в ней два разных чувства. Она любила своего защитника за его горячую поддержку, лучший из его даров ей, но мисс Джервис воспитывала в ней самокритичность и укрепляла желание совершенствоваться. Таким образом взращивалась восприимчивость натуры, а самодовольство держалось в узде; перед мисс Джервис невозможно было выпячивать какие-то заслуги — высшей целью стало не оказаться недостойной. Девочка быстро смекнула, что Фолкнер хвалит ее потому, что любит, а не за

реальные достижения; она любила его за это, но отнюдь не гордилась собой.

Фолкнер же восхищался ее успехами. Как многие самоучки и люди без образования, он питал уважение к знаниям и легко обманывался, принимая малое за великое; радовался, когда Элизабет пересказывала ему описанные в учебниках истории чудеса и обрисовывала характеры героев Античности, повествовала об их подвигах и цитировала их слова. Однако его воображение и острая наблюдательность оказались ей очень полезны. Он внимательно анализировал поступки ее любимых героев и благодаря страстному и рефлексирующему уму комментировал все темы и учил соотносить каждую максиму и хваленую добродетель с ее собственными чувствами и обстоятельствами; таким образом закладывались принципы, которыми Элизабет предстояло руководствоваться всю жизнь.

Мисс Джервис обучала девочку не только «мужским» предметам: в учебную программу также входило шитье; она тщательно прививала своей подопечной привычку к порядку и опрятности, и в итоге Элизабет избежала опасности остаться без тех навыков, в отсутствие которых любая женщина чувствует себя несчастной и в опре-

деленной мере бесполой. Сама же гувернантка оказалась чрезвычайно ненавязчивой, никогда не причиняла неудобств нанимателю, не заявляла слишком явно о своем присутствии; сидела в углу коляски с книгой в руках и взяла за правило, словно призрак, никогда не заговаривать первой, пока к ней не обратятся. В оседлые же периоды — когда они останавливались в гостиницах и когда прибыли в Константинополь — она и вовсе не докучала им. Поначалу Фолкнер из вежливости приглашал ее на совместные экскурсии и прогулки, однако мисс Джервис столь остро ощущала неприличие появляться в обществе джентльмена безо всякого сопровождения, кроме одного лишь ребенка, что предпочитала оставаться дома. Полюбовавшись прекрасным пейзажем, надышавшись божественным свежим воздухом и насладившись лучшими в мире видами, Элизабет возвращалась и всегда обнаруживала гувернантку на одном и том же месте, вдали от окна (в Лондоне ей внушили, что выглядывать наружу неприлично), несмотря на то что за окном раскинулись великолепные природные панорамы; мисс Джервис шила или учила язык, который впоследствии мог повысить ее востребованность как гувернантки. Она объездила половину циви-

лизованного мира и часть нецивилизованного, но везде следовала предрассудкам и привычкам, приобретенным в Англии; золотой луч воображения ни разу не осветил унылый ум, а если и были в ней чувства, что смягчали натуру, она усердно их скрывала. Однако ее спокойствие, справедливость, надежность и полное отсутствие претензий невозможно было не уважать и даже почти любить.

Трио путешественников, хоть и состоявшее из людей совершенно разного склада, объединяла тайная гармония; никогда между ними не возникало разлада. Мисс Джервис чувствовала, что ее ценили; Элизабет слушалась ее во всем, что касалось обучения, и тем ее полностью удовлетворяла. Фолкнер видел полезное влияние мисс Джервис и с радостью отмечал, как воздействуют дисциплина и знания на характер его обожаемой подопечной: так из глыбы паросского мрамора вырастает статуя, обтесываются все углы, все лишнее на поверхности, все грубое, и постепенно проступает умное благородное чело, серьезный любопытный взгляд, уста — обитель чувств — и новая красота, одухотворенная внутренними устремлениями души. С развитием ума усилились мягкость и нежность; девочка стремилась

к мудрости и благости — отчасти чтобы угодить любимому отцу, но главным образом потому, что ее юный ум понимал, как полезны и хороши знания.

Если что и могло залечить гноящиеся раны Фолкнера, так это безупречность юной Элизабет. Вновь и вновь он твердил себе, что, если бы ее воспитали холодные и скупые душой люди, самые благородные качества были бы уничтожены или сделали бы ее несчастной. Растя девочку счастливой и добродетельной, он надеялся отчасти искупить прошлое. Бывало, его захлестывали раскаяние, сожаление и отвращение к себе, и большую часть времени он, без преувеличения, ощущал себя несчастным. Но иногда словно солнце выглядывало из-за туч, хотя Фолкнер не мечтал снова его увидеть, и тогда он радовался наступившему облегчению и надеялся, что худшие мучения позади.

В этом он вопиюще ошибался. Судьба дала ему передышку на несколько лет, но невинная кровь по-прежнему взывала к отмщению, а совершенное им зло оставалось безнаказанным; хотя он на время ушел от ответственности, его преступление нанесло людям обиду и озлобило их, а несчастье, которому он был единственной

причиной, настигло его неожиданно и застало врасплох.

Глава VII

Прошло еще три года; юная Элизабет росла, и вот теплым летом путешественники решили остаться на сезон в Бадене. Они вели очень уединенный образ жизни, и Фолкнер не собирался изменять этому правилу, но, к удовлетворению своему, замечал, что на его приемную дочь обращают внимание различные благородные дамы и начинают ее обхаживать; их пленял облик молодой англичанки — ее чистая кожа, золотистые локоны и живость, уравновешенная кротостью.

Элизабет была восторженна и дружелюбна, благодарно откликалась на малейшие проявления доброты и чувствовала, что никогда не сможет выплатить огромный долг своему благодетелю, хотя постоянно пыталась это сделать. Она любила перебирать в уме печальные дни, когда под опекой ужасной миссис Бейкер имела все шансы испытать на себе тяготы самой отчаянной нищеты, невежества и ожесточения. Как память о тех временах она хранила свои маленькие заношенные ботиночки, сплошь дырявые и уже не налезающие ей на ноги. Она помнила, как

часами бродила по берегу без присмотра, иногда с книжкой, по которой мать учила ее буквам, и строила песочные замки, украшая их камешками и сломанными ракушками. Однажды она построила церковь и кладбище с тенистым уголком, где одним надгробием были помечены две могилы, и вдруг услышала громкий грубый голос, оторвавший ее от ее занятия. «Маленькая мисс, пора ужинать! — кричала миссис Бейкер. — Да поможет мне Бог! Кто бы еще тебя кормил, если б не я?» Вспоминала она и насмешки детей миссис Бейкер, которые сравнивали свои воскресные наряды с ее поношенным платьем; и крошечный кусочек пирога, который отдали ей после того, как остальные вдоволь полакомились, да еще с издевкой, от которой ее сердце вспыхнуло, а к горлу подкатил комок; пирог она съесть не смогла и отдала его птицам, за что ее побили: мол, нечего выбрасывать еду. Как отличалась та жизнь от жизни с ее благодетелем, который окружал ее вниманием, лаской и уважением! Она размышляла об этом и в своих мыслях возвела его почти в святые, а поскольку была еще совсем юна, ее сердце искало случая продемонстрировать глубокую и невыразимую благодарность, которой полнилось ее существо.

В действительности она тоже много для него делала, но не догадывалась об этом. Сам ее вид был ему приятен и являлся почти единственной радостью. Снедаемый разочарованием, унынием и раскаянием, он находил утешение лишь в ее безыскусной болтовне и в осознании добра, что ради нее совершал. Она это чувствовала и всегда была начеку, следила за его настроением и всячески старалась его успокоить. Причина его страданий была ей неизвестна; она не ведала о роковых воспоминаниях, являвшихся к нему в ночной тиши и затуманивающих светлый день сумрачным покровом. Она не видела бледную укоризненную фигуру, что часто являлась ему, вызывая ужас и содрогание; не слышала звеневших в его ушах криков и не лицезрела ту, что лишь недавно стояла перед ним, лучась красотой и жизнью, а теперь безжизненно уплывала на мутных волнах. Эти мучительные картины безмолвно терзали его несчастную душу, а Элизабет видела лишь тень, которую они на него бросали, и стремилась ее развеять. Почувствовав, что темная минута миновала благодаря ее усилиям, она преисполнялась гордости и счастья. Когда же он говорил, что она спасла ему жизнь и стала единственной нитью, привязывающей его к это-

му миру, что уберегла его от страшной погибели и вечных мук и отчаяния, ее любящее сердце вспыхивало восторгом и она горячо клялась век оставаться с ним рядом и сполна выплатить ему весь несметный долг. Поистине противоположности притягиваются: не существовало более крепкой привязанности, чем между этим мужем скорбей и счастливым невинным ребенком. Он, измученный страстями и угнетаемый виной, с чело́м, испещренным следами многолетних мук, и она — чистая, свободная и лишь начинающая жить, невинная как ангел и движимая лишь самыми неэгоистическими чувствами. Привычка и время лишь укрепили их взаимосвязь, взаимный интерес и взаимную выгоду, и все их мысли и сны были только друг о друге. Родительский и дочерний долг нередко выполняется лениво и равнодушно; для них же обоих это было живое и деятельное чувство, все время принимавшее новые формы. Оно просыпалось с ними, не покидало их со сменой места, слышалось в их голосах и сияло ярким блеском глаз.

Так устроена человеческая жизнь, что прошлое хоть и не является больше частью нашего существования, но никогда не умирает; новые ростки пробиваются с разными интервалами и в разных

местах, однако все несут явные характеристики родительского стебля; эмблемой вечности недаром является круг, ведь в вечности соединяются оборванные концы нашей жизни и цикл запускается снова. Фолкнер отсутствовал в Англии много лет; он покинул родину, скрываясь от последствий поступка, который горько оплакивал, однако не желал предоставлять своим врагам возможность отомстить и восторжествовать. За это время прошлое не давало о себе знать даже смутными намеками, и он часто пытался убедить себя, что это все ему приснилось, и нередко даже приходил к выводу, что катастрофа, причиной которой он стал, несмотря на всю свою трагичность, на самом деле была к лучшему. Впрочем, вспоминая о юной и прекрасной жертве, лежащей бездыханно у его ног, он переставал обманываться; но все же на его совесть влияли лишь память и воображение, а никаких других последствий он на себе не испытывал, так как его от них отделяли огромные пространства воды и суши.

И вот в Бадене он впервые встретил англичан; смотреть на них ему было больно. Казалось, все обвиняли его и осуждали; он старательно избегал их общества и поворачивал в другую сторону, увидев, что кто-то из них к нему приближается.

Однако он разрешал Элизабет с ними общаться и даже с удовольствием слушал ее рассказы об увиденном и услышанном, ведь каждым словом она подтверждала, что производит на людей благоприятное впечатление, а ее собственные вкусы и предпочтения при этом остаются крайне невзыскательными. Все это было для нее в новинку, ведь прежде с ней никогда не разговаривали дряхлые, накрашенные, но обходительные принцессы, вдовы и прочие представители немецкой знати и английского путешествующего бомонда. Это вызывало у нее немалый восторг, а Фолкнер улыбался, слушая ее живые описания, и радовался, что твердое бесхитростное сердце не поддается лести.

Но вскоре она начала часто рассказывать странную историю об одиноком мальчике, англичанине, красивом и высокородном, при этом диком, живущем взаперти и совершенно лишенном человеческого внимания. Она впервые услышала о нем в доме каких-то иностранцев; те рассуждали об особой меланхолии, свойственной англичанам, которая могла развиться даже у мальчика, едва ему исполнилось шестнадцать. Он был мизантропом; его видели гуляющим в окрестностях пешком или на пони, но он не при-

нимал приглашений в гости, чурался самого вида своих соотечественников и никогда не появлялся на популярных курортных тропах у купален. Был ли он глухонемым? Некоторые отвечали на этот вопрос утвердительно, и все же такого мнения придерживались не все. Однажды Элизабет приметила его издалека; он сидел под раскидистым деревом в неглубокой лощине. Такого красивого мальчика она еще никогда не видела, и такого печального тоже. В другой день его сопровождал джентльмен — как ей сказали, его отец; это был мужчина уже преклонного возраста, на вид суровый и угрюмый, чья улыбка скорее напоминала презрительный оскал; о своем единственном ребенке он отзывался с пренебрежением, а не с сочувствием и называл его «этим унылым мальчиком». Вскоре пошли слухи, что причиной такой меланхолии стало жестокое обращение отца, и Элизабет охотно в это верила — очень уж бесчувственным и неприятным казался ей тот человек.

Обо всем этом она поведала Фолкнеру с необычайной горячностью.

— Если бы ты только его увидел, — промолвила она, — если бы мы пригласили его к себе, мы бы вылечили его от недуга и злой отец больше не

смог бы его мучить! Даже если он не в себе, он совершенно безобиден и, я уверена, нас полюбит. Невыносимо грустно смотреть на такого кроткого, такого красивого мальчика, который чахнет без любви!

Фолкнер улыбнулся ее желанию исправить всякое зло, что встречалось ей на пути, — милейшему заблуждению, свойственному юности. Он спросил:

— А матери у него нет?

— Нет, — отвечала Элизабет, — он сирота, как и я, а его отец так бесчеловечен, что лучше бы его не было. Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты спас его, как спас меня!

— Боюсь, тут я бессилен, — ответил Фолкнер. — И все же, если ты нас познакомишь и приведешь его сюда, постараемся придумать, как ему помочь.

Несмотря на все свои недостатки и страдания, Фолкнер не был лишен донкихотства и, услышав о притеснениях, немедля принимался строить планы помощи жертве. Заручившись его разрешением, Элизабет стала искать возможность познакомиться с бедным мальчиком. Но все было напрасно. Иногда она видела его издали, но, если они шли по одной тропе, он сворачивал в сторо-

ну, только ее увидев; если же сидел — вставал и исчезал словно по волшебству. Мисс Джервис считала, что Элизабет ведет себя неприлично, и не соглашалась ей помогать. «Если бы вас представила друг другу дама, это было бы очень хорошо, но бегать за молодым джентльменом лишь потому, что он выглядит несчастным? Это очень странно, Элизабет; так не положено».

И все же Элизабет продолжала искать встречи с мальчиком и рассуждала, что не для себя хочет с ним познакомиться, а прежде всего представить его отцу, который затем или убедит его родителя лучше с ним обращаться, или заберет мальчика к ним.

Они жили довольно далеко от купален, в тенистой лощине, окруженной крутым обрывом с почти отвесными стенами. Однажды ближе к вечеру они отдыхали около дома и вдруг услышали в кустах и подлеске над головой какой-то шум, будто кто-то ломился сквозь заросли. «Это он, смотри!» — воскликнула Элизабет; и действительно, из укрытия показался мальчик; на протоптанной, но все же крутой тропе он подгонял лошадку, упрямо не замечая опасности, а животное не желало спускаться по склону. Фолкнер же увидел опасность и решил, что маль-

чик не знает, сколь сильно поднимается тропа у подножия холма; он окликнул его, но мальчик не услышал, и через миг лошадь оступилась, наездник перелетел через ее голову, и сама лошадь, кувыркнувшись, покатилась вниз. Элизабет вскрикнула и бросилась к упавшему юноше, но тот быстро поднялся; он, кажется, не ушибся и не собирался жаловаться, но явно был недоволен, что на него смотрят; его угрюмость переросла в беспокойство, когда он подошел к упавшей лошади и вместе с Фолкнером попытался ее поднять. Бедняжка приземлилась на острый камень, порезала бок, и рана кровоточила. Мальчик засуетился, бросился к бежавшему по дну лощины ручью и набрал воды в шляпу, чтобы промыть рану; Элизабет обратила внимание и после сказала отцу, что он орудовал только одной рукой, а другую явно повредил. Тем временем Фолкнер смотрел на мальчика со смесью восхищения и боли. Тот был удивительно хорош собой: взгляд больших глубоко посаженных светло-карих глаз под опущенными длинными темными ресницами был одновременно ласков и пронзителен; лоб необычайной красоты увенчивала копна каштановых волос; лицо представляло собой идеальный овал, а фигура была легкой и изящной,

как у статуи; выражение его лица было мрачным, почти насупленным, несмотря на чрезвычайную изящность черт; в нем читалась даже некая свирепость, и если бы художник искал идеальный прототип для образа романтичного юного разбойника, он нашел бы его в нем. Но кроме этого, что-то в мальчике показалось Фолкнеру знакомым, странным и притягательным, и он разглядывал его с болезненным любопытством. Мальчик ласково поговорил с лошадью и согласился, чтобы ту отвели в конюшню Фолкнера, где ее осмотрел бы конюх.

— Тебе тоже нужна помощь, — сказала Элизабет. — Ты ушибся, рука болит!

— Ерунда, — ответил мальчик. — Главное — убедиться, что я не угробил эту бедолагу, а сам я почти не пострадал.

Элизабет сомневалась. Лошадь осторожно отвели в конюшню и обработали рану, после чего Элизабет послала слугу за хирургом, так как была уверена, что незнакомец сломал руку. Она оказалась почти права: он вывихнул кисть. «Лучше бы я сломал шею», — пробормотал он, протягивая руку врачу; но во время болезненных манипуляций даже не поморщился; казалось, куда больше неудобства ему причиняло то, что

все на него смотрели и задавали вопросы. Его манера держаться, смягчившаяся, пока он ухаживал за лошадью, вновь стала отталкивающей; он напоминал юного дикаря, окруженного врагами, которых он подозревает, но все же не хочет атаковать. Когда руку забинтовали, а лошадь передали заботам конюха, мальчик собрался уйти; его благодарность скорее казалась упреком за навязанный ему долг, и тут мисс Джервис воскликнула:

— Простите, если я ошиблась, но вы же юный мастер Невилл?

Фолкнер вздрогнул, будто увидел змею, выползшую перед ним на дорогу, а мальчик покраснел до самых корней волос и взглянул на мисс Джервис с яростью.

— Да, меня зовут Невилл.

— Так я и думала! — ответила гувернантка. — Я встречала вас у леди Гленфелл. Как поживает ваш отец, сэр Бойвилл?

Но мальчик не ответил; метнув на мисс Джервис гневный взгляд, он бросился бежать.

— Бедняга, — проговорила мисс Джервис, — совсем одичал. Очень грустная история. О его матери, миссис Невилл, одно время ходило много слухов; она его покинула, а отец его ненавидит.

Юноша чуть не обезумел от жестокости и равнодушия.

— Отец, вам дурно? — воскликнула Элизабет.

Фолкнер весь посерел, но усилием воли взял себя в руки, ответил, что с ним все в порядке, и вышел из комнаты, а через несколько минут — из дома; ступив на самую уединенную тропку, он зашагал быстро, словно желая спастись от самого себя. Это было невыносимо: ее сын предстал перед ним — призрак, явившийся довести его до безумия! Ее сын, которого она любила с невыразимой страстью, лишился рассудка от чужого равнодушия и злобы! Нет, рассудка он не лишился — его речь свидетельствовала об остром интеллекте, — но наблюдать за страданиями юноши было невыносимо. Внешне он был самим воплощением красоты и изящества, и его ум, казалось, был столь же безупречным; благодаря развитой интуиции и восприимчивости он живо реагировал на любые стимулы; но все эти качества развились в нем в результате пережитого горя и несправедливости и обернулись презрением, подозрительностью и жгучей ненавистью к обидчикам, а такими его болезненная чувствительность делала всех, кто обращался к нему по имени или смел к нему приблизиться.

Фолкнер знал, что он сам — причина этого зла. Будь мать мальчика жива, его жизнь сложилась бы совсем иначе. Эта ласковая, одаренная и кроткая женщина посвятила бы всю себя его счастью и воспитанию. Ни одна мать с ней не сравнилась бы, ни одна женщина не обладала таким набором талантов и добродетелей. Фолкнер прекрасно знал, с какой любовью она растила дитя, как была ему предана; ее тон и взгляды, уже полузабытые, вновь всколыхнулись в памяти при виде бедного мальчика, такого одинокого и несчастного из-за своей дикости. Бессмысленно проклинать и презирать его отца — ведь мальчика никогда не препоручили бы его заботам, будь его мать жива, и отец бы его не возненавидел. Все эти мысли роились в уме Фолкнера и пробудили боль, которую время отчасти притупило. Он снова преисполнился горького презрения и ненависти к себе и ощутил иррациональный страх при мысли, что снова встретит мальчика, в чьих глазах, столь похожих на *ее*, по его вине померкло счастье и воцарилась вечная печаль. Он шел по тропе, углубляясь в густой кустарник и карабкаясь по крутым склонам, чтобы довести тело до изнеможения и тем самым обмануть больную душу.

К ночи он не вернулся домой. Элизабет тре-

вожилась, пока не убедилась, что он наконец пришел и закрылся у себя.

У Фолкнера был обычай каждое утро сразу после рассвета выезжать с дочерью на верховую прогулку. Утром Элизабет оделась, все еще думая о красивом мальчике; увидев его бережное обращение с лошадью и готовность стойко переносить боль, она прониклась к нему еще большим интересом. Она не сомневалась, что, раз начавшись, их знакомство продолжится и доброта ее отца поможет мальчику преодолеть дикарскую робость. Она с восторгом представляла, как облегчит его печали, завоюет его доверие нежной привязанностью и научит его быть счастливым. Внезапно ее внимание привлек стук копыт; она выглянула в окно и увидела Фолкнера, который быстро уезжал на лошади. А через несколько минут нашла оставленную им записку. В ней говорилось:

Дорогая Элизабет!

Вчера я получил известия, вынудившие меня неожиданно покинуть Баден. Встретимся в Майнце. Попроси мисс Джервис как можно скорее собрать вещи, послать за хозяином и передать ему ключи от дома. Аренда оплачена. Приезжайте в карете. Жду вас сегодня вечером.

С любовью,
твой
Дж. Фолкнер

Прочитав записку, Элизабет ощутила страшное разочарование. Впервые ее мечты были направлены на кого-то не из ближайшего окружения! В записке не было ни слова о юном Невилле, никакой надежды, что они вернутся. На миг ее захлестнули эмоции; она помрачнела. Снова перечитала записку — ее недовольство лишь усилилось, — но, перевернув листок, обнаружила постскриптум. «*Прости меня*, — говорилось в нем, — *что вчера мы не увиделись; я занемог и по-прежнему плохо себя чувствую*».

Эти слова вмиг придали ее мыслям новое направление: девочка забеспокоилась, что отец болен, а ее нет рядом; затем она вернулась к началу записки. «Вчера я получил известия…» — не

иначе как дурные, раз в результате он занемог; она вспомнила о его страданиях, перестала думать о несчастном мальчике и, поспешив к мисс Джервис, стала умолять ее скорее отправиться в путь. После этого она навестила лошадь Невилла; та хорошо себя чувствовала, и Элизабет велела осторожно и не спеша отвести ее в конюшню сэра Бойвилла.

Так велико было ее нетерпение, что к полудню они сели в карету и через несколько часов прибыли в Майнц, где ждал их Фолкнер. Элизабет взглянула на него с тревогой; он выглядел совсем другим человеком, смотрел затравленно, как дикий зверь, а вид его свидетельствовал о бессонной ночи и душевной борьбе, колебавшей сами основы его существа.

— Дорогой папа, ты заболел! — воскликнула она. — Ты узнал новость, которая сильно тебя расстроила.

— Да, — ответил Фолкнер, — но не думай об этом; потрясение скоро пройдет, и все будет как раньше. Ни о чем не спрашивай; мы должны немедленно вернуться в Англию.

В Англию! Впервые они слышали, чтобы Фолкнер говорил об Англии; на лице мисс Джервис почти отобразилось изумление, и она опреде-

ленно обрадовалась. А Элизабет при мысли о возвращении на давно покинутую и почти позабытую родину не просто разволновалась, а пришла в крайне возбужденное состояние, ведь само это слово — «Англия» — несло в себе столько ассоциаций. Поселятся ли они там навсегда? Съездят ли в Треби? Что будет дальше? Отец просил ее ни о чем не спрашивать, и она повиновалась, но мысли никак не могли успокоиться. Потом она вспомнила, что Невилл тоже англичанин, понадеялась, что они встретятся, и снова стала мечтать, как поможет ему.

Глава VIII

Если мои наблюдения верны, человеческое сердце — а точнее, сердце мужчины — подвержено страстям скачкообразно. Здесь уместно провести аналогию с законами, регулирующими природу: стихия спит спокойно, но уже через миг бушует под ударами яростного ветра. В последнее время Фолкнер достиг состояния, близкого к равновесию. Он чаще бывал в бодром настроении, живо интересовался повседневной жизнью и разговаривал на любые темы, поднимавшиеся в его присутствии. Однако теперь все это исчезло. Угрюмость омрачила его лоб; он стал невнимателен даже к Элизабет, сидел, ссутулившись, в карете и смотрел в пустоту, пав жертвой своих мыслей, каждая из которых была способна ранить.

Это было печальное путешествие. По прибытии в Лондон Фолкнер еще более замкнулся в себе и стал совсем несчастным. Дремавшая в течение последних лет совесть возобновила свои нападки, и он снова начал воспринимать себя как ненавистное и проклятое существо.

Мы, люди, так слабы, что чувства оставляют на нас куда более живой отпечаток, чем любые колебания ума. Фолкнера преследовали мысли о возможных последствиях его преступления для сына его жертвы. Он вспомнил эгоистичный и надменный характер его отца, и совесть убедила его, что, даже если юный Невилл обладал какими-либо добродетелями, унаследованными от матери или привитыми ее заботой, равнодушие и дурной пример отца полностью их искоренили. Он не предвидел подобных последствий ее смерти. Его сердце разрывалось при взгляде на юношу, щедро одаренного природой и судьбой, но в результате незаслуженно дурного обращения превратившегося в озлобленного нелюдима и доведенного до уныния, а возможно, и до отчаяния. Глубокое сочувствие к нему возникало даже у незаинтересованного наблюдателя; оно пробудилось у Элизабет, такого же ребенка, и жалость к мальчику причиняла ей муку; что же должен чувствовать он, ставший причиной всех этих несчастий?

Под влиянием таких эмоций Фолкнер не мог сидеть спокойно. В первый раз они чуть не довели его до самоубийства, и лишь чудо ему помешало; призвав на помощь все свое самообладание, он

решился и заставил себя жить. Прошли годы; он смиренно отбывал свое наказание — жизнь — и, как раб на галере, привык к кандалам, что натирали огрубевшую плоть меньше, чем когда их надели впервые. Но при виде несчастного мальчика привычка терпеть дала сбой. Он почувствовал себя проклятым; казалось, сам Господь от него отвернулся и все человечество его возненавидело, хотя никто не знал о его проступке. Он заслуживал смерти и решил, что жить больше не станет. Он не собирался вдругорядь накладывать на себя руки, но то был не единственный путь к могиле; найти иной не составляло труда. Он решил отправиться на войну в далекой стране и искать избавления от жизненных страданий на поле боя от пули или меча. А главное — он решил, что его грех больше никак не повлияет на невинную Элизабет. Он один отправится на поиски погибели, а она должна остаться в стороне от опасностей и тягот, которым он собирался себя подвергнуть, ведь он жил лишь ради того, чтобы лелеять и оберегать ее.

Несколько дней он только и думал что о новом плане. Поначалу погрузился в отчаяние, но при мысли о том, чтобы подвергнуть себя опасности и искать неминуемой гибели, ощутил прилив

сил; как боевой конь, мечтающий о звуках горна, его сердце встрепенулось в надежде, что в пылу битвы или в последнем пристанище — могиле — совесть наконец перестанет его терзать. И все же он никак не мог найти в себе мужество поделиться своим планом с сироткой и подготовить ее к разлуке. Несколько раз он пытался заговорить с ней на эту тему, и всякий раз не хватало смелости. Наконец, через несколько недель после прибытия в Лондон, они остались одни; к тому моменту он предпринял уже немало шагов для осуществления своего плана. В сумерках они сидели у окна, выходящего на одну из лондонских площадей, и сравнивали столицу с иностранными городами, в которых побывали. Тут Фолкнер резко, боясь, что другого случая может не представиться, произнес:

— Я должен с тобой попрощаться, Элизабет; завтра утром я уезжаю на север Англии.

— И не возьмешь меня с собой? — спросила она. — Но ты же ненадолго?

— Я навещу твоих родственников, — ответил он, — скажу им, что ты на моем попечении; пусть будут готовы тебя принять. Надеюсь в скором времени вернуться, и тогда передам тебя им или же приглашу кого-либо из них тебя забрать.

Элизабет была ошеломлена. Фолкнер уже много лет не упоминал, что она ему не родная дочь. Она носила его фамилию, называла его отцом, и в этом не было ничего искусственного: он всегда был ей самым добрым и любящим родителем и даже не намекал, что когда-либо намеревается отказаться от своих родительских обязанностей и передать ее тем, кто в ее глазах был хуже чужих. Если и случалось им заговорить о ее родственниках, он всегда отзывался о них с негодованием. Со жгучим недовольством говорил он об эгоизме, жестокосердии и пренебрежении благополучием детей со стороны кровной родни, столь характерных для английских благородных семей, чьи отпрыски каким-либо образом проявили непокорность родительской воле. Он свирепел, рассказывая о недостойном обращении, которому подверглась ее мать, и о варварском предложении отцовских родственников разлучить ее с единственным ребенком; всегда с любовью заверял ее, что гордится собой, так как избавил ее от этих бесчеловечных и унизительных отношений. Почему его намерение изменилось? Его голос и вид не предвещали ничего хорошего. Элизабет обиделась, но противоречить не умела, поэтому молчала; однако Фолкнер прочел горе на ее

лице, не умевшем ничего скрывать, и ему стало больно; невыносимо было думать, что она сочтет его неблагодарным, равнодушным к ее любви, дочерней привязанности и добродетельной натуре; он чувствовал, что должен хотя бы отчасти объясниться, как бы сложно ни было четко и полно описать свои чувства.

— Моя милая девочка, не думай обо мне плохо из-за того, что я ищу разлуки, — начал он. — Бог свидетель: для меня это удар куда более тяжелый, чем для тебя. Ты обретешь родственников и друзей, которые станут тобой гордиться; ты завоюешь их привязанность, в этом я не сомневаюсь, и где бы ты ни была, все будут любить тебя и тобой восхищаться; твой милый нрав и превосходный характер обеспечат тебе счастье. Я уезжаю один. Ты единственная нить, что связывает меня с жизнью, мой единственный друг; я разрываю эту нить и покидаю тебя, а другую мне уже не найти. Один я отправлюсь в далекий край варваров и ступлю на новую опасную стезю, которая, возможно, приведет к моей погибели. Я не могу подвергать тебя такой опасности.

— Но зачем ты сам себя ей подвергаешь? — воскликнула Элизабет, встревожившись при описании столь зловещего будущего.

— Помнишь день нашей первой встречи? — ответил Фолкнер. — Тогда я хотел наложить на себя руки, потому что считал себя недостойным существовать. Так же я чувствую себя теперь. Трусливо жить, зная, что я не имею права наслаждаться жизненными благами. Я отправляюсь туда, где смогу умереть, но не от своей руки, где меня ждет смерть от чужих рук.

Такие слова привели потрясенную Элизабет в страх; Фолкнер торопливо продолжил, ведь, начав говорить, он ощутил облегчение от тяготившего его несчастья.

— Не удивляйся, любовь моя; тайны моей души слишком хорошо тебе известны, ты была свидетельницей моих страданий и приступов отчаяния и не впервые слышишь о невыносимом грузе горя и раскаяния, который мне приходится нести. Я больше не могу терпеть. Пусть Бог простит меня на небесах, а свет этого мира я больше не увижу!

Фолкнер увидел на ее лице ужас и смятение и разозлился на себя за то, что стал их причиной; он продолжил говорить уже более спокойным голосом, но Элизабет, охваченная горем, бросилась к его ногам и обхватила его колени; непрошеные слезы потекли из глаз, ее юное, детское сердце

разрывалось от неведомой прежде тоски. Она воскликнула:

— Мой дорогой, любимый отец — больше чем отец, мой единственный друг! Твои слова разбивают мне сердце. Если ты несчастен, твое дитя, что ты взлелеял и научил тебя любить, тем более должно быть рядом и утешать тебя; я чуть не сказала «помогать»! Ты не должен отвергать меня! Если бы ты был счастлив, то мог бы меня оставить, но раз ты несчастен, я никак не могу позволить тебе уйти, и ты не должен меня об этом просить; даже мысль об этом меня убивает!

Дети еще не ведают об изменчивости жизни и воспринимают настоящее с куда большим благоговением и страхом, чем те, чьи песочные часы уже не раз перевернулись и у кого отсчет песчинок начинался заново, меняя всю жизнь. При мысли о разлуке с Фолкнером земля ушла у Элизабет из-под ног, она прильнула к нему и умоляюще взглянула ему в лицо, будто одно его следующее слово могло все решить. Он поцеловал ее, усадил к себе на колени и произнес:

— Давай поговорим об этом спокойнее, дорогая; зря я тебя так встревожил, зря примешал свои тягостные мысли, навязанные мне моим несчастьем, к благоразумным рассуждениям о твоей

будущей судьбе. Теперь мне кажется несправедливым скрывать тебя от твоих родственников. Они богаты. Мы не знаем, какие перемены и потери им пришлось пережить за эти годы; возможно, это смягчило их сердца, которые всегда были готовы тебя впустить. Возможно, теперь они стали больше ценить тебя. Рэби — благородная фамилия; не стоит безрассудно отказываться от преимуществ, на которые имеешь полное право.

— Мой дорогой отец, — ответила Элизабет, — такие разговоры не для меня. Я не нуждаюсь в доброте людей, причинивших зло моим родителям. Ты для меня всё. Я еще ребенок и не могу подобрать слова для выражения своих чувств, но мое самое искреннее намерение — быть благодарной тебе до конца дней и оставаться с тобой всегда, пока ты меня любишь. Если ты прогонишь меня, я стану самым несчастным в мире существом. Разве не жили мы вместе с тех пор, как я была крохой и не доставала тебе до колен? Все это время ты относился ко мне добрее любого отца. Когда над нами бушевала непогода, ты укрывал меня в объятиях, чтобы ни капелька дождя не пролилась на мою голову. Помнишь ли ты ужасный вечер, когда наша коляска сломалась в широкой и темной степи? Ты укрыл меня и нес

на руках под завывающим ветром и ледяным дождем. Ты еле держался под натиском непогоды и, когда мы наконец дошли до почтовой станции, рухнул от изнеможения, а я, укрытая в твоих объятиях, ни капли не замерзла и не промокла, будто на улице был летний день. Ты заслужил мое доверие и завоевал мою любовь своей добротой; ты не можешь меня отвергнуть!

Она обняла его за шею; ее лицо промокло от слез, она всхлипывала, голос ее обрывался. Увидев, что Фолкнер поддается, она стала умолять его пуще прежнего, пока его сердце не смягчилось; прижав к груди, он осы́пал ее голову и шею поцелуями, и, к его удивлению, на глазах проступили слезы, чего давно не случалось.

— Клянусь, я тебя не отвергаю, — воскликнул он. — Мы разлучимся ненадолго, но это не значит, что я тебя отвергаю! Там, куда я отправлюсь, дорогая, тебе не место. Я не могу больше жить после того, что сделал. Много лет я жил в покое и радости, но не имел на это права; лишь тяготы, тяжелый труд и смерть искупят мою вину. Думая о том, что пережили другие из-за моих деяний, я ненавижу себя за трусость; я же сам ушел безнаказанным. Ты вряд ли помнишь день, когда своей маленькой рукой спасла мне жизнь. С тех

пор ничего не изменилось; я так и чувствую себя недостойным жить. Дорогая Элизабет, узнав о муках, которые я причинил тем, кто этого совсем не заслужил, ты однажды можешь меня возненавидеть; крик моей жертвы до сих пор звенит у меня ушах; подло жить, зная, что совершил такое преступление. Поверь, дорогая, моим самым благородным поступком в этой жизни будет ее покинуть. Жить, как сейчас, в трусости и праздности — не меньшее злодейство, чем совершенные мной насилие и грех. Позволь мне обрести спокойствие ума, подвергнув свою жизнь опасности. Борясь за правое дело, я поступлю благородно. Я отправлюсь в Грецию; там идет война за правду, свободу и христианство против тирании и дурной религии. Позволь мне за это умереть, а когда выяснится — ведь однажды это должно открыться, — что от моих рук погибла невинная жертва, мне зачтется, что я пал, защищая страждущих и храбрых. Но тебе со мной в Грецию нельзя; ты должна ждать моего возвращения в Англии.

— Ты едешь на смерть! — воскликнула она. — А я буду далеко. Нет, дорогой отец, я ребенок, но со мной не случится ничего плохого. Ионические острова принадлежат Англии; я могу отправиться туда. Осмелюсь предположить, что

и в Афинах безопасно. Чудесные Афины; помнишь, как счастливо мы перезимовали там перед началом революции? Ты забыл, что я опытная путешественница и привыкла считать своим домом чужие и дикие страны, где я совсем никого не знаю? Нет, дорогой отец, ты не можешь меня оставить! Я не безрассудна и не прошу разрешить мне последовать за тобой в лагерь, но позволь мне быть рядом, в той же стране.

— Ты вынуждаешь меня пойти наперекор рассудку, — ответил Фолкнер. — Это неправильно — я чувствую, что так быть не должно; девочка, да еще такая юная, не должна видеть всего, что мне предстоит пережить. А если я погибну и ты останешься там совсем одна?

— Везде найдутся добрые христиане, которые защитят сироту, — упорствовала Элизабет. — И разве ты можешь умереть, если я буду рядом? А что со мной станет, если ты умрешь, а я буду далеко? Тогда придется мне, как бедной жене моряка, в отчаянии ожидать письмо с черной печатью, где будет сказано, что, пока я наслаждалась жизнью и надеялась, тебя настигла смерть! Ах, плохо даже говорить о таких вещах! Нет, я поеду со своим добрым папочкой, и он не умрет!

Наконец Фолкнер поддался ее слезам, ласкам и

уговорам. Она его не убедила, но вид ее крайнего отчаяния при мысли о разлуке был ему невыносим. Сошлись на том, что Элизабет поедет с ним на Ионические острова и поселится там, а он вступит в партизанский отряд. Как только обо всем условились, он решил не откладывать отъезд ни на минуту: в нем горело желание сбежать и сбросить с себя муки настоящего, забыв о страданиях пред лицом опасности.

Фолкнер не актерствовал, не притворялся — он действительно желал смерти; нежность и верность Элизабет не нарушила его решимости. Он по-прежнему верил, что без него девочка будет счастливее и добьется большего. Истерзанная душа находила облегчение, представляя, как он отдаст свою жизнь за благое дело и благородно погибнет на поле боя. Лишь перспектива такой судьбы могла заставить его забыть о другом, более суровом долге. В глубине души он понимал, что по чести и совести должен заявить о себе, признаться в своем преступлении и поведать миру о таинственной трагедии, которой стал причиной, но он не осмеливался сделать это и продолжать жить. Вот что подталкивало его к смерти. «Когда меня больше не станет, — думал он, — пусть откроется правда и мое имя

покроется позором, но мне зачтется, что я умер, пытаясь искупить вину. А жить с клеймом на своем имени я не смогу; скоро все закончится, и пусть тогда воздвигнут пирамиду из проклятий на моей могиле! Бедняжка Элизабет станет Рэби, а я, охладев под слоем земли, больше никому не смогу причинить горя».

Под влиянием этих мыслей Фолкнер написал два письма, оба короткие. Содержание одного из них мы раскрывать не будем; во втором рассказывалось, как он нашел Элизабет и удочерил ее. К письму он приложил те немногие документы, в которых было засвидетельствовано ее рождение. Он также составил завещание и разделил собственность между своим законным наследником и приемной дочерью; он гордо улыбнулся, представив, как рада будет семья ее отца принять ее с таким приданым.

Остальные приготовления не заняли много времени, и нужно было лишь решить, поедет ли с ними мисс Джервис. Элизабет колебалась. Ей не хотелось расставаться со своей непритязательной и доброй наставницей и отказываться от ее уроков, хотя, по правде говоря, она больше в них не нуждалась. Но она боялась, что гувернантка не даст ей свободы. Она помнила все, что сказал

Фолкнер о своем желании умереть, и долго раздумывала над каждым словом. Она отправлялась с ним с целью служить ему и присматривать за ним; хотя она была еще ребенком, ее воображение рисовало тысячи сценариев опасности, и всякий раз в мечтах ее решимость и бесстрашие помогали его спасти. Мисс Джервис же с ее ограниченным мышлением и кротким нравом могла ей помешать.

Услышав об изменении планов, гувернантка пришла в смятение. Она радовалась возвращению в Англию и совсем не хотела снова уезжать в далекую страну, где на каждом шагу ее будет подстерегать война, болезни и сопутствующие им опасности. Ей было жаль расставаться с Элизабет, но рано или поздно это должно было произойти; в Англии жили дорогие ей родственники, с которыми она слишком долго была в разлуке. Взвешивая все за и против, она колебалась, и Фолкнер поступил, как подсказало ему сердце, решив, что она с ними не поедет. Мисс Джервис проводила их до Плимута, где они сели на корабль. Привыкшая к разъездам Элизабет оставила Англию без сожаления: с ней рядом был тот, кто был для нее больше чем родиной — он был для нее целым миром. Фолкнер же, ступив на палубу корабля,

уносящего их прочь от английского берега, почувствовал, как с плеч его упал огромный груз; его долг был исполнен наполовину, и он ступил на путь, что должен был привести к желанному смертельному исходу. Солнце ярко светило над океаном, дул свежий приятный ветерок. Мисс Джервис видела, как они отчалили с улыбкой и счастливым видом; они стояли на палубе судна, уже развернувшего паруса и скользившего по волнам. Элизабет махала платочком, а потом ее силуэт расплылся; судно ушло к горизонту, и даже парус растворился в сумерках.

«Увижу ли я их снова?» — подумала мисс Джервис.

Глава IX

С тех пор прошло три года. В начале их путешествия Элизабет ни за что бы не смогла представить, что окажется в том положении, в каком была сейчас, хотя каждый проведенный в Греции день указывал на вероятность, а то и неизбежность подобного исхода. Фолкнер пребывал на пороге смерти, которую отправился искать; он лежал раненый и больной лихорадкой и по всем признакам не должен был выжить, а она сидела над ним, стремясь избавить его не только от смертельного исхода болезни, но и от желания умереть, которое могло его сгубить скорее.

Поведение Элизабет в те три года близилось к идеалу, к почти сверхъестественному совершенству. Она и впрямь была замечательным созданием, и если бы не обладала столь редкими и возвышенными чертами, приключившееся с ней, возможно, и не стало бы предметом рассказа на этих страницах. Она была умна, добра, смела и прямодушна. Ее главной особенностью было обостренное чувство долга, и оно соединяло в удивительной гармонии все иные стороны

ее характера. Сами обстоятельства ее жизни воспитали в ней это чувство. Первым ее воспоминанием были умирающие родители, их взаимные утешения, плач обездоленной вдовы и ее разговоры о другом, лучшем мире, где снова встретятся те, кто добродетельно исполнял свои обязанности в мире земном. Элизабет учили думать о родителях как о праведниках, удостоившихся обещанной праведным вечной жизни, и стремиться к тому же. На материнском примере она усвоила, что нет ничего прекраснее и благороднее, чем пожертвовать жизнью ради блага и счастья возлюбленного. Она никогда не забывала о благодарности Фолкнеру и чувствовала, что связана с ним узами более прочными, чем обычная дочь с отцом. Родной отец воспитывает ребенка, движимый родительским долгом, но доброта Фолкнера шла от сердца. Его жертва становилась больше, а великодушие заметнее из-за его несовершенств и страстей. Элизабет полагала, что никогда не сможет сполна расплатиться за все, что он для нее сделал.

Мисс Джервис также внесла вклад в развитие Элизабет, уравновесив ее разум гармонией и жаждой справедливости. Мисс Джервис подходило сравнение с грубоватым садовником, чей труд

лишен изящества, однако именно его поливам и бдительности ароматная гвоздика обязана особым оттенком своих лепестков, а восковая камелия — неповторимой формой. Мисс Джервис помогла Элизабет упорядочить ум, научила ее сосредотачиваться, подолгу удерживать внимание и посвящать себя учебе. Она привила ей дисциплину и трудолюбие и, сама того не зная, сделала гораздо больше — пробудила в ней пыл к знаниям, восторг от открытия нового и чувство удовлетворения, которое возникает после упорного преодоления трудностей, когда в силу настойчивой решимости невежество сменяется четким пониманием той или иной темы.

Говорят, все мудрецы в разной степени безумны. Это означает, что у каждого человека, чей ум воспаряет над повседневностью, есть высокая и бескорыстная цель, ради которой он готов пожертвовать привычными жизненными благами. Так и Элизабет с того момента, как уговорила Фолкнера взять ее в Грецию, целиком посвятила себя сперва задаче спасения его жизни, если той грозила опасность, а затем и попыткам убедить его жить дальше. Она столкнулась со многими трудностями, так как не знала об обстоятельствах, побудивших его искать избавления и искупления

в смерти; впрочем, она не стремилась выведать тайны своего благодетеля и в глубине души подозревала, что в силу чрезмерной уязвимости и обостренности чувств он преувеличивает свою вину и излишне мучится совестью. Но какой бы ни была причина его страданий, дочь посвятила себя попыткам их облегчить и решила продолжить образование, чтобы выполнить свою задачу и помочь ему примириться с жизнью.

Фолкнер оставил ее в Закинфе, а сам поехал дальше, планируя присоединиться к греческому партизанскому отряду. В Закинфе Элизабет сняла комнату в доме респектабельной семьи, но вела очень уединенную жизнь и посвящала почти все время учебе. Она читала, чтобы запастись новыми знаниями, укрепить имеющиеся и облагородить свой ум, а также чтобы усвоить философские и религиозные принципы, лучше всего соответствующие ее задаче, и постичь тайны жизни и смерти, открывшиеся ее юному воображению, когда она узнала о стремлении Фолкнера умереть.

Если и существует период, когда сердце человека наиболее приближено к моральному совершенству, наиболее восприимчиво и вместе с тем невинно и полно стремления к добру, так

как пока не изведало зла, то для Элизабет таким временем стал промежуток от тринадцати до шестнадцати лет, последовавший за ее приездом в Грецию. Тогда в ней пробудилось смутное предчувствие, ощущение, что жизненный спектакль вот-вот начнется, хотя желания участвовать в нем пока не возникло — оно возникнет лишь в последующие годы. В четырнадцать-пятнадцать лет мы лишь ощущаем, что детство остается позади, и радуемся этому, хотя разум пока не созрел настолько, чтобы мы стали полноценными актерами на сцене жизни. Волшебное пленительное время, когда ничего еще не известно, но кажется, что скоро приоткроется завеса тайны. Мы пока не познали душевных мук: пережитые в детстве беды, какими бы реальными и пугающими ни были, воспринимаются как ребяческие и оставшиеся в далеком прошлом. Пресловутое зло, существующее в жизни, еще кажется вымыслом. Какие заботы могут быть у души, что ставит свои желания выше приземленного разума? Неблагодарность, обман, предательство — все это пока не пробудило в нас недоверия к людям, а собственные слабости и ошибки не посадили семя раскаяния и презрения к себе. Одиночество не представляется злом, ибо мысли не тяготят нас, а

полны радостных прожектов; тени, что мелькают вокруг и населяют наши мечты, обладают плотностью и жизнеподобием, почти как реальность.

Элизабет не была мечтательницей. Она отличалась удивительной практичностью, хоть и выросла вдали от мирских забот. Она жаждала лишь одного: быть полезной. Привязанность к Фолкнеру, тревога за него и пламенное стремление заставить его полюбить жизнь лишь усиливали эту потребность. Эта первичная мотивация пронизывала все ее занятия и досуг и управляла всей ее жизнью.

Она жила в соответствии со строгим распорядком и прилежно придерживалась собственных правил. Утром каталась верхом; затем следовала учеба, в том числе уроки музыки — у Элизабет был абсолютный слух и изящный музыкальный вкус; занятия сменяли друг друга таким образом, что одно служило отдохновением от другого; она отдыхала от книг за вышиванием и, склонившись над пяльцами, размышляла о прочитанном или погружалась в мысли, призрачные мечты о будущем и догадки о том, что сейчас происходит с Фолкнером. Иногда она отвлекалась от непосредственного предмета своих грез и вспоминала грустного мальчика, которого видела в Бадене.

Представляла его дикие глаза, надменный взгляд, живое участие к пострадавшей из-за него лошади и безропотную стойкость, с какой он переносил физическую боль. Она жалела, что они так внезапно уехали из Бадена, — если бы остались всего на несколько дней, он наверняка успел бы их полюбить; возможно, он теперь был бы рядом с Фолкнером и тоже подвергался бы опасности, зато вместе они научились бы ценить жизнь, которой оба так безрассудно пренебрегали.

Поскольку ее занимали мысли о долге и привязанности, дни пролетали быстро, но каждый был не похож на другой. На рассвете она легко поднималась с кровати и выглядывала в окно, где виднелось синее море и скалистый берег; глядя на этот пейзаж, она молилась о безопасности своего благодетеля и вспоминала о матери на небесах, прося ее благословить собственное дитя. Она подставляла сладкому дыханию утра лицо, что было свежéе нового дня, и, пускаясь галопом по берегу, думала о Фолкнере, о его отсутствии, тяготах и опасностях, которым он подвергался; при этом она испытывала покорность судьбе и надежду, перераставшую в жгучее стремление снова его увидеть. Нет в мире ничего прекраснее юной девушки, прогуливающейся в одиночестве.

В старости, когда смерть лишает нас самого дорогого, а жизнь омрачается заботами, сожалениями, страхами и страстями, которые или порочны по своей природе, или повлекли дурные последствия, одиночество печально и уже не приносит удовольствия; когда мы видим человека зрелых лет одного, то решаем, что грусть — его спутница. Но в одиноких мыслях юности сокрыты чудесные мечты о будущем.

> *И жаворонком, вопреки судьбе, Моя душа несется в вышину*[10].

Когда эта юная и прелестная девушка бродила по одинокому берегу в компании одних лишь мыслей, обуреваемая одной лишь страстью — любовью к своему благодетелю — и не ведая ничего о жизни земной и ее ужасных тяготах, казалось, будто новая Ева под присмотром ангелов ступает по осквернённой земле и берег под ее ногами превращается в райский сад.

Бывало, день омрачался дурными новостями из континентальной Греции, а иногда приходило письмо от ее любимого отца и день становился счастливым. Иногда он приезжал и, воодушев-

---

[10] Примечания: 10
Уильям Шекспир «Сонет 29» (пер. С. Я. Маршака).

ленный опасностью и осознанием собственной полезности правому делу, которое сам выбрал, красноречиво повествовал о своих приключениях; его переполняла любовь к Элизабет, и, веря, что заглаживает вину за прошлые грехи, он становился почти счастливым. Представляя, как падет на полях Греции и смоет кровью сердца темное пятно со своей репутации, он ощущал душевный подъем и преисполнялся пылкого нетерпеливого рвения и решимости, соответствующих его огненному темпераменту. Он был рожден для военного ремесла — не для карьеры современного солдата, а для жизни героя, бесстрашно рискующего жизнью и находящего радость в бою и победе, с трудом отвоеванной у жестоких угнетателей.

Глава X

Во время визитов Фолкнера в Закинф от Элизабет не ускользнуло преданное внимание, которым его окружал один из соратников, албанский грек. Этот солдат жаловался юной хозяйке на безрассудство Фолкнера и невероятные нагрузки, которым тот себя подвергал; восхищался его мужеством и в то же время недоумевал, как Фолкнер до сих пор не пал жертвой пренебрежения безопасностью и отдыхом, тем более что в таких крайностях пока не было необходимости. В других обстоятельствах его могли бы счесть сумасбродным и отчаянным, но он держался собранно и обладал боевыми навыками и недюжинной смекалкой; ввиду своего равнодушия к жизни он неизменно выбирал для себя самые опасные задания, но старался уберечь жизни солдат, находившихся под его командованием. Военный опыт он приобрел еще в юности. Был хорошим офицером, относился к солдатам по-доброму и следил, чтобы те ни в чем не нуждались; не был тщеславным, на медали не претендовал и всегда вызывался выполнять задачи, от которых другие

отказывались, как от верной гибели.

Со слезами на глазах и болью в сердце Элизабет слушала рассказы Василия о трудах Фолкнера, его беззаветной храбрости и чудесных спасениях, когда тот был на волосок от смерти. «Ах, если бы я могла заставить его полюбить жизнь!» — думала она. Она никогда не жаловалась и не уговаривала отца изменить своему безрассудному плану, лишь удваивала ласку и внимание. Когда после спешного визита он уезжал, она не умоляла его беречь себя, но слезы в ее глазах и горячность, с которой она отвечала на его прощальное объятие, красноречивее слов свидетельствовали о ее чувствах и часто заставляли его усомниться в своей решимости, в убеждении, что он должен умереть и лишь благородная смерть избавит его от большего зла и позора.

Шло время, из Египта прибыло подкрепление, и бои стали более ожесточенными и опасными; в каждый приезд Василий снова заводил печальный рассказ о риске, которому подвергал себя Фолкнер, всякий раз добавляя новую историю о чудесном спасении, и страх постепенно стал занимать слишком много места в мыслях Элизабет, всецело поглотив ее внимание. Она читала и не запоминала прочитанного, роняла иглу, а играя

на фортепиано, начинала плакать и представлять сцены горечи и мучений, участницей которых ей вскоре предстояло стать. Ей не к кому было обратиться за помощью; она потеряла надежду и чувствовала, что ей рано придется усвоить самый первый и тяжкий женский урок и научиться молча терпеть наступление зла, которого можно было бы избежать, если бы не неумолимая воля другого человека. Ей даже хотелось иногда назвать отца жестоким, но при мысли о несчастьях, что довели его до отчаяния, она испытывала не эгоистичное негодование, а жалость.

Он провел с ней несколько дней, и их общение никогда еще не было таким теплым и близким. Она повзрослела, и ее ум, обогащенный воспитанием и развитый пылом привязанности, приблизился к его искушенному уму; теперь они могли общаться почти на равных, а не как взрослый с ребенком. Прежние роли отца и дочери, наставника и ученицы, командира и послушно исполняющей приказы сменились новыми.

С открытым сердцем, не таясь, с любовью,

Они вели беседу,

Как друзья[11].

Но все же они не были равны: она от него зависела, и он воспринимал ее как создание, продлевающее его существование даже за пределы смерти, которая, как ему казалось, ждала его совсем скоро; это придавало их нежности меланхоличную окраску — впрочем, без такой окраски ничто не кажется красивым и долговечным в этом мрачном мире.

Он уплыл; его маленький барк[12] расправил паруса и весело заскользил по волнам. Она стояла и смотрела ему вслед; сердце грела память о его огромной любви, доброте и предупредительности. Он всегда был храбр и великодушен, а теперь стал еще ласков и полон сочувствия; она надеялась, что близок тот день, когда его стойкость, вызывавшая у нее одновременно восхищение и страх, перерастет в моральную крепость. «Пусть Господь защитит тебя, отец! — думала она. — Пусть Он сохранит того, кого люблю больше, чем отца, для более счастливых мыслей и дней, когда он сможет сполна насладиться прекрасными

---

[11] Примечания: 11
Уильям Вордсворт «Фонтан».

[12] Примечания: 12
Парусное морское судно с тремя — пятью мачтами.

качествами, которыми его одарила природа, и научиться ими управлять!»

Вот о чем она думала. Неунывающий энтузиазм соединялся в ней с искренним участием, и она продолжала нести свою тревожную вахту. При любой возможности он присылал ей короткие письма, полные нежности, в которых ни слова о себе не говорил. Иногда указывал, что делать в случае, если с ним случится беда; ей было больно и страшно читать такие слова, но в целом он упоминал о смерти редко и больше не говорил о нежелании жить. К середине осени звуки войны утихли; в лесах и балках продолжались небольшие стычки, но в остальном все было тихо. Элизабет меньше боялась. Она написала Фолкнеру и спросила, когда он снова приедет; тот в ответ пообещал приплыть сразу после атаки на небольшую крепость, переместив свой маленький отряд в безопасное место на зимовку. Она обрадовалась, прочитав эти строки, и стала утешать себя, что скоро его увидит и в этот раз визит продлится дольше обычного; с детской беспечностью она забыла, что атака на крепость подразумевает боевые действия и чревата смертельной схваткой.

Через несколько дней ей принесли маленькое

зловещего вида письмо, написанное на новогреческом диалекте и полное непонятных букв; прочесть его мог только грек. Писал Василий; в нескольких словах он сообщал, что Фолкнер ранен и лежит в небольшой деревушке близ побережья, на противоположном от Закинфа берегу. Солдат писал, что Фолкнер давно страдал от греческой лихорадки, а во время последних боев его тяжело ранили, и совокупный ущерб здоровью от ранения и болезни почти не оставлял надежд на выздоровление; роковой момент также приближало отсутствие медицинской помощи, ужасающие условия в деревне, где он находился, и губительный воздух окрестных мест.

Элизабет читала письмо как во сне; момент настал, тот самый роковой момент, о котором она часто думала с ужасом и молила небеса его не допустить; она побледнела и задрожала, но через миг взяла себя в руки и призвала на помощь всю свою решимость, которую давно копила на случай подобной чрезвычайной ситуации. Она сама направилась к начальнику английской администрации острова, добилась приказа зафрахтовать корабль и привезти Фолкнера на Закинф и немедля отправилась в путь. Она не плакала и не промолвила ни слова, но, сидя на

палубе с сухими глазами и бледным лицом, молилась о том, чтобы скорее добраться до деревни и обнаружить его живым. Через несколько часов корабль причалил в порту. Там ее ждали тысячи трудностей, но она не боялась грозивших ей опасностей и лишь умоляла окружающих не медлить. Ее сопровождал английский хирург и еще несколько человек; ей хотелось всех обогнать, но она велела себе успокоиться и руководить процессом; ее сердце даже не дрогнуло, когда рядом раздались выстрелы и крики, сообщившие о близости врага. Тревога оказалась ложной; стрелял отставший греческий отряд; они обменялись приветствиями, но она всех торопила и думала лишь об одном: «Только бы найти его живым — тогда я не позволю ему умереть!»

Серые лица и исхудавшие тела крестьян свидетельствовали о страшной эпидемии, жертвой которой стал и Фолкнер, а при виде убогости жилищ и повсеместной грязи у нее защемило сердце. Наконец они подошли к деревне, о которой, по словам проводника, писал Василий. Расспросив деревенских жителей, они пошли по дороге — похоже, то была главная деревенская улица; в конце стояло ветхое убогое строение. Во дворе стоял отряд вооруженных греков, сбившихся в

кольцо в зловещей тишине. Фолкнер находился здесь; Элизабет спешилась, и через несколько минут показался Василий. В выражении его лица сквозили настороженность и печаль; он провел Элизабет в дом. Внутри царило страшное запустение: не было ни мебели, ни стекол в окнах, ни следов человеческого труда за исключением голых стен. Она вошла в комнату, где лежал ее отец; его кроватью служили несколько матрасов, наваленных на лавку, а больше в комнате ничего не было, кроме жаровни для подогрева пищи. Элизабет приблизилась и взглянула на отца с благоговением и ужасом; он так изменился, что она с трудом его узнала. Глаза ввалились, втянулись щеки, лоб приобрел мертвенно-бледный оттенок, и на лице лежала призрачная тень, предвестник смерти. У него едва хватило сил поднять руку, голос его звучал глухо, но, увидев ее, он улыбнулся, и эта улыбка — последнее пристанище души, что нередко остается на лице и после смерти, — была всем, что сохранилось от него прежнего. Она вонзилась ей в самое сердце, глаза Элизабет затуманились слезами, а Василий бросил на нее горестный взгляд, словно хотел сказать: «Я утратил всякую надежду».

— Спасибо, что приехала, но тебе нельзя здесь

находиться, — хрипло пробормотал больной.

В ответ Элизабет поцеловала его руку и лоб, и, как ни старалась крепиться, слезы покатились у нее из глаз и упали на его ввалившиеся щеки. Он снова улыбнулся.

— Все не так уж плохо, — промолвил он, — не плачь, я хочу умереть! Я не страдаю, но очень устал от жизни.

Вошел хирург, осмотрел рану: пуля из мушкета попала Фолкнеру в бок. Он обработал рану и дал пациенту лекарство, от которого тому сразу полегчало, а затем присоединился к встревоженной девушке, что вышла в другую комнату.

— Состояние очень опасное, — произнес хирург в ответ на ее тревожный взгляд. — Пока ничего нельзя сказать точно. Но прежде всего необходимо увезти его из этого места, тут полно заразы; совокупный вред от лихорадки и ранения его убьет. Свежий воздух поможет справиться хотя бы с болезнью.

Со свойственной ей энергичностью Элизабет велела приготовить носилки, нанять лошадей и организовать все, чтобы выехать на рассвете. Спать легли рано, чтобы успеть отдохнуть перед утренней дорогой; лишь Элизабет не ложилась и провела долгую ночь в бдении у кровати

Фолкнера, отмечая в нем каждую перемену. Она слышала стоны, которые он издавал во сне, и слетавшие с его губ сдавленные жалобы и терзалась, глядя на его беспокойство и горячечные метания, что в любой момент могли привести к роковому исходу. Тусклый трепещущий свет лампы лишь усиливал ощущение убогости и запустения, царившее в ужасной комнате, где он лежал; Элизабет на минуту выглянула в окно посмотреть на расположение звезд и поразилась великолепию природы. Перед ней раскинулся прекрасный греческий пейзаж, южная ночь во всей своей царственной красе: звезды, яркими лампами повисшие в прозрачном эфире; над оливковыми рощами кружились и мелькали светлячки, садились на миртовые изгороди и иногда вспыхивали, на миг заполняя окружающее пространство волшебным сиянием. Каждое дерево, камень и неровная возвышенность лежали в безмятежной и прекрасной дреме. Она повернулась к ложу, где покоилась вся ее надежда, ее обожаемый отец; его изрезанный морщинами лоб, безвольно повисшая рука, полуприкрытые глаза и прерывистое дыхание свидетельствовали о чрезвычайной слабости и муках.

Пейзаж за окном невольно вызвал в памяти

слова английского поэта, который трогательно описывал запустение греческих земель, сравнивая смертные муки с затянувшимися бедами угнетенной страны. Отдельные слова и строки всплывали в памяти, и, чувствуя, как защемило сердце и отозвалось, она воскликнула: «Нет! Нет, только не так! Он не умер в первый день нашей встречи — не умрет сейчас и не умрет никогда!» С этими словами она расплакалась и рыдала долго и горько; после успокоилась, и остаток ее бдения прошел в молчании. К утру даже больному полегчало.

В ранний час все было готово. Фолкнера поместили на носилки, и небольшой отряд, охотно покинув убогую деревушку, медленно направился к морскому берегу. На каждом шагу их подстерегали беда и опасность. К Элизабет вернулось ее обычное самообладание; хладнокровная, бдительная, за эти часы она словно набралась опыта, который иные не приобретают и за годы. Никто не вспоминал, что во главе процессии шестнадцатилетняя девушка. Она замирала над носилками раненого, подсказывала, как лучше его нести, чтобы он не страдал, — а это было непросто, так как земля была неровной, приходилось взбираться в гору и пересекать

овраги. Время от времени слышался мушкетный выстрел; иногда над холмами вдоль дороги мелькала греческая шапка, которую часто по ошибке принимали за тюрбан и поднимали тревогу, но Элизабет не боялась. Ее большие глаза округлялись и темнели, когда она смотрела туда, где таилась предполагаемая опасность; она подходила ближе к носилкам, как одинокая мать, что старается держаться рядом с колыбелью ребенка, услышав в ночной тишине крик голодного зверя, грозящий нарушить их уединение; но открывала рот лишь затем, чтобы указывать остальным на ошибки, которые первой подмечала, или велеть мужчинам идти тихо, но не бояться и не позволять ложным тревогам замедлить продвижение.

Наконец они дошли до берега, и Фолкнера подняли на палубу корабля; там он смог отдохнуть от мучений, которые причинил ему переход, несмотря на то что несли его очень осторожно. Элизабет поверила, что он спасен, но стоило взглянуть на его бледное лицо и исхудавшую фигуру, как ее страхи пробудились снова. Он выглядел, как выглядят люди на пороге смерти, и все вокруг не сомневались, что он умрет.

Глава XI

По возвращении в Закинф Фолкнера уложили в прохладной удобной комнате; опытный хирург осмотрел его раны, а Элизабет, забыв о сне, дежурила у его постели. Так постепенно смертная тень стерлась с его лица, утратившего бледный, неживой оттенок. Но до выздоровления было еще далеко. Ранение проявлялось опасными симптомами, а лихорадка никак не желала проходить. Он чудом спасся от могилы, ослабел и отощал; болезнь даже пыталась лишить его рассудка, но тот сопротивлялся куда упорнее измученного тела. Фолкнер сам отправился на смерть и ее не страшился, но уже не проявлял прежней нетерпимости к жизни; теперь он мужественно и стойко пытался противостоять болезни тела и застарелому недугу души.

Забота о нем стала для Элизабет серьезным испытанием. Мрачное лицо хирурга много дней не сулило надежды. Но она не отчаивалась, и в конце концов Фолкнер поправился именно благодаря ее бдительному уходу. Она никогда не покидала его спальню, разве что на несколько

часов, чтобы поспать, и попросила переставить свою кровать в соседнюю комнату. Стоило ему пошевелиться, она тут же просыпалась и бежала к нему, пытаясь угадать причину беспокойства и облегчить его состояние. За ним смотрели и другие сиделки, и Василий — его самый преданный друг; она руководила ими с рассудительностью и тактом, на которые способна только женщина. Ее мягкая маленькая ручка разглаживала подушку, охлаждала и освежала лоб. Она, казалось, совсем не ощущала воздействия бессонных ночей и дней, проведенных в бдительном ожидании; все ее чувства сплотились в надежде и решимости его спасти.

Она бережно выхаживала его несколько месяцев. Наконец Фолкнеру стало немного лучше; лихорадка спала, рана начала заживать. Однажды его переместили в открытый альков, чтобы он мог подышать бархатистым вечерним воздухом, и в первый же вечер усилия Элизабет вознаградились сполна. Она присела рядом с ним на низкую подушку; он гладил ее по голове исхудавшими пальцами и перебирал ее кудри; этот ласковый жест показывал, что хотя он молчал и выглядел рассеянным, но думал о ней. Наконец он произнес:

— Элизабет, ты снова спасла мне жизнь.

Она бросила на него быстрый счастливый взгляд; глаза сияли от удовольствия.

— Ты дважды спасла мне жизнь, — продолжил он, — и, кажется, твоими стараниями мне суждено жить. Я больше не стану противиться существованию; пусть это будет твоим мне подарком. Я буду лишь надеяться, что моя жизнь, продленная тобой, принесет тебе пользу. Теперь у меня только одно желание: быть для тебя источником счастья.

— Живи! Живи, дорогой отец, и я буду счастлива! — воскликнула она.

— Милостью Господней так все и случится, — ответил он и прижал к губам ее ладонь. — Молитвы таких, как я, нередко становятся проклятьями. Но ты, моя дорогая, — на тебе лежит Божье благословение; думаю, Господь сохранил мне жизнь ради тебя, чтобы я был тебе полезен.

— Разве можно в этом сомневаться? — отвечала Элизабет. — Если бы я тебя потеряла, я была бы безутешна. Во всем белом свете у меня больше нет ни одного родного человека, ни одного друга, да мне никто и не нужен. Не думай больше о том, чтобы оставить меня навсегда, забудь эти жестокие мысли, и я буду счастлива.

— Милое, щедрое, преданное создание! Придет время, и я перестану быть для тебя всем миром; не помешает ли тогда мое имя и мое отцовство исполнению твоих желаний?

— Как такое может быть? — спросила она. — Отец, не строй догадок о будущем и не вспоминай о прошлом; сосредоточься на настоящем, где ничего тебе не досаждает; точнее, подумай о своей доблести и преданности делу защиты страждущих, и пусть эта мысль внушит тебе гордость за себя и утихомирит твои печали. Пусть другая часть твоей жизни растает как сон; прогони воспоминания, что прежде делали тебя несчастным. Твоя жизнь спасена, хоть ты этого и не хотел. Прими жизнь как непосредственный дар свыше и с этого момента преисполнись новых надежд и новых стремлений! Ошибка, в которой ты так горько раскаиваешься, принадлежала тебе прежнему; теперь ты другой человек. Ты загладил свою вину раскаянием и смирением, а если несчастные последствия твоих действий до сих пор в силе, лучше постарайся их исправить, чем горевать безо всякой пользы.

— Исправить мою ошибку? Мое преступление? — изменившимся голосом воскликнул Фолкнер, и тучи сгустились над его челом. — Нет,

нет! Это невозможно! Вину перед мертвыми не искупить до тех пор, пока мы не встретимся в следующей жизни. Но сейчас я не должен об этом думать; это слишком неблагодарно по отношению к тебе — предаваться мыслям, что могут свести меня в могилу. Скажу одно: я оставил в Англии письмо с кратким описанием несчастного события, которое одно способно меня уничтожить, однако в нем все описано коротко и без подробностей. Тут, в Греции, во время своих ночных бдений я подготовил более подробный рассказ. Помнишь шкатулку из палисандра, которую я попросил принести, когда думал, что умираю? Она лежит у моей кровати; ключ здесь, на моей цепочке для часов. В этой шкатулке — рассказ о моем преступлении; когда я умру, прочти его и будь мне судьей.

— Ни за что! Ни за что! — горячо воскликнула Элизабет. — Дорогой отец, как бесчеловечно ты мучил себя, размышляя о прошлом и записывая свои мысли на бумаге! Думаешь, я соглашусь читать обвинения против тебя, своего ангела-хранителя, хоть те и написаны твоей рукой? Позволь, я принесу шкатулку и сожгу эту исповедь; пусть не останется ни одного свидетельства о пережитом тобой несчастье, вину за которое ты

уже искупил!

Она уже была готова пойти и исполнить свое намерение, но Фолкнер ее удержал.

— Я писал это признание не только для тебя, дитя мое, хотя потом, когда ты услышишь, в чем меня обвиняют, ты, вероятно, порадуешься, что узнала обо всем от меня. Есть другие, которым я обязан; несчастный ангел, жаждущий отмщения; страшная тайна, о которой мир должен узнать. Я дожидался смерти, чтобы расплатиться по долгам, и ради тебя готов подождать еще; пока ты любишь меня и носишь мою фамилию, я не стану покрывать ее позором. Но если я умру, моя тайна не должна умереть вместе со мной. Больше не скажу ни слова, и не проси меня ничего обещать; когда придет время, ты все поймешь и смиришься с необходимостью моего разоблачения.

— Обещаю слушаться тебя, отец, — ответила она, — и никогда не стану перечить твоей воле; разве что мне снова придется просить тебя жить ради несчастного создания, которое ты уберег.

— А уберег ли я тебя, моя милая? Мне часто кажется, что я зря не вернул тебя родственникам. Присвоив тебя себе и тем самым связав твою судьбу со своей несчастной долей, я уготовил тебе бесчисленные беды. Что за печальная голо-

воломка жизнь! В юности нам говорят о прямом и узком пути правды, но мы высокомерно пренебрегаем им, а теперь я бы все отдал, чтобы сидеть в безымянной толпе на краю общей дороги, а не слепо блуждать в темноте в одиночестве! А ты — я и тебя завел в непроходимые дебри ошибок и терзаний; я был неправ, я поступил эгоистично, но кто мог это предвидеть?

— Никто не может предвидеть будущее, — успокоила его Элизабет и прижала его истончившуюся ладонь к своим теплым юным губам. — Думай о настоящем; теперь я твоя навек, и ты не можешь бросить меня, не причинив мне страшной боли; вот что реально, а не призрачное зло, о котором ты говоришь. Я счастлива, ухаживая за тобой, я рада быть полезной. Что еще нужно?

— Возможно, ты права, — ответил Фолкнер, — и твое доброе и благодарное сердце само вознаградит себя за принесенные им жертвы. Но мое сердце на это не способно. Поэтому я отдаюсь в твои руки, Элизабет. Я больше не стану думать о прошлых грехах и будущих страданиях; мое существование отныне будет посвящено тебе; я стану жить твоими улыбками, надеждами и лаской.

Разговор по душам пошел на пользу обоим.

Озадаченный — нет, пожалуй, даже терзаемый противоречивыми обязательствами, — Фолкнер послушался Элизабет и, отвернувшись от самых болезненных своих воспоминаний, предался более благоприятным мыслям. Он решил, что будет думать о беде и благе нынешнего дня: его долг по отношению к Элизабет стоит на первом месте; на нем и стоит сосредоточиться.

Любовь сродни волшебству, и когда сердце переполнено чувствами, мы ощущаем блаженство, хотя не можем его изъяснить. Вот что испытывала Элизабет после разговора с отцом. Их сердца слились воедино; они мыслили и чувствовали как один человек, и в результате их привязанность укрепилась, сполна вознаградив Элизабет за все страдания. Она любила своего благодетеля с невыразимой искренностью и преданностью, а их откровенный разговор усилил ее чувства; это и было счастьем.

Глава XII

Хотя смерть больше не грозила Фолкнеру, до выздоровления оставалось еще далеко. Рана затягивалась плохо, лихорадка то ослабевала, то возобновлялась, он то набирался сил, то снова лежал и не мог пошевелиться. Он пережил опасную зиму, но врачи заявили, что знойное южное лето может оказаться для него смертельным и его следует немедленно перевезти в прохладные широты родной Англии.

В конце апреля они переехали в Ливорно. Отъезд их опечалил; особенно тяжело было прощаться с греческим слугой, на которого Элизабет привыкла полагаться. Василий пошел к Фолкнеру в услужение по настоянию протоклефта, то есть главы своего клана; когда англичанин был вынужден покинуть Грецию и уехать на родину, Василий, горюя и обливаясь слезами, вернулся к прежнему господину. Юная Элизабет осталась без надежного помощника и чувствовала себя очень одинокой; отец лежал на палубе судна, ослабев от вынужденных перемещений, и ей казалось, что жизнь его висит на тонком волоске.

Она дрожала при мысли, что ее ждет без единого друга во всем мире.

Впрочем, она не показывала своих тайных сомнений и не позволяла им вносить сумятицу; она всегда казалась жизнерадостной, сидела у низкой кровати отца, сжав его ладони в своих, и ободряюще с ним говорила. Скалистый берег Закинфа растворился вдали, скрылся из виду, и глаза ее наполнились слезами.

Путешествие прошло без затруднений; лишь теплый юго-восточный ветер, гнавший корабль вперед, значительно ухудшил состояние больного, и Элизабет не терпелось скорее продвинуться к северу. В Ливорно их задержал длительный и неприятный карантин. В том году лето началось преждевременно; стоял сильный зной, и несколько недель, проведенных в лазарете, чуть не привели к исходу, которого они надеялись избежать, уехав из Греции. Фолкнеру становилось хуже. Морской бриз немного облегчал его страдания, но его измучила постоянная борьба за жизнь, и страшная немощь грозила его погубить. Да и могло ли быть иначе? Он сам хотел умереть. Он искал смерти в любом обличье: та встречала его во всеоружии на поле боя и коварно таилась в дуновении теплого греческого ветерка. Орудия

смерти были многочисленны, и со многими, в том числе самыми опасными, он был знаком. Элизабет не поддавалась отчаянию и продолжала надеяться, но когда отлучалась и затем возвращалась в его комнату, ее сердце бешено стучало; страх, что она внезапно услышит и увидит, что все кончено, не покидал ее ни на минуту.

В этот период случилось кое-что, чему Элизабет, целиком поглощенная смертельным страхом, тогда не придала значения. Примерно через две недели их пребывания в карантине в мрачное помещение лазарета вошла компания англичан — та самая шумная толпа мужчин, женщин и детей, при виде которой иностранцы решают, что на Британских островах живут одни сумасшедшие, которые тащат с собой в путешествия маленьких беспомощных детей, забрав их из-под уютной крыши скитаться в поисках опасностей. Эта шумная компания состояла из взрослого сына английского вельможи и его супруги, их четверых детей, старшему из которых было шесть лет, гувернантки, трех нянь, двух горничных и большого количества слуг. Они только что вернулись из путешествия к египетским пирамидам. Наблюдать за поднятым ими шумом и суетой было весьма забавно: слуги бросились устраивать

хозяев как можно удобнее, хотя в лазарете это не представлялось возможным, и разложили походные столы и стулья; англичане реагировали на суматоху с кажущимся безразличием, а итальянцы не скрывали своего изумления. На первый стул уселся лорд Сесил — высокий худощавый мужчина средних лет аристократической наружности, державшийся просто и молчаливо; он велел принести его письменный прибор и занялся письмом, не обращая внимания на окружающий хаос. Леди Сесил — она была некрасива, но мила и элегантна — села в окружении детей, сущих ангелочков с розовыми щеками и золотистыми кудрями; самый маленький херувимчик крепко спал среди шума, а остальные с энтузиазмом ждали, когда им подадут обед.

Элизабет видела, как они вошли и после вышли в сад при лазарете; одну женщину она узнала, хотя ее глаза закрывала зеленая вуаль, — это была мисс Джервис, гувернантка. Столь сильно было горе и отчаяние бедной девушки, что вид знакомого лица и звуки голоса мисс Джервис пролились бальзамом на ее измученную душу, а гувернантка бесконечно обрадовалась встрече с бывшей ученицей. Обычно она воспринимала своих подопечных как часть механизма,

поддерживающего ее жизнеобеспечение; однако Элизабет полюбилась ей, так как обладала неотразимым обаянием; такой ее делали самоотверженность и чувствительность к страданиям окружающих. Мисс Джервис часто жалела о том, что оставила ее, и сейчас призналась в этом: под влиянием внезапной встречи привычная ее молчаливость уступала место чему-то, что почти можно было назвать словоохотливостью.

— Мне очень не повезло, — продолжала она. — Будь моя воля, я бы предпочла благопристойную жизнь в самой убогой лондонской квартирке роскошным древним дворцам Востока, которыми люди так восхищаются; по мне, так в них всегда грязь и беспорядок. Леди Гленфелл порекомендовала меня леди Сесил; поистине более щедрой и добродушной женщины не сыскать, и я была очень счастлива, пока жила в Гэмпшире в поместье графа Г. и по большей части была предоставлена сама себе. Но однажды — вот беда — леди Сесил пришла в голову идея отправиться в путешествие, видимо, чтобы уехать подальше от свекра, старого брюзги. А лорд Сесил потакает любым ее капризам. Они все спланировали, и я решила, что надо увольняться, так мне не хотелось снова ехать за границу, но леди Сесил

заявила, что я им очень пригожусь, ведь я везде побывала и знаю много языков, и она никогда бы не поехала, если бы знала, что я не соглашусь ее сопровождать; одним словом, она была очень щедра, и я не могла ей отказать. И вот мы отправились в путь и сначала поехали в Португалию, где я никогда не бывала и не знаю ни слова по-португальски; потом в Испанию — а испанский для меня что греческий, нет, хуже, по-гречески я все же пару слов знаю. Дальше я даже не помню, как именно мы ехали, но последним пунктом нашего маршрута оказались египетские пирамиды, и, увы, как только мы прибыли в Александрию, я подхватила воспаление глаз и все время, что мы пробыли в Египте, не могла выносить яркий солнечный свет!

Тут к мисс Джервис и детям подошла леди Сесил. Ее поразили улыбка Элизабет и ее благородный вид, свидетельствующий о высоком интеллекте и утонченной чувствительности. Фигура Элизабет превращалась в женскую; она вытянулась и стала более изящной; плавность движений сочеталась в ней с величавостью — не искусственной напыщенностью, а природной величавостью души, облагороженной воспитанием и усмиренной сострадательной добротой ко всем,

даже самым ничтожным живым существам. Ее достоинство рождалось не из самообожания, а из умения полагаться на себя и пренебрежения тривиальностями, что занимают мелочный ум. Всякий, кто смотрел на нее, задерживал взгляд, а необычные обстоятельства ее жизни вызывали глубокий интерес у представительниц ее пола: любящая и заботливая дочь умирающего, которую никто не поддерживал, кроме ее собственного мужества и терпения; она ничего не боялась, но вечно была начеку, так как его жизни всегда угрожала опасность. Мисс Джервис представила ее леди Сесил, и та проявила к ней доброту и предложила продолжить путешествие вместе, однако карантин Элизабет заканчивался намного раньше, чем у новоприбывших, и ей не терпелось скорее попасть в более умеренный климат, поэтому она отказалась, но поблагодарила новую знакомую и была очарована ее любезностью и чуткостью.

Леди Сесил не была красавицей, но было в ее манере и внешности что-то если не чарующее, то бесконечно располагающее. Ее жизнерадостность, добродушие и аристократическое воспитание наделяли ее манеры изяществом и приятной легкостью и всех привлекали. Здравый смысл и

живость — она не бывала шумлива, не бывала и скучна — делали ее общество приятным. Внешне она со всеми обращалась одинаково, но умела внутренне распределять свои симпатии при всем их наружном сходстве; если же она решала быть благосклонной, все поражались ее искренности и дружелюбию, на которые можно было всецело положиться. Не будь душа Элизабет так отягощена заботами, она пришла бы в восторг от знакомства с леди Сесил, но пока чувствовала лишь благодарность за ее бескорыстную доброту.

Глядя на умирающего Фолкнера и его преданную любящую дочь, леди Сесил искренне им сопереживала; она решила, что он умирает, поскольку он исхудал как тень, краска схлынула с щек, а руки истончились и пожелтели. Он не держался на ногах, а когда прохладным вечером его выносили на свежий воздух, от слабости едва мог говорить. На лице Элизабет лежала постоянная печать тревоги; ее бдительность, терпение, горе и смирение складывались в трогательную картину, которую невозможно было наблюдать без восхищения. Леди Сесил часто пыталась увести ее от постели отца, чтобы Элизабет отдохнула от неусыпной вахты, но та соглашалась отойти лишь на минуту и, когда разговаривала, при-

творялась беззаботной, но уже через миг бежала обратно и возвращалась на привычное место у отцовского изголовья.

Наконец их заключение в карантине закончилось, и Фолкнера погрузили на борт фелуки, направлявшейся в Геную. Элизабет попрощалась с новой подругой и пообещала писать, но сразу забыла о данном обещании; она ежеминутно дрожала, что ее благодетель может умереть, и оттого не осмеливалась заглядывать в будущее и не желала допускать в свой мир иные чувства, кроме тех, что уже испытывала, хоть они и повергали ее в уныние. С попутным ветром они доплыли до Генуи; Фолкнер перенес плавание очень хорошо, а в Генуе они пересели на другой корабль, и по мере приближения к Франции страхи Элизабет улеглись. Однако следующий отрезок пути оказался не столь удачным. Они отплыли ночью и за первые часы прошли довольно большое расстояние, но к полудню следующего дня попали в штиль; теснота на корабле, палящее солнце, ужасающие запахи, неудобная каюта — все это в совокупности вызвало ухудшение, и Элизабет снова показалось, что Фолкнер умирает. Даже экипаж его жалел, а Элизабет, чуть не обезумев от страха и бессильного желания

его спасти, оставалась внешне спокойной, что шокировало окружающих куда сильнее, чем если бы она кричала и плакала. Вечером она велела перенести его на палубу и там уложить на кушетку; для него соорудили что-то вроде навеса, но он слишком ослаб и не почувствовал облегчения. Лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок, грозивший в любой момент смениться маской смерти. Мужество почти покинуло Элизабет; на борту не было врача, слуги перепугались, экипаж сострадал ей, но помочь никто не мог.

Ее охватило чувство крайнего одиночества и отчаяние, какого она прежде никогда не испытывала; когда она наклонилась над кушеткой Фолкнера и слезы хлынули из ее глаз, она попыталась сдержать судорожный всхлип, и тихий голос произнес: «Позвольте, я положу вашему отцу под голову подушку, так ему будет удобнее». Говорящий показался ей ангелом-хранителем; она подняла на него благодарный взгляд; отцу тут же подали подушку, напоили и натянули парус, чтобы защитить его от вечернего солнца; их окружили маленькими знаками внимания, которые успокоили больного. Солнце опустилось к горизонту; стало прохладнее, подул вечерний ветерок, и Фолкнер наконец погрузился в глубокий

сон. Когда наступила ночь, незнакомец уговорил Элизабет немного поспать, пообещав присмотреть за Фолкнером. Та не смогла противиться его искренним и настойчивым уговорам, спустилась и обнаружила постель, которую приготовил ей незнакомец с почти женской аккуратностью; прежде чем она уснула, он постучал ей в дверь и сказал, что Фолкнер проснулся, сообщил, что чувствует себя намного лучше, порадовался, что Элизабет пошла отдыхать, и снова уснул.

Знать, что кто-то, на кого она может положиться, пришел разделить с ней ее ношу, было ново и необычно для одинокой девушки. На палубе она редко смотрела в его сторону и не обращала на него внимания; лишь заметила, что он был англичанином, и довольно молодым, но теперь, в тишине, перед отходом ко сну, его низкий мелодичный голос сладко звучал в ее ушах, а меланхолия и серьезность его красивого лица напомнили ей другого юношу, которого она прежде видела, — вероятно, грека: кожа у него была оливковой, как у иностранца, глаза темными и ласковыми, и в целом он производил впечатление человека, в котором тонкость чувств сочетается с поэтической пылкостью. С этими мыслями Элизабет уснула, и когда рано

утром проснулась и поспешно поднялась к навесу, воздвигнутому на палубе для ее отца, первым делом увидела там незнакомца, который стоял, прислонившись к фальшборту, и смотрел на море с нежным и печальным выражением, пробудившим в ней сочувствие. Он приветствовал ее необычайно ласково.

— Ваш отец проснулся и спрашивал о вас, — сказал он.

Элизабет поблагодарила молодого человека и заняла свой привычный пост рядом с Фолкнером. Тому, вероятно, полегчало, но он был слишком слаб и не мог подать знак, а при виде его бледного лица полузабытые страхи вернулись.

Тем временем ветер посвежел и судно заскользило по искрящимся лазурным волнам. Полуденный зной хоть и не ощущался так сильно из-за ветра, все же неблагоприятно влиял на Фолкнера, и когда они прибыли в Марсель примерно в пять часов вечера — а на юге это самое жаркое время дня, когда воздух прогревается под солнечными лучами, — перед ними встала трудная задача его переместить. В течение дня Элизабет с незнакомцем обменялись едва ли парой слов, но теперь тот подошел и помог перенести Фолкнера в шлюпку; он действовал без вопросов, точно был ее братом

и интуитивно угадывал, как лучше поступить, помогая охотно и энергично. Бедняжка Элизабет, одна, без родственников и друзей оказавшаяся в этой сложной ситуации, смотрела на него как на своего ангела-хранителя и во всем с ним советовалась, чувствуя огромную благодарность при виде того, как он ради нее старался. Он делал все возможное, часами сидел в комнате гостиницы, соседней с той, где лежал Фолкнер, ждал новостей о его состоянии, чтобы спросить, может ли он быть полезен. Иногда к нему присоединялась Элизабет; можно сказать, что они сблизились, хотя по-прежнему считались чужими людьми; он живо интересовался всем, что ее тревожило, а она обращалась к нему за советом и помощью, слушалась его рекомендаций и воспаряла духом, когда он ее утешал. Впервые в жизни у нее появился друг и доверенный, не считая Фолкнера; невозможно было не поддаться его ласковой манере, почти по-женски деликатному вниманию и при этом мужской деятельной энергии и готовности делать все необходимое. «У меня приемный отец, — рассуждала Элизабет, — а это, кажется, мой приемный брат, посланный мне небесами». Он и по возрасту годился ей в братья, всего на несколько лет ее старше, и находился в

том периоде, когда еще не запятнанная миром счастливая душа вступает в период возмужания и в ней проявляются пыл и благородство, свойственные раннему взрослению.

Элизабет осталась в Марселе всего на несколько дней: они спешили сбежать от южного зноя, и врач постановил, что Фолкнер достаточно крепок и готов к путешествию по Роне[13]. Узнав, что они уезжают, незнакомец расстроился. По правде говоря, не одну Элизабет радовало и утешало общество нового друга; его удовольствие от знакомства с ней было вдвое больше, он искренне любовался ее красотой и благородными качествами. Она ни разу не заговорила о себе. Все ее внимание и мысли были прикованы к тому, кого она называла отцом; незнакомца глубоко тронуло проявление ее дочерней привязанности и полное пренебрежение всем, что не имело отношения к удобству и выздоровлению Фолкнера. Однажды вечером он стал свидетелем такой картины: он стоял поодаль, а Фолкнер очнулся ото сна и с сожалением заговорил об усталости Элизабет и о том, сколько ей пришлось пережить ради спасения его никчемной жизни. Элизабет

---

[13] Примечания: 13
Река в Швейцарии.

тут же ответила, и такой пылкой показалась ему ее любовь, такой трогательной радость от того, что отец идет на поправку, и такими искренними обращенные к нему просьбы полюбить жизнь, будто сам ангел произносил эти слова. Фолкнер откликнулся, но угрызения совести, тяжким грузом лежавшие на его сердце, придали горечь его словам. Она же принялась красноречиво и ласково уговаривать отца взглянуть на жизнь в более благоприятном и благородном свете и не спешить отказываться от земных обязанностей, чтобы взвалить на себя те, что ждали его в мире ином, о котором он ничего не знал; в своих ласковых рассуждениях она представляла его раскаяние добродетелью и пыталась примирить его с самим собой. Все это изумило и глубоко восхитило незнакомца. Он никогда не встречал человека, наделенного такой мудростью, такими сильными и нежными чувствами; лишь женщина способна на такое, но редкая женщина сумела бы говорить как Элизабет и обладала бы подобной стойкостью. Помня о присутствии незнакомца, она не была слишком откровенна, словно желая оставить завесу тайны над своими отношениями с Фолкнером, которого называла настоящим отцом, — и хотела верить, что так

оно и есть.

Лихорадка ослабла, и назначили день отбытия из Марселя. Новый друг проявлял желание сопроводить их хотя бы до Лиона. Глаза Элизабет засияли от радости; она нуждалась в поддержке, точнее, она чувствовала неоценимую пользу от его присутствия во время опасных кризисов, то и дело случавшихся у Фолкнера, чья болезнь вела себя непредсказуемо. Вдобавок было в незнакомце что-то очень привлекательное — меланхолия, часто сменявшая природную пылкость его натуры. Он отличался энергичным, даже, пожалуй, жизнерадостным нравом, но порой забывался, и тогда проявлялись другие его черты; иногда к его угрюмости примешивалась мрачная свирепость, и становилось ясно, что причиной его частых приступов задумчивости является вовсе не холодность. Пару раз в такие минуты он напоминал Элизабет кого-то… она не сразу вспомнила, кого именно, а потом ее осенило: замкнутого одинокого мальчика из Бадена! Что удивительно, она даже не знала, как звали ее нового друга; тем, кто привык держать слуг-иностранцев, это не покажется странным; так как он был их единственным посетителем, о его приходе объявляли «месье». Но Элизабет вспомнила фамилию юно-

ши — Невилл и, расспросив нового знакомого, узнала, что его звали так же.

Теперь она изучала его с еще большим интересом. Вспомнила, как в детстве хотела, чтобы он поселился с ними и испытал на себе доброту Фолкнера; как надеялась, что его угрюмость смягчится, а меланхолия развеется, когда он будет окружен любовью и вниманием. Ей хотелось узнать, что исправило его характер — время или обстоятельства; что вызвало перемену, причиной которой хотела некогда быть она сама. Он изменился; от его свирепости и угрюмости не осталось и следа, но он по-прежнему казался задумчивым и несчастным. Она понимала, что в прошлом его состояние объяснялось горячностью, порожденной выпавшими на его долю бедами; в дальнейшем же он научился усмирять свой необузданный нрав, и теперь его было не узнать, однако изначальные причины его несчастья никуда не делись. Впрочем, необузданным его уже нельзя было назвать; он стал чрезвычайно любезным, хотя внутри него горело пламя и билось дикое горячее сердце; но теперь оно было способно на сильные чувства и не способно на грубость. Все это Элизабет отметила и, как прежде, захотела избавить его от меланхолии, что так

явно затуманивала его ум; снова она начала предаваться фантазиям и мечтать, как он отправится их сопровождать, будет находиться с ними рядом, их доброта развеет печаль, вызванную прискорбными обстоятельствами его раннего детства; она не верила, что угрюмость стала неотъемлемой чертой его характера. Она очень его жалела, ведь ей казалось, что он страдает молча; при этом она восхищалась его самоконтролем и умением отгородиться от собственных чувств, чтобы помогать и сочувствовать ей.

Вскоре они отплывали, и Элизабет пока не знала, поедет ли Невилл с ними. Он взошел на судно, чтобы приготовить все для удобства больного, а она сидела с Фолкнером и ждала его возвращения. Фолкнер лежал у окна, взяв ее за руку и с нежностью глядя на нее; он говорил, как многим ей обязан, и обещал отплатить ей, продолжая жить и стараясь всячески улучшить ее существование.

— Я буду жить, — промолвил он, — я чувствую, что болезнь уходит; я посвящу себя попыткам вознаградить тебя за все тревоги и прогнать тучи, что по вине моей жестокости омрачили твою юность. Твоя жизнь отныне будет безоблачной. Я буду думать только о тебе; все остальное, все,

что меня тяготит, мои грехи, в которых я раскаялся, — я забуду об этом сию минуту.

В этот момент вошел незнакомец и приблизился. Элизабет увидела его и произнесла:

— А вот, дорогой отец, человек, которому ты многим обязан, хотя сам об этом не догадываешься: он был добр ко мне и очень тебе помог. Без мистера Невилла я едва ли смогла бы тебя спасти.

Юноша стоял у кушетки, смотрел на больного и радовался, что тот выглядел намного лучше. Фолкнер повернулся к нему; его руки и ноги задрожали, он смертельно побледнел и потерял сознание.

С этого момента его состояние изменилось к худшему; решив, что обморок вызван чрезмерным возбуждением, с которым пациент не в силах совладать, врач испугался, что тот не перенесет плавание; однако Фолкнер, который прежде был безразличен, вдруг загорелся желанием скорее отплыть.

— Перемена места и движение пойдут мне на пользу, — сказал он, — но пусть никто ко мне не подходит и никто со мной не разговаривает, кроме Элизабет.

В какой-то момент речь зашла о том, чтобы

Невилл их сопровождал, и Фолкнер пришел в сильное смятение и начал умолять Элизабет не позволять юноше ехать с ними. Бедная девушка, черпавшая поддержку и утешение в обществе нового друга, упала духом, но любое желание Фолкнера было для нее законом, и она безропотно подчинилась.

— Не пускай его ко мне перед отъездом, — велел Фолкнер. — Выполни мое желание, дорогая, но постарайся его не обидеть и не говори, что я так велел; это будет недостойным ответом на оказанную тебе помощь. Поверь, я бы с радостью его отблагодарил, но это невозможно; придется тебе это сделать, прошу, поблагодари его от всего сердца, но я его больше видеть не могу.

Элизабет удивилась его неприязни к юноше и в последней попытке ее преодолеть сказала:

— А знаешь, это тот же мальчик, который заинтересовал нас в Бадене. Но он уже не дикий; правда, боюсь, он так же несчастен, как тогда.

— Знаю, — ответил Фолкнер, — ни о чем меня не спрашивай и больше о нем не упоминай. — Его речь была прерывистой; холодный пот выступил на лбу, и Элизабет, знавшая о терзавшей его таинственной ране, куда более болезненной, чем любое физическое увечье, бросилась его успока-

ивать. Сомнения остались, но она больше думала не об удовлетворении своего любопытства, а о том, чтобы не причинять Фолкнеру боль, и решила никогда больше не упоминать при нем о Невилле.

Им предстояло отплыть на рассвете; вечером новый друг пришел прощаться. Элизабет избегала разговора о совместном путешествии и настояла, чтобы утром он не приходил и не провожал их. Хотя она была любезна и попрощалась с ним с теплотой, чтобы он не обиделся, он все же угадал, что его не хотят видеть, и это усугубило его меланхолию, хотя подсознательно он чувствовал, что так будет лучше. Элизабет передали, что он пришел, и она покинула Фолкнера и вышла к нему. Прощаться было тяжело; она знала, что больше его не увидит, и понимала, что их расставание не случайно, а произошло по воле ее отца, который в будущем, возможно, снова попытается вмешаться и их разлучить. Когда она вошла, юноша стоял у окна и смотрел на море, раскинувшееся внизу, спокойное, как озеро, и синее, как склонившийся над ним полночный небосвод. Был мягкий, приятный и бархатистый июльский вечер, но лицо Невилла являлось полной противоположностью безмятежной природе.

Его глаза казались колодцами бездонной грусти. Опущенные веки придавали глазам выражение неотразимой кротости, отчего их меланхоличная серьезность сделалась еще прекраснее. Кожа его была оливковой, но такой нежной, что под ней просматривались все жилки. Полные изящные губы свидетельствовали о пылкости и чувствительности его нрава; стройное молодое тело, казалось, сгибалось под тяжестью дум и печали. Сердце Элизабет забилось чаще, когда она приблизилась и встала рядом. Оба молчали, но он взял ее за руку, и они почувствовали, что слишком сильно жалеют о предстоящем расставании, чтобы ограничиться формальной благодарностью и прощанием.

— При мысли, что я вас больше не увижу, — промолвил Невилл, словно отвечая на ее вопрос, хотя она не произнесла ни слова, — я очень расстроился, но чувствую — уверен, — что так будет лучше. Вы не знаете, что за ужасные мысли обычно мной владеют, и не знаете причину, почему жизнь для меня — нежеланная обуза. Это не новое чувство — оно сопровождает меня с десяти лет. Раньше, когда я еще не умел сдерживать его и им управлять, это было невыносимо; потому в детстве я был обречен на одиночество,

ибо вид людей вызывал у меня отвращение и я гневался на Господа за то, что тот меня создал. Сейчас это прошло; нет, скажу больше: сейчас у меня есть цель, священная миссия, которую я должен исполнить, невзирая на все препятствия, даже если это кажется невыполнимым. Бывало, я сталкивался со сложностями и боялся, что ничего не добьюсь; я отчаивался, но никогда, пока не встретил вас, не получал удовольствия ни от чего, кроме следования своей цели. Рядом с вами я порой забывал о себе и даже почти забыл о своем предназначении, а это неправильно. Я должен вновь взвалить свою ношу и ни на шаг не отклоняться от данного самому себе обещания — достичь успеха, даже если ради этого придется умереть.

— Не говорите так, — ответила Элизабет, глядя на него со смесью жалости и восхищения. Его лицо выражало гордость и печаль — лицо человека, который много выстрадал. — Если ваша цель благородна — а я в этом не сомневаюсь, — вас непременно ждет успех или награда за старания, равноценная успеху. Мы снова встретимся, и я еще увижу вас счастливым.

— Когда это случится, мы обязательно встретимся; я найду вас хоть на краю света, — заявил

он даже с большей горячностью, чем обычно. — До тех пор я постараюсь не видеться с предметом своего интереса и не возобновлять нашу дружбу, которой лучше закончиться здесь и сейчас. Вы слишком добры и милы и не должны расстраиваться при виде моих страданий, а я буду страдать, пока моя миссия не будет выполнена. Даже сейчас я жалею, что встретил вас, хотя это чувство обусловлено моей дурацкой гордостью. Скоро вы снова услышите мое имя и, если еще не знаете мою несчастную историю, узнаете ее и увидите, как мне сочувствуют; вы поймете почему и тоже станете меня жалеть. Я бы хотел избежать даже вашего сочувствия — вообразите же, насколько мне тяжко получать его от других, — и все же я вынужден принимать его или сторониться людей, что я и делаю. Но это изменится. Уверен, однажды я смогу избавиться от лежащего на мне клейма. Эта уверенность, эта абсолютная оптимистическая вера помогла мне измениться; мои детская несдержанность и свирепость сменились стойкостью и решимостью.

— Да, — отвечала Элизабет, — помню, я однажды видела вас в Бадене — много лет назад, когда была еще маленькой девочкой. Вы же были там четыре года назад? Помните, как вы упали с ло-

шади и вывихнули руку?

Лицо Невилла исказилось, будто ему в голову пришла странная и безумная мысль.

— Помню ли я? — воскликнул он. — Да! Помню прекрасную девочку… я тогда подумал, что так могла бы выглядеть моя сестра, если бы я не был одинок, если бы судьба — жестокая, неумолимая, ужасная судьба — не лишила меня ее, как лишила всего остального — всего, благодаря чему мое раннее детство напоминало рай. О да, я помню; значит, я снова встретил вас — ту, кого втайне называл сестрой! Не странно ли это?

— Вы правда называли меня так? — сказала Элизабет. — Ах, если бы вы знали, какие странные мысли тогда приходили мне в голову; я хотела, чтобы мой отец стал вам другом вместо того, другого, о котором так нелестно отзывались — возможно, несправедливо…

Тут он снова помрачнел, потупился, и лицо его сперва исказилось отчаянием, а затем стало гордым, даже ожесточившимся, и он пуще прежнего напомнил ей того мальчика из Бадена.

— Лучше вам не знать о зле, что меня преследует, — продолжил он, — ни к чему и вам терпеть унижение и бесчестье, провоцирующие в человеке ненависть и презрение к миру. Прощайте;

мне жаль вас покидать, но я чувствую, что это к лучшему. Мы еще встретимся в более счастливое время, и вы вспомните, что когда-то мы были знакомы. Храни вас Бог — вас и вашего дорогого отца; уверен, Господь вас не оставит! Мы встречались уже дважды; третий раз, если верить примете, станет испытанием нашей дружбы, а до тех пор — прощайте.

На этом они расстались. Если бы мысли Элизабет не были всецело заняты заботами о Фолкнере, она бы сильнее переживала из-за разлуки и больше размышляла о загадочном проклятье, омрачившем жизни единственных двух людей, приоткрывших ей свою душу и сокровенные чувства. Но она вернулась к постели отца и своим страхам и уже через несколько минут забыла о том, что недавно занимало ее мысли, поскольку любовь к Фолкнеру и уход за ним не оставили в ее душе места для других переживаний.

Глава XIII

С этого момента их путешествие складывалось более благоприятно. До Лиона доплыли без происшествий; далее отправились в Базель, снова воспользовавшись речным транспортом, так как трястись на ухабах в экипаже больному было вредно. По Рейну они дошли до Роттердама, где сели на корабль и наконец вернулись в Англию, где отсутствовали четыре года.

Чем дальше они продвигались на север, тем менее опасным становилось их путешествие, поначалу рискованное и внушавшее страх. В плавании по Рейну Фолкнер с приемной дочерью наконец провели несколько спокойных и счастливых часов, сравнивая окружающие пейзажи с другими, увиденными в далеких странах, и вспоминая события, случившиеся много лет назад. Фолкнер старался ради Элизабет — та много выстрадала, он причинил ей столько горя, пытаясь освободиться от тяжкого бремени жизни, и теперь раскаивался, что играл с глубочайшими струнами ее души, а потому пытался вызвать у нее приятные чувства, более свойственные

ее возрасту. На него также повлияло выздоровление: он ощущал приятную расслабленность; вернулось спокойствие, которого он не испытывал уже давно.

Элизабет тем временем думала не только об отце; другие предметы занимали ее мысли. Она часто вспоминала Невилла, и, хотя представляла его грустным, воспоминания о нем были ей приятны. Он отнесся к ней с добротой и сочувствием и очень ей помог, а его поэтичная угрюмость наделяла размышления о нем особым очарованием. Она вспоминала не только их разговоры, но также думала о причинах его печали; с ним явно была связана какая-то загадка, и это пробуждало ее глубокое любопытство. Такой юный и такой несчастный! И он был несчастен с самого детства; в их прежнюю встречу, когда он бродил один в эльзасских холмах, он был еще печальнее. Почему? Элизабет попыталась вспомнить, что говорила о нем мисс Джервис, но вспомнила лишь, что он рос без матери, а его отец был суров и жесток.

Почему, когда природа так пышна и жизнерадостна, и жарким летом сады и луга утопают в красоте и великолепии, и даже облака наслаждаются, паря высоко в небесах, в душе человека

поселяется грусть? Грусть, которую не могут развеять теплые ветра, изумрудные пейзажи и вьющаяся среди зелени река? Она думала об этом, глядя, как Фолкнер лежит на палубе с мрачным челóм и смотрит в пустоту, будто перед его внутренним взглядом разворачивается душераздирающая трагическая картина; но она привыкла к его меланхолии, ведь он всегда печалился, сколько она его помнила, и до того, как они встретились, прожил долгую жизнь, полную трагических событий, в которых, если верить его словам, сам был виноват. Но Невилл — такой юный и невинный, пострадавший в детстве не за свои грехи, не совершавший ничего, что могло бы стать причиной бедствий, — неужели для него не было спасения? И неужели сочувствия и дружбы недостаточно, чтобы залечить его рану, ведь молодой ум гибок и отзывается на доброту? Она вспомнила, как он говорил, что у него есть цель и он полон решимости ее достичь; если это произойдет, он будет счастлив; несомненно, то была благородная цель, ведь его ласковые глаза сияли, когда он говорил о ней, а лицо светилось гордостью, когда он представлял свой будущий триумф. Она сопереживала ему всем сердцем и искренне молилась за его успех, не сомневаясь,

что Господь будет благоволить душе столь чистой и щедрой.

Полувздох-полустон вернул ее мысли к Фолкнеру; она подошла к нему. Оба они страдают, подумала она, — может, это их связывает и оба обретут успокоение, достигнув своей цели? Она не догадывалась, что между ними существует настоящая связь, таинственная и нерушимая; и, молясь за успех одного, она тем самым приближает крах другого. Темная пелена незнания затуманивала ее взгляд и пока была непроницаемой; она не знала, что, когда эта пелена спадет — а это вскоре должно было случиться, — ей придется выбирать между противоречивыми обязательствами, подвергнуться грозному натиску чувств и увидеть, как жизнь окрашивается в мрачные оттенки, которые пока, не затронув ее, пятнали существование двух людей, вызывавших у нее наибольший интерес.

Они прибыли в Лондон. Фолкнер окончательно излечился от лихорадки, но рана мучила его, болела и грозила опасными осложнениями. Пуля задела кость; сперва врачи этого не заметили, затем прописали неправильное лечение, и теперь начались симптомы отслойки; страдал он страшно, но терпеливо сносил мучения и воспринимал

их как расплату за грехи. Угрызения совести довели его сначала до желания умереть, потом он решил жить, хотя был сломлен и уничтожен, — жить ради Элизабет, пусть даже эта жизнь будет полна страданий. Разве имел он право умереть теперь, когда их судьбы связаны? Лондонский воздух не способствовал выздоровлению больного, зато в Лондоне находились именитые хирурги. Фолкнер и Элизабет поселились на живописной вилле в Уимблдонском парке; та стояла в саду и обладала всеми прелестями небольших загородных английских домов: была ухоженной, уединенной и комфортабельной. Хотя Элизабет провела в путешествиях много лет, она, как всякая женщина, любила домашний уют. Она с радостью занялась обустройством дома, привнеся в него тысячу маленьких деталей, которые вроде бы ничего не значат, но придают жилищу изящество и жизнерадостность.

Они стали вести спокойную жизнь; их связывали дружба и взаимное доверие, источник тысяч приятных бесед и счастливых часов. Лишь одно было под запретом: имя Невилла никогда не упоминалось в доме, и, вероятно, по этой причине Элизабет все чаще думала о нем, оставаясь в одиночестве. Человек теряет любопытство к

любой теме, даже самой интересной, стоит между делом ее обсудить; если же тему намеренно замалчивать, та покрывается загадочным туманом неопределенности и только подбрасывает пищу воображению. Любые другие предметы отец и дочь обсуждали открыто, и Фолкнер не подозревал, что в душе Элизабет крепнет невысказанный интерес, взращенный запретами и секретностью.

Элизабет привыкла бояться смерти самых дорогих ей людей и часто размышлять о ее близости; эта привычка приоткрыла ее уму священные тайны существования, заставила думать о возвышенном и усмирила нрав; в беседе она всегда проявляла живое любопытство, и поскольку они вели жизнь уединенную и лишенную будничной суеты, монотонную и безмятежную, то в разговорах касались тем, выходящих за пределы повседневности и грубой рутины. Фолкнер не мог похвастаться такой же тонкостью ума, но отличался наблюдательностью, острой памятью и хорошо умел выражать и описывать мысли и чувства; он возвращал Элизабет с небес на землю и облекал плотью ее призрачные фантазии. Когда они читали о героях старины или разбирали поэтические сюжеты, она рассуждала о морали,

философствовала на темы жизни и смерти, религии и добродетели, а он сравнивал прочитанное с собственным опытом, подвергал сомнению существование подобных героев в реальной жизни и приводил настоящие примеры человеческих характеров, напоминающих или, напротив, не похожих на персонажей книг.

Их жизнь могла бы быть спокойной и приятной, если бы не страдания Фолкнера. Когда он начал выздоравливать, пришла другая беда, в его глазах куда более страшная. Примерно через год после того, как они поселились в Уимблдоне, Элизабет заболела. Врачи сказали, что ее болезнь была следствием чрезмерного нервного возбуждения, пережитого за последние несколько лет; она перенесла его с почти сверхчеловеческим терпением и стойкостью, и тем не менее оно ослабило ее физически. Для Фолкнера это стало роковым ударом; он понял, что его упрямое стремление к смерти было эгоистичным и даже преступным; он совсем не думал о последствиях своих действий для невинной Элизабет, которая была ему так дорога. Он считал, что, лишившись его, она немного погрустит, но, поскольку он перестанет отягощать ее своими печалями, вскоре утешится новыми впечатлениями и другой семьей. Но он

выжил, а она ощутила на себе последствия его упрямства и стала его жертвой! Эта мысль сводила его с ума. Он смотрел на ее прелестное личико, такое бледное; на ее исхудавшую фигурку, на то, как она теряла аппетит, и он смотрел с тревогой, из-за которой вновь дала о себе знать зажившая было рана и вернулся недуг.

Единственная рекомендация, которую прописывали Элизабет врачи, — смена климата; при этом они намекали, что краткая разлука с отцом и новая обстановка пойдут ей на пользу. Но куда она могла отправиться? Он никак не мог вернуть ее в родную семью — не теперь, когда она едва держалась на ногах и вздрагивала при каждом звуке. Ему сказали, что времени терять нельзя; прозвучало слово «чахотка»; он тут же вспомнил смерть ее родителей и преисполнился страха. Что-то надо было делать немедленно, но он не знал, что именно, и, глядя на свою любимую дочь, которую, как ему казалось, он уничтожил собственными действиями, он пылал желанием ее спасти, но чувствовал бессилие и мучился от этого.

Однажды утром, когда Фолкнера обуревали эти тягостные думы, а Элизабет тщетно пыталась притвориться здоровой и бодрой, хотя медлен-

ный шаг и бледность свидетельствовали об обратном, в их тихий дворик заехала карета, и объявили о приходе посетителя. Гостьей оказалась леди Сесил. Элизабет почти о ней забыла и больше не думала встретить ее снова, но эта дама, чей ум был очарован красотой и добродетелью преданной дочери в момент их встречи, никогда не переставала надеяться найти Элизабет и возобновить знакомство. Она, впрочем, не рассчитывала увидеть Фолкнера живым и часто размышляла, как сложится судьба дочери после его смерти; они с семьей оставались за границей до весны того года, а вернувшись в Лондон, леди Сесил через мисс Джервис узнала, что Фолкнер жив и они с Элизабет поселились в Уимблдоне.

Леди Сесил повсюду была желанной гостьей, так как создавала вокруг себя атмосферу жизнерадостности и теплой доброты, и находиться с ней рядом всегда было приятно. Фолкнер не видел ее в Ливорно и только краем уха слышал, как упоминалось ее имя, но теперь она сразу расположила его к себе, а когда принялась горячо нахваливать Элизабет и взглянула на ее изменившийся вид с нескрываемым огорчением, его сердце растаяло, и он готов был попросить ее помощи в решении его проблемы. Но он не успел:

леди Сесил предложила помощь прежде, чем к ней обратились. Она слышала, что Элизабет советовали уехать в другой климат, и догадалась, что причиной болезни являлась чрезвычайная тревога за отца; тогда она решила, что ее красивый дом и веселая компания ее семейства станут для девушки лучшим лекарством.

— Я не приму отказ, — сказала она, пригласив отца с дочерью к себе в дом. — Вы оба должны приехать; лорд Сесил на два месяца отбыл в Ирландию проведать свое поместье, а наш маленький Джулиус приболел, и я не смогла поехать с ним. Я поселилась рядом с Гастингсом; воздух там целебный, места красивые; я веду спокойную уединенную жизнь и уверена: мисс Фолкнер у меня в гостях скоро поправится.

Приглашение было столь теплым и искренним, что Фолкнер принял его не колеблясь. Но немного изменил условия, настояв, что Элизабет должна сопровождать леди Сесил одна. Визит должен был продлиться два месяца, и отец пообещал, что через месяц присоединится к дочери. Он объяснил свое решение разными предлогами, но истинная причина заключалась в том, что врачи, судя по всему, считали короткую разлуку с ним необходимой для выздоровления пациент-

ки. Элизабет согласилась, ведь ей не терпелось поправиться; она надеялась, что смена климата восстановит ее силы. Вскоре обо всем условились, и через два дня две женщины отправились в Гастингс, где леди Сесил ждала семья; она явилась в Лондон только с мужем, чтобы проводить его в Ирландию, и он уже уехал.

— Думаю, дня через три под моим присмотром ты почувствуешь себя хорошо, — сказала леди Сесил, когда они устроились в ее дорожном экипаже. — Хочу, чтобы ты снова стала такой, какой была в Италии. Такая юная девушка, от природы пышущая здоровьем, быстро восстановится! Ты себя перегрузила; твой энергичный ум слишком силен для твоего тела, но отдых и забота поправят дело. Мы будем очень счастливы, я нисколько в этом не сомневаюсь; мои дети — настоящие маленькие ангелы, они будут развлекать тебя, когда захочешь, и не станут путаться под ногами. Я же стану твоей главной сиделкой, а мисс Джервис, благослови Господь эту чудачку, будет во всем меня слушаться. Дом стоит в очень живописном месте, а, помимо моих домашних, я жду в гости своего брата Джерарда; тебе он должен понравиться. Я о нем не говорила? Наверно, нет, но ты его полюбишь, и он определенно будет от тебя в

восторге. Он очень серьезный — нет, по правде говоря, он грустный, — но эта грусть в тысячу раз интереснее веселости обычных людей. Она полна благородных мыслей и нежных чувств. Я и не думала — не мечтала, — что во всем свете есть человек, похожий на него, пока не увидела тебя. Тебя так же мало занимают мирские заботы; твои идеи так же благородны и возвышенны, ты сопереживаешь людям, и твои мысли выходят за рамки ограниченного круга мелочных хлопот, занимающих и тяготящих умы обычных людей, не способных ни видеть, ни ощущать ничего, кроме своего лилипутского «я»! Лишь в одном ты не похожа на Джерарда, — добавила она. — Ты молчалива, но весела, а он, хоть и более общителен, слишком меланхоличен. Вижу в твоих глазах любопытство, но, увы, не могу раскрыть тебе причину несчастья моего брата. Его дружба, которую я высоко ценю, зависит от моего умения хранить клятву, а я пообещала никогда ни с кем не обсуждать его печали. Могу лишь сказать, что причиной всему его чувствительная натура и уязвимая гордость, задеть которую слишком легко; впрочем, из-за них я люблю его в десять тысяч раз сильнее. Ему уже лучше, чем было, и, надеюсь, время и рассудок полностью излечат

его от бесполезных сожалений, отравляющих его жизнь. Однажды зародится новое сильное чувство и разгонит облака. Я молю об этом, и, хотя люблю его всей душой и сочувствую его горю, все же считаю, что оно преувеличено и не стоит таких страданий; увы, ничего уже не изменить, но можно просто забыть о печалях.

Элизабет с некоторым удивлением выслушала рассказ еще об одном достойном юноше, который тоже был несчастлив, а про себя подумала: «Кажется, он похож на Невилла, но, когда я его увижу, мне будет ненавистна сама мысль, что нашелся еще один столь же благородный, добрый и интересный юноша!» Впрочем, вслух она этого не сказала и лишь спросила:

— А ваш брат старше вас?

— Нет, младше; ему всего двадцать два года, но страсти и меланхолия терзают его почти с младенческих лет, и из-за них у него не было нормального детства; теперь он обладает всем, чем прекрасна юность, но свободен от ее глупостей. Прости мне мой энтузиазм, но, когда ты его увидишь, тебе самой станет интересно.

«Сомневаюсь, — подумала Элизабет. — Я уже растратила свой энтузиазм и возненавижу себя, если заинтересуюсь кем-то, кроме Невилла».

Из-за этой подспудной мысли обильные похвалы, которыми леди Сесил осыпала своего брата, показались Элизабет почти безвкусными. Она мысленно перенеслась в Марсель, вспомнила неусыпное внимание Невилла, их прощальный разговор и наконец снова задумалась о странной реакции Фолкнера на встречу с ним и его просьбу никогда больше не упоминать этого имени. Ей снова стало любопытно, что это значило, и она отвлеклась; леди Сесил решила, что она устала, и позволила ей погрузиться в молчаливые думы.

Глава XIV

Дом леди Сесил стоял на холме с видом на бухту Фэйрлайт поблизости от Гастингса. Всякий, кто бывал на этом побережье, помнит неповторимую красоту его скал, холмов и рощ. Лощины в этой местности покрыты дубовыми зарослями, те же низкорослые подстриженные дубы формируют живые изгороди и украшают не только просторный пейзаж, но и каждый овражек и уединенный уголок; в соседстве с дубами всегда произрастает папоротник, придающий полянам сходство с дремучим лесом. Сам дом был огромным, светлым и комфортабельным; его окружала большая территория, а с некоторых точек открывался вид на море, живописную бухту и рваную береговую линию, закруглявшуюся близ Уилчелси. Трудно было представить пейзаж, более подходящий для поднятия духа и избавления от тягостных мыслей.

С момента приезда Элизабет с каждым днем становилось лучше как по волшебству, и уже через неделю ее внешность и состояние заметно изменились. Розы расцвели на щеках; шаг снова

обрел пружинистость, а настроение улучшилось, и она даже повеселела. Все казалось новым и интересным. Ей нравились миловидные и игривые дети леди Сесил. В их доме, элегантно обставленном и согретом любовью, царил уют. Несмотря на свою привязанность к отцу, Элизабет часто ощущала груз одиночества; так было, когда он оставил ее одну в Закинфе и когда из-за его болезни она оказалась сама по себе. Теперь же ее со всех сторон окружали милые добрые лица, игривые нежные прикосновения и веселый детский смех, радующий слух своей невинностью.

Единственным, что досаждало Элизабет в доме леди Сесил, был постоянный поток гостей. Она всю жизнь жила вдали от толп и вскоре начала понимать отшельников, радоваться одиночеству и раздражаться, когда ее уединение нарушали легкомысленные и бестактные люди. Она пришла к выводу, что любит друзей, но терпеть не может случайных знакомых. И в этом не было ничего странного: ее ум противился фривольным популярным развлечениям. Она бывала на балах всего пару раз в жизни, и то ребенком, а люди ходили на балы ради выгодных знакомств и разговоров о делах. Элизабет отдыхала, беседуя с друзьями, играя с детьми и любуясь прекрас-

ными пейзажами в компании тех, кто так же тонко чувствовал красоту природы. «Для меня тяжкий труд, — часто говорила она, — беседовать с людьми, с которыми у меня нет ничего общего; с кем ни цели, ни вкусы не совпадают». Завидев ландо с барышнями в модных шляпках, она часто убегала и пряталась. Леди Сесил этого не понимала. Сама она воспитывалась в модном обществе и знала всех в своем кругу; если к ней заглядывали случайные люди, она и в них пыталась найти что-то интересное; а если в гости являлись зануды — что ж поделать: зануд она воспринимала как неизбежное зло и не спешила от них отделаться, так как при ближайшем рассмотрении нередко оказывалось, что, подобно устрицам, они хранили в своих раковинах сущие жемчужины.

— Ты не права, — заметила леди Сесил. — Не будь такой дикаркой и не жди от меня снисхождения; от этой маленькой шершавости в твоем характере надо избавиться; твоя наружность должна быть такой же глянцевой и безупречной, как поверхность твоего драгоценного ума.

Элизабет улыбнулась, но перестала улыбаться, когда в гости заехала холеная самодовольная вдова; она-то лучезарно улыбалась всем знакомым и нахально разглядывала незнакомых; за ней

тянулась процессия тех, кого до поры до времени величали «мисс», но кому вскорости грозило превратиться в уродливых старых дев, и каждая из них удостоила Элизабет высокомерного взгляда. Тут ноги Элизабет зажили своей жизнью, и она бросилась бежать и укрылась в лесистой лощине с книжкой; компанию ей составляли лишь ее собственные мысли и прекрасная природа, и она ощущала себя бесконечно счастливой из-за того, чем обладала, и из-за того, что ей удалось сбежать.

Так однажды она покинула леди Сесил, которая сидела и мило улыбалась краснолицему эсквайру, страдавшему подагрой, и спокойно выслушивала его разъяренную супругу, негодовавшую, что ее имя поместили в самый конец благотворительного списка. Элизабет тихонько юркнула в стеклянную дверь, выходившую на лужайку, и, порадовавшись своему спасению, поспешила присоединиться к небольшой компании детей, которые бежали к парку.

— Без шляпки, мисс Фолкнер! — воскликнула мисс Джервис.

— Да! И солнце греет. Вы все равно не идете под зонтиком, мисс Джервис; отдайте его мне, и пойдемте в тень. — Взяв за руку своего любим-

чика из числа детей леди Сесил, она произнесла: — Пойдем в гости. У мамы визитеры, и мы тоже поищем, кого навестить. Вот лорд Олень и его жена, прекрасная леди Олениха. А вот и маленький мистер Олененок; мистер Олененок, какой у вас красивый пятнистый сюртук!

Малыш был очарован; они побродили по полянам среди папоротников, спустились в сумрачную лощину на другой стороне парка и присели под раскидистым дубом. Они вели серьезный разговор о том, куда бегут облака и откуда появилось первое дерево, когда мимо проскакал джентльмен, незаметно въехавший в ворота парка; внезапно он остановил лошадь, вздрогнул, и они с Элизабет узнали друг друга, и оба удивленно вскрикнули.

— Мистер Невилл! — воскликнула она, и на миг ее сердце переполнилось тысячей воспоминаний.

Она вспомнила, как благодарна ему была за все, что он для нее сделал, об их прощании и о своих многочисленных предположениях на его счет с момента их последней встречи. Он, кажется, был очень рад ее видеть, и выражение мрачной задумчивости, которое часто появлялось на его лице, сменилось улыбкой, проникшей ей в самое

сердце. Он соскочил с лошади, отдал поводья конюху и вместе с Элизабет и ее маленьким спутником зашагал к дому.

Последовали объяснения и новые открытия. Оказывается, Невилл и был тем самым хваленым братом леди Сесил, которого та ждала! Как странно, что Элизабет не узнала об их родстве еще в Марселе. Но тогда все ее мысли были о Фолкнере. Невилл удивился, выяснив, что тот поправился, и очень этому обрадовался. Он с нежностью и восхищением смотрел на стоявшее рядом с ним прелестное создание, чье мужество и неустанная забота спасли жизнь отцу. Она совсем не напоминала себя прежнюю, когда ее лицо было омрачено страхом, беспокойный и бдительный взгляд неотрывно следил за бледным ликом отца, а мысли занимала одна лишь беспросветная тревога. Теперь она сияла юной красотой, одухотворенной пробудившимися в ней счастливыми и радостными чувствами, которые всегда были частью ее натуры. Однако это самое обстоятельство огорчило Невилла. Его сердце по-прежнему тяготила печаль, и ему казалось, что его скорее поймет скорбящая страдалица, чем та, что теперь выглядела совсем беззаботной. Впрочем, вскоре он перестал об этом тревожиться, так как

Элизабет со свойственной восприимчивому уму деликатной тактичностью умерила веселость своей речи, чтобы не вступать в слишком явное противоречие с загадочной меланхолией спутника.

У дома их встретила леди Сесил; она улыбалась, потому что решила, что между молодыми людьми внезапно возникла близость, быстро складывающаяся между теми, у кого так много общего. Леди Сесил на самом деле считала, что они созданы друг для друга, и мечтала их свести; брата она горячо любила и сокрушалась из-за омрачавшей его существование меланхолии. Ей казалось, что в лице своей новой подруги она нашла лекарство от этого недуга и Элизабет с ее многочисленными достоинствами заставит его забыть о несчастьях, причинявших ему столько бессмысленных страданий. Еще больше она обрадовалась, когда получила объяснения и узнала, что они уже успели сблизиться и вызвать друг у друга восхищение и интерес; их естественным образом тянуло друг к другу, ведь каждый видел в другом отражение собственных лучших качеств и родственную душу; это доказывало, что они созданы для совместной жизни, а в разлуке будут вечно стремиться к воссоединению.

Леди Сесил с игривым любопытством поинтересовалась, зачем они скрыли от нее, что знакомы. Элизабет не знала, что ответить; она много думала о Невилле, но спервa запрет Фолкнера, а затем сама леди Сесил, которая на все лады нахваливала брата, сковали ее уста. В первом случае она привыкла прятать свой интерес; во втором не решалась откровенничать, так как тогда ей пришлось бы сравнивать Невилла с Джерардом — то есть с самим собой; и тут Элизабет не хотела ни принижать достоинства своего друга, ни умерять энтузиазм леди Сесил по отношению к брату. А кто один раз промолчал, вынужден впредь молчать всегда: после Элизабет было стыдно упоминать о юноше, о котором она прежде ни разу не заговаривала. Надо заметить, эта стыдливость свойственна девушкам всех темпераментов и является признаком и свойством влюбленности. Искренняя и открытая натура Элизабет не стыдилась ничего, но любовь, даже юная и пока неосознанная, вызывает в нас неведомые прежде чувства и воцаряется над всеми остальными.

Невилл еще более ревностно скрывал от окружающих имя Элизабет. Вспоминал он о ней с радостью, но уклонялся от расспросов. Он решил ее избегать, пообещав себе, что, пока не достигнет

цели своего существования и не выполнит свою миссию, не поддастся любовным чарам, а рядом с прекрасной Элизабет это было невозможно. Поклявшись исполнить священный долг, он ни за что не допустил бы, чтобы между ним и его целью встали эгоистичные страсти. Однако неожиданная встреча поколебала его самоконтроль; при виде Элизабет его душа возликовала. Он с радостью отметил, что тревогу на ее лице сменила веселость; он смотрел на ее безмятежный лоб, глаза, в которых читались нежность и пылкость, на фигуру, каждое движение которой было свободным и изящным, и чувствовал, что эта девушка соответствует его идеалу женской красоты. Он представлял, что смотрит на нее как на картину, что его сердце слишком поглощено печалями и не способно думать ни о чем другом; но он не замечал излучаемой ею силы, тени образа, которая, по словам древнеримского поэта, сопровождает каждый объект; неосязаемый отпечаток ее формы и существа растворялся в воздухе и окутывал его: все, что он видел, проникало в него и становилось частью его личности.

Глава XV

Три или четыре дня прошли спокойно; леди Сесил радовалась, что несчастная душа ее брата так живо реагирует на предложенное ей лекарство. Стоял зеленый июнь, природа была прекрасна, как сами юные создания, наслаждавшиеся ее дарами с восторженным и прежде неведомым им чувством. Они катались под парусом на искрящихся волнах, бродили по берегу летнего ручья или в густых лесах, не понимая, почему все краски кажутся ярче обычного. Элизабет не думала ни о чем, кроме настоящего момента, и лишь желала, чтобы Фолкнер скорее к ним присоединился. Невилл же отчасти бунтовал против нового распорядка, которому вынужден был подчиниться, но бунтовал нехотя, пока однажды реальность не вмешалась в его безмятежные грезы.

Как-то утром Элизабет вошла в комнату для завтраков и обнаружила там леди Сесил; та огорченно сидела у окна, хмурясь и подперев рукой щеку.

— Он уехал, — воскликнула она, — это так неожиданно! Джерард уехал! Пришло письмо, и

я не смогла уговорить его остаться; вероятно, он отправился на другой конец страны, и одному Господу известно, когда мы его снова увидим!

Они сели завтракать, но леди Сесил была слишком расстроена.

— Мало того что он уехал, — продолжала она, — причина его отъезда — сплошные тревоги и терзания, и, к сожалению, ты не сможешь мне даже посочувствовать, ведь он не разрешил рассказать тебе его несчастную историю! Если бы я могла это сделать, ты бы так его пожалела! Ты пожалела бы нас всех!

— Он уже в детстве был несчастлив, — заметила Элизабет.

— Да, это правда, но как ты об этом узнала? Он тебе что-то говорил?

— Много лет назад я встречала его в Бадене. Каким он тогда был диким, каким угрюмым и совсем не похожим на себя нынешнего! В его угрюмости таились свирепость и агрессия, а теперь их нет.

— Бедный мальчик! — воскликнула леди Сесил. — Я хорошо это помню, и мне приятно думать, что я отчасти послужила причиной перемены в нем. Тогда у него не было ни единого друга во всем белом свете, никто его не любил, никто не

слушал, и некому было взрастить в нем надежды, пусть даже тщетные, которые облегчили бы его страдания; лишь надежды могут послужить ему лекарством, пока он обо всем не забудет. Но что это значит? — воскликнула она и вскочила. — Почему он вернулся? Джерард! Он здесь!

Она распахнула стеклянную дверь и выбежала ему навстречу; он проскакал по аллее, спрыгнул с лошади и, приблизившись, воскликнул:

— Мой отец здесь?

— Сэр Бойвилл? Нет, а он должен приехать?

— О да! Скоро мы его увидим. Я встретил слугу, тот принес письмо, присланное срочной почтой: обычное идет слишком медленно; он скоро будет здесь, вчера вечером он выехал из Лондона, а ты знаешь, как быстро он обычно приезжает.

— Но с чего вдруг этот неожиданный визит?

— А ты не догадываешься? Он получил письмо от того самого человека, того же содержания, что и всегда; узнал, что я здесь, и едет, чтобы помешать мне исполнить мою миссию, чтобы запрещать, скандалить и укорять меня — все то, что он делал уже тысячу раз, и тысячу раз ничего не добился.

Невилл раскраснелся и выглядел встревоженным; обычно он смотрел «скорей с тоской,

чем с гневом»[14], но сейчас его лицо выражало только лишь гнев, к которому примешивались презрение и решимость. Он протянул леди Сесил полученное письмо.

— Я, наверно, неправ, что вернулся по его требованию; я не намерен во всем ему повиноваться, но мой долг — его выслушать, и я приехал, чтобы это сделать; вновь его тщеславие вступит в бой с тем, что он зовет моей гордыней, его мстительность — с моим чувством долга, его злобные нападки на нее — с моим обожанием. Я должен это вытерпеть!

Леди Сесил прочла письмо, а Невилл сжал руку Элизабет в своих ладонях и попросил у нее прощения; она же в смятении захотела скорее уйти. В этот момент раздался стук копыт по гравию; подъехала карета.

— Он здесь, — сказал Невилл. — Встреть его первой, София, скажи, насколько я полон решимости и насколько прав! Постарайся помешать нашей позорной и бессмысленной ссоре — бессмысленной прежде всего для отца, ведь он непременно потерпит поражение.

Леди Сесил в великом смятении вышла из ком-

---

[14] Примечания: 14
Уильям Шекспир «Гамлет» (пер. Б. Л. Пастернака).

наты навстречу гостю; Элизабет тем временем выскользнула в другую дверь, убежала в рощу и под сенью деревьев стала размышлять о случившемся. Ей было и любопытно, и грустно. Согласие, привязанность и симпатия — настолько приятные чувства, что любое нарушение гармонии кажется очень болезненным. Семейные распри в этом смысле хуже всего. Невилл оставался для нее загадкой. Вынужденное неподчинение родительской воле причиняло ему страдания; оно нависало над ним мрачной тенью, невзирая на причины, побудившие его вести себя таким образом. Об этих причинах Элизабет не догадывалась — знала лишь, что Невилл никак не мог руководствоваться низменными эгоистичными страстями; ради своей цели он пожертвовал надеждой и счастьем. Она вспомнила, каким он был в момент их первой встречи — мальчиком, одичавшим от пережитой трагедии; подумала, каким он стал, когда рассудок и благородство умерили эгоизм его чувств. Он вырос по-женски добросердечным, деятельным, дружелюбным и способным на сострадание, что редко свойственно мужчинам; она вспомнила, как он сидел у кровати больного Фолкнера и, прощаясь с ней, предсказал, что они встретятся в более счастли-

вый час. Этот час еще не настал, и она поняла, что ей очень хочется узнать причину его несчастья; возможно, советом или сочувствием она смогла бы ему помочь.

Она медленно прогуливалась в тени деревьев, погруженная в свои мысли, и вдруг услышала в папоротниках быстрые шаги и хруст пожухлых листьев. К ней подошел Невилл.

— Я сбежал! — воскликнул он. — Бедная Софи одна осталась выслушивать упреки несправедливого и злого человека. Я не мог остаться, и это не трусость; слишком много у меня воспоминаний о подобных ссорах, отчего мне становится тошно. К тому же спокойно выслушивать его упреки невозможно, а ответить я не могу, ведь он мой отец.

— Наверно, это правда невыносимо, — согласилась Элизабет, — ссориться с родителем и противостоять его воле.

— Если на то есть уважительная причина, это все меняет. Помните Гамлета, мисс Фолкнер?

— Конечно; он воплощение самых тонких, подлинных и вместе с тем пугающих чувств и обстоятельств, какие только можно вообразить.

— Я читал эту пьесу, — продолжил Невилл, — и, казалось, каждое слово напрямую взывало к

моему сердцу; мои собственные чувства напитывали каждую строку осознанным смыслом. Гамлет призван отомстить за отца, и, выполняя эту задачу, он не пощадил еще более дорогого и святого для себя человека — мать; он не вонзал в нее кинжалы, но слова его ранили сильнее; и она даже не дрогнула, хоть внутренне корчилась от страданий, причиненных им. Мой долг легче, но он так же священен: мне предстоит оправдать мать, не осуждая отца и ни в чем его не обвиняя; я докажу, что она невиновна. Разве это достойно укора? Как бы вы поступили, мисс Фолкнер, если бы вашего отца обвинили в преступлении?

— Мой отец не совершил бы преступления! Это просто немыслимо! — воскликнула Элизабет: как ни странно, она совсем не воспринимала всерьез слова Фолкнера о совершенных им грехах. Она считала добродетелью, что он мучился виной за свою ошибку, но ни на минуту не допускала, что он мог быть по-настоящему в чем-то виноват.

— Именно! Немыслимо! — воскликнул Невилл. — Это, несомненно, так, но если бы вы узнали, что его имя опозорено и даже родство с ним является постыдным, что бы вы сделали? Стали бы его защищать и доказывать его невиновность? Ведь стали бы?

— Я бы жизни на это не пожалела!

— Вот и я посвятил этому жизнь. В детстве я тщетно противился обвинениям и искренне негодовал; теперь успокоился и преисполнился решимости, но не остановлюсь ни перед какими препятствиями, ни перед какими сложностями, и даже слепые приказы отца не смогут мне помешать. Моя мать, моя милая матушка — из-за того, в чем ее несправедливо обвиняют, я жалею ее еще сильнее! Сущий ангел, она обрела в своем сыне непреклонного защитника.

— Не сердитесь, что я упоминаю обстоятельства, которые принято замалчивать и скрывать, — продолжал он, заметив удивление на ее лице. — Мне должно быть стыдно произносить имя моей матери, а вам — его слышать; сама мысль об этом обостряет мою решимость. Одному Богу известно, какая скорбная правда скрыта за завесой, которой тщеславие, мстительность и эгоизм окутали судьбу моей матери, но эта правда, пусть страшная, должна раскрыться, а невиновность матери — воссиять, как солнце над нашими головами. Ужасно, просто ужасно, когда тебе говорят, что та, кого ты боготворишь, развращена и порочна; когда тебя пытаются в этом убедить. История эта не нова; жены всегда

изменяли мужьям: у кого-то была уважительная причина, кого-то даже оправдывали; мало ли какие бывают обстоятельства. Но чтобы моя мать покинула свой счастливый дом, который под ее присмотром был сущим раем; чтобы она покинула меня, собственное нежно любимое дитя, которое обожало ее даже в таком бессознательном возрасте, и собственную несчастную маленькую дочь, что умерла от небрежения; чтобы она годами о нас не справлялась, не присылала ни весточки, не искала встречи и скиталась по миру в безвестности? Чтобы она, не спавшая ночами ради ласковой заботы о нас, она, чей голос часто убаюкивал меня и чьи мысли и поступки были чисты как у ангела, — чтобы она поддалась искушению самого дьявола, явившегося из преисподней, чтобы ее уничтожить, и ввергла нас в несчастье, опозорив свое имя? Нет! Этого не может быть! Наш мир все еще укрыт небесами, в нем еще есть доброта, а она была — и остается — добрее и милее всех!

Чувства захватили Невилла, а Элизабет, пораженная его горячностью и рассказанной им дикой и странной историей, слушала молча, но молчание ее было красноречивее слов: глаза наполнились слезами, а сердце в груди пылало

стремлением показать, что она всецело разделяет его глубокие переживания.

— Я поклялся, — продолжил он, — и клятва эта записана на небесах; каждый вечер, опуская голову на подушку, я повторяю ее, и теперь повторю перед вами, лучшим из земных созданий после моей дорогой матери, которой больше нет: я посвящу свою жизнь попыткам оправдать ту, что подарила мне жизнь, а мой эгоистичный и мстительный отец явился помешать мне и запретить это сделать. Но я растопчу это препятствие, как топчу эти сухие листья под ногами. Однако вы молчите, мисс Фолкнер, — скажите, слышали ли вы когда-нибудь о миссис Невилл?

— Я всю жизнь провела за границей, — отвечала Элизабет, — но, кажется, кое-что припоминаю.

— Не сомневаюсь; подлецы разнесут клевету и историю преступления по всему свету. Значит, вы слышали о миссис Невилл, которая сбежала с неизвестным и бросила свой дом, мужа и беспомощных детей; с тех пор о ней никто ничего не слышал; муж развелся с ней в ее отсутствие; у нее не было возможности защитить себя в суде, а ее несчастного сына заставили против нее свидетельствовать. Такие истории всегда вызывают вульгарное любопытство и резкое неприятие;

стоит ли удивляться, что с девяти лет я не мог думать ни о чем другом ни днем ни ночью и жил, полный ненависти, злобы и прочих низменных страстей, пока мне не пришла в голову благословенная мысль, что я мог бы доказать ее невиновность и отомстить за нее. Ради этого я и живу. Теперь я должен вас оставить. Вчера я получил письмо, в котором содержится ключ, что, возможно, выведет меня из этого лабиринта; я пойду за ним. Отец приехал мне помешать, но я уже потратил так много сил на бесполезные уговоры и в конце концов сказал ему, что буду подчиняться не родительскому авторитету, а внутреннему чувству долга. Думаю, мы с ним больше не увидимся; я должен ехать, но перед отъездом не смог противиться искушению увидеть вас снова и объяснить, почему мой выбор оправдан. Если же вам хочется знать больше, спросите Софию; скажите, что я разрешил все вам рассказать; я хочу, чтобы вы были в курсе всех моих мыслей и поступков, так что согласитесь ее выслушать.

— Спасибо за разрешение, — ответила Элизабет. — Я знаю, что леди Сесил хотела поведать мне причину вашей меланхолии, которая не должна терзать такого доброго и хорошего человека. Увы,

наш мир полон страданий, и когда я слышу о ваших печалях и вспоминаю то, что пришлось пережить моему дорогому отцу, мне кажется, что я сделана из камня, раз не чувствую вашу боль с равной силой. Однако я готова положить жизнь, чтобы помочь вам в достижении цели.

— Мне хорошо известно ваше великодушие, хотя сейчас я не могу в полной мере вас отблагодарить. Но я еще вернусь, прежде чем вы уедете из дома сестры; куда бы ни завели меня судьба и долг, мы увидимся снова.

Они вернулись к дому, и он ее оставил; его оседланная лошадь стояла у ворот; он сел и через минуту уехал.

Когда он уехал, Элизабет показалось, что она очутилась во сне; сердцем и устремлениями она была с ним, она верила, что все рассказанное им было правдой, и восхищалась сильной привязанностью, побуждавшей его к действию. В его манере было столько свободолюбия и гордости, что она невольно вспомнила шестнадцатилетнего мальчика, которым когда-то так заинтересовался ее девичий ум; его речь, полная страсти и негодования, была пронизана желанием восстановить справедливость. «Смелое, благородное сердце! Пусть Бог поможет осуще-

ствить твои планы! Бог и все добрые духи, что населяют этот мир». Так говорила ее душа, когда девушка смотрела ему вслед; когда она вернулась в дом, ее рука бессознательно потянулась к томику Шекспира, в котором был напечатан «Гамлет», и вскоре она погрузилась в чтение. Ее интересовала не столько сама драма, сколько различные эмоции, пробуждавшиеся при сравнении героя с тем, кого она крепко полюбила, хотя сама пока об этом не догадывалась. Неудивительно, что Невилл, мечтатель и поэт, ассоциировал себя с принцем датским, а его нежелание делиться переживаниями и поступки, продиктованные столь высокими и чистыми помыслами, возвышали его в ее глазах; юной и благородной любви свойственно идеализировать объект своей привязанности, и Невилл казался Элизабет чистым совершенством.

Через некоторое время ее прервала леди Сесил; вид у нее был встревоженный и недовольный. Она почти ничего не сказала, лишь пожаловалась, что Джерард уехал, а сэр Бойвилл остался — всего лишь до утра, однако сэр Бойвилл был из тех людей, чье присутствие тяготило окружающих, пусть он приезжал всего на несколько часов. Это замечали даже незнакомые люди; никому

не нравился этот угрюмый надменный старик; особенно страдали от его придирок близкие родственники, искренне любившие того, кого сэр Бойвилл больше всего презирал, и потому наиболее подверженные оскорблениям, которыми он сыпал вокруг. Он на всех глядел сверху вниз, всем саркастически и презрительно противоречил, считал себя непогрешимым, но насмехался над своими почитателями; такими были главные черты его характера, не считая хрупкого и легкоранимого самолюбия, обижавшегося на все подряд, видевшего нападки в каждом слове и спешившего отплатить за воображаемые уколы реальными, неподдельными. Его единственными достоинствами были элегантность и хорошее воспитание, что несколько смягчало его раздражительный и мстительный нрав.

Ему было почти семьдесят лет, но для своего возраста он на удивление хорошо выглядел; однако черты лица его были острыми, а кожа изрезана глубокими морщинами; при этом он носил парик с юношеской прической, который ничуть его не молодил, зато лишал его наружность солидности. Губы вечно презрительно кривились; тщеславие было столь очевидным, что могло бы вызвать насмешки окружающих. Однако суровый и сви-

репый нрав защищал его от чужого высокомерия, но уничтожал любое сочувствие к нему, которого он, возможно, заслуживал, так как был одиноким стариком, отгородившимся от своих родственников и друзей, хотя те были весьма достойными людьми. Некогда единственную отраду он находил в обществе людей своего круга, теперь же в уединении или среди толпы он чувствовал себя несчастным, но не мог обрести утешения, так как причиной своих страданий был он сам.

Увидев Элизабет, он удивился и поначалу обращался с ней довольно любезно, со старомодной галантностью, которая могла бы показаться ей даже забавной, если бы шла от сердца; однако в его устах комплименты казались натужными и неуместными, и разговор на любую тему вызывал неловкость. О чем бы ни заговаривала леди Сесил, он всему противоречил; критиковал ее детей и сулил им будущие несчастья, а когда уставал оскорблять лично присутствующих, начинал рассказывать самые скандальные лондонские истории о неверных женах и разрушенных семьях и сиял от злорадства, упоминая особенно постыдные ситуации. Примерно через полчаса Элизабет его возненавидела, и он ответил ей тем же, когда она принялась нахваливать его сына.

— Да, — ответил он, — Джерард — очень приятный человек; я мог бы сказать, что он наполовину дурак, наполовину сумасшедший, но это было бы, пожалуй, преувеличением, да и не пристало любящему отцу так отзываться о сыне. Но что делать, если его природная глупость дополняется добровольным отказом повиноваться всем законам общества? Своим поведением он больше всего напоминает умалишенного, в чьи руки попало опасное оружие, которого он сам ни капли не боится и с тем же равнодушием ранит им тех, кому не посчастливилось быть его родственниками.

Выслушав эту речь, леди Сесил покраснела и встала из-за стола; Элизабет последовала за ней, и сэр Бойвилл остался наедине с графином вина. Элизабет была поражена своей реакцией, так как никогда раньше ей не приходилось сталкиваться с невыносимыми в общении людьми.

— Больше ничего не остается, — шепнула ей леди Сесил, — кроме как сесть за пианино; сэр Бойвилл слишком вежлив и не станет мешать тебе играть; он к тому же устал и, вероятно, уснет. Сегодня он превзошел сам себя.

— Но он же ваш отец! — пораженно воскликнула Элизабет.

— Нет, слава богу! — отмахнулась леди Сесил. — С чего ты взяла? Ах, понимаю: все потому, что я зову Джерарда братом! Сэр Бойвилл женился на моей несчастной матушке; теперь она уже мертва. К счастью, нас связывает только это; во мне нет ни капли его крови. Но я, кажется, слышу его шаги; сыграй Герца. Эта музыка вытеснит все звуки и оглушит даже моего отчима.

После этого вечер быстро подошел к концу, так как сэр Бойвилл рано лег спать; наутро он уехал, и дамы снова смогли вздохнуть свободно. Невозможно даже попытаться описать моральные страдания, которые вызывает у людей присутствие такого человека.

— Помнишь «Письма» мадам де Севинье, где она говорит, что неприятная компания тем лучше приятной, что, избавляясь от нее, испытываешь огромное удовольствие? — сказала леди Сесил. — В этом смысле сэр Бойвилл — лучшая компания в мире! Пойдем прокатимся сегодня, чтобы избавиться от последних симптомов Бойвилловой лихорадки.

— И вы раскроете мне тайну, — сказала Элизабет. — Мистер Невилл вчера кое-что рассказал и направил меня к вам. Можете открыть мне все.

— Да, я знаю, — ответила леди Сесил. — Хоть

чем-то визит сэра Бойвилла оказался полезен. Теперь я могу объяснить тебе причины наших разногласий и несчастий бедного Джерарда. Ты проникнешься сочувствием к нему, и нам обеим больше не придется хранить тайну. Это печальная история, полная необъяснимых загадок, стыда и чудовищного зла. Я никогда не перестану поражаться случившемуся и сожалеть о нем и не вижу, как все может закончиться счастливо, разве что предать все забвению — именно этого я бы хотела. Вот наша коляска. Пусть дети останутся дома: не хочу, чтобы нас прерывали.

Любопытство Элизабет разгорелось, и ей не терпелось услышать рассказ подруги. Тот длился даже дольше прогулки; леди Сесил договорила лишь в сумерках, после ужина, когда они сидели и смотрели на летний лес и вспыхнувшие среди листвы звезды, а олени подошли близко к дому и стали щипать траву. Все вокруг затихло и, казалось, торжественно внимало истории, вызвавшей у Элизабет столько подлинной печали и воодушевленного интереса, сколько прежде не вызывал никакой другой рассказ, и еще сильнее расположившей ее к тому, кто так сильно любил и страдал.

Глава XVI

Леди Сесил начала так:

— Я уже сказала, что, хотя называю Джерарда братом и люблю его как родная сестра, мы связаны лишь браком наших родителей и не приходимся друг другу кровными родственниками. Его отец женился на моей матери, но Джерард — его сын от предыдущего брака, а я — дочь от предыдущего брака своей матери. Несчастной же героиней моей истории является первая жена сэра Бойвилла.

Сэр Бойвилл — он унаследовал титул баронета лишь несколько лет назад, а прежде его знали под именем мистера Невилла — впервые женился, когда ему уже перевалило за сорок. Он много повидал и жил в свое удовольствие; благодаря уму, красоте и богатству пользовался огромным успехом в свете. Он нередко вступал в связь с дамами, прославившимися у предыдущего поколения любовью к скандалам и развлечениям, а не к долгу и чести. Поскольку мистер Невилл сделался такой заметной фигурой, он был о себе самого высокого мнения и имел на это некоторые осно-

вания; его высказывания цитировали, немало его песен положили на музыку и с воодушевлением исполняли в его присутствии; его боялись и обхаживали. Женщины его любили, мужчины стремились ему подражать; он занимал важное положение в том обществе, к которому даже отдаленная причастность считалась завидной.

Когда он влюбился и женился, ему было около сорока пяти лет; подобно многим искушенным мужчинам, он не питал иллюзий по поводу женской добродетели и не верил, что ее можно найти в Лондоне, поэтому женился на деревенской девушке без гроша за душой, зато красивой и обладавшей всеми прелестями, которых он искал. Я никогда не встречала эту даму, но слышала о ней от нескольких ее бывших подруг. Она чем-то напоминала Джерарда и все же была совсем другой. Они походили друг на друга цветом глаз, волос и чертами лица, но выражение их лиц различалось. Ее чистую кожу оттенял яркий румянец, свидетельствовавший о стремительном бурлении крови, приводимой в движение не столько механикой организма, сколько порывами души. Большие темные глаза лучились неотразимым блеском; смотревший на нее словно глядел на солнце, величественно выплывающее из-за гро-

зовой тучи и ослепляющее зрителя неожиданно яркими лучами. Дух ее был жизнерадостным и даже безудержным; неуемная веселость возвышала ее над скучной монотонностью жизни, но все ее мысли и поступки были продиктованы чистейшими и добродетельными сердечными побуждениями. Ее натурой повелевали сильные импульсы; ее отличали тончайшая чувствительность и природная восприимчивость, и эти качества могли бы представлять опасность, если бы не были уравновешены исключительными моральными принципами и честностью, ни разу не давшей осечку. Ее щедрое и доверчивое сердце легко поддавалось обману и чересчур охотно открывалось; она могла быть неблагоразумна, но никогда не лгала. Случись ей ошибиться, искреннее признание своей неправоты снимало с нее все подозрения, и в самых опрометчивых ее выходках никогда не было ничего загадочного или предосудительного. Женщины, которых отличают высокая чувствительность и неуправляемые страсти, толкающие на поступки, в которых они после раскаиваются, те, кто стыдится упреков, нередко охраняют свое достоинство или спасаются от страхов ложью и, даже если не совершили никакого преступления, впутывают

себя в такую паутину обмана, что в глазах своих разоблачителей потом выглядят настоящими преступницами; все это в конце концов ожесточает и извращает их добродетельную натуру. Но Алитея Невилл никогда не пыталась защититься от последствий своих ошибок; скорее она принимала их с даже излишней готовностью, охотно раскаивалась в незначительных грехах и не могла успокоиться, не излив сердце друзьям и судьям, не раскрыв всех своих побуждений. Эту восхитительную искренность, ласковую доброту и теплую жизнерадостность ее натуры дополняло благоразумие, которым она обладала в избытке. Ее единственным изъяном — если можно назвать это изъяном — было слишком сильное стремление завоевать симпатию и привязанность тех, кого она любила; в достижении этой цели она не знала усталости и, пожалуй, чрезмерно стремилась угодить и услужить. Щедрость побуждала ее откликаться на чужую беду, а чувствительность осведомляла о том, чего другие не замечали. Она искала любви, а не похвалы, но получала и то и другое от всех своих знакомых. Напоследок упомяну еще об одном ее недостатке: хотя она ощущала в себе то достоинство, которое сообщает следование диктату долга, но порой ошибалась,

порой ее ранила критика, она всегда чутко реагировала на обвинения, была опаслива. Она так остро переживала боль, что боялась ее, и это чувство причиняло ей мучительные страдания; страх столкнуться с жестокостью и неприятием внушал ей чрезмерную неуверенность в себе и робость перед авторитетами и делал слишком податливой, если что-то нарушало гармонию, в которой она мечтала пребывать.

Именно эти качества, вероятно, вынудили ее принять предложение мистера Невилла. Этого хотел ее отец, и она повиновалась. Он был отставным лейтенантом флота; сэр Бойвилл повысил его до капитана первого ранга, а всякий флотский офицер будет бесконечно благодарен за такое назначение. Ему дали корабль; он ушел в плавание и погиб в сражении всего через несколько месяцев после свадьбы дочери, в свой последний час счастливый тем, что умер командиром военного судна. Его дочь тоже ощутила последствия отцовского повышения, но для нее они были менее благоприятными. Поначалу она любила и ценила мужа. Тогда он был другим человеком, очень привлекательным, а хорошее воспитание придавало ему лоск. Он пользовался популярностью из-за живости в общении, которую часто

принимают за остроумие, однако обусловленной скорее легкостью нрава, чем искрой подлинного ума. Сам он любил ее до самозабвения. Неистовая горячность и сейчас является чертой его характера, и хотя эгоизм бросал зловещую тень даже на такое чувство, он все же обожал жену, и некоторое время она не замечала его истинной сущности. Ее бесхитростные и нежные ласки вызывали у него улыбку, и он склонялся рабом у ее ног или заключал ее в объятия с искренним и неприкрытым пылом. Любовь — чувство чуждое ему и преходящее — украшала даже столь темную натуру.

Но брак вскоре изменил сэра Бойвилла к худшему. Близость раскрыла неприятные черты его характера. Он был человеком тщеславным и себялюбивым; оба качества делали его чрезвычайно требовательным, а первое порождало неуемную ревность. Алитея была бесхитростна и никогда не вызывала подозрений; ревность Бойвилла подпитывалась разницей в их возрасте и темпераменте. Ей было девятнадцать лет, она цвела юной красотой, ее душа расцветала первой весной, и в силу своей невинности молодая женщина даже не догадывалась о сомнениях супруга; она была слишком добра и слишком счастлива и

не думала, что может чем-то его обидеть. Он же знал жизнь и тысячу раз видел, как женщины обманывают мужчин и держат их за дураков. Он не верил, что в мире есть женщины, подобные Алитее, способные лишь на непогрешимую и непоколебимую честность. Ему казалось, что все считают его старым мужем при молодой жене; он боялся, что она поймет, что могла бы заключить гораздо более счастливый брак; желал, чтобы она полностью ему принадлежала, и потому даже улыбку постороннему расценивал как предательство и нарушение своих абсолютных прав. Поначалу она не замечала его дурных качеств. Тысячу раз он хмурился в ответ на ее веселость; тысячу раз впадал в дурное настроение и резко упрекал ее за приветливость к окружающим, пока она не обнаружила эгоистичную и презренную природу его страсти. Пока не поняла, что угодить ему возможно, лишь пренебрегая всеми своими достоинствами, всеми увлечениями, и навек отказавшись от них; что ей придется отречься от желания распространять вокруг себя радость и уложить себя, средоточие самой щедрой и бесхитростной доброты, в подобие прокрустова ложа, обрубая поочередно все, что не вместится, пока не останется нечто покалеченное и полуживое, что

будет напоминать бездушного и скупого деспота, чьи мысли и чувства занимало исключительно его лилипутское «я». Нет никаких сомнений в том, что в конце концов она сделала это открытие, хотя никогда никому не говорила о своем разочаровании и не жаловалась на тиранию, от которой страдала. Она стала внимательно следить за собой, чтобы не вызвать его недовольство, осторожничала в присутствии посторонних и подстраивала свое поведение под его требования, показывая, что боится его, но скрывая, что перестала его уважать. В ее характере появилась дотоле несвойственная ей сдержанность, которая, однако, естественным образом проистекала из ее нежелания кого-либо обидеть и непоколебимой принципиальности. Если бы она и стала обсуждать недостатки мужа, то только с ним самим, но она была неспособна оказать на него воздействие, а ссоры и конфликты были противны ее природе. Подобное молчаливое повиновение тирании супруга противоречило ее природной искренности, однако она пошла на такую жертву, потому что считала, что в этом заключается ее долг, и, кроме молчания, подобающего обиженным, никто никогда ничего от нее не слышал.

Вне всяких сомнений, она видела недостатки мужа. Его эгоизм ограничивал ее щедрую натуру; его пресыщенность охлаждала ее энтузиазм; его ревность, присваивающая себе все ее чувства, не позволяла ей сопереживать окружающим. Она напоминала несчастную птицу, чьи мощные крылья рвались в небеса, но бились с обеих сторон о прутья проволочной клетки. И все же она считала, что человек не должен пытаться сам построить свою судьбу, а должен лишь хорошо играть свою роль, куда бы ни завело его Провидение. Впервые в жизни она погрузилась в серьезные и печальные размышления и придумала систему, которая позволила бы проявиться ее природному великодушию, но не вызвала бы подозрений узколобого и эгоистичного мужа и успокоила бы его страхи.

Чтобы осуществить свой план, она предложила ему навсегда поселиться в их поместье на севере Англии, оставить лондонское общество и превратиться в деревенских жителей. Она не сомневалась, что там — вдали от суеты и шума большого города, к которому ее чувствительный и пылкий ум оказался совершенно не приспособлен, во всем слушаясь мужчину, который некогда хотел, чтобы она блистала, но теперь негодовал,

что все ею восхищаются, — занимаясь благотворительностью, творя добро и собрав вокруг себя тесный круг новых друзей, против общения с которыми муж не станет возражать, она сможет быть разумно счастлива. Сэр Бойвилл согласился с кажущейся неохотой, но на самом деле был в восторге. Ему принадлежало чудесное поместье в Южном Камберленде. Здесь, среди простодушных крестьян, где у нее было достаточно возможностей для приятного времяпровождения, она вела жизнь, которую стоило бы назвать вполне благополучной, если бы не требовательность, эгоизм и ограниченный ум сэра Бойвилла, лишавший ее самого ценного дара — симпатии и дружбы спутника ее жизни.

И все же она была довольна. Она отличалась мягким податливым нравом и не воспринимала всякое неприятное обстоятельство как неудачу или личную обиду: ее жизненная философия внушала ей, что бедам следует противостоять с оптимизмом. Ее щедрое сердце сжималось от боли при столкновении со скупой натурой мужа, но у нее появился объект любви, которому Алитея пылко отдавала всю себя. Она обратила поток своей привязанности с мужа на сына. Джерард был для нее всем: ее надеждой, радостью,

кумиром; он отвечал на ее любовь с лаской, свойственной немногим детям. Его чувствительность проявилась рано, и мать, пожалуй, слишком ей потворствовала. Ей хотелось иметь друга, и, учитывая необыкновенную нежность его натуры и редкую смышленость, искушение было слишком сильно. Мистер Невилл крайне не одобрял ее чрезмерную материнскую заботу и предвещал, что такая сильная привязанность мальчика к матери добром не кончится, но его вмешательство ни к чему не привело: мать не могла измениться, а ребенок, державший ее сторону, даже тогда смотрел на отца с горделивым негодованием, возмущаясь, что тот осмелился встать между ним и матерью.

Миссис Невилл считала мальчика ангелом, посланным ей в утешение. Она никого к нему не допускала, заменила ему и товарищей по играм, и учителей. Утром, открывая глаза, он первым делом видел лицо матери; вечером она укладывала его спать; случись ему пораниться, она в панике кидалась к нему; случись ей нежно укорить его, его детские капризы тут же прекращались. Он не отходил от нее ни на шаг; в силу своей юности она охотно разделяла его занятия; любовь в ее сердце переливалась через край, а он, хоть и был

еще ребенком, и боготворил мать, и старался оберегать.

Мистер Невилл гневался и часто упрекал ее, что она слишком баловала мальчика, но постепенно обнаружил в этом и некоторые преимущества. Джерард был его сыном и наследником; логично, что любовь, которой жена окружала его, Невилла, частично перепадала и ему. Он также уважал супругу за отсутствие у нее легкомысленного тщеславия: она была счастлива заниматься ребенком и жить вдали от Лондона, выполняя положенные ей по статусу обязанности, хотя лишь он один мог здесь созерцать ее достоинства. Он убедил себя, что она, должно быть, очень к нему привязана, раз смирилась со своего рода ссылкой; отсутствием интереса к светской жизни она завоевала его доверие — его, который прежде никогда не верил женщинам и их не уважал. Он начал чаще идти на уступки и даже решил время от времени выказывать ей одобрение.

Когда Джерарду было около шести лет, они поехали в заграничное путешествие. Подобное времяпровождение идеально соответствовало семейным принципам мистера Невилла, считавшего жену своей собственностью. В дорожном экипаже она все время была рядом с ним; во

время осмотра достопримечательностей он, уже бывавший в Италии и обладавший художественным вкусом, мог быть ее проводником и наставником; а поскольку они задерживались в каждом городе лишь ненадолго, у нее не было возможности завязать длительные знакомства, а тем более с кем-то сдружиться. Вместе с тем тщеславию мужа и отца льстили комплименты его жене и ребенку со стороны незнакомцев и местных жителей. За границей миссис Невилл родила еще одного ребенка, девочку. Теперь ее счастье удвоилось. Муж сильно привязался к малышке; разница в возрасте между детьми была слишком велика, и Джерард не воспринимал сестру как соперницу, зато отец сразу избрал ее своей любимицей; впрочем, это не вызвало в семье разлада, а скорее способствовало гармонии. Мать любила обоих детей и не обижалась, что сэр Бойвилл отдавал предпочтение дочери; а с появлением ребенка, которого он по-настоящему полюбил, нрав сэра Бойвилла смягчился, и он стал ласковым отцом и снисходительным мужем, чего раньше за ним никто не замечал.

Глава XVII

— Лишь через год после их возвращения из-за границы произошли события, оказавшиеся губительными для семейной жизни миссис Невилл. Не знаю даже, с чего начать эту повесть — настолько запутанна и туманна эта история; катастрофа окутана тайной, которая так и не была раскрыта; об этом деле известно совсем немного, а то, что известно, — всего лишь домыслы, передававшиеся из уст в уста, да и тех, простите мне мою деревенскую метафору, скорее маленькая тележка, чем воз. Миссис Невилл была замужем за сэром Бойвиллом почти десять лет и за это время ни разу не совершила ничего, что вызвало бы неодобрение даже у самых бдительных блюстителей морали; ни разу она не пошла наперекор своей честности и прямоте, которые сдерживали ее нрав, одновременно пылкий и неуверенный. Чтобы так запятнать ее репутацию — а она запятнана хуже некуда, — понадобились поистине исключительные обстоятельства, и мы до сих пор не знаем, кто был главным виновником. Результат же очевиден: еще вчера миссис

Невилл была уважаемой женщиной и любимой женой, матерью, чье существование всецело зависело от благополучия ее детей и чья нежная любовь воздействовала на них, как теплые солнечные лучи на распускающийся бутон цветка. Но неожиданно она пропала. Обстоятельства ее исчезновения окутаны молчанием и тайной, а домыслы рисуют картину бесчестья, составленную из обрывочных фактов, которые нам удалось собрать.

Вернувшись из-за границы, семейство снова отправилось в свое загородное поместье в Дроморе, и в тот период, о котором пойдет речь, мистер Невилл уехал в Лондон по делам. Он должен был вернуться через неделю, однако отъезд затянулся почти на два месяца. Жена регулярно писала. В письмах больше рассказывала о детях и доме, чем о себе, но письма были пронизаны добротой; она говорила, что ее материнское сердце греет предвкушение счастья, которое принесут ей дети, и будет оно даже больше того, что она испытывает сейчас. В каждой строчке ощущалось спокойствие и удовлетворение семейной жизнью; каждое слово этих писем рождалось в уме, где не могли прятаться скрытые чувства, потаенные и порочные мысли. В этот дом, где царили

красота и благородство, сэр Бойвилл возвращался, как он утверждает, с нетерпением и радостью. Он должен был приехать в определенное время и явился точно в назначенный день и час. Было одиннадцать вечера. Карета промчалась по имению; дверь дома оказалась открыта нараспашку; на пороге стояли несколько человек, чьи лица выражали куда более сильное любопытство и тревогу, чем обычно увидишь в английском доме; когда сэр Бойвилл вышел из кареты, слуги вытаращились на него и с ужасом переглянулись. Правда скоро выяснилась. Примерно в шесть вечера миссис Невилл, в отсутствие мужа ужинавшая рано, пошла прогуляться в парке с Джерардом; с тех пор их никто не видел.

Когда сгустилась тьма, поднялся яростный ветер и началась гроза, длительное отсутствие хозяйки встревожило слуг, и они отправились на поиски. Они обнаружили ключ хозяйки в замке небольшой потайной калитки, за которой начинался парк. Прошли по дорожке, но следов миссис Невилл не обнаружили. Проверили другую тропу, но тоже ничего не нашли. Тогда парк прочесали более тщательно; затем снова вернулись к тропинкам и лужайкам, но тщетно. Решили, что она укрылась от грозы, и тут в го-

ловы всех пришла страшная мысль, что она не нашла лучшего укрытия, чем одинокое дерево или стог сена, и в нее попала молния. Оставалась еще слабая надежда, что она вышла на дорогу навстречу мужу и могла вернуться вместе с ним. Его приезд отнял эту надежду.

Подняли всю деревню. Слуг и крестьян разослали в разные стороны; кто-то ехал верхом, кто-то ушел пешком. Хотя дело было летом, ночь выдалась ненастной, бушевала буря; свирепствовал западный ветер, высокие деревья клонились к земле, ревела и завывала непогода, сбивая с толку и препятствуя попыткам услышать крики и различить посторонние звуки.

Дромор расположен в живописной, но дикой и малонаселенной части Камберленда, на краю равнины, формирующей побережье; перед спуском к морю рельеф перестает быть ровным и испещрен холмами, лощинами и рвами. Наверху нет тропы, которая вела бы к морю, но, ступив на дорогу, ведущую в Ланкастер, они приблизились к океану, и промежутки между порывами ветра заполнились далеким ревом волн. На этой дороге, на расстоянии около пяти миль от дома, нашли Джерарда. Тот лежал в состоянии, близком к ступору; это, конечно, был не сон: одежда насквозь

промокла от дождя, руки и ноги онемели от холода. Когда его нашли и привели в чувство, он начал дико озираться и звать мать; ужас читался на его лице, и, казалось, он повредился умом от внезапного чудовищного потрясения. Его отвели домой. Отец подбежал к нему и бросился расспрашивать, но мальчик лишь кричал, что у него «увели маму»; его жалобный крик — «Вернись, мама, остановись! Остановись ради меня!» — наполнил всех присутствующих ужасом и отчаянием. Скорее послали за врачом; тот обнаружил, что у мальчика поднялся жар, вероятно из-за испуга и пребывания под открытым небом во время грозы, а также потому, что он уснул в мокрой одежде на холоде. Прошло много дней, прежде чем угроза его жизни миновала и он перестал бредить, и все равно он продолжал кричать, что его маму «увели» и та не желала подождать его и остановиться. Часто он пытался встать с кровати и отправиться ее искать.

Наконец рассудок к нему вернулся; он стал понимать, где находится, и туманно припоминать события, что непосредственно предшествовали его болезни. Его пульс успокоился, сознание восстановилось, он лежал молча и неотрывно смотрел на дверь своей комнаты. Наконец он за-

беспокоился и стал звать мать. Привели мистера Невилла — тот просил послать за ним, когда к сыну вернется способность рационально мыслить. Джерард бросил на отца разочарованный взгляд и снова пробормотал: «Я хочу к маме».

Опасаясь, что душевное смятение вновь приведет к лихорадке, отец ответил, что мама устала и спит, поэтому ее нельзя тревожить. «А когда она вернется? — воскликнул мальчик. — Тот человек не увел ее насовсем? Карета приехала?»

Эти слова всколыхнули утихшие было тревоги. Боясь допрашивать мальчика напрямую и не желая его напугать, мистер Невилл послал к нему няню, что заботилась о нем с младенчества, и поручил ей выудить у ребенка сведения. История Джерарда была безумной и странной, и, надо отметить, все рассказанное той женщине несколько отличалось от версии, которой он придерживался впоследствии, — не сами факты, но оттенки. Его отец объясняет это попытками обелить мать; сам же Джерард утверждает — и я ему верю, — что время и опыт помогли ему понять мотивы ее действий и пролили свет на слова и поступки, которые ему запомнились, и обстоятельства, что прежде казались непонятными, предстали как на ладони, когда он осознал

истинный смысл обрывков разговора, что сперва казались его лишенными.

Итак, он рассказал няне, что мама повела его на прогулку по парку, отперла своим ключом калитку, ведущую на тропинку, и там ее ждал джентльмен.

— Видел ли он этого джентльмена раньше? — поинтересовалась Элизабет.

— Нет, он его не знал, и незнакомец не обратил на него внимания; он слышал, как мама назвала его Рупертом. Мама взяла незнакомца за руку, и вместе они пошли по тропинке; Джерард иногда забегал вперед, а иногда шел рядом с мамой. Взрослые серьезно разговаривали; один раз мама заплакала, и он, Джерард, очень рассердился на джентльмена за то, что тот довел маму до слез; он взял ее за руку и стал умолять оставить незнакомца и уйти, но она поцеловала мальчика и велела ему бежать домой, сказав, что они скоро последуют за ним.

Но они не повернули, а дошли до места, где тропинка выходила на большую дорогу. Там они встали и продолжили беседовать; мама как будто прощалась с незнакомцем, и тут на полном ходу подъехала карета и встала рядом. Это был открытый экипаж, коляска с откинутым верхом;

когда она остановилась, мать подошла к ней, а незнакомец, оторвав ее руку от руки ребенка, подсадил мать в карету и вскочил следом, крикнув Джерарду: «Запрыгивай, сынок!», — но не успел Джерард это сделать, как возничий хлестнул лошадей, и коляска резко тронулась с места, а лошади мгновенно перешли в галоп. Он слышал крики матери: «Мое дитя! Мой сын!» Ее горестный вопль звучал у него в ушах; мальчик бежал за коляской что было сил; та скрылась из виду, но он все бежал. Должна же она затормозить, думал он, и тогда он их нагонит; его звала мама — и плача, запыхавшись и глотая воздух, он бежал по дороге. Коляска давно уехала, солнце село, поднялся порывистый ветер и принес грозу, но мальчик не останавливался, пока не иссякли детские силы. Тогда он бросился на землю, чтобы отдышаться. Слыша звук, похожий на стук колес, он вздрагивал, но то было лишь завывание ветра среди деревьев и хриплый рокот теперь уже далекого грома; два или три раза он поднимался и пробегал немного вперед, пока совсем не промок и не изнемог. Тогда он лег на землю, горько заплакал и приготовился умереть.

Вот что рассказал Джерард. После этого его отец строго опросил всех слуг, и те припомнили

ряд деталей, подтверждающих рассказ мальчика; так удалось составить смутную картину случившегося. Оказалось, примерно за неделю, а может, дней десять до происшествия в дом прибыл джентльмен верхом на лошади; он был один, без слуг. Спросил миссис Невилл; слуга уточнил его имя, но джентльмен пробормотал, что это не имеет значения. Его проводили в комнату, где сидела хозяйка; он остался по меньшей мере на два часа, а когда ушел, слуги заметили, что его глаза покраснели, как будто он плакал. Затем незнакомец приезжал снова, но миссис Невилл его не приняла.

Навели справки в округе. Кто-то вспомнил, что недавно в окрестностях видели незнакомого джентльмена верхом на породистом гнедом скакуне. Однажды вечером его заметили у потайной калитки в парке, из чего сделали вывод, что он приезжал в Дромор. Больше о нем никто ничего не знал.

Слуги постарались точнее вспомнить, чем занималась в это время их хозяйка, и сообщили, что однажды она пошла прогуляться одна по имению и не взяла с собой Джерарда. Вернулась она очень поздно, к десяти, и, по словам горничной, пребывала в сильном смятении. Она упала

на диван, приказала унести лампы и оставалась одна еще два часа после своего обычного времени отхода ко сну; наконец горничная отважилась зайти и спросить, нужно ли ей что-нибудь. Миссис Невилл не спала, и, когда внесли лампы, горничная заметила, что она плакала. После этого она выезжала только в коляске и вместе с детьми — до той роковой ночи, когда исчезла. Вспомнили также, что она получила несколько писем, которые принес неизвестный человек и оставил их, не дожидаясь ответа. Одно письмо она получила утром в день своего исчезновения; его обнаружили, и оно отчасти пролило свет на роковую тайну. Вместо даты на нем стоял лишь день недели, и начиналось оно как продолжение прерванного разговора:

> «Я послушаюсь тебя при одном условии: мы никогда больше не увидимся, я уеду из страны и забуду свои угрозы самому презренному из живущих; он будет в безопасности, лишь если ты выполнишь мою просьбу. Ты должна встретиться со мной сегодня вечером: хочу еще раз с тобой увидеться. Приходи к калитке в парке, что ведет на тропинку, к той самой,

через которую ты впустила меня несколько дней назад; я буду ждать снаружи. Надолго я тебя не задержу. Мы попрощаемся, а я не буду больше вспоминать о справедливом возмездии. Если же не придешь, я подожду до глубокой ночи, пока не потеряю надежду, и потом проникну в имение; дождусь его возвращения и… О, не вынуждай меня вслух говорить о том, что ты считаешь величайшим злом и грехом; приди и предотврати это. Прошу, непременно приходи, и ты навсегда освободишься от своего Руперта».

Получив это письмо, она пошла на встречу и взяла с собой сына. И разве можно сомневаться, что ее предали, увезли силой, что она стала жертвой самого гнусного злодеяния? Никто в этом и не сомневался. Из Лондона прислали полицейских, местность прочесали, допросили всех и каждого. Вроде бы нашли некоторые ниточки, но в конце концов поиски не увенчались успехом. Прошло несколько месяцев; надежда сменилась отчаянием, жалость — подозрениями, и вот скоро уже саму миссис Невилл стали обвинять в случившемся. Если ее на самом деле увезли из

дома насильно, не могли же ее вечно держать в заточении и не позволять писать домой? Она могла бы прислать весточку, даже находясь на другом конце света; нет, безумно полагать, что ее увезли против воли. В любом городе, большом или маленьком, она могла бы обратиться за помощью к людям, воззвав к их справедливости и человечности; тогда бы ее освободили. Она не оставалась бы с мужчиной, который насильно оторвал ее от семьи, если бы не была его соучастницей и тем самым не лишила бы себя всякого права возвратиться под крышу семейного дома.

Такого рода домыслы начали распространяться в округе; вслух об этом никто не говорил, но многие так считали, и в конце концов ее супруг первым произнес роковые слова. Тогда, будто освободившись от заклятья, все стали возмущаться предательством и нанесенной ему обидой. Сэр Бойвилл был очень тщеславным человеком; тщеславие делало его ревнивым, а ревность наполняла обидой и гневом. Его эгоизм и злопамятство, прежде смягчавшиеся добродетелями супруги, вновь обострились при мысли о ее вине, вырвались на первый план и поглотили все остальные эмоции. Его ударили в самое больное для мужчины место — гордость была уязвлена;

еще сильнее ранила чужая жалость, а стать предметом пересудов было и вовсе невыносимо. Он боялся такой катастрофы в первые годы брака, осознавая разницу в возрасте и характере между собой и супругой; в глубине души он был глубоко благодарен Алитее за то, что эти страхи оказались беспочвенными. Когда ее благоразумие развеяло его сомнения, он сделался другим человеком, насколько позволяла его ущербная натура и ограниченность; он оставил подозрительность и стал добрее, но все эти славные качества развились в нем лишь под ее влиянием, а как только она его оставила, они полностью испарились, стерлись, и на смену любви и уважению пришли презрение и ненависть.

Скоро, очень скоро в его ум закрались сомнения в верности супруги, и он убедил себя, что все произошло с ее молчаливого согласия. Подобно всем дурным людям, он сразу поверил в худшее: решил, что она взяла с собой сына для отвлечения внимания, или хуже — изначально задумывала забрать его с собой, и это не получилось по чистой случайности, а также потому, что любовник в том не был заинтересован. Оставленное письмо он посчитал подделкой, призванной обелить ее поведение. Он забыл и о ее терпении и непогре-

шимости, и о чистоте ее души, и о преданной любви к детям, и о том, что она никогда не лгала, и все это посчитал коварными ухищрениями бесчувственной женщины. Бесчувственной! Как можно было упрекнуть в бесчувственности ту, чей пульс ускорялся, а румянец расцветал на щеках от одного лишь обидного или ласкового слова; ту, что, пожалуй, даже чересчур боготворила своего ребенка и относилась ко всем с нежным состраданием? Однако даже эти проявления восприимчивости ее натуры он поставил ей в вину. Ее добродетель и порядочность, которые она так тщательно оберегала, обернулись против нее самой. Зачем казаться настолько безупречной, кроме как с целью заморочить окружающим голову! Зачем уединяться в глуши, если не из-за страха, несвойственного истинной добродетели? Зачем воспитывать в сыне нездоровую чувствительность, как не из стремления пощекотать свои нервы, каковое стремление есть истинный признак безнравственности? В нашем порочном мире мы часто воспринимаем любое отклонение от холодной апатии как потворство страстям, на которые обществом наложен запрет; потому и стали говорить, что, мол, с самого начала было ясно: такая чувствительная натура, как бедняж-

ка Алитея, плохо кончит; она никак не сможет противостоять искушению, которому не в силах противиться даже более хладнокровные люди.

Вот что за мысли крутились в голове у сэра Бойвилла, и постепенно он стал угрюмым и молчаливым. Сперва его угрюмость приписали грусти, но одно словцо выдало истинную ее причину — презрительная кличка, данная им жене. Это слово изменило настроения в обществе, и Алитея, которую жалели и оплакивали, считая мертвой, теперь превратилась в беглянку, добровольно покинувшую семейное гнездо. Даже собственные добродетели оборачивались против нее; подозрения, что прежде отметали, считая почти богохульством, теперь сделались несомненной истиной.

Джерард очень долго не улавливал этой перемены. Детский ум для нас, взрослых, загадка. Он как чистая доска, на которой отпечатываются все впечатления, и очень трудно понять, до какого момента дети еще ничего не смыслят, а с какого начинают все осознавать. Оправившись от болезни, мальчик стал напряженно-внимательным, с энтузиазмом обращаясь ко всем: что они узнали, какие действия предпринимаются для спасения матери и есть ли надежда ее отыскать. Он спра-

шивал отца, что будет, если тот когда-нибудь встретит злодея, похитившего мать, и застрелит его; оправдают ли его тогда в суде? Проливал слезы грусти и сожаления, пока остальные нежные чувства не поглотило негодование, а желание помочь матери и отомстить за нее не затмило собой все прочие. Его бедная, несчастная мать! Юное сердце наполнялось чрезвычайным нетерпением и яростью при мысли, что она где-то далеко, что ее насильно с ним разлучили и он не может ее найти и до нее добраться. Ему казалось, остальные ищут ее слишком вяло, прилагают мало усилий и используют далеко не все средства. Сам он был готов шаг за шагом исходить всю землю, прочесать каждый дюйм, пока не найдет и не освободит ее. Как хотел он отправиться в такое путешествие; днем и ночью грезил об этом и сообщал о переполнявшем его желании каждому встречному с необыкновенно трогательным бурным красноречием, рожденным искренностью и серьезностью его намерений.

И вдруг он ощутил перемену. Возможно, ему сказал об этом кто-то из болтливых слуг. Он сравнивает это с тем, как человек, войдя в лазарет, внезапно подхватывает инфекцию. Он видел перемену во взглядах окружающих, в атмосфере

и манере общения; мать теперь считали безнравственной беглянкой, говорили, что она сбежала по своей воле и никогда не вернется. При мысли об этом ему становилось тошно.

Как чист и благороден этот мальчик!
Едва открылся матери позор,
Он стал хиреть, ослабевать и чахнуть,
Утратил сон, на пищу не глядел
И занемог[15].

Он стал отказываться от еды и с отвращением забросил все прежние занятия. Прежде он горячо желал, чтобы мать вернулась, и ему казалось, что, когда он еще немного подрастет и возмужает — через несколько лет, — он отправится на поиски и с торжеством вернет ее домой. Но теперь имя его дорогой матери покрылось бесславием и позором, и от этого было никуда не деться. Совершилось непоправимое зло; теперь смерть для нее казалась лучшей долей. Однажды он подошел к отцу, поднял на него ясный взгляд юных глаз и произнес: «Я знаю, о чем ты думаешь, но ты неправ. Мама вернулась бы, если бы могла. Когда я стану мужчиной, я найду ее и верну домой, и

---

[15] Примечания: 15
Уильям Шекспир «Зимняя сказка» (пер. В. В. Левика).

тогда ты пожалеешь!»

Остаток его речи потонул в рыданиях. Его сердце дерзко билось, ведь он готовился к противостоянию с отцом, готовился отстоять невиновность матери, но в тот момент осознал, что она действительно пропала и, возможно, пройдет много лет, прежде чем они снова увидятся; горло сжалось, стало нечем дышать, он рухнул и впал в истерику.

Глава XVIII

Леди Сесил прервала свой рассказ, когда они вернулись с утренней прогулки, и возобновила вечером. Они с Элизабет сели на веранде с видом на зеленый лес; непроглядные летние сумерки соответствовали меланхоличному тону ее повествования.

— Бедный Джерард! Его юное сердце разрывалось от сражавшихся в нем противоречивых страстей и недостатка любви со стороны тех, кто его окружал. После разговора с отцом его жизнь снова на несколько дней оказалась под угрозой, но наконец он поправился, по крайней мере физически. Он лежал на маленькой кушетке, бледный и исхудавший, совсем не похожий на себя прежнего, но его сердце не изменилось; одна мысль захватила его целиком. «Няня, — обратился он однажды к женщине, что ухаживала за ним с рождения. — Возьми бумагу и ручку и запиши, что я тебе продиктую. Или, если это тебя слишком затруднит, просто запомни каждое слово и повтори отцу. Я не могу с ним говорить. Он не любит маму, как прежде; он несправедлив, пото-

му я не стану с ним говорить, но хочу рассказать обо всем, что случилось, чтобы люди поняли, что я говорю правду, и больше не сомневались, что она уехала не по своей воле, как не сомневаюсь в этом я.

Когда мы встретились с тем незнакомым джентльменом в первый раз, — продолжил он, — мы шли по тропе, а я забегал вперед и собирал цветы, но, помню, думал: а почему мама сердится на этого джентльмена? Какое он имеет право ее обижать? Я подошел к ним и хотел сказать, чтобы он не расстраивал маму своими словами, но, когда взял ее за руку, она больше не сердилась, просто казалась очень расстроенной. Помню, она произнесла: „Мне очень тебя жаль, Руперт, — и добавила: — Но я не могу дать тебе ничего, кроме пожелания счастья“. Я запомнил эти слова, потому что тогда по детской наивности решил, что мама „не может ничего ему дать“, потому что оставила кошелек дома; потом задумался и понял, что незнакомец очень хорошо одет и несколько шиллингов ему совершенно ни к чему. Мама говорила очень тихо и смотрела незнакомцу в глаза; он был высокого роста, выше папы, моложе его и красивее; я снова убежал вперед, так как не понимал, о чем они разговаривают. Потом

мама окликнула меня и сказала, что собирается вернуться; я очень обрадовался, становилось уже поздно, и я проголодался; но незнакомец сказал: „Давай еще немного пройдемся, хотя бы до конца этой тропинки“, — и мы пошли дальше. Он стал твердить, что она его забудет, а она ответила, что это к лучшему и ему тоже стоит о ней забыть. При этих словах он сердито бросился к ней, и я тоже рассердился, но он сразу же переменился в лице и попросил простить его, и тут мы дошли до конца тропинки.

Там мы остановились, мама протянула руку и сказала „Прощай“ и что-то еще; тут вдруг послышался стук колес, и на полном ходу из-за поворота выехала коляска. Она остановилась совсем близко; мама держала меня за руку, и ее рука дрожала. Незнакомец произнес: „Видишь, я не обманывал: я действительно уезжаю и скоро буду очень далеко. Хочу побыть с тобой еще лишь полчаса; сядь в карету, холодает“. Мама ответила: „Нет, нет, уже поздно, прощай!“ — но незнакомец подтолкнул ее вперед, и через миг подхватил и приподнял; он казался сильнее двух мужчин, вместе взятых; он посадил ее в карету, потом сел сам и крикнул, чтобы я запрыгивал следом; я бы так и сделал, но тут возничий хлестнул лошадей. Карета вне-

запно тронулась, я пошатнулся и чуть не попал под колеса; услышал, как мама вскрикнула, но, когда поднялся, карета была уже далеко, и хотя я кричал очень громко, что было сил, и звал маму; хотя бежал так быстро, что вскоре запыхался, я больше не слышал ее зов и сам стал кричать и плакать, а потом бросился на землю. Я лежал, пока мне не показалось, будто я услышал стук колес; тогда я вскочил и снова побежал, но это был лишь гром; он грохотал, ревел ветер, дождь лил сплошной пеленой, и вскоре ноги перестали меня держать, я рухнул наземь и забыл обо всем; думал лишь о том, что мама должна вернуться, а я должен ее ждать. Вот моя история, няня; каждое слово в ней — правда; неужели теперь не ясно, что маму увезли силой?»

«Да, — отвечала женщина. — Никто в этом не сомневается, юный мастер Джерард, но почему она тогда не возвращается? В христианской стране вроде нашей ни один мужчина не смог бы удерживать ее против воли!»

«Да потому что она мертва или в заточении, — ответил мальчик и разрыдался. — Но я вижу, что ты такая же злая, как остальные, и дурного мнения о маме. Ненавижу тебя и всех! Всех, кроме мамы!»

С того дня Джерард полностью переменился; от его мальчишеской веселости не осталось и следа, он постоянно размышлял о несправедливости, жертвой которой пала его мать, и безумно раздражался, что никакими доводами не может убедить окружающих в ее абсолютной невиновности. Он сделался угрюмым, скрытным, замкнулся в себе, но главное — начал сторониться отца. Прошло несколько месяцев; поиски, начавшиеся с желания помочь миссис Невилл, продолжались уже из жажды возмездия; не жалели ни сил, ни средств, но все было тщетно. Стали поговаривать, что беглецы уехали в Америку, а шансы найти двух людей, решивших скрываться на этом большом континенте, были крайне малы. Навели справки в Нью-Йорке и других крупных городах, но все понапрасну.

Странным и самым загадочным обстоятельством этой истории было отсутствие малейших догадок по поводу личности незнакомца. Он словно свалился с неба, хотя было очевидно, что они с миссис Невилл знакомы давно. Его звали Рупертом, но никто из окружения Невиллов не знал человека с таким именем. Возможно ли, что Алитея была влюблена до замужества? Если да, она тщательно скрывала это, так как ее муж ни-

когда ни о чем подобном не подозревал. Детство она провела с матерью; отец все время находился в плаваниях. Мать умерла, когда Алитее было шестнадцать лет; через некоторое время ее отец вышел в отставку, и она поселилась с ним. Он уверял сэра Бойвилла, что у его дочери никогда не было воздыхателей, и сэр Бойвилл не сомневался в правдивости этих слов, хотя был очень ревнив. Возможно ли, что в первые годы брака Алитея полюбила другого? Неужели поэтому она и решила уединиться в деревне — чтобы не поддаться искушению? Имя «Руперт», скорее всего, было вымышленным; сэр Бойвилл попытался вспомнить, были ли у Алитеи близкие друзья, и отыскать ключи к ее исчезновению. Тщетно он перебирал все мельчайшие детали и имена всех посетителей: он не вспомнил ничего, что пролило бы свет на личность незнакомца. И все же он вбил себе в голову, что несколько лет назад Алитея привязалась к мужчине, который безумно ее полюбил. Эта мысль теперь отравляла все его существование. Другой бы порадовался добродетели, из-за которой она оставила того, кого любила, и предпочла уединиться за городом, но эта загадка там, где все казалось искренним и откровенным, растрата сердца, тайная мысль,

которая никак не проявлялась вовне, однако управляла всеми действиями, — вот что, как червь-древоточец, снедало гордость сэра Бойвилла и его уязвимое себялюбие. Скоро он уже не сомневался, что она тайно любила другого, и, хотя признавал, что незнакомец, вероятно, лукавством выманил ее из дома и увез силой, полагал, что в конце концов она принесла материнский долг и любовь в жертву всепоглощающей страсти и продолжила скрываться уже добровольно.

Стоит ли удивляться, что человек вроде сэра Бойвилла, всецело сосредоточенный на своем непомерном эго и вместе с тем опасающийся малейшего удара по самолюбию; гордящийся супругой, ибо, столь прекрасная и вызывающая всеобщее восхищение, она целиком принадлежала ему, — стоит ли удивляться, что этот тщеславный и уязвимый человек обезумел от ревности, потеряв такое сокровище, да еще в результате предательства и скандала? Он любил жену, поскольку считал, что та испытывает к нему нежные чувства, но оказалось, что она любила другого; он уважал ее безукоризненную честность, а, как выяснилось, она все время ему лгала. Если бы она открыто заявила о предательской страсти, признала свои терзания и,

обнажив перед ним сердце, сказала бы, что предпочла сохранить его честь и счастье, несмотря на то, что из-за слабости ее натуры другой украл часть того чувства, которое должно было всецело принадлежать ему, — если бы она все это сделала, с какой нежностью он бы ее простил и с какой благородной стойкостью стерпел бы ее недостаток; каким благородным и милостивым человеком себя бы показал! Но вместо этого она притворялась великодушной; он искренне был ей признателен, а она лишь изображала верность долгу. Он думал, что держит в руках цветок, который способен только благоухать, но семя было ядовито, и сердцевина цветка обратилась в пыль и горький пепел.

Рассуждать на эти темы всегда болезненно; с какой стороны ни посмотри, едва ли возможно представить более печальные жизненные обстоятельства. Человек счастлив, когда достигает желаемого и надеется обладать им вечно. Сэр Бойвилл всегда отличался скептицизмом и подозрительностью, но, встретив Алитею, поверил, что вытянул счастливый билет, что честь супруги — прозрачный безупречный хризолит, и даже если в душе считал, что она не относилась к нему с должным почтением, недостаточно

гордилась своим статусом и не смотрела на окружающих свысока, как подобает его супруге, ее многочисленные добродетели и прелести компенсировали эти изъяны и ему было не на что жаловаться. Ее чувствительность, жизнелюбие, ум, таланты и поразительное обаяние, несомненно, принадлежали ему, и потому она казалась ему обворожительной. Когда же раскрылась ее неверность, она лишилась своей короны и ее достоинства рассыпались в прах; теперь она лежала поверженная, опозоренная и никчемная, а все то, к чему она относилась с осуждением и неприязнью, — себялюбие, бессердечность и холодность — возвысилось в его глазах до добродетели.

Тщеславие сэра Бойвилла возвело его на пьедестал; ему нравилось воображать, как он говорит: «Взгляните на меня, вы не увидите изъяна! Я богат и высокороден. Моя жена — предмет всеобщей зависти, а дети унаследуют наши добродетели! Я преуспеваю, мне ничего не грозит — вы только на меня посмотрите!» И вот, стоя на своем пьедестале, он превратился в мишень для насмешек; теперь его жалели! Ах, как он себя ненавидел; как ненавидел ту, что довела его до этого! В их счастливые дни он часто воображал, что крепко любит ее, и был готов поступиться даже своей

гордостью, поддаваясь ее кротким уговорам. Он верил, что само Провидение сотворило это прекрасное безупречное существо и его жизнь может быть идеальной. Месяцами, днями, часами он видел перед собой ее лицо, наблюдал за проявлениями ее восхитительных качеств и за ее трепещущей хрупкостью, никнувшей от любого прикосновения и вновь оживавшей от ласкового слова; ее порывистость — не вспыльчивость, а возбудимость чувств, на которых все оставляло внезапный и глубокий отпечаток, — пробуждала одновременно восхищение и желание оберегать ее, как благоухающий экзотический цветок, перевезенный из родного солнечного климата в суровый северный край. Вспоминая, как боялся за нее, он приходил в бешенство; забыв о мужской чести, он прислуживал ей и часто отказывался даже заниматься своими прожектами, опасаясь, что те повредят деликатные струны ее души; в своих воспоминаниях он видел себя ее лакеем, а все ради любви, которую она обратила на другого; ради того, чтобы сохранить честь, которая теперь была безжалостно поругана.

Напрасно даже пытаться описать всю остроту его ревности; лишившись столь прекрасного и дорогого человека, всякий будет испытывать

печаль, но к печали сэра Бойвилла примешивался гнев оттого, что она его оставила; отчаяние при мысли, что он ее больше никогда не увидит, сочеталось с яростным желанием узнать, что на голову той, кого он прежде охранял от всякого зла, обрушиваются всевозможные несчастья. Ко всему этому добавлялось горе из-за детей. Его сын, прежде такой свободный и жизнерадостный, веселый и игривый, средоточие отцовских чаяний, превратился в угрюмого, несчастного, убитого горем мечтателя. Его маленькую дочку, чудесное создание, которое он любил больше всего на свете, у него отняла небрежность няни: через год после исчезновения матери девочка умерла от детской болезни. Если бы мать была рядом с ней, то никогда не допустила бы такого недосмотра. Сэру Бойвиллу казалось, что в его жизни не осталось ничего хорошего; последнее золотое яблоко оторвалось от ветки, и несчастья поглотили его. Всей душой он презирал ту, что стала причиной бедствий, и страстно желал ей отомстить.

Прошло два года. От беглецов по-прежнему не было вестей, и стало ясно, что у загадки может быть только одна разгадка. По всей видимости, Алитея с любовником поселились в далекой

стране под вымышленными именами. Если так было на самом деле, сердце любого человека дрогнуло бы при мысли о том, как несчастна бедная женщина, чье имя на родине покрыто позором; как тягостно ей размышлять о покинутом домашнем очаге, украшением которого она так долго являлась, и о неуемной тоске и страданиях своего обожаемого сына. Оставалось лишь пугливо предполагать, что именно не позволяло ей вернуться, но одно можно было сказать совершенно точно: если она была жива, то наверняка чувствовала себя несчастной. Если бы сэр Бойвилл задумался о ее состоянии, он наверняка порадовался бы такому горю. Но ее чувства его не интересовали; он желал лишь отмщения и хотел, чтобы память о ней никогда больше с ним не связывали. Попытки отыскать беглецов в Америке и затянувшиеся ложные надежды отсрочили этот процесс. Наконец он с воодушевлением взялся за оформление развода. У него была тысяча очевидных причин его желать; такому гордецу, как сэр Бойвилл, казалось, что лишь тогда ничего не будет ему досаждать, когда она перестанет носить его фамилию и лишится всех прав, всякой связи с ним. Учитывая исключительные обстоятельства дела, развод можно было получить

лишь постановлением парламента; в парламент он и обратился.

В этом поступке не было ничего предосудительного; сэром Бойвиллом двигало стремление защититься и отомстить. Кроме того, он радовался огласке, так как намеревался доказать свою невиновность всему свету. Он обвинил супругу в тяжком преступлении, и на ее безупречной репутации теперь лежало несмываемое пятно. Он обвинил ее в супружеской неверности и пренебрежении материнскими обязанностями в обстоятельствах, делавших ее не просто обычной преступницей. Но что, если он ошибался? Что, если страсть исказила его взор и человек менее заинтересованный, оценив нанесенную ему обиду, постановил бы, что его супруга злосчастна, но преступницей не является? Постановление о разводе означало, что факты расследовали и оценили несколько сотен самых высокородных и образованных его соотечественников. А огласка, возможно, помогла бы раскрыть новые сведения. Это казалось ему справедливым, и, хотя гордость противилась при мысли, что о нем начнут судачить, он не видел другого выхода. Напротив, в откровенном разговоре один из его друзей сообщил, что многие считали странным, почему он

раньше не прибегнул к этому средству. Его пассивность вызывала удивление и даже осуждение. Подобные намеки чрезвычайно его разозлили, и он взялся за осуществление своего плана со свойственными ему спешкой и упорством.

После предварительных слушаний суд счел необходимым вызвать Джерарда для дачи показаний в палату лордов. Сэр Бойвилл выставил свою пропавшую жену преступницей, погрязшей в заслуженном позоре, испорченной до мозга костей и справедливо осужденной; так убедительны были его обвинения, что все без колебаний встали на его сторону и пожелали освободить его от законных обязательств, которые могли нанести ему существенный вред, покуда она продолжала носить его фамилию. Его честь также пострадала. Его честь, ради сохранения которой он готов был отдать жизнь: он доверил ее Алитее, считал, что она чтит его доверие, и оттого любил ее больше. Но она оказалась гнусной предательницей; теперь все, кто уважал обычаи этого мира и законы общества, а главное, все, кто его любил, должны были выступить в его защиту и лишить ее всех благ, которые она могла бы от него унаследовать.

Кроме того, он считал, что сын должен разде-

лять его негодование и помогать ему осуществить план мести. Джерард был всего лишь маленьким мальчиком, но нежность его матери, его собственная восприимчивая натура и страдания, которые он пережил из-за ее побега, рано познакомили его с суровой реальностью жизни и внушили ему обостренное чувство справедливости. Его отец считал, что мальчик уже способен формировать свое мнение и исходить из мотивов, которые обычно непонятны детям в столь юном возрасте. И верно, Джерард действительно отличался независимым мнением и упрямо лелеял в своей душе идеи, не делясь ими ни с кем. Он понимал, почему его отца жалеют, почему на матери лежит позорное клеймо; улавливал тайный смысл шепотков, подмигиваний, скрытых намеков. Он все понимал и, как поэт, мечтал найти слова, что острым мечом способны были бы пронзить всю эту ложь.

На протяжении нескольких месяцев они с отцом почти не виделись. Сэр Бойвилл был не из тех, кто с удовольствием взирает на бесхитростные детские шалости или с радостью наблюдает за развитием юного ума; мысль о том, чтобы подружиться с сыном — а именно этого искренне добивалась Алитея, — никогда не приходила ему

в голову, так как его интересовал лишь один человек — он сам. Он давно бы отправил Джерарда в интернат, но после болезни тот ослаб, поэтому в доме жил учитель. К нему и обратился с письмом секретарь сэра Бойвилла; учитель должен был сообщить ученику о предстоящем слушании, объяснить формальности, успокоить его, избавить от робости и возбудить в нем желание помочь в деле, суть которого заключалась в восстановлении справедливости по отношению к отцу.

Но стоило мистеру Картеру упомянуть о матери, как сердце мальчика сжалось и кровь хлынула в голову; его щеки, виски и горло покраснели, потом он мертвенно побледнел и, не говоря ни слова, выслушал учителя. Когда же до него вдруг дошло, чего от него просят, он задрожал всем телом и попросил оставить его одного: мол, ему надо подумать. Окружающие не отличались особой чуткостью и посчитали, что мальчик просто стесняется, когда с ним говорят на эту тему, и сам примет решение; мистер Картер тут же выполнил его просьбу; с тех пор, как Невилл потерял мать, он стал очень сдержанным, и окружающие привыкли к его молчанию. Если бы рядом с ним находился хоть один наблюдательный, любящий, внимательный человек, он заметил

бы внутреннюю борьбу, происходившую в его хрупком теле; от этой борьбы он побледнел и исхудал, она учащала его пульс и вызывала жар. Но никто не заметил, как он всю ночь пролежал в кровати без сна с открытыми глазами и гулко бьющимся сердцем, снедаемый противоречивыми чувствами. И днем домашние равнодушно проходили мимо, когда он падал на росистую траву и душу его терзало горе; когда он отчаянно взывал к матери и проливал потоки слез.

Я говорю, что эти проявления сильных чувств никто не замечал, но это не совсем так: слуги всё видели, по-свойски ему сочувствовали и говорили, что хорошо бы эта история скорее закончилась, раз юный мастер Невилл принимает ее так близко к сердцу и так сильно напуган. Напуган! Вот каким грубым и невыразительным словом они называли священный ужас, который он испытывал при мысли, что может навредить своей по-прежнему обожаемой матери; стоило ему это представить, и грудь вздымалась от судорожных рыданий, а кровь закипала в жилах.

Мысль о том, что его попросили сделать, днем и ночью неотступно его преследовала. Он, ее любимец, ее кумир, ее дитя, без слез неспособный даже вспомнить ее имя; он, кому часто снилось,

что она целовала его во сне, кто, просыпаясь, плакал из-за того, что это все ему привиделось, — он должен был обвинить ее перед многочисленным собранием людей, подтвердить самую страшную клеветническую ложь и собственноручно заклеймить ее доброе имя. Где бы она ни находилась, какая бы неодолимая сила ее ни удерживала, для него она оставалась невинной как ангел и все еще его любила; теперь же она услышит, что он стал ее врагом; он нанесет ей последний удар. Таким представлялась Джерарду порученная ему задача; его тупоумный учитель говорил о справедливости по отношению к отцу, о том, чтобы освободить его от беглянки-жены, даже не заботясь о сокровенных чувствах своего ученика и не догадываясь, что в сердце его возведен алтарь, где мать восседает ангелом света и добра, невинной жертвой чужого зла.

Вскоре после исчезновения миссис Невилл сэр Бойвилл с семейством уехали из Камберленда и поселились в доме в Бакингемшире на берегу Темзы. На время парламентских слушаний Джерард оставался в доме, а отец его жил в городе. Наконец настал день, когда Джерард должен был явиться в суд. То ли из любви к справедливости, то ли из любопытства пэры рассматривали дело

со всей дотошностью и показания мальчика сочли абсолютно необходимыми. Мистер Картер сказал Джерарду, что наутро они отправятся в Лондон в связи с требованиями, о которых он предупреждал его несколькими днями ранее. «Правда ли, — спросил мальчик, — что меня вызывают для дачи показаний против собственной матери?» — «Вас вызывают, чтобы вы исполнили свой долг, — осмотрительно ответил учитель, — и сказали правду тем, кто своим решением сможет восстановить справедливость в отношении вашего отца. Если правда повредит миссис Невилл, тем хуже для нее». Тут щеки Джерарда снова запылали, а глаза, затуманенные слезами, полыхнули огнем. «В таком случае, — ответил он, — хочу сначала увидеться с отцом». — «Вы увидитесь с ним в городе, — ответил мистер Картер. — Полно, Невилл, хватит быть девчонкой; вы мужчина, соберитесь! Ваша мать — недостойная…» — «Если позволите, сэр, — прервал его Джерард, чуть не захлебнувшись рыданиями, но все же сдержавшись, — я поговорю с отцом; мне не нравится, когда кто-то другой обсуждает со мной эту тему». — «Как скажете, сэр», — обиженно ответил мистер Картер.

Больше об этом не разговаривали; наступил

вечер, а наутро они выехали в Лондон. Бедный мальчик не спал всю ночь, но никто не знал о его горестном бдении, да и никому не было до него дела.

Глава XIX

— Назавтра они выехали в Лондон; решили, что на второй после приезда день Джерард должен отдохнуть, а показания в палате лордов назначили на третий. Сэру Бойвиллу доложили, что мальчик с недовольством воспринял сообщение, переданное ему учителем (именно таким словом — «недовольство» — описали его реакцию). Сэр Бойвилл не горел желанием обсуждать что-либо с сыном, но это донесение и просьба мальчика о свидании вынудили его передумать. Он не ожидал противостояния, но собирался придать верный тон выступлению Джерарда. Однако разлука и разница в восприятии отдалила их друг от друга, и в итоге разговор мало напоминал ласковое общение любящих отца и сына.

«Джерард, мальчик мой, — начал сэр Бойвилл, — мы оба стали жертвами и оба не принадлежим к тому роду людей, кто согласен страдать молча. Я бы с радостью рискнул жизнью, чтобы отомстить за нанесенный нам ущерб; полагаю, ты поступил бы так же, хотя ты еще ребенок; но совершивший это зло прячется от нас, и моя кара

его не настигнет. Даже законы нашей страны над ним не властны, но кое-что я все-таки сделать могу — и должен попытаться».

Сэр Бойвилл проявил такт, упомянув только одного из двух обидчиков, того, чьи поступки в любом случае были достойны осуждения и кого Джерард ненавидел всей душой. Лицо мальчика при этом озарилось чем-то вроде удовольствия, глаза полыхнули огнем; он тоже считал своим долгом и благородной целью доказать всему миру вину и злонамеренность негодяя, укравшего у него мать. Прояви его отец чуть больше терпения, он легко мог бы склонить мальчика на свою сторону, но тут он ненароком выдал свои истинные намерения и следующими словами все испортил.

«Твоя несчастная мать, — сказал он, — должна быть опозорена; и, если она не вовсе очерствела, бесчестье станет для нее достаточным наказанием. Когда весть о завтрашнем слушании достигнет ее ушей, она пригубит ту горькую чашу, из которой заставила испить нас. Было бы глупо притворяться, что я об этом сожалею; я признаю́, что рад этому».

Теперь все в отце вызывало у мальчика отвращение, и прежние чувства нахлынули на

него. Какое право имел этот человек подобным образом отзываться о любимой и чтимой матери, которой его так жестоко лишили? Кровь закипела в жилах, и, хотя Джерард боялся отца и уважал, как полагается ребенку, он произнес: «Если мое завтрашнее выступление огорчит мать или как-либо ей навредит, я не пойду; я просто не могу». — «Ты дурак, раз так говоришь, — ответил отец, — трусливый щенок без гордости и чувства долга! Прекрати, я больше не желаю это слышать. Твой долг — подчиняться отцу, и в этом случае ни о чем ином не может быть и речи! Тебя просят лишь об одном: сказать правду, и ты ее скажешь. Я-то полагал, что, невзирая на твой юный возраст, в тебе возобладают более высокие и благородные побуждения: ты отомстишь за отцовскую честь, а злодейство твоей матери будет наказано!»

«Моя мать — не злодейка! — воскликнул Джерард, но больше ничего не сказал, ибо тысячи причин мешают ребенку высказывать все, что у него на уме: неопытность, уважение к старшим, непонимание последствий своих слов и страх перед могуществом власти, которой приходится противостоять. Лишь после паузы он пробормотал: — Я уважаю мать и скажу всему миру, что она заслуживает уважения». — «Богом клянусь,

Джерард, — воскликнул сэр Бойвилл, разгневавшись, как гневаются родители, считающие, что детьми можно управлять как марионетками, когда дети осмеливаются проявлять собственную волю. — Богом клянусь, сэр, еще чуть-чуть, и я отвешу вам оплеуху! Довольно; не хочу тебя запугивать; завтра веди себя хорошо, и я все прощу».

«Простите меня сейчас, отец, — воскликнул Джерард и расплакался. — Простите и сжальтесь надо мной, ведь я не смогу исполнить вашу волю; я не сделаю ничего, что расстроило бы маму, она так меня любила — уверен, любит до сих пор, — и я никак не могу ей навредить. Завтра я никуда не пойду». — «Ушам своим не верю, — ответил сэр Бойвилл, изо всех сил пытаясь контролировать нараставший гнев. — Неужели ты настолько глуп и не понимаешь, что твоя проклятая мать не может больше претендовать на твою привязанность? И неужели я так мало значу для тебя, я, твой отец, который рассчитывает на твое послушание потому, что мое дело правое, не говоря уж о том, что я твой родитель? Ты ли не должен мне, ты ли не обязан оказать услугу? Похоже, я ошибся; думал, что ты умнее своих лет и есть в тебе мужская гордость, из-за которой ты с радостью отомстил бы за нанесенный мне ущерб и

стал бы моим другом и союзником, отплатив за зло, совершенное твоей матерью! Я думал, ты сын, в чьих жилах течет моя кровь, кто готов доказать истинность своего рождения, встав на мою сторону. Ты что же, идиот или бастард, даже не понимающий, что такое честь?»

Джерард слушал его и плакал; слезы лились ручьем, но по мере того, как отец продолжал осыпать его оскорблениями, в нем пробуждался гордый мятежный дух; ему хотелось вскрикнуть: «Оскорбляй меня, ударь меня, но я не поддамся!» Однако он молча стоял перед родителем с мрачным, как туча, лицом и свирепым блеском в обычно кротких и печальных глазах. Сэр Бойвилл увидел, что не произвел на мальчика впечатления, на которое рассчитывал, но, не желая вновь слышать, как тот отказывается ему подчиняться, подытожил свою речь туманными, но жестокими угрозами о том, что ждет его в случае неповиновения: изгнание из родного дома, нищета и голодная смерть, презрение всего света и его, отца, проклятие; доведя себя до бешенства и проникнувшись искренним отвращением к стоявшему перед ним дрожащему, слабому, но все еще непокорному ребенку, он оставил его размышлять, не сомневаясь, что одержит верх.

Джерард тем временем думал совсем о другом. «Пару раз мне пришла в голову мысль броситься в его объятия и молить о снисхождении, — признался он мне потом. — Я хотел встать на колени и умолять пощадить меня; одного доброго слова хватило бы, чтобы покончить с нашим противостоянием, но я не услышал ни единого; и пока он неистовствовал, мне вдруг представилось, как я собираю цветочки и играю рядом с мамой в парке, а она поет, и я стал думать о ней и слушать ее пение, а о нем позабыл; и когда он сказал, что вышвырнет меня за дверь, я подумал: „Тогда я буду свободен и найду маму“. Даже сейчас я переполнен чувствами, но в детстве наверняка переживал это сильнее; эмоции ребенка намного ярче, чем у взрослого. Я и сейчас не могу припомнить другого случая, когда вихрь чувств настолько бы захватил меня, как при том разговоре с отцом, а ты ведь знаешь, какие бури порой бушуют в моей душе!»

Так Джерард описывал свои эмоции; отец велел ему выйти из комнаты, и он отправился размышлять о своей грядущей судьбе. Рано утром ему приказали готовиться к поездке в палату лордов. Отец не пришел; он думал, что мальчик напуган до смерти и не станет больше сопротивляться.

Джерард и впрямь повиновался молча. Он ненавидел спорить с незнакомцами и слугами, а также подозревал, что, случись ему в открытую взбунтоваться, его потащили бы на слушание силой; его гордая душа противилась этой мысли. Он сел в карету; по пути мистер Картер, который поехал с ним, счел необходимым описать протокол и посоветовать, как себя вести. Джерард спокойно его выслушал и даже задал несколько вопросов о предварительных процедурах; мистер Картер объяснил, что его попросят принять присягу и после этого можно будет говорить только правду и ничего, кроме правды, поэтому нужно быть очень осторожным и ни в коем случае не лгать. При этих словах щеки Джерарда покраснели, но не от негодования, а как будто от удовольствия.

Прибыли на место; их провели в приемную, и они стали ждать, когда пэры их вызовут. Какие мучения пришлось вытерпеть мальчику, когда к нему стали подходить незнакомые люди! Кто-то заводил с ним разговор, кто-то просто глазел. Никому не было дела до его негодования, безысходности, горя и терзаний, которые сложно вытерпеть даже взрослому; они разрывали его душу во время неизбежного для присутственных мест досадного ожидания. Он сидел и не выказы-

вал никакого сопротивления; на первый взгляд он был собран, лишь иногда щеки его вспыхивали, а губы дрожали и бледнели; лишь иногда его горло сжималось и слезы подступали к глазам, когда перед мысленным взором возникал образ его милой матери, ставшей теперь объектом всеобщего презрения и безразличия. Воображая муки и терзания, которым подверглась в эти минуты его хрупкая и тонкая душа, я часто поражаюсь, как он не сломался, как его рассудок устоял; последствия того дня ощущаются в нем до сих пор и, подобно солнечному затмению, омрачают его существование; шепот воспоминаний о пережитой агонии возвращается вкрадчивой мукой, не позволяя забыть. Один писатель сравнивал воздействие несчастий на добродетель с экстракцией аромата из цветочных лепестков: их давят под прессом, чтобы они отдали свое благоухание. Взгляни на Джерарда: он само благородство, сама добродетель и нежность; не этому ли часу тревог мы обязаны его превосходным характером? Если так, меня это отчасти утешает, но я все же не могу без боли вспоминать о том, что ему пришлось вытерпеть. Сам он признаёт, что именно эти мучительные переживания побудили его посвятить жизнь попыткам обелить имя матери. Является

ли подобная преданность благом? Пока явной пользы не было.

В конце концов его вызвали. «Молодой человек, вы готовы?» — спросили его и провели в величественную залу, вполне подходящую для торжественных и важных дебатов. В зале сидела толпа судей, разбиравших дело его матери. У него потемнело в глазах; сердце в груди кувыркнулось; когда он вошел, по рядам сперва пробежал шепоток, затем воцарилось полное молчание. Все смотрели на него с сочувствием, так как страдание отпечаталось на его лице. Прошло несколько минут, прежде чем к нему обратились; когда решили, что он успел собраться с мыслями, судебный служащий заставил его прочитать присягу, после чего барристер задал ему несколько простых вопросов, стараясь не запугать его, а постепенно подвести к воспоминаниям о конкретных фактах. Мальчик смотрел на него с презрением, пытался быть спокойным и говорить громко, но голос дважды сорвался, и лишь в третий раз он медленно, но отчетливо заговорил: «Я поклялся говорить правду, поэтому верьте мне. Моя мать невиновна». — «Сейчас речь не об этом, юноша, — ответил допрашивающий. — Я лишь спросил, помните ли вы дом

вашего отца в Камберленде». Мальчик отвечал громче, срывающимся голосом: «Я сказал все, что хотел, — можете меня убить, но больше я не произнесу ни слова. Как вы смеете просить меня навредить моей матери?»

Тут из его глаз хлынул неудержимый поток слез и омыл пылающие щеки. Он рассказывал, что хорошо помнит чувство, которое тогда испытывал: ему хотелось кричать присутствующим «Как вам не стыдно!», но голос его не слушался; задача оказалась невыполнимой для столь юного сердца. Он зашелся рыданиями и всхлипами, и чем больше пытался контролировать себя, тем сильнее впадал в истерику. Его увели со свидетельского места; пэры, растроганные столь явным горем, решили больше его не вызывать и удовлетвориться показаниями свидетелей, которым мальчик рассказывал о случившемся непосредственно после происшествия. Скажу лишь, что в результате слушаний сэр Бойвилл получил развод.

Джерарда вывели из палаты и отвезли домой; там к нему вернулось самообладание, но он молчал и размышлял о последствиях своего непослушания. Отец пригрозил выгнать его из дома, и Джерард не сомневался, что тот сдержит обеща-

ние, поэтому удивился, когда его повезли домой; он решил, что отец, видимо, выбрал для него место ссылки и туда его потом и отправят, или же отец намеревался отказаться от него при всех, подвергнув публичному унижению. Дети верят, что взрослые всесильны, и пока еще не понимают, что возможно, а что невозможно. В конце концов Джерард стал больше всего бояться, что его отправят в заточение; мысль об этом его пугала, ведь он хотел начать поиски матери. Тогда он решил не дожидаться наказания и бежать.

Ему велели подняться в комнату и не выходить; еду не приносили; одним словом, его страхи подтвердились. В сердце Джерарда бушевала буря. «Они считают, что со мной можно обращаться как с ребенком, но я докажу свою самостоятельность; где бы ни была сейчас моя мама, она лучше них! Если она в заключении, я ее освобожу или останусь с ней. Как она обрадуется, меня увидев! Как счастливы мы будем вместе! Пусть отец забирает себе хоть целый свет, главное, я буду с мамой, а где — в пещере или темнице, — мне все равно».

Наступила ночь; он лег в кровать и даже уснул, а проснулся в ужасе, что проспал подходящий для побега час: на востоке занималась заря. Часы в Лондоне пробили четыре утра; время еще оста-

валось, все в доме спали. Он встал и оделся. Взяв около десяти гиней собственных денег, все его накопления — он подсчитал их накануне, — он открыл дверь своей комнаты; рассвет боролся с тьмой, стояла полная тишина; он вышел в коридор и спустился по лестнице в прихожую. Знакомые предметы в столь ранний час казались незнакомыми, словно попались ему на глаза впервые; он испуганно взглянул на засовы и замки входной двери, так как боялся поднять шум и разбудить слуг, и все же ему ничего не оставалось, кроме как попробовать открыть дверь. Он медленно и осторожно отодвинул засов, приподнял цепочку, и та с ужасным лязгом упала на каменный пол. Джерард страшно испугался — не наказания, а неудачи; прислушался, хотя все звуки заглушал колотящийся в висках оглушительный пульс, и ничего не услышал; ключ от двери торчал в замке, повернулся легко, от одного прикосновения, через миг дверь открылась — и в лицо беглецу ударила волна свежего воздуха. Перед ним тянулась пустынная улица. Он затворил за собой дверь, для пущей предосторожности запер ее снаружи и бросился бежать что было мочи, выбросив ключ на соседней улице. Когда его дом скрылся из виду, он зашагал более спо-

койно и задумался, что делать дальше. Хотелось найти мать, но ее искали всем миром и не нашли; он, однако, верил, что та каким-то образом прослышит о его побеге и явится за ним, но куда отправиться сейчас? Сердце откликнулось и ответило: в Камберленд, в Дромор, туда, где они жили с матерью; туда, где он ее потерял. Он почему-то не сомневался, что там они снова встретятся.

В своей жизни он много путешествовал и имел представление о расстояниях и средствах передвижения; он понимал, что пройти пешком через всю Англию — задача, пожалуй, непосильная, но у него не было своей кареты, и он не представлял, какой корабль взял бы его на борт. И все же какой-то транспорт был необходим, и он решил нанять экипаж. Один из таких экипажей как раз стоял посреди улицы; кучер спал на ступенях, а исхудавшие до костей лошади ждали, повесив головы с безутешным видом, какой всегда бывает у наемных лошадей. Джерард, сын богатого человека, привык думать, что у него есть право повелевать теми, кому он платит деньги, но страх, что его обнаружат и отправят домой к отцу, всколыхнул в нем странную нерешительность; он стоял и смотрел на лошадей и кучера, подошел ближе, но все же боялся сделать самый важный

шаг. Он так и топтался на месте, пока извозчик не проснулся; он вздрогнул, встряхнулся, уставился на мальчика и увидел, что тот хорошо одет; Джерард к тому же выглядел старше своих лет, так как был высокого роста.

«Вы ко мне, сэр?» — спросил кучер. «Да, — ответил Джерард. — Хочу, чтобы вы меня отвезли». — «Так садитесь. Куда путь держите?» — «Далеко, в Дромор. Это в Камберленде…» Тут мальчик замялся; ему вдруг пришло в голову, что эти несчастные лошади, возможно, не перенесут такой долгой дороги. «Тогда вам нужен почтовый дилижанс, — ответил кучер. — Он отходит с Пикадилли в пять утра, надо спешить».

Джерард сел в экипаж, и они затряслись по ухабам. У почтовой станции он увидел несколько готовых к отъезду дилижансов. На одном было написано «Ливерпуль»; мальчик знал, где это. От Ливерпуля до Дромора можно было дойти пешком; он вышел из наемного экипажа и подошел к кучеру почтового дилижанса, который как раз усаживался на облучок. «Вы отвезете меня в Ливерпуль?» — спросил он. «Да, мой мальчик, если заплатишь за проезд». — «А сколько стоит?» — он достал кошелек. «Поедешь внутри или снаружи?»

С того момента, как Джерард заговорил с кучерами и речь зашла о деньгах, он, вспомнив, с какой скоростью его отец расходовал золотые монеты в путешествии, начал опасаться, что его небольшого запаса средств не хватит, чтобы оплатить такой дальний путь; поэтому ухватился за впервые пришедшую ему в голову благоразумную мысль и ответил: «А где дешевле?» — «Снаружи». — «Тогда снаружи. Я вам заплачу». — «Запрыгивай, дружище, — давай руку и садись сюда, рядом, на облучок; ты как раз вовремя. Мы уже отправляемся». Кучер взмахнул кнутом, и они двинулись в путь. Джерард почувствовал себя свободным; наконец он ехал к матери.

Так легко в наше цивилизованное время исполняются даже самые безумные желания, ведь для этого существуют все средства; однако последствия — моральные последствия — остаются такими же, как и в прежние времена, а их преодоление требует такой же стойкости; лишь физические ограничения больше не стоят на пути. Случись Джерарду начать свою экспедицию в любом другом городе, его действия наверняка вызвали бы любопытство окружающих, однако в большой шумной столице никому ни до кого нет

дела и мало кто задумывается о чужих мотивах и средствах. Кучер его почти ни о чем не спрашивал; спросил лишь, едет ли он домой, живет ли в Ливерпуле, но стоило Джерарду упомянуть о Дроморе, как расспросы прекратились. Кучер никогда о таком месте не слышал, но там находилось поместье, и там жил Джерард; эти сведения его вполне удовлетворили.

Когда-нибудь обязательно попроси Джерарда рассказать о его приключениях в том путешествии. Он тепло и охотно о них вспоминает; я не смогу так живо тебе их описать. Скажу только, что происходило в его уме, и не стану говорить о мучительном допросе, который устроил ему попутчик-шотландец, или о том, как екнуло его сердце, когда стали обсуждать бракоразводный процесс в палате лордов. Один из пассажиров держал в руках газету с описанием выступления мальчика на слушании; Джерард слышал, как вскользь упомянули его мать. В тот момент ему захотелось спрыгнуть с дилижанса, но это означало бы отказ от всех намерений. Он зажал руками уши, нахмурился и стал смотреть на пассажиров букой; его сердце пылало. Лишь одно его утешало: он был свободен. Он ехал к маме и решил, что, когда ее найдет, больше ни за что не

будет общаться с людьми; они с мамой поселятся в деревенской глуши, и им будет уже все равно, что говорит грубая и равнодушная толпа.

Впрочем, его все же терзали сомнения. Что, если он не найдет свою милую маму? Где она? Детское воображение рисовало ее близ Дромора, откуда его забрали так скоро после ее исчезновения; в сознании мальчика она навек была связана с горами, теснинами, журчащими ручьями и редколесьем его родного края. Она должна быть там. Он прогонит злодея, который ее у него забрал, и они счастливо заживут вместе.

Он ехал день и еще целую ночь и наконец добрался до Ливерпуля; узнав, куда он направляется, кучер высадил его у почтовой станции, где Джерард перебрался в другой дилижанс, идущий до Ланкастера. На этот раз он сел внутрь и проспал всю дорогу до пункта назначения. В Ланкастере несколько человек его узнали и удивились, что он путешествует один. Он разозлился, что его узнали и расспрашивали, и, хотя прибыл вечером, тут же отправился в Дромор пешком.

С того дня он два месяца скитался от дома к дому в поисках матери. От Ланкастера до Дромора постарался дойти как можно быстрее; в дом сэра Бойвилла входить не стал, ведь это означало

сдаться. Ночью он перелез через ограждение парка и, как вор, пробрался во владения, где прошло его детство. Он знал тут каждую тропинку и почти каждое дерево. Вот здесь они с матерью сидели; здесь нашли первую весеннюю фиалку. Его паломничество завершилось, но где была мама? С трепещущим сердцем он подошел к маленькой калитке, где началась их прогулка в ту роковую ночь. Территория поместья выглядела запущенной, было ясно, что хозяев давно нет; замок на калитке сломался, вместо него установили грубый засов. Джерард его открыл. За калиткой колыхалась высокая трава, но место было то самое. Как хорошо он его помнил!

Со дня исчезновения матери прошло всего два года; Джерард все еще был ребенком, но ему казалось, что он сильно вытянулся и совсем возмужал. Кроме того, теперь он считал себя способным действовать самостоятельно: сбежал от отца, а раз тот грозился выгнать его из дома, то и искать не станет. Теперь он был сам по себе и никому до него не было дела; никому, кроме той, кого Джерард искал с настойчивостью и тревогой. Здесь он видел ее в последний раз; он шагнул за калитку, пошел туда, куда вела тропа, и приблизился к пересечению ее с большой до-

рогой, к тому месту, куда подъехала карета и где мать разлучили с ним.

Занималась заря; тишину золотистого июньского утра нарушал лишь щебет редких птиц; не дул даже ветерок, и мальчик, оглядев обширные просторы, раскинувшиеся по обе стороны от того места, где он стоял, увидел лишь природу — горбатые холмы, зеленеющие нивы, цветочные луга и тенистые деревья, окутанные глубоким сном. Как отличалась эта картина от неистовой грозовой ночи, когда у него отняли ту, кого он сейчас искал! Тогда видимость составляла всего несколько ярдов, теперь же он видел и извилистую дорогу, и полоску океана в дымке у самого горизонта. Он сел и задумался. Как же ему поступить? В каком укромном уголке этого края скрывалась его мать? Он почему-то не сомневался, что она находится именно здесь, где-то посреди пейзажа; такую мысль подсказали ему неопытность и воображение, и тем не менее он свято в это верил. Некоторое время он размышлял, потом пошел вперед по дороге; вспомнил, как бежал по ней в ту ночь, запыхавшись и крича; тогда он был еще ребенком, а кто он сейчас? Одиннадцатилетний мальчик; но все же он с презрением вспоминал свое поведение двухлетней давности.

Он шел в ту же сторону, что бежал тогда, и вскоре добрался до развилки на Ланкастер; он свернул с этой дороги и пошел по пересекавшей ее тропе, ведущей к дикой безрадостной равнине, тянущейся вдоль побережья. Гряда живописных холмов на возвышенности, где расположен Дромор, находится всего в пяти милях от моря, но сам берег на удивление скучен и блекл; единственным его украшением являются песчаные дюны, достигающие тридцати — сорока футов в высоту; между ними протекают речки, которые в маловодье легко перейти вброд; однако, когда вода поднимается, они становятся опасными для тех, кто не знает пути, так как их неровное дно изрыто ямами и бороздами. Зимой, в период весеннего разлива и в ненастную погоду, когда западный ветер гонит к берегу океанские волны, переходить эти реки чрезвычайно опасно; без опытного проводника можно даже утонуть.

Следуя руслу одной из рек, Джерард дошел до кромки океана; за его спиной высились родные холмы — гряда за грядой, разделенные глубокими лощинами; тени облаков и солнечные блики окрашивали их в разные оттенки зелени; по обе стороны от него раскинулся пустынный берег с мрачной неряшливой линией прибоя; река —

мелководный быстрый поток, тонкой струйкой несущий воду с гор, — бесшумно впадала в неподвижные глубины. Что за безотрадная картина! На противоположном берегу реки, у самого ее устья, виднелась грубо сколоченная хижина без кровли; возможно, когда-то ее построили как времянку для проводника, а теперь она стояла заброшенная. Рядом росло чахлое дерево — сухое, скелетообразное, поросшее мхом; вокруг высились дюны, а над головой кричала чайка, парившая над этой картиной запустения. Джерард сел и заплакал; он сбежал от своего злого отца, но не нашел мать; даже юному воображению судьба представлялась мрачной и унылой, как окружающий пейзаж.

Глава XX

— Не знаю, зачем я так подробно пересказываю тебе все это. Поспешу скорее закончить. Два месяца Джерард скитался в окрестностях Дромора. Увидев заброшенный дом, укрытый деревьями и спрятанный в лесистой части холмов, уединенный и мирный, он подумал: а вдруг мама там? Он пробирался туда и обнаруживал всего лишь хижину пастуха, где тот проживал в нищете со своим шумным семейством. Деньги скоро кончились, он отправился в Ланкастер, продал часы и вернулся в Камберленд. Одежда и обувь протерлись до дыр; он часто ночевал под открытым небом и питался овечьим молоком и черным хлебом. Он все еще надеялся найти мать и боялся снова попасть в руки отца. Но вскоре воодушевление его покинуло, и одинокая жизнь стала казаться все более безрадостной; он почувствовал себя слабым беспомощным мальчиком, всеми брошенным, и решил, что ему ничего не остается, кроме как лечь и умереть.

Тем временем крестьяне заметили его и узнали; отцу сообщили о его местонахождении. Обсто-

ятельства его исчезновения предали огласке; в газетах писали о таинственной пропаже мальчика, и гордый сэр Бойвилл обнаружил, что его теперь не только жалеют из-за случившегося с женой, но и подозревают в жестокости по отношению к единственному сыну. Поначалу он и сам пришел в смятение, но, когда узнал, где мальчик, и понял, что в любой момент может привезти его домой, более кроткие чувства сменились яростью. Он отправил к сыну учителя, чтобы тот вернул его. С помощью констебля Джерарда схватили, обращались скорее как с преступником, чем с несчастным заблудшим ребенком; привезли обратно в Бакингемшир, заперли и забаррикадировали в комнате, лишив свежего воздуха и движения; ему читали нотации, угрожали и унижали. Мальчик, привыкший к излишней даже свободе и снисходительности, поначалу поразился подобному обращению, а после пришел в дикое негодование. Ему сказали, что не выпустят его из комнаты, пока он не подчинится. Мальчик решил, что его принуждают дать показания против матери, и готов был скорее умереть. Несколько раз он пытался сбежать, и всякий раз его возвращали и удваивали суровость по отношению к нему. Слуги связы-

вали ему руки и пороли розгами, пока наконец он не дошел до отчаяния и не вздумал уморить себя голодом, а однажды пытался подкупить слугу, чтобы тот принес ему яд. Доверчивое благочестие, привитое ему кроткой матерью, было уничтожено злонамеренной жестокостью отца и его туповатого приспешника Картера. Больно вспоминать об этих обстоятельствах и представлять восприимчивого беспомощного ребенка, с которым обращались бесчеловечно, как с рабом на галере. В таких условиях Джерард вырос и стал таким, каким ты видела его в Бадене: угрюмым, свирепым, погруженным в меланхолию и отчаяние.

Через некоторое время он обнаружил, что от него требовалось лишь не убегать из дома снова. Узнав об этом, он написал отцу. С ужасом он описывал издевательства, которые ему пришлось вытерпеть, условия своего заключения и поведение мистера Картера. Он не хотел, чтобы его письмо выглядело слезной мольбой, но вышло именно так, и даже сэр Бойвилл не устоял. Его глупая гордыня не позволила ему выказать сожаление; он по-прежнему укорял сына и заявлял, что простит его лишь на определенных условиях, но уволил учителя и выпустил Джерарда

из заточения. Будь отец более великодушным и способным на раскаяние, это, возможно, свело бы на нет последствия его жестокости, но он таким не был, и потому Джерард не испытывал благодарности; его жизнь была спасена, но больше не приносила ему радости. Друзей у него по-прежнему не имелось; он чувствовал себя сиротой, которому никто не готов подарить свою привязанность, а воспоминание о невыносимом заточении, которым ему грозили, если тому вздумается злоупотребить дарованной свободой, терзало, как пропитанная кровью Несса одежда терзала Геракла[16], и благородная пылкая натура стенала под тяжестью невыносимых воспоминаний о пережитом рабском обращении.

Ты видела его в Бадене; я тоже впервые встретила его там. Мы с матерью приехали сразу после вашего отъезда и познакомились с сэром Бойвиллом. Он тогда был еще красив, имел огромное состояние, а светскую львицу не пугали качества его характера, противоречившие тонкой натуре Алитеи. Такой уж была моя мать. Между ними

[16] Примечания: 16

Геракл ранил кентавра Несса стрелой с ядом Лернейской гидры. Его жена Деянира затем пропитала плащ героя кровью кентавра, так как тот сказал ей, что это мощное приворотное зелье. Надев эту одежду, Геракл умер в страшных мучениях.

возникло что-то вроде симпатии, и они поженились. Она предпочла брак вдовству, а он привык к преимуществам, которые дарит семейный уют, и, несмотря на пережитую катастрофу, не любил холостяцкую жизнь. Итак, они заключили брак; мне тогда было восемнадцать лет, я только, как это называется, вышла в свет и стала сестрой моему милому Джерарду.

Я горжусь, вспоминая, насколько полезным для него оказалось мое общество. Вскоре после вашего отъезда он снова свалился с лошади, точнее, опять погнал ее со склона и упал. Лошадь рухнула на него, и он сломал ногу. Он долго был прикован к постели, а я стала его преданной сиделкой и подругой. От природы я наделена жизнерадостным нравом, но смогла посочувствовать его печалям. Постепенно я заручилась его доверием. Он все мне рассказал и поделился своими чувствами. Под моим влиянием он стал спокойнее. Он начал сожалеть, что из-за пережитых испытаний почти превратился в того, кем его считали, — безумного глупца. Говоря о матери и вспоминая, как та заботилась о нем в раннем детстве, он плакал, понимая, что стал совсем не тем, кем она хотела его видеть. Наши разговоры пробудили в нем желание исправиться, загладить старые

ошибки, получить образование; он отбросил угрюмость и уныние и стал усердно заниматься; его нрав смягчился. Прежде его успехи в учебе были ничтожными, ведь он не совершенствовал свой ум; теперь же он направил на обучение все свои мысли и старания. Он больше не скакал неистово в горах и не лежал часами под деревом, погрузившись в тягостные воспоминания; он попросил нанять учителей, и его постоянно видели с книгой в руках.

Главное чаяние души Джерарда никуда не делось, но изменилось под действием новых чувств. Он продолжал верить в невиновность матери, хотя все чаще сомневался, что она еще жива. В нем теплилось молчаливое стремление раскрыть тайну, которой была окутана ее судьба. Он посвятил себя поискам правды, решив, что делом всей его жизни должно стать восстановление безупречной репутации, которую, как ему казалось, у нее отняли незаслуженно. Обещание, данное отцу, он считал препятствием на пути к этой цели: оно сковывало его до достижения двадцати одного года. До тех пор он ничего не предпринимал. Ни один юный мот не ждал совершеннолетия с таким нетерпением, как Джерард; последнего, впрочем, интересовала не свобода и

не право распоряжаться состоянием, а возможность целиком посвятить себя миссии.

Я вышла замуж, когда ему еще не было двадцати одного года. Хотела взять его с нами за границу, но он необоснованно (как мне кажется) считал, что тайна судьбы его матери сокрыта на английских берегах, и потому не хотел покидать родину. Лишь когда мы пустились в обратный путь, он согласился встретить нас в Марселе.

В двадцать один год он сообщил отцу, что намерен выяснить, что случилось с матерью. Сэр Бойвилл пришел в страшное негодование, ведь единственное, что смягчало унижение от бегства жены, было всеобщее забвение. Ворошить прошлое и напоминать людям о забытом позоре, по его мнению, было и безумием, и предательством. Сэр Бойвилл протестовал, он злился, бушевал и запрещал, но Джерард счел, что власть отца больше на него не распространяется, и молча уехал; решимость идти своим путем не дрогнула.

Стоит ли говорить, что поиски не увенчались успехом; загадка, казавшаяся неразрешимой с самого начала, с годами не прояснилась, а время стерло память о том немногом, что было известно. Какими бы ни были подлинные обстоятельства пропажи Алитеи, какие бы чувства она тогда

ни испытывала и какой бы невинной ни была, прошедшее время скрепило ее союз с похитителем и вынудило забыть тех, кого она оставила. Позволь сказать, что я думаю: я склонна полагать, что, хотя к учиненному над ней насилию присоединилась и собственная злая воля, она все же тосковала по тем, кого покинула, и вскоре умерла от разбитого сердца и давно покоится в могиле, а тот несчастный, что был причиной всего этого зла, предпочел хранить молчание, чтобы его имя не осыпали вполне заслуженными проклятиями. Поэтому мне грустно смотреть, как Джерард продолжает искать затерянную могилу несчастной матери и продолжает верить, что она — живая или мертвая — всегда была невиновна. Его не разубедить никакими доводами, и уж тем более сердитыми упреками сэра Бойвилла, чье поведение наводит Джерарда на мысль, что главной причиной несчастий его матери с самого начала был супруг.

Я рассказала тебе все и со множеством подробностей, так, как поведал бы сам Джерард — это я ему обещала, хоть и безмолвно, — и мне не хотелось бы, чтобы мои домыслы и подозрения уменьшили твое к нему сочувствие и разубедили тебя в невиновности его матери, ведь он жаждет,

чтобы ты в это поверила; но правда рано или поздно обнаружится, и разве можно считать ее абсолютно невиновной? О, если бы! Сколько раз я страстно молилась, чтобы Джерард излечился от своего безумия, превратившего его жизнь в дикую и бессмысленную мечту, и, окинув прошлое трезвым взглядом, согласился забыть о несчастьях и ошибках, которых уже не исправить и даже вспоминать о которых совершенно бесполезно.

Глава XXI

Рассказ леди Сесил захватил Элизабет: девушка не обладала буйным воображением, ее серьезный рассудительный ум и иные качества души согревались естественным пламенем привязанности, потому ее глубоко трогали истории, повествующие о подобных чувствах.

Она услышала повесть, полную человеческих трагедий, любви, ошибок, сыновней верности и глубокой нерушимой преданности. Элизабет, знавшая о жизни не так уж много — ее опыт ограничивался собственными сердечными переживаниями и тем, что было ей известно о страданиях Фолкнера, — не могла смотреть на эти события искушенным взглядом леди Сесил. Тут крылась непостижимая тайна, но была ли миссис Невилл виновата в случившемся? Элизабет в это не верила. Она считала, что если миссис Невилл и впрямь была такой, какой ее описывали, — утонченной и чувствительной натурой, — материнская любовь и привязанность к сыну, такому сыну, как Джерард, должны были затмевать в ней все остальные чувства. Филосо-

фы утверждают, что самым благородным людям нередко свойственны сильнейшие страсти, коренящиеся глубоко в душе, и именно способность противостоять им и очиститься от них возвышает человеческую натуру до совершенства; в этой борьбе человеку помогает решительное противопоставление добра злу. Возможно, миссис Невилл увлеклась кем-то — хотя и это казалось Элизабет странным, — но преданная любовь к сыну наверняка была сильнее той, которая, если и существовала, была запретной и не могла быть оправдана никакими смягчающими обстоятельствами.

Так считала Элизабет. Джерард виделся ей в прекрасном и героическом свете; его решимость очистить доброе имя матери от пятнавшего его позора казалась в высшей степени благородной. Ее сердце теплело при мысли о том, как похожи были их главные цели. Сама она пыталась примирить своего благодетеля с жизнью и избавить его от бесплодных угрызений совести. Она представила, что благодаря этим ясным целям между ними с Джерардом существует тайная связь и в итоге все закончится счастливо для них обоих.

Некоторое время она молча размышляла, а потом произнесла:

— Но вы не рассказали, куда сейчас отправился мистер Невилл и что пробудило в нем новую надежду.

— Ты мне напомнила, — ответила леди Сесил, — а я почти забыла. Это досадное и прискорбное дело, уловка корыстолюбца, призванная внушить бедняге ложные упования! Дело в том, что в ходе своих безумных поисков Джерард пообещал заплатить двести фунтов любому, кто сообщит ему сведения, которые помогут пролить свет на судьбу миссис Невилл. Эта новость разнеслась по всем окрестным деревням близ Дромора. Двести фунтов — большая сумма, способная побудить многих солгать, но до сих пор никто не притворялся, что знает правду. Однако на днях Джерард получил письмо, и человек, написавший его, казалось, искренне хотел помочь и даже направил копию письма сэру Бойвиллу. В письме говорилось, что его автор, некий Грегори Хоскинс, располагает сведениями касательно миссис Невилл из Дромора и за письменное обязательство на двести фунтов готов их предоставить. Письмо пришло из Ланкастера; туда Джерард и поехал.

— В письме говорилось, что миссис Невилл жива? — спросила Элизабет.

— Там говорилось именно то, что я сказала,

слово в слово, — отвечала леди Сесил. — Зная об импульсивности сына, сэр Бойвилл поспешил приехать, чтобы помешать ему ворошить прошлое, связанное с этой несчастной дамой; ты сама видела, что у него не получилось, Джерард уехал, и одному Богу известно, что наплетет ему этот Хоскинс, чтобы обманом выманить вознаграждение.

Элизабет, впрочем, не была так уверена, что обещанные сведения окажутся совсем уж бесполезными. Это неудивительно, ведь ее более опытная и искушенная подруга расходилась с ней во мнениях касательно невиновности миссис Невилл, и к тому же эта история со всеми тайнами в ее глазах давно устарела, а вот для Элизабет была в новинку. Для леди Сесил то была повесть о мертвых и давно забытых; для Элизабет же она была полна живого интереса; ей передавался энтузиазм Джерарда, и она чувствовала, что его путешествие окажется ненапрасным и станет первым шагом на пути к разгадке, что прежде казалась недостижимой.

Через несколько дней от Джерарда пришло письмо. Леди Сесил его прочла и передала своей юной подруге. На конверте стоял штемпель Ланкастера.

«Мое путешествие пока не принесло плодов, — *писал Джерард.* — Этот человек, Хоскинс, уехал из Ланкастера и оставил записку с указанием искать его в Лондоне, но подобная небрежность, признаюсь, существенно охладила мой пыл. Ведь главной его целью должна быть обещанная награда, и, мне кажется, он приложил бы больше усилий, чтобы ее получить, если и впрямь считал имеющиеся у него сведения достойными того.

Выяснилось, что несколько недель назад Хоскинс приехал из Америки, куда эмигрировал двадцать лет назад из Рейвенгласса. Разве могли известия о той, кого я ищу, поступить из-за океана? Одна эта мысль приводит меня в смятение. Неужели он ее видел? Боже мой! Неужели она еще жива? Может, она поручила ему навести справки о своем брошенном ребенке? Нет, София, жизнью клянусь, этого не может быть; она мертва! Мое сердце слишком отчетливо твердит мне эту печальную истину.

Хочу ли я услышать, что она мертва? Моя дорогая, любимая мама! Даже ес-

ли бы все обвинения против тебя были правдой, я все равно бы искал, где ты скрываешься, и попытался бы унять твои печали; где бы ты ни была, ты дорога мне, и я до сих пор считаю, что ты достойна любви больше всех в этом мире! Но нет, этого не может быть. Я чувствую — знаю, — что ее больше нет. Но когда это случилось, где и как? О, до чего же тщетны отцовские запреты! Я готов босиком взойти на вершину Анд, чтобы найти ответы на эти вопросы. Невыносимо ждать, пока я доберусь до Лондона и увижусь с этим человеком. Что он мне скажет? Боюсь, ничего! Как часто в минуты отчаяния или в миг, когда ко мне возвращается „ясность ума“, как сказал бы мой отец, я подозреваю, что не узна́ю ничего нового.

Милая Софи, ты же меня не подвела? Поведав своей прелестной подруге странную историю моих несчастий, ты не внушила ей сомнений в добродетели моей матери и научила ее скорбеть о ее судьбе? Я отчасти злюсь на себя, что возложил на тебя эту задачу. Ведь несмотря на твою доброту, я читаю твое сердце, моя

мудрая сестра, и знаю, что ты не веришь в ее невиновность. И я тебя прощаю, ведь ты никогда не видела моей матери и не слышала ее. Если бы увидела чистоту и искренность ее взгляда и услышала сладкозвучный тембр ее голоса, она стала бы являться тебе днем и ночью, как является мне в облике безгрешного ангела. Я не могу простить отцу его обвинения; должно быть, у него самого злое сердце и потому он верит, что в ее природу проникло зло. Сколько лет ее бесхитростная душа была у него как на ладони! И пусть она не любила его и не восхищалась им так сильно, как ему бы хотелось, она никогда ничего не скрывала и не изворачивалась; он все это знал, хотя теперь отрицает то, что видел своими глазами, и предпочитает не замечать:

Смыкает веки с синими краями
И, чуя солнце царственное в Небе,
Взывает: „Где оно?“[17]

[17] Примечания: 17
Сэмюэл Кольридж «Страхи в одиночестве» (пер. М. Л. Лозинского).

Искренность и открытое сердце являлись самыми главными ее характеристиками; на челе, в глазах, в жизнерадостном выражении лица, милой любящей улыбке и ласковом голосе отражались все ее бесхитростные чувства. Вот почему она вызывала такое обожание, и все, кто ее знал, это признавали.

Потому меня очень беспокоит, чтобы у мисс Фолкнер не сложилось неправильного впечатления. Я до сих пор вижу ее такой, какой увидел в первый раз: бледной, охваченной страхом, склонившейся над умирающим отцом; днем и ночью она заботилась о нем, забыв о себе. Она, любящая своего отца больше всего на свете, поймет меня лучше других. Она рассудит правильно; я в этом не сомневаюсь. Она одобрит мою настойчивость и разделит мои сомнения и страхи; разве я не прав? Спроси у нее: не слишком ли я самонадеян, не слишком ли на нее полагаюсь? Есть ли в мире хоть один человек, готовый присоединиться ко мне в моих трудах и моей вере? Я знаю, София, что ты не на моей стороне; я давно это

знал, и мое разочарование уже притупилось, но оно возродится и ранит меня с новой силой, случись мне узнать, что я обманываюсь и Элизабет Фолкнер не разделяет моих убеждений, считая мои попытки бессмысленными и бесполезными. Я не нуждаюсь в ее жалости — мне достаточно твоей; сейчас меня радует мысль, что она понимает мои чувства. Невозможно выразить, как приятно мне от этой мысли. Она удваивает мое рвение и поддерживает меня во времена неопределенности; мне еще сильнее хочется обелить имя матери в глазах Элизабет, так как она не побоялась приобщиться к моим несчастьям. Я также мечтаю, чтобы она разделила со мной мой триумф.

Триумф! Само это слово повергает меня в глубины отчаяния — от мыслей о невинности и доброте к размышлениям о несправедливости, смерти или жизни, полной страданий. Прощай, моя дорогая София; я пишу это письмо ночью, а завтра утром еду в Лондон на почтовых. Я снова напишу, а может, мы скоро увидимся. Не отпускай мисс Фолкнер, пока

я не вернусь; надеюсь получить от тебя несколько ободряющих строк».

Элизабет с интересом и удовлетворением впитывала каждую строчку письма, и от леди Сесил не укрылось, что лицо гостьи залилось довольным румянцем; она была этому и рада и не рада, так как хотела верить, что Элизабет излечит Джерарда от его донкихотской затеи, пробудив в нем чувства, которые будут соответствовать его пылкой натуре и вместе с тем заставят его забыть о бесполезных поисках; сосредоточиться на живых, а не мертвых и с живыми же искать счастья. Леди Сесил знала, что Джерард уже успел полюбить ее подругу; прежде он никогда не влюблялся, и нежность в его манере и восхищение, что вспыхивало в его глазах, когда он смотрел на Элизабет, свидетельствовали о зарождении страсти. Элизабет не так быстро поддавалась чувствам — или умела сохранять внешнее спокойствие, — но явно сопереживала ему весьма пылко и испытывала глубокий интерес ко всем его поступкам и словам: несомненно, в ней вспыхнуло священное пламя, что смягчает суровость жизни и наполняет мрачный и ненастный мир покоем и радостью. Вместе с тем Элизабет не пыталась удержать Дже-

рарда от его мании, а, напротив, поощряла его, и леди Сесил это прекрасно видела; сев за ответное письмо, она попросила Элизабет добавить пару строк, и та написала:

> «Благодарю вас за оказанное мне доверие; мало того, хочу сказать, что глубоко сочувствую вам и верю, что справедливость и правда на вашей стороне. Ждет ли вас успех или неудача, я признаю́, что вы правы в своих устремлениях, ваша цель благородна и священна, и, подобно вам, я лелею надежду, что все закончится оправданием невинно пострадавшей и вы будете вознаграждены за верность ее памяти. Пусть Бог благословит вас и дарует счастье, которое вы, безусловно, заслужили».

От Джерарда больше не приходило вестей. Леди Сесил строила предположения и догадки и нетерпеливо ждала. Они с Элизабет не могли говорить ни о чем другом. Приехавший из Америки человек заявил, будто знает что-то о пропавшей матери Джерарда, и этот странный факт стал плодородной почвой для теорий. Неужели миссис Невилл отвезли за океан? Казалось, что против

ее воли совершить такое просто невозможно. Не на пиратском же баркасе, полном матерых преступников, готовых совершить насилие, ее перевозили? И не замуровали же ее в непроницаемых стенах крепости? Однако в ее судьбе было столько странного и пугающего, столько такого, что в обычных обстоятельствах было бы невозможно вообразить! В наши дни любовные трагедии переживаются менее явно; любовь убивает медленными невысказанными мучениями, червоточиной в груди, и скорее учит обманывать, чем побуждает к насильственным действиям; однако она правит сердцами мужчин так же безжалостно и деспотично и плодит столько же зла, разрушения и слез, как в прежние времена, когда в ее честь жестоко и бессмысленно истребляли огромное число людей. Прежде смертные охотно жертвовали жизнью, а не чувствами и наносили физические удары; ныне умирает сердце, а тело продолжает жить; несчастное существование тянется и после того, как всякая надежда и радость исчезнут. И все же любовь по-прежнему является основным законом, управляющим человеческой жизнью вопреки всем другим установлениям и правилам; а Алитея Невилл вполне могла возбудить пламенную страсть. Благодаря своей

чувствительности она была способна на крепкую привязанность, но эта же чувствительность ослабляла механизмы ее души и повергала окружающих в трепет; ее дух усиливал блеск ее глаз и распространял вокруг нее особое очарование, пробуждавшее в каждом мужчине стремление служить ей. Казалось, именно ей посвящены строки Шеридана:

> *Нет лучше друга, чем старик, видавший свет,*
>
> *Но для любви нет лучше времени, чем юность.*

В том, что кто-то отчаянно ее полюбил, не было ничего удивительного, но чем она поплатилась за эту любовь? Разлукой с родиной и переездом за океан; печалью и одиночеством; тоской по потерянным детям; раскаянием, медленно терзающим ее сердце; существованием, тянущимся вопреки болезненным воспоминаниям, или безымянной могилой. Вот на какие мысли наводило письмо американца.

Наконец Невилл вернулся. Леди Сесил и Элизабет устремили на него взгляды, пытаясь прочесть в его лице, что тому удалось узнать. Однако лицо его было печальным. «Она жива, но навсегда

потеряна», — решила леди Сесил. «Он оплакивает ее смерть!» — предположила упорствующая Элизабет. Сначала он избегал говорить на эту тему, и собеседницы не стали допытываться, но наконец воскликнул:

— София, разве тебе не интересно кое-что услышать? Неужели ты забыла о цели моего путешествия?

— Дорогой Джерард, — возразила леди Сесил, — если бы эти стены и леса обладали речью, они сказали бы тебе, что с момента твоего отъезда мы не думали и не говорили ни о чем другом.

— Она умерла! — выпалил он.

Ответом ему был испуганный вскрик. Он продолжал:

— Если все, что мне рассказали, — правда, моя милая несчастная матушка мертва; но это лишь при условии, что все, что я слышал, не является вымыслом и действительно что-то значит. Скоро вы обо всем узнаете; я хочу передать вам то, что мне сообщили. Печальная история — если это правда, если речь действительно идет о ней…

Эти обрывочные сведения раздразнили любопытство и интерес Элизабет и леди Сесил сверх всякой меры. Был уже вечер, и вместо того, чтобы продолжить рассказ, Невилл удалился в сосед-

нюю комнату, открыл стеклянную дверь и вышел на свежий воздух. Стемнело, смутные очертания леса еле угадывались вдали, но на горизонте, где встречались небо и море, еще виднелась полоска света. София и Элизабет прошли за ним, подвинули стулья к открытому окну и взялись за руки.

— Что все это значит? — наконец спросила леди Сесил.

— Тихо! — шепнула Элизабет. — Он здесь, я видела его, когда он вышел на свет.

— Да, — услышали они голос Джерарда, хотя самого его в темноте не видели. — Я здесь, и сейчас я расскажу все, что узнал. Я сяду у ваших ног; дай мне руку, София, чтобы я чувствовал твое присутствие: слишком темно, я ничего не вижу.

Он не попросил Элизабет дать ему руку, но взял ее сам, положил поверх ладони леди Сесил и тихонько сжал обе.

— Я вас не вижу, но прошу подыграть моему странному настроению; я узнал столько низменного и обыденного о самом священном для меня предмете, что хочу излить душу в темноте столь же непроглядной, как та, что окутывает судьбу моей матери. Итак, начну рассказ.

Глава XXII

— Как вам известно, приехав в Ланкастер, я не обнаружил там Хоскинса. Следуя оставленным указаниям, я отправился искать его в Лондон и через некоторое время нашел. Он занимался своими делами, и условиться о встрече с ним оказалось не так уж просто; однако я проявил настойчивость и наконец попросил его поужинать со мной в кофейне. Он оказался уроженцем Рейвенгласса, жалкого городишки на морском побережье Камберленда; я хорошо знаю это место, так как оно находится недалеко от Дромора. В Америку он эмигрировал еще до моего рождения и через некоторое время обосновался в Бостоне и занялся торговлей; дела привели его в Англию, и он решил заодно навестить своих родственников. Те по-прежнему жили в своем унылом Рейвенглассе; окна их дома выходили на мрачный берег, грязь, болота и далекие холмы, обманчиво казавшиеся обитателям равнин зелеными и благодатными.

Хоскинс обнаружил, что его мать, которой исполнилось почти сто лет, еще жива. С ней жила

его овдовевшая сестра и дюжина детей от мала до велика. Он провел в их компании два дня и, естественно, расспросил, что нового случилось в округе за время его отсутствия. Прежде он вел дела с управляющим поместьем в Дроморе и видел моего отца. Когда он эмигрировал, сэр Бойвилл только женился. Хоскинс спросил, как дела у помещика и его жены. Поскольку наша несчастная судьба в этих краях известна каждому простолюдину, ему поведали и о таинственном побеге моей матери, и о моих скитаниях и поисках, и о награде в двести фунтов любому, кто поможет прояснить ее судьбу.

Вначале он не придал этому значения, но наутро смекнул, что может получить эту сумму, и написал мне письмо, а поскольку меня описали ему как скитальца без постоянного места проживания, он написал и моему отцу. Когда я увидел его в городе, ему, кажется, стало стыдно, что из-за него я проделал такой путь.

«Можно подумать, это вы, а не я, явились за наградой, — промолвил он. — Некоторые усилия ради такого шанса потратить стоило, однако, глядишь, вы сочтете, что не стоило утруждать себя столь далекой дорогой ради моих скудных сведений».

Наконец я подвел его к сути нашего разговора. Оказалось, что много лет назад он одно время жил в Нью-Йорке и случайно познакомился с человеком, недавно приехавшим из Англии; тот просил его совета по поводу трудоустройства. У него было немного денег — несколько сотен фунтов, — но он не хотел вкладывать их в торговлю или покупку земли, а желал найти место с достойным заработком, сохранив свой небольшой капитал. Странный способ распорядиться временем и деньгами — тем более в Америке! Но именно этого хотел незнакомец; он сказал, что ему будет неспокойно, если он лишится возможности в любой момент использовать свои небольшие накопления и эмигрировать в другую страну. Его звали Осборн; он был умен, смекалист и добродушен, но не отличался ни трудолюбием, ни принципиальностью. «Однажды он оказал мне услугу, — сказал Хоскинс, — оттого не хочется плохо о нем отзываться, но раз он в Америке, а вы здесь, вреда ему не будет. С момента нашего знакомства он высоко поднялся и в данный момент служит у нашего консула в Мексике. Многого он мне не рассказывал, но пару раз мы вместе ездили на Запад, и в ходе долгих разговоров я постепенно кое-что о нем узнал. Он

путешествовал и воевал в Ост-Индии; повсюду его преследовали неудачи, в Бенгалии ему пришлось совсем скверно, и помогла ему лишь доброта друга. Тот был гораздо выше его по статусу; он его выручил и оплатил билет в Англию, а когда вернулся сам, то обнаружил, что Осборн вновь в беде, и снова пришел на помощь. Короче говоря, сэр, выяснилось, что этот джентльмен, который ему помогал, — Осборн так и не назвал его имени — делал это не просто так. Ему понадобилась помощь, чтобы увезти одну даму. Осборн клялся, что не знал ее имени; он думал, парочка бежит по сговору, но оказалось, все хуже, ведь ни одна женщина не стала бы так сопротивляться, если б ее увез из дома возлюбленный. Мой рассказ сбивчив, поскольку я сам никогда толком не слышал эту историю от начала до конца; знаю лишь, что все кончилось трагически: женщина погибла, утонула в какой-то реке. Сами знаете, как опасны реки у нас на побережье.

Когда он упомянул Камберленд и наши реки, я принялся подробнее его расспрашивать, и Осборн испугался, — продолжал Хоскинс. — А узнав, что я родом из тех мест, стал нем как рыба, и больше мне не удалось выудить из него ни слова про ту даму и его друга; могу лишь догадаться, что его

щедро вознаградили и услали прочь за океан. При этом он поклялся, что, по его мнению, тот джентльмен тоже мертв. Это было не убийство, а прискорбный трагический несчастный случай; он заявил так со всей уверенностью. С тех пор, стоило мне попытаться вновь завести разговор на эту тему, он бледнел как привидение. И тем не менее очевидно, что мысли о случившемся неотступно его преследовали; он разговаривал во сне, ему снилось, что его ведут на виселицу; он бормотал что-то о могиле в песках, о похоронах без пастора и темных океанских волнах; о скачущих прочь лошадях и мокрых женских волосах, — одним словом, бормотал что-то бессвязное, и мне часто приходилось его будить, потому что, бывало, из-за его ночных метаний я сам не мог уснуть.

Была ли дама, о которой идет речь, вашей матерью, сэр, я сказать не могу, — признался Хоскинс, — но время и место совпадают. Прошло двенадцать лет с тех пор, как он мне открылся; думаю, он сделал это, потому что его сердце и мысли слишком терзали всякие ужасы, и он боялся каждого корабля, приплывающего из Англии, думая, что тот везет ордер на его арест или нечто подобное. Этот малый вообще был

труслив и однажды прятался неделю, когда из Ливерпуля прибыл пакетбот. Но постепенно он осмелел и в нашу последнюю встречу, казалось, обо всем забыл, а когда я в шутку припомнил ему его прежние страхи, он рассмеялся и сказал, что теперь все хорошо и он при желании может даже вернуться в Англию: с той историей покончено, и ни его, ни его друга ни в чем не подозревают.

Вот и все, сэр, — проговорил Хоскинс. — Больше он мне ничего не рассказывал, а если и рассказывал, то я забыл; но в остальном я совершенно уверен. Была женщина, с которой сбежал его друг, и она погибла, не добравшись даже до побережья; была ли ее смерть случайной или неслучайной, ее похоронили, как мы хороним на дальнем Западе: без колокольного звона и молитвенника. Имени этой дамы Осборн не знал, но знал имя джентльмена, однако с тех пор тот не давал о себе знать, и Осборн считает, что он мертв. А теперь сами решите, стоит ли мой рассказ двухсот фунтов». Вот что он рассказал, София. Из грубых уст этого простого человека я впервые узнал что-то, что пролило свет на судьбу моей матери.

— Странная история, — ответила леди Сесил и поежилась.

— Но я готов жизнью поклясться, что она прав-

дива, — воскликнул Невилл, — и я это докажу. Осборн сейчас в Мексике. Я навел справки в американском консульстве. В конце лета он должен вернуться в Вашингтон. Через несколько недель я отплыву в Америку и увижусь с этим человеком, который теперь приобрел приличную репутацию; узнаю, обоснованны ли предположения Хоскинса. Если да — а разве можно в этом сомневаться? — если моя мать действительно погибла при описанных обстоятельствах, я узнаю, как именно это произошло, и выясню имя убийцы.

— Убийцы? — воскликнули женщины.

— Да; я не могу назвать его иначе. Даже если все произошло случайно, он все равно убийца! Помни, я сам был свидетелем того, как мать увезли силой. Тот, кто ее увез, по справедливости может считаться убийцей, пусть даже его руки не запятнаны кровью! Я сказал «кровью»? Нет, ее кровь не пролилась; но я знаю, где она погибла, знаю то самое место, будто все произошло на моих глазах. Я представляю наш пустынный, одинокий берег; коварные, смертельно опасные воды, забравшие ее жизнь в ту самую ночь, когда бушевала буря; свирепый западный ветер, чьи неумолимые порывы гонят волны к устью. Он искал безлюдное место на берегу; возможно, рядом

его поджидало судно, которое должно было незаметно увезти ее прочь. Я словно читал каждый акт этой трагедии и слышал, как она испустила последний вздох, погрузившись под воду и думая обо мне. Эти негодяи увезли ее силой; ни друзья, ни священник не присутствовали на ее похоронах; их провели без должных ритуалов; вместо надгробия враг воздвиг над ней гору клеветы, а унылый песчаный берег стал ее могилой. Ах, как терзают, как мучат меня эти мысли! Вместо того чтобы унять мои тревожные сомнения, рассказ Хоскинса лишил меня сна. Теперь я вечно вижу перед глазами картины смерти, сердце рвется отомстить убийце, а мысль о матери вызывает у меня такое сожаление, такую священную скорбь, что я готов потратить жизнь, блуждая по этому берегу в поисках ее останков, чтобы наконец пролить над ними слезы и перенести их в более достойное место захоронения. Впрочем, возможно, и не придется тратить жизнь, чтобы достичь обеих этих целей; все может оказаться намного проще.

— История печальная, но слишком странная и неопределенная, — заметила леди Сесил, — и чересчур запутанная, чтобы покидать нас и ехать куда-то за океан!

— Я бы поехал, даже следуя более призрачной нити, — ответил Джерард, — и тебе это прекрасно известно. Неужто та, что доехала до самого Египта, боится расстояний? Моя дорогая Софи, ты определенно посчитала бы меня безумцем, если бы я, посвятив свою жизнь одной-единственной цели, позволил трансатлантическому плаванию встать между собой и шансом раз и навсегда прояснить это дело, пусть шанс и невелик! Тысячи людей еженедельно совершают подобное плавание из любопытства и удовольствия. Я и так себя сдерживаю, откладывая путешествие до момента возвращения этого человека в Вашингтон. Сначала я думал отправиться в путь немедленно и встретить его на полпути из Мексики, но побоялся с ним разминуться. Но я должен быть там, в Америке; ведь если с ним что-то случится, если он умрет, его тайна умрет вместе с ним, и я вечно буду себя укорять!

— Но домыслы так безосновательны… — начала было леди Сесил, однако Невилл нетерпеливым жестом ее остановил и воскликнул:

— Ты неблагоразумна, Софи! Отец, кажется, переманил тебя на свою сторону.

Тут вмешалась Элизабет и спросила:

— Вы несколько раз встречались с этим чело-

веком?

— С кем? С Хоскинсом? Да, трижды, и каждый раз он рассказывал одно и то же. По основным вопросам никогда не путался. Он всякий раз утверждал, что женщину похитили в его родных краях, на побережье Камберленда; что сразу после этого происшествия — то есть двенадцать лет назад — Осборн приехал в Америку; что она погибла, став жертвой своего проклятого возлюбленного. Он познакомился с Осборном сразу после приезда в Нью-Йорк, когда тот еще страдал от панического страха после случившегося и пугался прибытия любого корабля из Англии. Поначалу он тщательно скрывал от своего нового знакомого, что с ним произошло, но потом его сердце не выдержало — и он обо всем рассказал. Хоскинс также вспомнил, как однажды из Лондона прибыл полицейский искать подозреваемого в растрате банкрота — и Осборн, лишь прослышав, что ведутся поиски преступника, несколько дней скрывался. Так что я не сомневаюсь, что Осборн был причастен к ужасной трагедии, которая в моих глазах приравнивается к убийству, а возможно, и являлся активным ее участником. Я не сомневаюсь — не могу сомневаться, — что моя мать умерла именно тогда и именно там. Но как

она умерла? Кровь стынет в жилах, когда я задаю себе этот вопрос, и я готов отправиться на край земли, чтобы узнать об этом, обелить ее имя и отомстить за ее смерть.

Элизабет почувствовала, как рука Джерарда задрожала и похолодела. Он встал и направился в гостиную, а леди Сесил шепнула подруге:

— Как же мне его жаль! Ехать в Америку, наслушавшись таких рассказов! Даже если хоть что-то из этого правда, лучше всего об этом навсегда забыть. Дорогая Элизабет, умоляю, попробуй его отговорить!

— Думаете, мистера Невилла так легко отговорить? И надо ли это делать? — ответила ее подруга. — Безусловно, все, что ему рассказали, очень неопределенно; показания прозвучали из третьих уст, от человека, заинтересованного в награде. Но не забывайте, он посвятил всю жизнь попыткам снять с матери обвинения; и если он полагает, что эта история — ключ, который приведет его к правде, возможно, это действительно так; он ее сын, и его внутреннее чутье не сравнится с нашим, ведь оно проясняет его взгляд и обостряет инстинкты. Что, если таинственная, но могущественная рука наконец поможет ему завершить свою миссию? Ах, дорогая леди Сесил,

мир души и чувств полон тайн, о которых мы ничего не знаем; благодаря этому таинственному чутью Гамлет увидел призрак своего отца, и именно оно сейчас пробуждается в сердце вашего брата и открывает ему истину, хотя он сам может этого и не понимать!

— Ты, как и он, сошла с ума, — недовольно проворчала леди Сесил. — Я считала тебя спокойным и рассудительным существом и думала, что ты встанешь на мою сторону и вместе мы поможем Джерарду забыть о его неистовых фантазиях и примириться с реальным миром; однако ты сама предаешься метафизическим рассуждениям и полетам воображения; для моего приземленного ума это все равно что следовать за блуждающими огоньками на болоте! Ты не помогла мне, а предала меня. Я желаю миссис Невилл только покоя; где бы она ни была — в могиле или неизвестно где, — она наверняка сожалеет о совершенных в юности безумствах. Ее оплакали, как никогда не оплакивали ни одну мать, но будь благоразумна, милая Элизабет, и помоги мне положить конец безумным поискам Джерарда! Ты можешь, если захочешь, ведь он тебя боготворит и готов к тебе прислушаться. Не надо больше разговоров о таинственной могущественной руке, призраке

отца Гамлета и обо всем прочем, что уносит нас в страну грез; поговори с ним о рациональном жизненном долге и подлинной цели мужчины, которая состоит в том, чтобы приносить пользу живым, а не тратить лучшие годы своей жизни, мечтая о мертвых!

— Что я могу сказать? — ответила Элизабет. — Вы можете сердиться, но я сочувствую мистеру Невиллу, и, хотя вы будете надо мной смеяться, я все же скажу, что в своих поступках он следует самым священным законам нашей природы, пытается оправдать невинных и выполнить свой долг перед той, кто, живая или мертвая, имеет полное право претендовать на его любовь!

— Что ж, — рассудила леди Сесил, — похоже, у меня ничего не вышло; я думала сделать тебя своей союзницей, но потерпела неудачу. Я не сэр Бойвилл и не возражаю Джерарду агрессивно и открыто, но с самого начала стремилась охладить его пыл и превратить его из безумного мечтателя в обычного человека. Он одарен, он является наследником большого состояния, и его отец с радостью бы поддержал его в любом разумном начинании; он мог бы стать видным государственным деятелем, да кем угодно, если бы захотел, но вместо этого он тратит свои силы

на несчастных покойников. Ты зря его поощряешь; подумай о моих словах и используй свое влияние во благо.

В последующие дни они еще несколько раз спорили на эту тему. Леди Сесил, прежде противостоявшая Невиллу неявно и старавшаяся проявлять сочувствие, неискренность которого он быстро распознал, стремившаяся скорее заставить его забыть о случившемся, чем спорить с его взглядами, теперь открыто выступала против путешествия в Америку. Джерард слушал ее молча и ничего не отвечал. Ее слова ничего для него не значили; он давно привык встречать сопротивление и все равно поступать по-своему. Вот и сейчас он даже не пытался переубедить леди Сесил и продолжал вести себя по своему обыкновению. Но он обиделся и обратился за утешением к Элизабет. Ее бескорыстная теплая поддержка и уверенность, что в конце концов его ждет успех, что энтузиазм и пыл даны ему природой для того, чтобы он смог оправдать мать, и если сейчас он отступится, то не выполнит свой высший долг, — все это вторило его собственным мыслям, и ему уже стало казаться, что Элизабет вошла в его жизнь, сделалась ее частью и он уже никогда не сможет с ней расстаться. Он стал воспринимать

ее как заветную обещанную награду за труды.

Обуреваемая пылкими чувствами, Элизабет написала Фолкнеру. Она и прежде писала, что снова встретила своего друга из Марселя; писала и трепетала от страха, что ее вызовут домой, поскольку помнила, как ее отец загадочно замкнулся при упоминании имени Невилла. Однако в ответном письме сообщалось лишь о том, что Фолкнеру пришлось ненадолго уехать и поэтому он не сможет присоединиться к ней в ближайшее время. Она снова написала о сыновнем благочестии Невилла, о смерти его матери и ее якобы бесчестье, о его страданиях и героизме, распространяясь на эту тему с ласковым одобрением и с пылким пожеланием успехов. После этого она долго не получала ответ; наконец пришло письмо, в котором кратко сообщалось, что она должна немедленно вернуться домой.

> «Это последнее проявление долга и привязанности, которое я от тебя попрошу, — *писал Фолкнер*. — Не возражай, повинуйся и возвращайся немедленно; приезжай, и я поведаю тебе роковую тайну, что разлучит нас навек. Приезжай! Я прошу приехать всего на день, а потом,

если захочешь, можешь провести со своими новыми друзьями хоть вечность».

Не будь его почерк четким и уверенным, Элизабет решила бы, что ее благодетель умирает; сомнения все же остались, ее обуял страх и необъяснимое желание повиноваться его воле; бледная, дрожащая, она предстала перед леди Сесил и стала умолять немедленно подготовить все для ее возвращения домой. Узнав об этом, Джерард расстроился, но не удивился; он знал, что Элизабет никогда не ослушалась бы отца, случись тому потребовать ее присутствия. Но ему было невыносимо видеть ее муки, и он начал задумываться, почему так совпало, что они оба обречены страдать из-за несчастий своих родителей.

Глава XXIII

Фолкнер расстался со своей любимой приемной дочерью, отчаянно волнуясь за ее здоровье. Но свежий воздух и деревенская жизнь быстро восстановили ее силы, и он тревожился недолго. Вместе с тем он не спешил к ней присоединиться, так как врачи настояли, что временная разлука поспособствует ее выздоровлению.

Впервые за много лет Фолкнер остался один. В Греции он тоже был один, но там у него имелась цель. Там он тоже размышлял о прошлом и даже написал признание в своем преступлении; угрызения совести неотступно преследовали его, пока он исполнял свой долг. Однако он поехал в Грецию для участия в правом деле, доблестью и смертью стремясь очистить свое имя от позора, к которому несомненно привело бы его признание. Эти мысли его воодушевляли. Вдобавок тогда он не знал недуга и не мучился от боли, и, хотя его помыслы были полны меланхолии и самобичевания, окружавшие его опасности и мужество, с которыми он им противостоял, придавали им возвышенность и даже благородство.

Теперь же он остался один, здоровье его было подорвано, а дух сломлен; он согласился жить ради Элизабет, но его по-прежнему преследовал бледный призрак прошлого. Хранимая им сокровенная тайна, случись ей раскрыться, навлекла бы на него всеобщее презрение. Он не боялся разоблачения, но тот, кто знает, что на самом деле является обманщиком, и скрывает свое истинное «я», тот, чей злейший враг — правда, обречен вечно мучиться от горя и стыда, и всякий, кто разбирается в человеческой природе, это понимает. Оставшись в одиночестве, Фолкнер пал жертвой этих несчастных мыслей; он ненавидел груз, тяготивший его душу, и мечтал от него избавиться, но, думая об Элизабет, ее преданной любви и искренних мольбах, вновь становился трусом: разве мог он отказаться от нее и вонзить кинжал в ее сердце?

Единственным, что могло излечить его от душевных терзаний, было ее общество; он хотел присоединиться к ней в поместье леди Сесил, но получил письмо, в котором говорилось о Джерарде Невилле, том самом диком мальчике, которого они видели в Бадене, и ее добром друге из Марселя: он по-прежнему страдал от меланхолии и был несчастен, но изменился и приобрел тысячу

качеств, внушавших любовь и восхищение; он обладал чувствительной поэтичной натурой, был по-женски добр и нежен и по-мужски решителен и независим. Элизабет писала о нем коротко, памятуя о запрете Фолкнера упоминать его имя, но считала своим долгом рассказать о нем своему благодетелю; она чувствовала себя обязанной не только отцу, но и новому другу, полагая, что должна поведать о его добродетелях, — вдруг Фолкнер случайно ошибся и приписал ему качества, которыми Невилл на самом деле не обладал?

Теперь Фолкнер не мог больше думать ни о чем другом. Читать о добродетелях Джерарда Невилла было и радостно, и неприятно. Светлая половина его души радовалась, а темная роптала; в нем затаились зависть и неприязнь ко всему, что было как-либо связано с тем, кого он ненавидел, а таким человеком был отец Джерарда. Вместе с тем Джерард приходился сыном ангелу, которого он боготворил и уничтожил; эта женщина души не чаяла в своем ребенке, и ее блуждающий, неупокоившийся дух наверняка бы утешился, узнав, что он вырос таким, каким она хотела его видеть. Он вспомнил, как мальчик похож на нее, и душа его смягчилась. Но мысли о прошлом, о совершенном им преступлении и о сыне, что те-

перь будет вечно оплакивать потерянную мать, с новой силой всколыхнули в нем мучительные угрызения совести.

Казалось странным, что Элизабет случайно встретилась с ним уже в третий раз, и первым побуждением Фолкнера было вызвать ее домой. Каким бы благородным и талантливым ни был Джерард, какими бы редкими и возвышенными качествами он ни обладал, Фолкнеру казалось крайне нежелательным их сближение с Элизабет, ведь между Фолкнером и Джерардом Невиллом существовала непреодолимая, чудовищная и смертельная пропасть, и всякая дружба между Невиллом и его приемной дочерью могла привести лишь к разрыву между ней и Фолкнером. Он достаточно выстрадал, но этот последний удар, такая причина их возможной разлуки стали бы слишком большим испытанием для его стойкости.

И все же он должен был выдержать это испытание. Леди Сесил втайне от Элизабет прислала ему письмо с явной целью сообщить об улучшении здоровья своей гостьи; она также снова приглашала и его самого. Но в письме содержался скрытый смысл, и Фолкнер его уловил. Леди Сесил была слишком молода, чтобы прослыть

опытной сводницей, но она явно задумала поженить Невилла и Элизабет и лелеяла эту мысль. В обычных обстоятельствах Джерард мог бы поискать себе партию намного выше по статусу; впрочем, то же самое можно было сказать и об Элизабет как о единственной наследнице высокородного и богатого отца. Но леди Сесил не придавала этому значения; из-за особенного темперамента, преданности покойной матери и неприязни к обществу, а также равнодушия, которое он прежде проявлял к женским чарам, Джерарду было бы сложно найти себе супругу. Элизабет же с ее героической и бескорыстной натурой, абсолютной неосведомленностью в правилах светского общества и готовностью сочувствовать тем устремлениям, которые другим женщинам показались бы бессмысленными и глупыми, казалась очень подходящей для него парой. Леди Сесил видела их вместе и верила, что близкая дружба может перерасти в любовь. Это приводило ее в восторг, но она посчитала, что отец девушки должен иметь право голоса в таких вопросах, и написала Фолкнеру, с величайшим тактом намекнув на все вышеописанное. Фолкнер уловил, к чему она клонит, и тут же пришел к умозаключению, что дочь навсегда для него

потеряна.

Эта мысль привела к смятению чувств, подобному землетрясению, от которого дрожит земная твердь и рушатся даже самые устойчивые здания. Он похолодел от страха; на лбу выступил ледяной пот; это неестественно — это их погубит, подумал он, навлечет на их головы страшные беды и разрушения.

А что, если нет? Между ними с Элизабет не было родства; если Элизабет Фолкнер никогда бы не смогла выйти за Джерарда Невилла, для Элизабет Рэби таких препятствий не существовало. Был ли лучший способ компенсировать нанесенный мальчику ущерб, чем препоручить его заботам существо, возможно, даже более совершенное, чем его погибшая мать, которое будет утешать и радовать его до скончания дней? Пусть будет так; с этого момента Фолкнер понесет наказание и навсегда скроется от своей возлюбленной дочери, от смысла своей жизни. Мысль об этом пугала, но это было неизбежно.

Но как принести эту жертву? Фолкнер решил, что вернет Элизабет в родную семью и уедет в далекую страну. Признаваться в содеянном необязательно. Нет! Именно так он компенсирует Джерарду причиненное зло: сожжет бумаги, со-

хранит прошлое в тайне, и, даже когда он умрет, Элизабет не узнает, что причиной печалей ее супруга был ее названый отец. План будущего для всех троих сложился у него в голове очень быстро, но бывают моменты, когда грядущее со всеми его условиями и вероятностями с пугающей отчетливостью вырисовывается перед нашим провидческим взглядом, и мы ведем себя так, будто все уже случилось. Он снова станет солдатом, и на этот раз смерть не откажет ему в воздаянии.

В любом случае, вернув Элизабет родной семье, он восстановит справедливость и сделает то, что надо было сделать уже давно. Любая семья сочтет за дар принять благородное, преданное и ласковое дитя, достойное гордого имени, наделенное и внешней, и душевной красотой. Хотя она многим ради него пожертвовала, ей ни к чему больше связывать себя с его несчастной судьбой. Если даже их брак с Невиллом останется фантазией, то, вернув себе имя и статус, она получит преимущество, лишать которого ее несправедливо; об этом не стоит даже спорить. Теперь он сам по себе, а она сама по себе, и пусть так и остается. Он сообщит родственникам о ее существовании, поручит Элизабет их заботам и удалится; новое

чувство всецело ее поглотит, и она легко смирится с его отсутствием.

Итак, он решился и сделал первый шаг по осуществлению нового плана: навел справки о том, где сейчас живут родственники Элизабет, — ведь он знал о них лишь то, что говорилось в незаконченном письме ее матери: что они были богатыми католиками, гордились своим родом и отличались истовой религиозностью. Через адвоката он выяснил их точное местонахождение; тот узнал, что очень богатая семья с такой фамилией проживала в Нортумберленде и принадлежала к римско-католической церкви. Глава семьи находился в уже очень преклонном возрасте, давно овдовел и имел шестерых сыновей. Старший рано женился и умер, оставив вдову, четырех дочек и сына, который был еще мал и являлся наследником всех семейных титулов и имущества; дети жили с матерью в особняке деда. О других сыновьях было известно мало. По семейной традиции все богатство и статус передавались старшему сыну; младшие же в силу их религии не могли занимать государственные должности в Англии[18],

[18] Примечания: 18

Акт о присяге 1661 года, все еще действовавший в XIX веке, требовал от кандидатов на государственные должности присягу монарху и Англиканской церкви. Тем самым католики отстранялись от карьеры.

поэтому устроились на заграничную службу. Лишь один сын не подчинился общим правилам и стал изгоем и вероотступником в глазах семьи. Эдвин Рэби отрекся от католичества, женился на бесприданнице без роду и племени и стал адвокатом. Родители разгневались из-за того, что он навлек бесчестье на их славное имя, но его смерть избавила их от тревог. Он умер, оставив после себя вдову и маленькую дочь. Поскольку семья не признала их брак, а девочки в семействе Рэби считались лишней обузой, родственники отказались ее принять и больше о ней никогда не слышали; поговаривали, что ребенок прозябает в безвестности с родными по материнской линии. Фолкнер тут же понял, что речь о тех самых Рэби. Презренная покинутая вдова умерла в юном возрасте, а дочь Эдвина Рэби и была девочкой, которую он взял на воспитание. Исходя из этих сведений, Фолкнер составил план дальнейших действий: дед Элизабет, старый Осви Рэби, проживает в поместье на севере Англии, и, поскольку здоровье Фолкнера пошло на поправку и подобное путешествие не причинило бы неудобств, он отправился в Нортумберленд сообщить старику о том, что у него есть внучка, и потребовать, чтобы тот ее признал.

Бывают в жизни периоды, когда нам хочется сбежать от себя и своих бед и начать новую жизнь с чистого листа, стремясь к более счастливой цели. Иногда же, напротив, лавина сомнений относит нас обратно в прошлое, и мы вынуждены взирать на запустение, которое надеялись оставить позади. Так было с Фолкнером: прошлое неотступно его преследовало. Но как он поступал с теми, кто пострадал от его рук? Бежал от них, пересек четверть земного шара, поместив между собой и своими преступлениями расстояния и годы; однако это ни к чему не привело — он остался на том же месте, над ним витали те же призраки, а в ушах звучали те же имена; последствия его действий нависли над ним зловещей мрачной тенью, и выход был только один: отказаться от самого дорогого в жизни, от своей приемной дочери, и вновь стать одиноким несчастным скитальцем.

Никто никогда не мучился от угрызений совести так сильно, как Фолкнер; никто не горел такой решимостью столкнуться с последствиями своих поступков и, не дрогнув, выстоять. Его упорство в достижении цели стало причиной грехов и бед; теперь он с таким же упорством раскаивался, и, хотя страдания оставили заметный

отпечаток на его челе, он ни разу не усомнился и медлить не стал. Путь до Нортумберленда был долгий, так как он мог преодолевать лишь небольшие отрезки за раз, а из-за тягостных дум каждая миля, казалось, длилась вдвое дольше, а каждый час тянулся как два. Он был один во всем свете; воспоминания о прошлом причиняли боль, мысли об Элизабет не утешали; скоро они расстанутся, и ни ее любящий голос, ни нежные объятия не разгонят тучи на его челе; его ждет вечное одиночество.

Наконец он прибыл на место и остановился у парадного входа в Беллфорест. Этот величественный старинный готический особняк, рядом с которым виднелись живописные руины древнего аббатства, сам по себе выглядел почтенно и внушительно и вдобавок стоял в окружении поистине царских угодий. Вот, значит, где жили предки Элизабет и ее ближайшие родственники. Под этими вековыми дубами, в этих древних стенах могло пройти ее детство. Фолкнер с радостью представил, что, вынужденно покинув его опеку, она обретет более высокий статус и в глазах общества станет более достойной партией для Джерарда Невилла. Все вокруг свидетельствовало о величии и достатке, а то обстоятельство,

что обитатели дома придерживались старой английской веры — разновидности богослужения, что дурно влияет на человеческий ум, зато со стороны выглядит эффектно и торжественно, — придавало этому месту особый лоск. Фолкнер навел справки и узнал, что старик находится в Беллфоресте; мало того, он никогда отсюда и не уезжал, а его невестка с семьей отправились на юг Англии. Добиться аудиенции у мистера Рэби оказалось легко; Фолкнер представился, и его сразу же проводили в дом.

Он очутился в громадной библиотеке с роскошной обстановкой, чрезвычайно великолепной и чрезвычайно мрачной. Высокие окна, расписной потолок и тяжеловесная мебель свидетельствовали о старомодном вкусе хозяев, видимо желавших превратить свой дом в подобие царского дворца. На миг Фолкнеру почудилось, что он один, но тут его внимание привлек какой-то шум, и он заметил маленького, совсем седого старого джентльмена. Тот ковылял ему навстречу. Особняк выглядел так, будто его построили для великанов; Фолкнер отчасти и ожидал увидеть гиганта и заморгал, присматриваясь к крошечной хрупкой фигурке владельца этой роскоши. Осви Рэби казался сморщенным не столько от

старости, сколько от ограниченности своего ума, до размеров которого съежилась его внешняя оболочка. Его лицо побледнело и осунулось, светло-голубые глаза потускнели; казалось, он постепенно ссыхался и исчезал с лица земли. Внутри этой тщедушной тени человека жил ум, всецело сконцентрированный на себе самом. Осви Рэби, патриарх старейшей английской семьи, считал себя лучшим из Божьих творений и центром Вселенной. Хотя внешне он не казался внушительным, но в душе был преисполнен собственной важности и упрямо не желал и не мог понять, как в мире может быть что-то более значительное, чем он сам — точнее, чем клан, представителем которого он являлся. Все это делало его манеру общения крайне отталкивающей.

Говорить о деле, подобном тому, с которым явился Фолкнер, всегда неловко, и лучше сразу перейти к сути; Фолкнер так и поступил, собственные слова придали ему уверенность, и он ухитрился деликатно изложить проблему. Лицо старика омрачила туча, он побелел, тонкие губы сомкнулись, как будто он привык открывать рот только в одном случае — чтобы ответить собеседнику отказом.

— Обстоятельства, о которых вы рассказываете,

очень для меня болезненны, — ответил он. — Я давно боялся, что кто-то явится ко мне от имени этой особы, но после стольких лет у нее не осталось прав покушаться на спокойствие нашей семьи, которая пострадала от действий ее родителей. Эдвин сам уничтожил все связи. Он был бунтарем и вероотступником. Одаренный юноша, он мог бы отличиться и заслужить почет, но выбрал непоправимое бесчестье. Он отступился от религии, которую мы, Рэби, считаем самым ценным элементом нашего наследия, но к этому преступлению добавил еще и неблагоразумие: сам оставшись без гроша, женился на незнатной бесприданнице. Он никогда не надеялся и даже не пытался заслужить мое прощение. Его смерть принесла облегчение. Отцу сложно признаваться в подобном, но это так. После к нам обратилась его вдова, но мы не желали с ней знаться. Она стала соучастницей его бунта; даже больше: мы считали ее главной зачинщицей. Я не возражал взять на себя заботы о внучке, если бы ту целиком и полностью препоручили мне. Но мать даже не подумала как следует над моим предложением и ответила сгоряча. Тогда я все же решил выделить девочке часть содержания, которое продолжал выделять сыну, несмотря на его непослушание,

но с тех пор ни о внучке, ни о ее матери больше не было вестей.

— Причиной тому смерть, — ответил Фолкнер, с трудом сдерживая растущее в нем отвращение. — Миссис Рэби упокоилась в могиле через несколько месяцев после смерти вашего сына, став жертвой преданности мужу. А их невинное дитя осталось жить среди чужих, которые не знали, к кому обратиться. Девочка ни в чем не виновата; она-то может претендовать на место в отцовской семье?

— Она никто и ни на что претендовать не может, — ворчливо прервал его мистер Рэби, — разве что на крошечное содержание, если, конечно, она та, за кого себя выдает. Прошу прощения, сэр, но вы, кажется, себя обманываете; допустим, эта девочка — дочь моего сына, но какое дело мне до нее?

— Она ваша внучка, ваша родственница, — начал было Фолкнер, — близкая, дорогая…

— Учитывая все обстоятельства, — снова прервал его мистер Рэби, — учитывая, что я не давал согласия на брак, а она выросла вдали от семьи, я бы не назвал ее родственницей. Между нами есть связь, и что с того? В нашей семье не одобряют детей отступников, воспитанных в зловредной

вере! Я старомодный человек и признаю лишь общество людей, чьи взгляды совпадают с моими; прошу прощения, сэр, если мои слова вас шокируют, но для меня тут все ясно как день: дочь сына, от которого я отрекся, не может претендовать на мою поддержку и благосклонность. Она недостойна даже смотреть нам в глаза; пусть умерит свои претензии и рассчитывает занять примерно то же место в обществе, что занимала ее мать, которая была служанкой, то ли компаньонкой, то ли гувернанткой, в доме миссис Невилл из Дромора…

Услышав это имя, Фолкнер побледнел, но взял себя в руки и ответил:

— Полагаю, она была подругой этой дамы. Я уже говорил, что не знал родителей мисс Рэби; я нашел ее сиротой, всецело зависевшей от чужой милости. Она была так мала, всеми покинута, так прелестна и добра, что я посочувствовал ей и взял ее на воспитание…

— А теперь хотите от нее избавиться? — снова прервал его несдержанный старик. — Если бы вы привезли ее к нам еще в детстве, если бы она выросла среди нас, в нашей вере, то жила бы сейчас в этом доме со своими двоюродными братьями и сестрами. Но сейчас, сами понимаете,

мы не можем принять и поселить у себя чужачку, незнакомую с нашими специфическими обычаями, ту, для кого наша религия что темный лес. Миссис Рэби никогда на это не согласится, а я не хочу досаждать матери и опекунше моего наследника: она заслуживает всякого уважения. Однако я посоветуюсь с ней и с джентльменом, который ведет мои дела; поскольку вы явно стремитесь избавиться от обузы, которую, позвольте заметить, сами на себя навлекли, мы поступим так, как посчитаем нужным ради чести нашей семьи. Однако на вашем месте я бы ни на что не рассчитывал, кроме небольшого содержания, если, конечно, эта молодая леди, которую вы называете моей внучкой, не почувствует призвания к той религии, вне лона которой у меня нет и не может быть родни.

Слушая Рэби, Фолкнер постепенно все больше закипал, но он всегда старался подавлять проявления чувств и потому, когда злился, лишь бледнел и отвечал нарочито тихо и спокойно. Вот и сейчас он сразу не ответил, а сперва взглянул на седую шевелюру и тщедушную фигуру старика, призвал на помощь все свое терпение и произнес:

— Довольно — забудьте об этом визите; вы ни-

когда больше не услышите о своей недостойной внучке. Если бы вы потрудились хотя бы мельком ее узнать, то пожалели бы, что отвергаете ту, чьи качества восхищают всех, кто с ней встречался! Когда-нибудь, когда вы станете немощным стариком, подумайте, что рядом с вами могло бы находиться самое сострадательное и доброе существо во всем белом свете. Если некому будет расправить вам подушку, вспомните о той, которая могла бы радовать вас каждый день, но ваше сердце оказалось для нее закрыто! Я не хочу, как вы говорите, «избавиться» от мисс Рэби — точнее, мисс Фолкнер, давайте называть ее так: она много лет носит мою фамилию и продолжит ее носить и считаться моей дочерью, пока я жив. Позвольте на этом откланяться; хорошего дня.

Фолкнер поспешно вышел, сел на лошадь и галопом поскакал по длинным аллеям Беллфореста, чувствуя, как закипает в жилах кровь и необъяснимо трепещет готовое разорваться сердце, как всегда бывает, когда нас переполняет жгучее возмущение и негодование. К яростному желанию излить поток ненависти и гнева на обидчика примешивалась удвоенная нежность к Элизабет; он вновь ощутил благодарность за все, чем был ей обязан, а сердце согрелось желанием

вновь укрыть ее под сенью своей любви и никогда больше не отпускать.

Глава XXIV

Намерения Фолкнера полностью изменились; он ехал в Беллфорест, считая своим долгом вернуть драгоценное сокровище тем, кому оно по праву принадлежало, а покинул поместье, решив никогда больше не расставаться с приемной дочерью.

«Избавиться от обузы! — возмущенно повторял он про себя. — Избавиться от Элизабет, от нежной привязанности, честности, верности! От самых трепетных сердечных уз, от утешения моей души! Сколько раз она спасала мою жизнь, сколько раз была моей единственной радостью! И вот, когда я готов был пожертвовать всеми дарами, считая себя недостойным ими обладать, я слышу, как самое благородное, самое щедрое на свете существо подвергается оскорблениям со стороны узколобого фанатика, полного низменных и отвратительных предрассудков! Какими ничтожными кажутся это богатство и красота вековых лесов, когда знаешь, что ими правит такой презренный человек!»

Размышления Фолкнера причиняли ему нема-

ло мучений; груз совести, казалось, придавливал его к самой земле. Он чувствовал, что рассуждения мистера Рэби отчасти справедливы: если бы Элизабет выросла на его попечении, в лоне религии, которая была тем более ценна в глазах его семьи, что католики подвергались гонениям, если бы разделяла их предрассудки и полюбилась бы им в силу привычки, то могла бы на что-то претендовать; но поскольку они ее не видели, не знали и их взгляды и чувства совершенно не совпадали, этого не случилось. Причина была в нем; ведь это он забрал ее в раннем детстве и решил связать свою несчастную судьбу с ее светлой долей; теперь он мог лишь раскаиваться в содеянном — и раскаивался, думая о Элизабет, глядя в будущее и размышляя о растущей привязанности между ней и сыном своей жертвы.

Но как поступить? Вызвать ее домой? Запретить видеться с Джерардом Невиллом? Необъяснимые запреты всегда кажутся несправедливыми, а если в сердцах влюбленных зародились сильные чувства, ничто не заставит их повиноваться. Может, все ей рассказать и надеяться на ее милосердие? Тогда он нанесет ей глубокие неизлечимые раны и вдобавок поставит ее в невыносимую ситуацию противостояния любви и долга; провоцировать в

ее сердце подобную борьбу, причинять ей боль, заставлять пожертвовать собой ради него — гордость и привязанность не позволяли ему все это сделать. А как еще поступить? Сохранить нейтралитет? Позволить событиям идти своим чередом? Если все закончится так, как он предвидел — раз леди Сесил упомянула о браке, — он мог бы раскрыть истинное происхождение Элизабет. Если она выйдет за Джерарда Невилла, родственники с радостью ее признают, и тогда он может навсегда отойти в тень. Но прежде чем это случится, ему еще многое придется вытерпеть; постоянно слышать имя, при одном звуке которого он холодел; возможно, видеться с мужем и сыном той, кого он уничтожил, — при мысли о подобном становилось тошно, и он на время запретил себе об этом думать. Столкнуться с грядущими неприятностями ему придется не сегодня и не завтра; пока можно о них забыть.

На обратной дороге ему захотелось продлить путешествие, и он посетил Вестморлендские озера, раскинувшиеся на фоне горных пейзажей Дербишира. Мысль о возвращении домой его не радовала, поэтому он решил там задержаться и велел переправлять ему почту. От Элизабет писем не поступало уже несколько недель, и ему

не терпелось скорее увидеть ее почерк; его переполняла страстная любовь к дочери, и, казалось, расставшись с ней, он лишится всех радостей жизни. Он называл себя ее отцом, и каждое биение его сердца подтверждало эту связь; ни один отец так не боготворил свое дитя. Ее голос, ее улыбка, ее прелестный любящий взгляд — где они были сейчас? Далеко, но ему прислали небольшую пачку писем, что могли на время заменить ее благословенное присутствие. Он с радостью взглянул на конверты, прижал их к губам и не спешил открывать, словно чувствуя, что не заслуживает счастья, которое они ему принесут, словно опасаясь не выдержать блаженства. «Я планирую с ней расстаться, — подумал он, — но все равно она моя, была моей, когда писала эти строки; она останется моей, когда я буду читать уверения в ее привязанности; эти маленькие запечатанные талисманы хранят часы восторга, и ничто в будущем или прошлом не сумеет их омрачить, хотя она наверняка упомянет имя Невилла!» При мысли об этом он похолодел и поспешно распечатал письма, готовясь к худшему.

Элизабет, кажется, почти забыла, с какой болезненностью Фолкнер однажды отреагировал на имя, которым она теперь так дорожила; когда она

писала эти письма, ее мысли были по-прежнему заняты историей Джерарда; к тому же она получила от отца несколько посланий, в которых тот отзывался о нем с добротой, и решила, что можно упомянуть и об исчезновении матери Джерарда и его страданиях, о суде и жестокости сэра Бойвилла и, наконец, о данном еще в детстве обещании, которое Джерард лелеял все юношеские годы и теперь собирался исполнить, — обещании найти человека, ставшего причиной гибели его матери.

> «Им движут не низменные побуждения, — *писала она*, — не месть, а самые чистые и благородные устремления. На ней лежит клеймо позора, а он хочет обелить ее репутацию. Когда я слышу, в чем ее обвиняют, в чем подозревают, я целиком на его стороне. Как горько знать, что твою любимую мать обвиняют в преступлении; единственное, что может облегчить эту боль, — вера в ее невиновность и возможность это доказать. Даст бог, у него это получится. Я никому не желаю зла, но все же хочу, чтобы беда настигла настоящего преступника, а не омрачала жизнь того, чья душа честна и

восприимчива!»

«Так ты молишься в счастливом неведении! — подумал Фолкнер. — Пусть, пусть беда настигнет настоящего преступника; пусть тот, кого ты сама спасла от смерти, переживет страдания, в сравнении с которыми и тысяча смертей — ничто! Пусть будет так! Да осуществится твоя воля!»

Безудержный, как пламя, Фолкнер не останавливался; в его сердце вспыхнуло чувство, всепоглощающее, как огонь, и он понял, что медлить нельзя; никогда еще последствия его преступления не представали перед ним так явственно; избегая любых сведений о Невиллах, он не знал, что имя его жертвы обесчещено; он считал ее несчастной, но думал, что ее считают невиновной. Бедный погубленный ангел! Стало быть, ее святое имя заклеймено вульгарной толпой? И судьи постановили, что она недостойна? Могила, которую он сам ей вырыл, покрыта позором, а возлюбленный сын верит в ее добродетель и потому всеми отвержен? Неужто его трусливая ложь омрачила юность этого мальчика? Лучше тысячу раз умереть, чем нести такую ношу! Он во всем признается и предложит свою жизнь во искупление — чего же более?

И еще один мотив, который мог бы показаться более низменным, но не был таким; Джерард поклялся найти настоящего преступника, и он его найдет; земля откроет ему свои тайны, небеса приведут к тому самому месту, постепенно он распутает клубок, и преступление Фолкнера обнаружат, Элизабет сначала будет сомневаться, потом поверит. Медленное разоблачение казалось мучительным его пламенному нраву; нет, лучше сразу во всем признаться, взглянуть в лицо последствиям, и пусть случится худшее; он будет счастлив, когда это наконец произойдет.

Он потерян навек, и сам явится в суд, и потребует наказать его за прегрешения. Он и так тянул слишком долго, теперь же мотивы скрывать преступление растаяли, как снег на огнедышащем вулкане. Неумолимая судьба в спешке хватала его за волосы и кричала: «Убийца, кровь пролей — тень Алитеи, прими свою жертву!»

Он немедля написал Элизабет и велел встречать его дома в Уимблдоне, а затем сразу направился туда сам. Увы, душевное смятение отразилось на его здоровье; проехав несколько миль, он слег и три дня лежал прикованный к постели, мучаясь от лихорадки. Он думал, что умрет и его тайна умрет вместе с ним. Однако кровопускание

помогло сбить жар, и Фолкнер, несмотря на слабость и головокружение, вопреки советам врача продолжил путь домой; слабый, изнуренный, он чувствовал себя другим человеком, жизнь утратила для него всякое очарование, всякую привлекательность, и остался лишь один долг. Прежде он жил вопреки той цепи последствий, что всегда соединяет с грехом боль, и вопреки Провидению, которое не допустит, чтоб невинные оставались оклеветаны. Теперь последствия его настигли и пришло время терпеть наказание, только в этот раз карой должна была стать уже не внезапная славная смерть или погибель от своей же руки, как он желал когда-то в неистовом порыве, а медленный скрежет железных колес судьбы, которым предстояло размолоть его в пыль.

И все же сердце, несмотря на страдания, согрелось чем-то вроде удовольствия, когда через три дня изнурительного пути он подъехал к дому, где надеялся встретить Элизабет. Он сомневался, что найдет ее там; он просил ее вернуться, но она могла написать и попросить отсрочку. Однако она оказалась дома — приехала два дня назад и с нетерпением его ждала. Как приятно слышать любимый голос, приветствующий нас по возвращении домой! Он дарит нам вторую жизнь: мы

живем не только в собственном теле, которое постоянно с нами, но и в сердце тех, кто находится с нами в разлуке и думает о нас, ради нас существует, а затем полнится теплой радостью, встретившись с тем, кого так долго ждал. Во всем свете не было у Фолкнера никого дороже Элизабет. Себя он ненавидел, свое прошлое, настоящее и будущее презирал, смотрел на них с укором, печалью и зловещим предчувствием худшего; но, глядя на свое приемное дитя, такое светлое, прекрасное, неиспорченное, саму ласку и невинность, свидетельство его самых благороднейших чувств и оплот надежд, он чувствовал, как сердце лучится от счастья при мысли обо всем, чем она для него была.

И все же радость омрачали сомнения: что, если она изменилась? Если в ее сердце зародилась любовь к другому, она могла его отвергнуть; изобильный и щедрый фонтан, питавшийся от собственного источника, мог смениться спокойными водами, что уже не пополнялись и не били через край. Мало того, она любила Джерарда Невилла, сына его жертвы, чью жизнь он разрушил и кто наверняка стал бы его презирать и научил бы Элизабет тому же. Фолкнер похолодел, представив, что таким образом потеряет един-

ственное существо, которое любил.

Увидев ее, он совладал с этими чувствами. Когда она бросилась ему в объятия и с пылкой нежностью выразила радость от встречи, то показалась ему счастливой. Но, увидев следы страданий на его челе, упрекнула себя за то, что отсутствовала так долго, и пообещала никогда больше не разлучаться с ним на столь длительный срок. Ее лицо и голос, которыми он так дорожил и все это время представлял лишь в воображении, оказались перед ним и подействовали на него как лекарство. Он постарался не выказать неловкости и на время изгнал свой страх; на несколько часов он позволил себе стать счастливым.

Вечер прошел в спокойной и веселой беседе. О друзьях, которых Элизабет оставила, не заговаривали. В первые часы, проведенные с отцом, она о них забыла, но, когда упомянула свой визит, Фолкнер сказал: «Давай поговорим об этом завтра, а сегодня будем думать только о себе». Элизабет это немного обидело, ведь за последние несколько недель судьбы ее друзей и чувства, которые они у нее вызывали, стали частью ее самой, и ей было больно ощущать, что между ней и Фолкнером теперь существует такая пропасть и он совсем не интересуется тем, что для нее

представляло самый живой и насущный интерес. Однако она сдержала разочарование: вскоре он познакомится с ее новым другом и, узнав о его привязанности к несправедливо обвиненной матери, наверняка ему посочувствует и так же, как она, горячо поддержит стремление ее оправдать. Но пока она подчинилась желанию отца и они стали говорить о краях, где вместе побывали, и обсуждать свой прошлый опыт и связанные с ним чувства и взгляды; они разговаривали как в былые времена, прежде чем стороннее влияние потревожило мир, в котором они существовали лишь друг ради друга, отец и дочь, и не проявляли интереса ни к чему вокруг.

Не было в целом мире ничего чище и совершеннее их привязанности; их сердца сроднились так, что не описать словами, и всякий, кто испытал такое родство — с родителем или с другим человеком, — знает, что это и есть чистое счастье. Они не притворялись, не выбирали слова, между ними не существовало взаимного стеснения; безоговорочное доверие друг к другу побуждало бесстрашно высказывать все, что на душе, а взаимное сопереживание и честность успокаивали и дарили удовольствие, наполняли и радовали душу. Фолкнер сам поразился согревающему

чувству счастья, охватившему его несмотря ни на что; он поцеловал и благословил свое дитя, и Элизабет легла спать, а он ощутил благодарность за ее любовь, вновь убедился во всех ее достоинствах и еще отчаяннее возмечтал никогда с ней не расставаться.

Глава XXV

Наутро Элизабет проснулась с чувством истинного счастья, которым полнилась душа. В ее сердце пробуждалась юная любовь, ускоряя биение и придавая мыслям легкость и радость. Она не питала ни сомнений, ни страхов, ни даже надежд и не понимала, что истинной причиной благодарного чувства счастья является любовь; именно любовь заставляла ее сознаваться небесам и самой себе, что все в мире кажется безмятежным. Элизабет радовалась воссоединению с Фолкнером, к которому испытывала привязанность, одновременно обусловленную и уважением, и нежностью, и заботой, так как он был болен и страдал от меланхолии; потому, даже когда его не было рядом, она все время о нем тревожилась. Кроме того, в то утро она рассчитывала увидеться с Джерардом Невиллом. Когда пришло письмо от Фолкнера и ускорило ее отъезд из Оукли, она расстроилась, что ей нужно уезжать, но теперь ждала, что Невилл к ней присоединится и ее счастье удвоится; она была рада повиноваться отцу, но мечтала снова ока-

заться рядом с Невиллом. Леди Сесил отправила с ней мисс Джервис; утром в день отъезда Невилл попросил разрешения сесть в их карету, и они вместе доехали до города, а когда прощались, Невилл сказал, что собирается как можно скорее купить билет в Америку. После этого он написал ей записку, в которой сообщал, что заедет в Уимблдон нынче утром.

Элизабет проявляла живой интерес к делам Невилла и потому волновалась, удалось ли ему что-нибудь узнать, но больше всего ей хотелось познакомить его с Фолкнером, чтобы тот понял, как сильно они сблизились; она мечтала увидеть двух людей, которых ставила выше остальных во всем мире, объединенных взаимной симпатией; хотела, чтобы отец пожалел несправедливо опозоренную Алитею и восхитился преданностью ее сына. Перед завтраком она пошла прогуляться в лесок и любовалась природой, как могут только влюбленные; она собрала последние летние розы и, смешав их с гвоздиками, с неведомым прежде восторгом вдыхала аромат этих прекраснейших детей природы. Свойство любви — усиливать все удовольствия и «навести на лилию белила,

и лоск на лед, и надушить фиалку»[19]. Когда она вернулась в дом, ей сказали, что Фолкнер еще спит и просил его не тревожить. Она позавтракала в одиночестве, сидя у открытого окна и глядя на колышущиеся на ветру деревья; вокруг разливался сладкий аромат собранных цветов; иногда она обращалась к открытой книге — она читала о «Юне с белым агнцем»[20], подпирая щеку рукой и погружаясь в ту разновидность грез, когда нас больше захватывают чувства, а не мысли и все вокруг дышит трепетным блаженством.

Тут она услышала быстрый топот копыт, затихший у ворот, звон колокольчика и шаги Невилла; ее сердце забилось чаще, а глаза радостно засияли. Он вошел легким шагом, с лицом более веселым и оживленным, чем обычно. Он знал, что она его любит. Он не сомневался, что Элизабет — единственный во всем мире человек, способный принести ему счастье, и взирал на нее с обожанием и восторгом, как и подобает взирать на столь добродетельное создание. Прежде он

---

[19] Примечания: 19

Уильям Шекспир. «Король Иоанн» (пер. Н. Я. Рыковой).

[20] Примечания: 20

Элизабет читала стихотворение Уильяма Вордсворта «Personal Talk», а Вордсворт, в свою очередь, читает «Королеву фей» Спенсера, где появляется таинственная эмблематическая фигура Уны со львом и ягненком.

никогда не любил. В силу своей угрюмости и робости, вызванной чрезвычайной восприимчивостью, он сторонился женского общества; удовольствия, веселость, легкие беспредметные беседы не находили в нем никакого отклика. Он обратил внимание на Элизабет, потому что та страдала; его пленила ясность ее восприятия, ее простота, нежность, благородство души и, наконец, безграничное и неприкрытое сочувствие к его устремлениям, которые все остальные считали безумными и бессмысленными. Теперь он был прикован к ней навек.

Им предстояло разлучиться, но он знал, что душой она будет с ним и на другом берегу океана; переживать, добьется ли он своего, и радоваться его триумфу не меньше, чем он сам. При мысли об этом он преисполнился еще большей решимости достичь своей цели и перестал сомневаться в успехе; хотя тревоги о судьбе матери по-прежнему черной тучей маячили на горизонте, любовь смягчала его страдания, окрашивая все вокруг в радужные тона.

Они встретились, не скрывая своей радости; он сел рядом с ней и стал смотреть на нее с таким обожанием, что любая другая, более опытная чаровница вмиг угадала бы, что происходит у

него на сердце. Он сообщил, что нашел корабль, вот-вот отплывающий в Нью-Йорк, и договорился о проезде. Он был охвачен беспокойством и смятением и боялся тысячи возможных исходов своих поисков; ему казалось, что, допуская любое промедление, он пренебрегает своим священным долгом; непонятное внутреннее чувство приказывало ему спешить и подсказывало, что близится кризис, но стоит проявить беспечность — и шанс будет упущен навсегда. По прибытии в Нью-Йорк он планировал сразу же направиться в Вашингтон и, если окажется, что Осборн еще не приехал, сам хотел двинуться ему навстречу. Сколько всего могло произойти, вмешаться и перечеркнуть его надежды! Осборн мог умереть, а его тайна погибнуть вместе с ним. Даже секундное промедление казалось преступным. Вечером корабль начинал плавание по реке; завтра Джерард должен был взойти на борт в Ширнессе. Он пришел попрощаться.

Внезапный отъезд стал поводом многое обсудить: его чаяния и уверенность, что скоро тайна раскроется и он будет вознагражден за долгие страдания. Эти мысли навели его на разговор о добродетелях его матери, ведь именно на них он возлагал надежды. Он рассказал, какой ее

запомнил; описал, какой она была внимательной и ласковой, как играла с ним, но не баловала. Ему до сих пор иногда снилось, как она обнимала его и целовала с пылкой привязанностью материнского сердца; в этих сладких грезах он также слышал ее страдальческий вопль, и казалось ему, что то был последний ее крик, полный предсмертных мук.

— Ты меня понимаешь, — сказал он, — но как могут отец и София не понимать, что, помня о ней столько хорошего, я не сдамся без боя и не потерплю, что имя моей матери покрыто позором, ее судьба окутана тайной и виной, а ее пылкое и доброе сердце и тонкая чувствительная натура стали поводом для осуждения? Я надеюсь и верю, что там, куда я отправляюсь, мне откроется правда и моя мать окажется той несчастной жертвой преступного насилия, о котором рассказывал Осборн. Но если меня ждет разочарование, я не оставлю поиски, а лишь укреплюсь в решимости дальше искать правду.

— Возможно, правда окажется не такой печальной, как ты думаешь, — сказала Элизабет. — И все же, боюсь, трагическая история, которую ты узнал, как-то связана с судьбой твоей матери.

— Да, и трагическая история подрывает мою

решимость, — отвечал Невилл. — Не знаю, правильно это или нет, но я чувствую, что лучшей наградой было бы увидеть ее снова, утешить и показать, что все это время я помнил о ней, любил ее и боготворил; торжество над варварскими обвинениями в ее адрес не станет для меня столь желанным, если окажется сопряжено со знанием, что я ее навсегда потерял. Не слишком героическое чувство, признаю…

— Если героизм — считать высшим благом служение людям, — возразила Элизабет, — если сочувствие, доброта и великодушие, а не холодная эгоистичная суровость поистине являются величайшими добродетелями, тогда твои поступки продиктованы чистейшими побуждениями души.

Они беседовали, сидя рядом, лицо Элизабет сияло небесной благосклонностью, и Невилл, согретый благодарностью за такую поддержку, взял ее руку и прижал к губам. Тут дверь открылась, и медленно вошел Фолкнер. Он не слышал, как приехал незнакомец, но, увидев рядом с Элизабет гостя, сразу понял, кто это. Словно ледяная стрела вошла в его сердце; колени подкосились, на лбу проступила холодная роса, и на миг он оперся о дверной косяк, так как ноги перестали

его держать. Элизабет заметила, как он вошел, покраснела, сама не зная почему, и, испугавшись призрачной бледности его лица, вскочила и воскликнула:

— Отец! Тебе дурно?

Фолкнер еще минуту боролся со слабостью; затем к нему вернулось самообладание. Смятение на его лице сменилось холодным и суровым выражением, которое в сочетании с мраморной бледностью делало его похожим скорее на статую, чем на смертного. Благородная решимость хладнокровно сносить все удары рока придала его чертам подобие спокойствия. С этого момента к нему вернулись физические и моральные силы, и он почувствовал готовность встретиться с судьбой. Энергия его души больше не ослабевала; каждое мгновение и каждое слово лишь усиливали его отвагу и укрепляли стойкость; он приготовился не дрогнув броситься в пропасть, которой так долго страшился и избегал.

Сильнее всего его поразило сходство Невилла с матерью. Вторым потрясением стал голос юноши, имевший те же интонации, что у нее. Даже имя — Невилл — ранило его чувства, но страдания не отразились на его лице.

— Мистер Невилл приехал попрощаться, —

сказала Элизабет. — Завтра он отплывает в Америку.

— В Америку! Зачем? — спросил Фолкнер.

— Я тебе писала, — отвечала Элизабет, — и объясняла цель его путешествия. Ты знаешь…

— Я знаю все, — ответил Фолкнер, — но эта поездка в Америку — лишнее.

Невилл удивленно повторил последнее слово, а Элизабет воскликнула:

— Ты так считаешь? Но у тебя должны быть веские причины так думать! Расскажи о них мистеру Невиллу. Уверена, твое мнение будет полезно. Я часто жалела, что тебя не было с нами, и так рада, что он увиделся с тобой перед отъездом, — если теперь он, конечно, захочет ехать. Ты говоришь, эта поездка — лишнее, так скажи почему, дай совет! Ты не можешь посоветовать плохого. Не сомневаюсь, мистер Невилл поступит как лучше и выберет путь, который приблизит его к успеху.

Невилл с благодарностью смотрел на Элизабет, когда та горячо его защищала; взгляд Фолкнера, по-прежнему стоявшего в дверном проеме, был неотрывно прикован к сыну жертвы. Он был мертвенно-бледен, но иначе никак не выказывал своих чувств и почти не слышал, что говорила дочь, пока его внимание не привлекли ее

последние слова. Он улыбнулся — хотя улыбка скорее смахивала на презрительную усмешку — и отвечал:

— О да, я могу дать мистеру Невиллу совет, и тогда он достигнет своей цели и никуда не поедет.

— С удовольствием вас выслушаю, — удивленно проговорил Невилл. — Я приму все, что не противоречит моей цели.

— Мой совет не противоречит, — прервал его Фолкнер.

— Тогда, — нетерпеливо воскликнул Невилл, — вы поймете, что я и так уже тут слишком задержался, и пожелаете, чтобы я скорее взошел на борт — да что там, уже плыл и прибыл в Америку! Вы пожелаете, чтобы человек, которого я ищу, ждал меня на берегу, когда мой корабль пристанет!

— Тот человек гораздо ближе, — спокойно ответил Фолкнер. — Он перед вами. Я — этот человек!

Невилл оторопел.

— Вы? О чем вы? Разве вы — Осборн?

— Я — Руперт Фолкнер, я погубил вашу мать.

Невилл взглянул на Элизабет; их взгляды встретились, и они подумали об одном и том же: что Фолкнер сошел с ума и потому так говорит. В

его глазах полыхал огонь, щеки налились внезапным румянцем, а затем резко побледнели, голос звучал так глухо и безжизненно, что у них имелись все основания это предполагать.

Элизабет с болезненной тревогой смотрела на отца.

— Я не задержусь здесь больше ни на минуту, — продолжил Фолкнер, — и не стану досаждать вам видом такого проклятого мерзавца, как я! Сегодня же вечером вы узнаете всё. Узнаете достаточно, чтобы отменить задуманную поездку, и я буду готов ответить на любое требование, предоставить любое искупление, понести любую кару, какую вы сочтете должной.

С этими словами он вышел, и дверь за ним закрылась; в комнате воцарилась тишина, как после исчезновения страшного призрака, и Невилл с Элизабет переглянулись, словно пытаясь убедиться, что им обоим это не привиделось.

— О чем он говорил? Что мне думать, скажи? — воскликнул Невилл, которому стало трудно дышать.

— Я расскажу тебе обо всем через несколько часов, — ответила Элизабет. — Я должна пойти к нему; боюсь, он очень болен. Он повредился рассудком. Когда твоя мать умерла, Джерард, мы с

моим отцом путешествовали по России или Польше. Я помню даты; уверена, так оно и было. Это слишком ужасно. Прощай. Ты сказал, что уедешь завтра, но сегодня вечером я тебе напишу.

— Непременно напиши, — ответил Невилл. — Очень уж связно он говорил, с достоинством и сдержанностью — это побуждает верить ему. Но как такое понять?

— То есть тебе кажется, — воскликнула Элизабет, — что этот несчастный бред может быть правдой? Что мой отец, который мухи не обидит, самый благородный и кроткий из людей, в чьем сострадании и бескорыстии я с детства могла убедиться, — убийца? Дорогой мой Джерард, они с твоей матерью не были даже знакомы!

— Неужели? — возразил Невилл. — Но он сказал одно слово — ты не обратила внимания? Он назвался Рупертом. Однако не стану тебя расстраивать. Напиши, а лучше я сам зайду вечером, так как не знаю, где буду днем и чем буду занят, готовясь к путешествию. Я зайду к вам в девять часов. Если ты не сможешь выйти ко мне, пришли записку к воротам и в ней все опиши; тогда я пойму, уезжать ли мне или отложить путешествие. Даже если это странное признание было плодом его безумия, разве могу я оставить тебя

в таком состоянии? А если он говорит правду — если он тот мужчина, которого я видел, тот, кто отнял у меня мать, но старость и болезнь до неузнаваемости его изменили, — если он действительно тот человек, передо мной встанет новый и ужасный выбор.

— Но как это возможно? — возмущенно воскликнула Элизабет. — Неужели прекрасная репутация и само существование человека может быть уничтожено безумными словами, которые он пробормотал в бреду? Ты из-за этого обвиняешь моего дорогого отца в самом гнусном преступлении?

— Нет, — ответил Невилл, — я его ни в чем не обвиняю. Но мы не должны расстаться в гневе. Ты права, я согласен, я сужу поспешно. Я зайду вечером.

— Непременно заходи. И не отменяй поездку. Не думала, что личный интерес усилит мое желание узнать правду об этом деле! Не задерживайся ради меня. Приходи сегодня и узнай, что отец произнес эти слова в пылу безумия и они — неправда; затем скорее уезжай, повидайся с Осборном и все выясни! Прощаюсь с тобой до вечера.

Она поспешила в комнату Фолкнера, а Невилл ушел; услышанное поразило его, и в душе он не

сомневался, что это правда — имя Руперт его убедило, — однако Элизабет вынудила его все же поколебаться. Он вошел в этот дом, питая трепетные мечты о счастье, а теперь ужасался превратностям судьбы.

Элизабет же бросилась в гостиную, где обычно сидел Фолкнер, исполненная самой мучительной тревоги за его состояние. Она обнаружила его за столом; перед ним стояла маленькая шкатулка, которую она хорошо помнила. Шкатулка была открыта; он просматривал лежавшие внутри бумаги. Он выглядел совершенно невозмутимым; к нему вернулся естественный румянец, взгляд был спокоен. Внешне он, несомненно, очень отличался от того человека, что тринадцать лет назад сошел на корнуоллский берег. Тогда он был в расцвете лет; несчастье изуродовало его черты, но тело было по-прежнему юным, здоровым и сильным. Однако прошедшие с тех пор долгие годы горя и раскаяния, а также пережитые недуги состарили его раньше времени; волосы на висках поредели, а те, что остались, подернулись сединой; тело ослабло, спина согнулась, лицо покрылось тревожными морщинами, но в этот момент он словно на миг стал собою прежним. На его лице промелькнуло удовлетворение, по-

чти торжество, и когда он увидел Элизабет, его осветила прежняя ласковая улыбка, которую она знала и любила. Он протянул руку; она ее взяла. Его ладонь оказалась не горячей, пульс не учащенным, и когда он заговорил, его голос не дрогнул. Он сказал:

— Моя дорогая дочь, для тебя это тяжкий удар, но скоро все будет хорошо, я в это верю. Пока же понимаю, что это все очень неожиданно.

Элизабет в изумлении смотрела на него, а он продолжал:

— Я никогда не скрывал, что мою совесть тяготит тяжкое преступление. Из-за этого я не могу жить, но умереть тоже не могу. Я искал смерти, но человеку редко удается самостоятельно управлять своей судьбой. Однако я не жалуюсь; быстрое окончание моих страданий вполне меня удовлетворит.

— Мой дорогой отец, — воскликнула Элизабет, — я не догадываюсь, о чем речь! Я думала… но нет, ты не болен, ты не…

— Не сошел с ума, дорогая? Вот что ты думала? Если и так, то это безумие длится уже много лет, с тех самых пор, как на могиле твоей матери ты остановила мою руку. Ты слишком добра и слишком ласкова и не станешь раскаиваться, что

меня спасла, даже после того, как услышишь, кто я такой. Ты слишком веришь Провидению, чтобы не смириться с тем, как Оно решило подвести события к уготованному концу.

Элизабет обняла его за шею и поцеловала.

— Спасибо, — промолвил Фолкнер. — Господь благословит тебя за твою доброту. Я правда был бы рад, если бы ты искренне меня простила. Но прежде, любимая моя, я должен кое-что сделать. В этих бумагах — отчет о моем несчастном прошлом; ты должна их прочитать и немедленно показать мистеру Невиллу.

— Нет! — воскликнула Элизабет. — Смилуйся надо мной и не проси читать рассказ о совершенных тобой ошибках. В моих глазах ты должен всегда оставаться самым лучшим и благородным из людей, и если когда-то ты был другим, я не желаю об этом знать! Я не желаю слушать обвинения в твой адрес, пусть даже из твоих собственных уст.

— Тогда считай их не обвинениями, а оправданиями, — сказал Фолкнер. — Прошу, не противься моей просьбе; это необходимо. Если тебе будет больно, прости меня за это, но ради меня потерпи. Я написал это признание в Греции, когда думал, что умру, с одной-единственной целью: открыть

тебе правду. Я рассказал обо всем искренне, простыми словами и не хочу, чтобы ты услышала эту историю от кого-то другого, кроме меня, потому что никому больше вся правда не известна. Послушайся меня — ведь ты всегда меня слушалась; умоляю, подчинись родительской воле и не бойся узнать о моих преступлениях, ведь я надеюсь вскоре их искупить. А потом исполни еще один долг: отправь эти бумаги своему другу. Ты знаешь, где его искать.

— Он зайдет к нам сегодня в девять.

— До вечера ты дочитаешь; я еду в город, но сегодня же вернусь. Мистер Невилл к тому времени уже уйдет, но ты будешь все знать. Не сомневаюсь, ты станешь меня жалеть — так устроено твое великодушное сердце, и твоя любовь ко мне наверняка останется прежней, — но все же ты будешь потрясена и опечалена, и я буду тому причиной. Увы, расплата за наши грехи приходит откуда не ждешь, а в наказание судьба всегда бьет по больному. Зная, что я должен стать причиной твоих несчастий, моя милая дочь, я испытываю муки, терпеть которые не хватит никакой стойкости. Но есть одно лекарство, и в конце концов все будет хорошо.

Пока он говорил, Элизабет его обнимала, и он

почувствовал на своей щеке ее теплую слезу; она ему сопереживала, и, ощутив это, он замолчал и прижал ее к сердцу, но через миг собрался с силами, поцеловал, попрощался и ушел, оставив ее выполнять печальное поручение.

Она не знала, что и думать; в голову не шли мысли. Он говорил совершенно вразумительно; перед ней лежали бумаги, которые должны были все объяснить, но она с отвращением от них отвернулась и вновь подумала о Невилле, его отъезде, о том, что вечером он обещал вернуться. Что она ему скажет? Это напоминало ужасный сон, но она никак не могла проснуться; она села, достала бумаги; ворох листов, исписанных отцовским почерком, смотрел на нее с укоризной; не получится узнать ужасную правду в нескольких кратких мучительных словах; ее ждала полная предыстория. Она выждала минуту, собираясь с мыслями, взмолилась о стойкости и понадеялась, что не узнает ничего страшного, что восприимчивый ум Фолкнера счел преступлением ничтожную ошибку, а потом приступила к чтению.

Глава XXVI. Рассказ Фолкнера

«Я пишу эти строки не для того, чтобы смягчить тяжесть своего преступления и, раскрыв его мотивы, уменьшить свою вину. Моя цель — доказать невиновность, оправдать добродетель и рассказать правду, хотя мое собственное имя в этом случае ждет заслуженное бесчестье. Если, открыв тайны своей души и описав обстоятельства, что привели к роковой катастрофе, я уже не буду казаться окружающим чудовищем, хотя не перестану быть преступником, знайте: я сделал это не ради себя, а ради нее; пусть ее юное нежное сердце осознáет мою вину, но вспомнит обо мне без содрогания.

На этих страницах вы найдете только истину, чистейшую и священную. Я пишу это признание в прекрасном краю, где бушует война; жители этого края кровью и горем отвоевывают драгоценные привилегии, являющиеся неотъемлемым правом любого человека, а я приехал сюда умирать. Сейчас глубокая ночь; я слышу уханье совы; вспыхивают и гаснут светлячки, шепчут ручьи в вековых лесах; лунный свет проливается на

седые оливковые рощи, темные утесы и скалистые горы и порождает пугающие тени, а на небе сияют бессмертные звезды. Разве можно лгать в безмолвии ночи под бдительным присмотром самого Господа и собственного сердца? В тишине между порывами ветра моя совесть слышит стоны мертвых и видит бледное безжизненное тело, одиноко плывущее по течению. Я слышу шепот своего сердца; оно наконец готово открыться; кровь стынет в жилах, а решимость, что ни разу не пошатнулась на поле боя, трепещет и ослабевает при мысли об истории, которую я собираюсь рассказать.

Что есть преступление?

Поступок, причиняющий ущерб другому человеку, запрещенный религией, порицаемый моралью и наказуемый законами человеческого общества.

Все человечество представляется преступнику враждебным; ему кажется, что общество существует лишь с одной целью — его уничтожить. Прежде чем совершить преступление, он имел право жить на земле своих предков и распоряжаться священной свободой; никто не смел препятствовать его передвижениям, и в своих действиях он руководствовался собственной во-

лей; он мог пойти хоть на край света, если хватало физической выносливости, и шел, расправив плечи и не боясь смотреть людям в глаза. Тот же, кто преступил закон, лишается этих привилегий; теперь даже представители низших сословий могут сказать ему: „Иди с нами!“ — и забрать от тех, кого он любит, заточить в убогой камере и лишь изредка выводить на свежий воздух; выставлять напоказ и отвести на казнь, а после бросить его тело собакам; а общество, у которого все те же действия, совершённые в отношении невиновного лица, вызвали бы возмущенный крик, спокойно смотрит и хлопает в ладоши.

Так в общих чертах можно описать несчастную долю преступника, однако преступление может никогда и не раскрыться. О моем злодеянии известно только мне; оно хранится в моей душе. Прошли годы, и никто не показывает на меня пальцем и не шепчет: „Вот идет убийца!“ И все же я чувствую, что сам Бог против меня, а мое собственное сердце жаждет осуждения. Мне прекрасно известно, что я самозванец и правда может раскрыться в любой момент, но страх разоблачения не тяготит меня так сильно, как тайна, хранящаяся в моем сердце, и по ночам я ощущаю ледяное прикосновение смерти, которой

стал причиной. Меня преследует мысль, что все мои усилия будут тщетными, покуда на другой чаше весов — крик невинной жертвы, и земля стонет от тайной ноши, сокрытой в ее чреве. А то, что смертельный удар нанесен не моей рукой, ничуть не смягчает болезненные уколы совести. Мои поступки стали причиной ее смерти, пусть я и не собирался ее убивать.

Полагаю, у всякого человека хоть раз возникало желание незаконно присвоить себе чужую собственность или подчиниться воле животного инстинкта и размозжить череп врага. Мало кто столь хладнокровен и сдержан, что ни разу не испытывал побуждение преступить ограничения, наложенные совестью и законом; мало кто не испытывал искушения перешагнуть запретный порог, но другие смогли остановиться, а я не смог — вот в чем разница между нами. Неправы говорящие, что преступная мысль и преступное действие — одно и то же; от искушения не застрахован никто, но противиться ему могут лишь те, кто способен возвыситься над человеческим и приблизиться к ангелам.

Человека многое ограничивает; кого-то удерживает страх, другие наделены восприимчивостью и предвидят зло, что неизбежно последует

за дурными поступками, потому волей-неволей вынуждены сдерживать свои желания; они трепещут при мысли, что станут причиной событий, над которыми в будущем окажутся не властны, боятся навредить окружающим и страшатся собственной совести.

Но я пренебрег этими соображениями; мысль о них слабо маячила в моем сознании, но оказалась бесполезной. Набожность, совесть и мораль отступили перед чувством, которое тогда обманчиво маскировалось под необходимость. О, к чему анализировать мотивы! Всеми людьми движет одно и то же, но умы состоят из разного материала; бывает ум гибкий, а бывает твердый как скала; бывает кроткий, а бывает вспыльчивый. В зависимости от этого ум отвергает чужеродное влияние или впитывает его в себя и им руководствуется. Для кого-то это влияние подобно легкому летнему ветерку, что наводит на гладкую поверхность озера трепещущую зыбь; а для кого-то подобно вихрю, уничтожающему все на своем пути.

Создавая меня, Всемогущий одарил меня страстной натурой. Говорят, что все великие и добродетельные мужи не лишены страстей; я не отношусь ни к первым, ни ко вторым, однако не

стану упрекать за это Творца и буду уповать, что, раскаиваясь и признавая совершенство добродетели, я отчасти исполняю Его замысел. Пусть ни один человек, знакомый с моей историей, не усомнится, что для счастья необходимо поступать правильно и что присущая каждому способность к самоконтролю и умение слушать голос совести придают чувствам куда больше благородства, а душе — истинного величия, чем легкомысленное следование импульсивной воле и бездумное пренебрежение непреложными принципами.

Способны ли современные люди испытывать истинную страсть? И чувствовали ли другие то, что чувствовал я? Мы разучились говорить о чувствах, но они все так же глубоко коренятся в душе. Есть ли в мире человек, который никогда не любил? Хоть один мужчина, в ком не свершалась борьба темного и светлого начал, кто не дрогнул в этой борьбе? Есть ли в мире человек, столь нечувствительный к побуждениям природы, что в нем никогда, даже на краткий миг, не проявлялось стремление пожертвовать телом и душой, лишь бы заручиться благосклонностью возлюбленной? Есть ли тот, кому ни разу не приходила мысль, что лучше бы его возлюбленная умерла, чем вышла за другого? Быть обуреваемым страстями и

значит быть человеком; однако добродетельным человеком становится лишь тот, кто выстоит. Лишь тот, кто преодолел себя, в моих глазах достоин звания героя. Увы, я не герой! Я тот, кто сдался, и из-за этого я несчастен; глядя на себя со стороны, я понимаю, что нет зрелища более презренного, жалкого и бесконечно печального, чем человек, проигравший в битве со страстями.

Я такой человек; об этом свидетельствует сам факт, что сейчас я пишу это признание. Некогда я был рабом безудержных порывов, а теперь стал жертвой угрызений совести. Я приехал сюда искать гибели, так как прошлое уже не исправить; я жду момента, когда пуля пронзит мою плоть и меня настигнут предсмертные муки. Лишь тогда я смогу надеяться на свободу, а именно ее я жажду! Есть та, кто меня любит. Она чиста и добра, как ангел-хранитель; она мое дитя и умоляет, чтобы я продолжал жить. С ней мои дни могли бы проходить в покое и невинности, каким позавидуют даже святые, однако кандалы моей памяти так тяжелы, а душа так горько томится в неволе, что даже *она* не может вернуть мне радость жизни.

Я жажду лишь смерти. Когда эти страницы прочтут, рука, написавшая их, будет уже неподвижна, а продиктовавший их ум утратит свои

функции. Это мое последнее письмо и наследие людям. Да не преисполнятся они презрения к признаниям сердца, которое годами молча хранило воспоминания и терзалось раскаянием. Плотина, что сдерживала эти воды, ныне рухнула, и поток безудержно хлынул вперед с ревом, подобным реву тысячи водопадов, оглушив своим грохотом даже небеса; и если мое скромное перо не в силах передать этот звук, поверьте: мятежный дух, что изливает себя на бумагу, не менее безудержен, чем эти волны.

Я немного успокоился; прогулялся по берегу ручья и, хотя в засаде таится враг и луна светит предательски ярко, поднялся на крутой горный склон и полюбовался туманным морем, надеясь, что спящая природа немного смягчит мою душевную боль. Близится полночь, все лежит в безмолвии, и я спокоен и полон решимости начать рассказ и поведать, как стечение обстоятельств, точнее чувств, толкнуло меня сперва оступиться, затем совершить преступление и наконец приехать сюда и искать погибели.

В раннем детстве я лишился матери. Смутно помню, как она плакала и обнимала меня; как она лежала больная в постели и благословляла меня, но эти образы похожи скорее на воспоми-

нания о жизни в утробе, чем о реальности. Она умерла, когда мне было четыре года. Детство мое прошло в печали и смятении. Мой отец в обществе вел себя радушно и даже учтиво, но дома был груб и несдержан. Он проиграл свое небольшое состояние и приданое жены; лень мешала ему приобрести профессию, но жизнь его вместе с тем не была лишена цели и смысла. Наша семья была благородной и состояла из двух братьев: младшего и старшего — отца и моего дяди. Последнему по праву первородства досталось крупное состояние; он был не женат, хотя уже немолод, и отличался слабым здоровьем. Отец ждал, что брат скоро умрет, и постоянно говорил о том, как после его смерти унаследует семейные деньги, но тот все не умирал, и отца это безумно раздражало. Даже в детстве я знал о его несдержанном нраве и при всякой возможности избегал отца. При звуках его голоса, зовущего меня по имени, кровь стыла в жилах, а цветистые оскорбления, которыми он часто меня удостаивал, провоцировали во мне кипучую, но бесполезную ярость.

Я не стану долго задерживать внимание на этих мучительных днях, когда я, слабый маленький мальчик, пытался противостоять колоссу-отцу; а я действительно бунтовал, пока его рука не вали-

ла меня наземь или не гнала прочь с презрением и кажущейся ненавистью. Осмелюсь сказать, что он меня не ненавидел, но также не ведал, что такое любовь; она не согревала его сердце.

Однажды он получил письмо от брата. Мне тогда не исполнилось еще и десяти лет, но из-за пережитых страданий я чувствовал себя измученным печалями стариком; помню, я посмотрел на отца, а он взял письмо и воскликнул: „От дяди Джона! Что у нас тут?“ — и в предвкушении чувств, что может возбудить в нем прочтение письма, его пробрала нервная дрожь. Посмеиваясь, он разломил печать; он думал, что дядя призывает его к смертному одру. „И когда это произойдет, мой милый мальчик, мы отправим тебя в школу, — воскликнул он, — и мне больше не придется терпеть твои выходки“. Итак, он сломал печать и прочитал письмо. В нем сообщалось, что его брат женится; отца приглашали на свадьбу. Не стану описывать сцену, которая за этим последовала; глядя на отца, можно было решить, что брат злодейски его обманул и я был каким-то образом к этому причастен. Он грубо вытолкал меня за дверь; во мне бурлила ярость, а потом я сел и заплакал, убежал в поля и стал жалеть, что вообще родился, а еще мечтал убить дядю,

которого считал виновником своих несчастий.

С тех пор все изменилось к худшему. Прежде у отца оставалась надежда; теперь же он отчаялся. Он начал пить, и алкоголь усилил его страсти и омрачил рассудок. Порой я приобретал над ним превосходство; когда он был пьян, мне удавалось уворачиваться от его ударов, однако, протрезвев, он обрушивал их на меня с удвоенной свирепостью. Но даже временные передышки не приносили утешения; наш позор вызывал во мне одновременно унижение и гнев. Я, ребенок, пытался его увещевать; он же бил меня и прогонял из комнаты. О, какой несчастной была моя жизнь! Весь мир представлялся мне полем сражения слабых против сильных, и я презирал все, кроме победы.

Шло время. Дядина жена родила ему двух девочек. Отца это радовало; он воспрял духом, но поскольку к тому времени совсем опустился, мог отпраздновать вновь пробудившуюся надежду лишь глубоким пьянством и похабными шутками. Однако следующим родился мальчик, и это стоило отцу жизни. От пьянства в нем закипала кровь, а нрав его был так свиреп, что, выпив, он становился почти сумасшедшим; услышав о рождении наследника, он начал пить, чтобы

избавиться от мыслей, но вино показалось ему слишком слабым лекарством, он упился бренди и уснул — точнее, погрузился в ступор, от которого никогда уже не очнулся. Впрочем, это было даже к лучшему; он растратил все имущество, погряз в долгах и уже никогда не сумел бы выбраться из жалкого состояния, в которое сам себя поверг: если бы он не умер, то закончил бы свои дни в тюрьме.

Меня взял к себе дядя. Поначалу царившие в их доме мир и порядок показались мне раем; даже регулярные сытные обеды и ужины представлялись мне невероятным чудом. Больше не приходилось смотреть на отцовские возлияния и слушать буйные крики. Меня никто не ненавидел, я не боялся, что на меня поднимут руку, и не был вынужден уговорами и хитростью вымаливать еду, что под отцовской крышей всегда заканчивалось побоями. Покой в доме дяди казался благодатью, и я решил, что свободен, так как больше не жил в постоянном страхе.

Но вскоре я осознал: то, что казалось покоем, на самом деле было холодностью и равнодушием. Никто не смотрел на меня любящим взглядом и ни разу не произнес ни одного ласкового слова. В этом доме меня не любили, а терпели и вскоре

начали считать досадной помехой; от меня требовали порядка и соблюдения правил и запрещали выходить из дома в одиночестве; в конце концов это стало мучить меня не меньше моей прежней жизни, в которой хоть и не постоянно, но присутствовала драгоценная свобода. Мой характер не был идеальным; отцовские пороки взрастили во мне дурные качества. Я не научился лгать и изворачиваться, так как это противоречило моей природе, но был груб, своеволен, дерзок и ленив. Подозреваю, что даже небольшое проявление доброты усмирило бы мой нрав и пробудило бы во мне желание угождать, ведь когда я впервые очутился в атмосфере покоя и порядка, это напоминало абсолютное блаженство. Однако никто не пытался проявить ко мне доброту. С первого дня ко мне относились с холодностью, которую дети особенно хорошо замечают; слуги, следуя правилам дома, превратились сперва в моих мучителей, а затем во врагов. Я стал заносчивым и несдержанным; упреки, порицание и наказания разрушили ощущение рая, и вскоре я стал собою прежним — непослушным и отчаянным; затем мои опекуны постановили, что я невыносим, и отправили меня в интернат.

И я бы безропотно смирился с этой обычной

мальчишеской долей, если бы та не была преподнесена как наказание: меня передали новым тиранам, сообщив им в моем же присутствии, что я маленький негодяй, совершенно неприспособленный к обществу, и лишь грубая сила способна держать меня в повиновении. Невозможно описать, как подействовало на меня это заявление моего дяди и последующая рекомендация директора учителям „сломить мой дух, если не удастся его согнуть“; мое сердце разрывалось от обиды и стремилось к свободе, и я решил, что угрозы угнетателей меня не испугают. Так моя душа объявила войну всему свету; я стал таким, каким меня и рисовали: угрюмым, мстительным и безрассудным. Решил сбежать; мне было все равно, что меня ждет; мне почти исполнилось четырнадцать, я был крепок, мог работать, примкнуть к табору цыган, я мог жить на их лад и в одиночку, промышляя ночным разбоем; я мог бы стать свободным.

И вот я обдумывал побег, когда меня вызвал директор. Я решил, что он хочет меня наказать. Засомневался, не бежать ли немедленно, но понял, что это невозможно и придется подчиниться. Я предстал перед тираном с непокорным видом и намерением оказать неповиновение — и

обнаружил его с письмом в руке.

„Я не знаю, как с вами поступить, — ответил он. — Мне пришло письмо от вашей родственницы; та просит отпустить вас на день к ней в гости. Вы не заслужили послаблений, но в этот раз я вас отпущу. Помните, в дальнейшем я пойду на подобные уступки лишь при условии, что вы изменитесь и станете совершенно другим человеком. Ступайте, сэр, и поблагодарите меня за проявленное милосердие, если, конечно, способны на это. Вернуться надо к девяти“.

Я не стал его расспрашивать, хотя не знал, куда предстоит поехать; я вышел из кабинета молча и направился в тюремный двор, который у нас назывался игровой площадкой, но мне сообщили, что у дверей меня ждет фаэтон, запряженный пони. Сердце мое возликовало; я решил, что транспорт поможет мне бежать и преодолеть хотя бы первый отрезок пути. Запряженная пони коляска была самой непритязательной из всех, что мне приходилось видеть; на козлах сидел старик. Я залез внутрь, и мы ускакали прочь; маленький валлийский пони оказался куда быстрее, чем можно было подумать, глядя на него. Кучер был глухим, я сидел насупившись, и по пути мы не обменялись ни словом. Я планировал

доехать с ним туда, куда он должен был меня отвезти, а в конечном пункте выскочить и удрать. Но по дороге мой бунтарский дух несколько охладел. Мы выехали из города, где находилась школа и я привык гулять в сопровождении наставников по унылым пыльным дорогам. Теперь мы ехали по тенистым аллеям и прохладным рощам; нашим взглядам открывались бескрайние панорамы и извилистые романтические ручьи; будто мрачный занавес отдернулся и природа предстала передо мной во всей красе; я смотрел на нее новыми глазами, видел, как вокруг раскинулась свободная, просторная земля, и душа моя ликовала. Сначала это лишь укрепило мою решимость бежать, но постепенно в сердце зародилось другое неопределенное чувство. Жаворонки взметнулись в небеса; ласточки парили низко над зелеными полями, и я чувствовал себя счастливым, потому что веселилась природа, все дышало свободой и безмятежностью. С аллеи, усаженной душистой жимолостью, мы свернули в лесок; густой невысокий кустарник перемежался мхами и цветущими полянами. Мы выехали из леса, и я увидел ограду, скромные деревянные ворота и дом, увитый жасмином и плющом; тот стоял в уединении меж нависших над ним

деревьев, но все же хорошо просматривался в зарослях. Ворота нам открыл крестьянский мальчик; мы подъехали к самому порогу.

У низкого окна, выходящего на лужайку, в большом кресле сидела дама; по ее виду становилось ясно, что она больна, но было в ней что-то столь нежное и неземное, что притягивало и радовало взгляд. Кожа казалась почти белой, волосы поседели, но сделались не грязно-серого цвета, а шелковисто-серебряного; на ней было белое платье, и несмотря на несколько увядший вид, серые глаза живо блестели, а уста украшала самая прекрасная в мире улыбка. Улыбаясь, она поднялась с кресла, обняла меня и воскликнула: „Я сразу догадалась, что это ты, милый Руперт; ты так похож на мать!“

Само это имя задело струны, которые много лет оставались нетронутыми. Рупертом называла меня мать; бывало, отец в редкие минуты тоже, когда в нем пробуждалась теплота, хотя чаще он звал меня „Вы, сэр!“ или даже „Ты, пес!“. Дядя — я носил и его имя, Джон, — предпочел избавиться от моего первого имени, которое считал глупым и сентиментальным; в своем доме и в письмах он всегда называл меня Джоном. Услышав же имя Руперт, я вспомнил милый дом и материнские

поцелуи; я вопросительно взглянул на ту, что назвала меня этим именем, и тут мое внимание привлекла — нет, пленила — прелестная девочка, выскользнувшая из соседней комнаты и вставшая рядом с нами, лучась юностью и красотой. Она была необыкновенно хороша собой и наделена всеми дарами юности; ее красоту оттенял контраст с бледной дамой, рядом с которой она стояла: райская дева и бесплотный дух. Глаза ее были черными, большими и нежными; они искрились блеском, но обладали глубиной, свидетельствовавшей о том, что внутри обитала тонкая душа; поистине она напоминала ангела или фею, а ее кожа и фигура говорили о здоровье и благополучии. Что же это значило? Кем была эта девочка? И откуда им было известно мое имя? Я не знал, но чувствовал, что эта тайна сулит мне много хорошего — мне, к которому жизнь до сих пор была немилосердна и кто желал любви, „как лань желает к потокам воды“»[21].

[21] Примечания: 21
Псалом 41.

Глава XXVII

«Последовало объяснение, и я понял, кем были мои новые друзья. Дама оказалась дальней родственницей моей матери, они вместе воспитывались и разлучились, лишь когда вышли замуж. Из-за того, что моя мать умерла, я и не догадывался о существовании этой родственницы, хотя та проявляла живейший интерес к сыну подруги детства. Миссис Риверс жила беднее матери и долгое время считала, что ее подруга вращается в высших кругах общества; сама она вышла за лейтенанта флота и, пока тот пропадал в плаваниях и исполнял свой долг, жила уединенно и небогато в деревенском одноэтажном домике, небольшом, но живописном и тихом. Я и сейчас вижу перед собой увитые зеленью окна и цветущую лужайку — картину, внушающую покой. Вспоминая об этом безмятежном пристанище, я всякий раз думаю о словах поэта:

И поселюсь я в роще под холмом,

Где рой пчелиный будет петь мне колыбели,

Ручей у мельницы журчать над коле-

сом

И слух ласкать мой станут птичьи трели[22].

Для всякого, кто чувствует и ценит особую прелесть английской природы и знает, сколько изящества, счастья и мудрости таят в себе стены скромного деревенского дома, эти строки, как и для меня, обладают особым звучанием и несмотря на всю свою непритязательность, воплощают саму суть счастья. В этом оплетенном лозами пристанище в уединенном уголке букового леса, рядом с которым журчал прозрачный ручей, чьи берега густо поросли благоуханной жимолостью, обитало нечто более прекрасное, чем все эти природные дары, — ангел в райских кущах, каким мне показалась с первого взгляда единственная дочь миссис Риверс.

Алитея Риверс — в самом этом имени заключена симфония, улыбки и слезы; в нем кроется целая счастливая жизнь и моменты величайшего блаженства. Ее красота ослепляла; в темных восточных глазах, прикрытых испещренными сеточкой вен нежными веками с темной бахромой ресниц, теплилось трепетное пламя,

---

[22] Примечания: 22
Сэмюэл Роджерс «Желание».

проникавшее в самую глубину души. Лицо имело форму безупречного овала, а уста складывались в тысячу лучезарных улыбок или были безмолвно приоткрыты и готовы изречь самые нежные и поэтичные слова, которые ты жаждал услышать. Лоб, ясный, как день, лебединая шея и симметричная фигура, тонкая, как у феи, — все в ней свидетельствовало о безупречности, к которой не остался бы нечувствительным даже самый юный и невосприимчивый.

Она обладала двумя качествами, которых я даже по отдельности ни в ком не встречал проявленными в таком развитии, в ней же они складывались в совершенно неотразимое сочетание. Она чрезвычайно остро переживала собственные радости и горести и живо реагировала на те же чувства в окружающих. Я сам наблюдал, как переживания интересного ей человека всецело поглощали ее душу и сердце и все ее существо окрашивалось в чужое настроение; даже цвет и черты лица менялись, подстраиваясь под другого. Ее нрав всегда оставался невозмутимым; она не была способна злиться, а несправедливость вызывала у нее лишь глубокую скорбь; что она умела, так это радоваться, и я ни у кого не видел таких безоблачных проявлений счастья, когда

сама душа сияет как солнце. Одним взглядом или словом она усмиряла жесточайшие сердца, а если сама ошибалась, искренне признавала свою ошибку, и не боялась выразить стыд и горе, если нанесла обиду, и всегда готова была загладить вину, отчего даже ее промахи оборачивались добродетелью. Она была весела, порой почти до безрассудства, но неизменно помнила об окружающих; ей была свойственна врожденная женская мягкость, из-за которой даже безудержное веселье звучало ликующей музыкой и откликалось в каждом сердце. Ее любили все и всё вокруг; мать ее боготворила, каждая птица в роще ее знала, и мне казалось, что даже цветы, за которыми она ухаживала, ощущали ее присутствие и радовались ему.

С самого рождения — или, по крайней мере, с того момента, когда в раннем детстве я лишился матери, — мой путь был колюч и тернист; розга и кулак, холодное пренебрежение, упреки и унизительное рабство были моими спутниками; я считал, что такова моя доля. Но во мне жили жажда любви и желание обладать тем, чья привязанность принадлежала бы только мне. В школе я обнаружил маленькое гнездо полевых мышей и стал за ними ухаживать, но из людей ни один

не относился ко мне иначе как с отвращением, и мое гордое сердце негодовало. Миссис Риверс слышала печальную историю моего упрямства, лени и свирепости — и ожидала увидеть дикаря, но сходство с матерью тут же пленило ее сердце, а ласка, с которой она меня встретила, вмиг побудила меня вести себя более достойно. Мне твердили, что я негодяй, пока я сам наполовину в это не поверил. Мне казалось, что я воюю со своими угнетателями и должен заставить их страдать, как они заставляли меня. О милосердии я читал только в книгах, но оно представлялось мне просто частью огромной системы притеснения, в которой сильные угнетали слабых. Я не верил в существование любви и красоты, а если мое сердце и видело красоту, то лишь в природе, и та пробуждала во мне недоумение: я не понимал, почему все разумное и восприимчивое в удивительной ткани Вселенной подвержено боли и злу.

Рассудительность в миссис Риверс сочеталась с тонкой чувствительностью. Она вытянула меня из моей раковины и заглянула в глубь моего сердца; полюбила меня ради моей матери и разглядела, что, посеяв семена любви, можно исправить натуру, в которой еще сохранились

крупицы великодушия и тепла; натуру, в которой пагубные страсти развились лишь потому, что их поощряли, а добродетельные порывы подреза́ли на корню. Она стремилась пробудить во мне веру в добро, щедро одаряя меня благосклонностью. Миссис Риверс называла меня своим сыном и другом; она внушила мне уверенность, что ничто не сможет лишить меня ее уважения и разорвать драгоценные узы, что теперь связывали нас с ней и ее дочерью. Она пробудила во мне счастье и благодарность, и мое сердце искренне стремилось заслужить ее расположение.

Я действительно стал другим человеком, хотя прежде и не подозревал, что способен на такие изменения. Раньше я думал, что в стремлении угодить дорогому мне человеку все будет получаться легко; что я творю зло лишь из импульсивности и мстительности и, если захочу, смогу укротить свои страсти и перенаправить их в другое русло одним движением пальца. К своему изумлению, я обнаружил, что не могу даже заставить свой ум сосредоточиться, и разозлился на себя, ощутив, как в груди кипит неуправляемая ярость, хотя обещал себе быть кротким, терпеливым и спокойным. Победа над дурными привычками поистине стоила мне огромного труда. Я с переменным

успехом заставлял себя учиться; подчинился школьным правилам; крепился и стойко терпел несправедливость и бесцеремонность учителей и неприкрытую тиранию директора. Но все время держать себя в узде не получалось. Злоба, лживость, несправедливость то и дело будили во мне зверя. Не стану пересказывать все свои мальчишеские проступки; я был обречен. Меня отправили в школу, считая негодяем, и поначалу я всеми силами пытался оправдать это звание, а после постарался исправиться, но все же по-прежнему держался особняком, презирал похвалы и не обращал внимания на упреки. В итоге мне так и не удалось заслужить одобрение своих наставников, и те утвердились во мнении, что я опасный дикарь, чьи когти должны быть коротко подстрижены, а руки и ноги закованы в кандалы, иначе я разорву на куски своих надсмотрщиков.

Каждое воскресное утро я с нетерпением покидал интернат и ехал в дом миссис Риверс. Даже сам ее внешний вид меня завораживал: от болезни она рано постарела, но ее ум был активен и молод, а чувства горячи, как в юности. Она могла держаться на ногах не дольше нескольких минут, без поддержки не ходила даже по комнате, почти не ела и, как я уже говорил, больше походила на

призрака, чем на женщину из плоти и крови. Лишенный всякого питания извне, ее ум приобрел небывалую проницательность и деликатность; она воспитала их смирением, внимательным чтением и привычкой к размышлению. Во всех ее замечаниях крылась философская мудрость, приправленная женской тактичностью и чрезвычайной сердечной теплотой, отчего нельзя было не восхищаться ею и не любить ее. Бывало, она мучилась от сильной боли, но по большей части ее недуг, как-то связанный с позвоночником, проявлялся в слабости; он же обострял и утончал ее чувствительность. Вдохнув цветочный аромат, благоуханный утренний воздух или мягкое дуновение вечернего ветерка, она чуть не пьянела от восторга; она вздрагивала от любого резкого звука; внутри нее царил покой, и такого же покоя она желала вокруг; для нее не существовало большего удовольствия, чем смотреть на нас, ее детей — меня и ее прелестную дочь, — сидевших у ее ног; она перебирала солнечные кудряшки Алитеи, а я слушал ее рассказы, горя жаждой знаний и желанием учиться; ее мягкое и вдохновляющее красноречие, ее любовь и мудрость очаровывали наш слух и заставляли внимать ее речам как прорицаниям божественного оракула.

Иногда мы с Алитеей уходили и гуляли по лесам и холмам; мы могли разговаривать бесконечно, то обсуждая нечто сказанное ее матерью, то делясь собственными блестящими юными мыслями, и с невыразимым восторгом наслаждались ветерком, водопадами и всеми природными видами. По скалистым нагорьям или через полноводный ручей я переносил свою подругу на руках и своим телом укрывал от грозы, что порой настигала нас в пути. Я стал ее защитой и опорой и в этом черпал радость и гордость. Устав от прогулок, мы возвращались и приносили ее больной матери гирлянды из полевых цветов; мы благоговели перед ее мудростью, а ее материнская ласка согревала наши души, но поскольку она была слаба, мы в некоторой степени ощущали, что она от нас зависит, и добровольно оказывали ей знаки внимания, которые были нам только в радость.

Ах, если бы не надо было возвращаться в школу, жизнь казалась бы мне преддверием рая! Но я возвращался и снова сталкивался с упреками, несправедливостью, собственными порочными страстями и своими мучителями. Как противилось мое сердце этому контрасту! Каких неимоверных усилий мне стоило держать в узде свою

ненависть, быть милосердным и великодушным, как учила миссис Риверс. Но мои мучители умели вновь разбудить во мне зверя, и, несмотря на мои лучшие побуждения, несмотря на гордость, призывавшую меня презирать их молча, я отвечал вспышками ярости и бунта; за это меня снова наказывали, а я снова клялся отомстить и мечтал о возмездии. Во мне бушевала такая внутренняя борьба, с какой не сравнятся даже дикие страсти, обуревавшие меня, когда я вырос. Я возвращался от друзей с сердцем, полным теплых чувств и добрых намерений; ничто не омрачало мое чело и мысли; в душе жило стремление усмирить свой нрав и доказать тиранам, что те не смогут нарушить окутывавший меня божественный покой.

В один такой день, преисполненный этих благостных чувств, я вернулся от миссис Риверс в школу. На пороге меня встретил один из учителей; он сердито потребовал отдать ему ключ от моей комнаты, пригрозив наказанием, если я осмелюсь снова ее запереть. Увы, он попал в больное место: в комнате в теплом гнездышке жила моя мышиная семья, и я знал, что, допусти я в свое святилище это животное прежде, чем спрячу мышей, их у меня заберут; но служанки нашептали тирану, что я держал в комнате живность, и

ему не терпелось скорее ее отыскать. Мучительно даже вспоминать ужасные подробности того, что последовало: громкий крик, удар, вырванный из моих рук ключ, злобный рев, когда он обнаружил моих питомцев, и приказ принести кота. Кровь застыла в моих жилах; какой-то раб — среди учеников у наставников были свои рабы — бросил в комнату когтистого зверя; учитель показал ему добычу, но, прежде чем кошка успела прыгнуть, я схватил ее и вышвырнул в окно. Тут учитель ударил меня палкой; я был довольно рослым мальчишкой и вполне мог ему противостоять, будь он безоружен; он ударил меня по голове и вынул нож, чтобы самолично умертвить моих любимцев. Удар оглушил меня и уничтожил блаженное спокойствие, что я до сих пор пытался сохранять; кровь закипела, все мое тело содрогнулось от нахлынувших чувств, и я бросился на врага. Мы повалились на пол; он сжимал в руке нож; мы боролись, и я выхватил у него оружие и порезал ему голову, ненамеренно; я не замышлял такого ни до вступления в бой, ни в пылу драки. Я увидел на его виске струйку крови; он перестал сопротивляться. Тогда я вскочил и стал отчаянно звать на помощь, а когда в комнату ворвались слуги и ученики, сбежал. Я выпрыгнул в окно

высокого этажа, чудом приземлился невредимым на мягкую землю и понесся через поля. Я думал, что виновен в убийстве, и все же испытывал восторг оттого, что я, мальчик, наконец обрушил на голову врага мучения, которым тот часто подвергал меня. Тогда мне казалось, что этим отчаянным поступком я раз и навсегда покончил со своим гнусным рабским положением; я знал, что встречу нужду и скитания, но чувствовал себя легким и свободным как птица.

Инстинкт привел меня к знакомому и любимому домику, но я не осмелился постучать в дверь. Еще несколько часов назад я покинул этот дом с самыми чистыми и великодушными помыслами. Я вспомнил разговор, что состоялся у нас накануне вечером; ласковое красноречие миссис Риверс, ее уроки кроткого всепрощения и благородного самообладания, наполнившие меня глубокой решимостью. Разве мог я теперь вернуться? Мои руки запятнаны кровью.

Я спрятался в кустах у коттеджа и иногда подкрадывался ближе и слышал голоса, а иногда уходил глубже в лесную чащу. Наконец наступила ночь; я уснул под деревом недалеко от дома.

Меня разбудила утренняя прохлада, и я всерьез задумался о своем положении: без друзей и денег

куда же мне идти? В школу я решил никогда больше не возвращаться. Мне почти исполнилось шестнадцать; я был высоким крепким юношей, хотя в помыслах и делах все еще оставался мальчишкой; и я сказал себе, что я не первый мальчик, кто вот так оказался один во всем белом свете, и мне нужно мужаться и доказать своим угнетателям, что я могу существовать независимо. Я решил стать солдатом; мне казалось, что, проявив доблесть, я смогу быстро отличиться и достичь величия. Я представлял, как меня награждают генералы, как восхваляют, осыпают почестями и медалями. Воображал, как вернусь с войны и гордо предстану перед Алитеей; к тому моменту у меня уже будет состояние, и я стану тем, каким меня хотела видеть ее милая матушка: храбрым, великодушным, правдивым. Но разве могу я взяться за осуществление этого плана, сперва не повидавшись со своей юной подругой? Конечно нет! Мое сердце и вся моя душа тянулись к ней; мне требовалось ее сочувствие, я хотел попросить ее молиться обо мне и никогда меня не забывать и в то же время боялся встречи с ее матерью и ее мудрых наставлений. Я почему-то не сомневался, что миссис Риверс мой план не одобрит.

Я вырвал листок из тетради и написал Алитее

записку карандашом, умоляя встретиться со мной в лесу; я решил никуда не уходить, пока ее не увижу. Но как передать ей записку, чтобы ее мать не заметила, чтобы меня не увидели слуги? Весь день я караулил Алитею у дома; лишь когда стемнело, решился подойти ближе. Я знал, где находится ее окно; обернув запиской камень, я бросил его в дом и быстро убежал.

Снова наступила ночь; я ничего не ел уже сутки и не знал, когда придет Алитея, но решил не уходить с того места, где назначил ей встречу, пока она не явится. Я нашел немного ягод и репу, упавшую с тележки, и эти нехитрые лакомства показались мне манной небесной. Они уняли голод на полчаса, а потом я лег, но не мог уснуть. Любуясь звездным небом сквозь кружево листьев над головой, я представлял себя узником, покинутым тюремщиком и вынужденным погибать от голода; то и дело узнику казалось, будто он слышит приближающиеся шаги и поворот ключа в замке; потом я думал о роскошных трапезах, райских фруктах и простых, но вкусных угощениях, которыми баловали меня у миссис Риверс; возможно, много лет пройдет, прежде чем я снова их отведаю.

Настала полночь; стояла безветренная тишь,

не колыхался ни один листок на ветке; иногда мне казалось, что я задремал, но уснуть по-настоящему не удавалось; часы тянулись бесконечно. Вдруг промелькнула мысль, что я умираю и не доживу до рассвета. Придет Алитея, но друг не ответит на ее зов и никогда больше с ней не заговорит. В этот момент я услышал шорох; вероятно, какой-то зверек рыскал в кустах. Шорох приблизился, и я различил шаги; между стволами деревьев появилась белая фигура; я снова решил, что это сон, пока не услышал самый прекрасный голос, позвавший меня по имени, и надо мной не склонилось самое прелестное и доброе в мире лицо; она взяла своей мягкой и теплой рукой мою холодную вспотевшую ладонь. Я встал, обнял ее и прижал к груди. Она нашла мою записку, когда ложилась спать; боясь раскрыть тайну моего убежища, дождалась, пока все уснули, и украдкой вышла из дома; со свойственной ей предусмотрительностью она, всегда помнившая о нуждах и страданиях другого, принесла еду и теплый плащ, которым укутала мои продрогшие конечности. Я ел, а она сидела рядом и улыбалась сквозь слезы; она не проронила ни слова упрека, лишь радовалась нашей встрече и сердечно меня поддерживала.

Я слишком подробно рассказываю о тех днях; мой рассказ затянулся, я должен короче описывать те невинные счастливые моменты. Алитея легко уговорила меня повидаться с ее матерью; миссис Риверс приняла меня, как мать приняла бы сына, которому грозила смертельная опасность и кто сумел ее избежать. Я видел вокруг только улыбки и не слышал ни одного укоризненного слова. От моего горя и отчаяния не осталось ничего; я недоумевал, как они могли испариться столь бесследно. В моей душе засияло яркое солнце.

Я ни о чем не спрашивал и ничего не делал; я догадывался, что миссис Риверс что-то предпринимает, но не спрашивал, что именно. Каждый день я по несколько часов сидел за уроками, чтобы отплатить за доброту щедрой старшей подруге. Каждый день я слушал ее кроткие речи и гулял с Алитеей по горам и долинам, обещая ей стать добродетельным и великим человеком. Поистине в мире нет более чистых, возвышенных, божественных устремлений, чем устремления пылкого юноши, мечтающего о любви и благе и еще не растерявшего детскую невинность.

Тем временем миссис Риверс переписывалась с моим дядей; по счастливому совпадению, в

этот самый момент появилась учебная вакансия, которой он давно для меня добивался, и меня отправили в военную академию Ост-Индской компании. Перед отъездом подруга моей матери со всей свойственной ей ласковой горячностью напомнила мне о моих ошибках, долге и ожидании, что я оправдаю возложенные на меня надежды. Я дал им с Алитеей обещание и поклялся стать таким, каким они хотели меня видеть; моя душа полнилась великими амбициями и пылкой благодарностью; я казался себе участником жизненного спектакля, и сцена, в которой мне предстояло сыграть, виделась в самых радужных и великолепных красках; мной руководило не тщеславие и не гордость, а желание доказать, что я достоин этих двух обожаемых мною женщин, которые были для меня всем миром и спасли меня от меня же самого, приютив в своих чистых и счастливых сердцах. Неудивительно, что с тех пор и до этого самого дня они представляются мне ангелами, спустившимися на землю, и каждое воспоминание о них я храню как бесценное сокровище. И как я им отплатил? Холодный, бледный призрак! Пусть твои сомкнутые очи и темные нити мокрых волос хоть на миг перестанут укорять меня; дай мне передышку,

и я закончу рассказ, оправдаю тебя и поведаю о своем преступлении.

Итак, меня отправили в военную академию. Если бы я поехал туда сразу, все сложилось бы лучшим образом, но я провел месяц в доме дяди, где со мной обращались как с негодяем и преступником. Я пытался воспринимать это как испытание своей клятвы и решимости быть смиренным и подставлять другую щеку всякий раз, когда ударяют по одной. Я считал себя не вправе обвинять окружающих и защищаться, но все же полагаю, что божественные добродетели моей наставницы передались и мне, и если бы ко мне отнеслись хотя бы с каплей доброты, я смог бы полюбить своих родственников; однако вышло так, что я покинул дом дяди, дав обет больше никогда не переступать его порога.

Я прибыл в военную академию, и с этого момента для меня началась новая жизнь. Я изо всех сил старался учиться, быть послушным и не вступать в споры. Меня хвалили за усердие, и это меня радовало, но счастливее всего я чувствовал себя, когда писал Алитее и ее матери и не ощущал, что мою совесть что-либо тяготит, а надежда чем-либо омрачена: теперь я был достоин их уважения. Когда во мне вновь просыпался мой огненный

нрав и от злости закипала кровь, я вспоминал кроткое прелестное лицо миссис Риверс и чудесные улыбки ее дочери и подавлял все внешние признаки гнева и ненависти.

Целых два года я не виделся со своими дорогими друзьями и жил одной лишь мыслью о скорой встрече — увы! когда же это переменилось? Я постоянно писал им и получал письма. Они были написаны под диктовку миссис Риверс чудесным почерком ее дочери и полны щедрой благосклонности и просвещенного благоразумия, благодаря которым я позволял одной лишь ей давать мне указания и наставления. Алитея добавляла от себя пару шутливых фраз, вспоминая места, где мы вместе гуляли, и докладывая мне обо всех незначительных событиях своей невинной жизни. В этих письмах ощущался покой, и даже мой бунтарский дух проникался содержавшейся в них кроткой безмятежностью. Прошел еще год, и до меня дошли печальные известия. Миссис Риверс была при смерти. Алитея писала в отчаянии; она была одна, отец находился в плавании где-то далеко. Она умоляла меня о помощи и просила приехать. Я не колебался ни минуты. Ее письмо пришло накануне экзамена; я посчитал, что бессмысленно даже просить разрешения меня

отпустить, и решил сразу же ехать самовольно. Написал директору, что болезнь друга вынудила меня на этот шаг, и пешком, почти без гроша за душой, двинулся на другой конец страны. Не стану описывать все, что со мной произошло, физические страдания, которые мне пришлось пережить в этом путешествии; они казались ничтожными в сравнении с агонией ожидания и страха, что я уже не застану живой подругу, которая почти заменила мне мать. Жизнь едва теплилась в ней, когда я наконец переступил порог ее спальни, но, увидев меня, она улыбнулась и попыталась протянуть руку, которую уже сжимала Алитея. Несколько часов мы просидели у ее постели и просто смотрели на нее, молча переглядываясь. Алитея, от природы наделенная порывистым и даже горячим нравом, не проявляла никаких внешних признаков горя, за исключением печальной бледности, впитавшей в себя весь ее румянец и омрачившей лоб тревожной тенью. Она стояла на коленях у кровати, прижав к губам руку матери, будто хотела до последнего ощущать биение ее пульса, уверяя себя, что та все еще существует. В комнате царил полумрак; на затылок скорбящей Алитеи падал рассеянный солнечный луч, а лицо ее матери

было в тени — в тени, которая углубилась, когда ее лицо подернулось смертной пеленой; глаза открылись и закрылись, она что-то невнятно пробормотала и будто бы уснула. Мы не шевелились; потом Алитея подняла голову и взглянула в лицо матери, а увидев в нем перемену, уронила голову на безжизненную руку, которую все еще сжимала своей. Вдруг раздался тихий звук; слегка дернулись пальцы. Я увидел, как лицо миссис Риверс потемнело, будто что-то пробежало по нему и исчезло, и оно вновь стало мраморно-белым и неподвижным, сложенные в улыбку губы застыли и дыхание пресеклось. Алитея вздрогнула, вскрикнула и бросилась на тело матери — теперь это было всего лишь тело, а невинная душа улетела на небеса.

Моим долгом было утешить несчастную дочь; Алитея, кроткая, как ангел, легко поддалась моим уговорам, когда первый приступ скорби миновал. Горе ничуть ее не озлобило. Она собрала все вещи, принадлежавшие матери, и окружила себя предметами, напоминавшими о ней. Она говорила о ней постоянно; вместе мы перебирали ее добродетели, ее мудрость и ласку, и воспоминания о каждом слове и поступке, подтверждавших ее совершенство, вызывали у нас восторженный

трепет. Пока мы разговаривали, я не мог не заметить перемены, случившейся в мое отсутствие с красивой девочкой, которую я знал; та расцвела и превратилась в девушку; ее фигуру отличала совершенная грация, и каждая черта и жест полнились нежным очарованием; при взгляде на нее от восторга кружилась голова. Если прежде я любил ее, то теперь начал боготворить; казалось, она взяла от матери ее ангельскую сущность и два ангела объединились и стали одним. Все хорошее, что они делили на двоих, теперь было сосредоточено в одной Алитее, и во мне пробудилось самозабвенное обожание и готовность отдать ей свое сердце. Эти чувства до сих пор витают возле ее могилы и освящают каждое воспоминание о ней.

Хрупкое тело миссис Риверс опустили в холодную землю, и каждый день мы ее навещали; каждый день находили новые памятные вещицы и говорили об усопшей, сколько хватало сил. Сразу после приезда я написал дяде, объяснил причину своего опрометчивого поступка и попросил прощения; тот отнесся к моему отъезду менее сурово, чем я ожидал, похвалил меня за проявление привязанности и благодарности к подруге, которая, безусловно, была ко мне слишком добра,

но добавил, что моя избалованность дает о себе знать, даже когда я берусь выполнять свой долг. Он велел мне немедленно возвращаться в академию, и через две недели я повиновался. Теперь смыслом моего существования стали письма от Алитеи, в которых та пока лишь красноречиво сожалела о смерти матери и нашей разлуке; я стал мечтать вечно быть ее защитником, другом, слугой и тем, кем она захочет меня видеть; посвящать себя ей день за днем, год за годом и всю свою жизнь. Пока мы были рядом и оба скорбели, я не понимал своих чувств и бушующего в сердце пламени, взрывавшегося подобно вулкану, стоило мне лишь услышать, как она произносит мое имя, или ощутить прикосновение ее мягкой руки. Но по возвращении в академию с глаз спала пелена. Я понял, что люблю ее, и, осознав это, пришел в восторг; я порадовался, что она станет первым и последним существом, пробудившим во мне это смятение, от которого становилось трудно дышать, темнело в глазах и теплело на сердце.

Вскоре после смерти матери Алитею отправили в пансион. Однажды я видел ее там, но нам ни разу не удалось остаться наедине. При встрече я не мог говорить — мог только любоваться ее безупречной красотой; как ни странно, мне не

хотелось раскрывать бурливших во мне чувств; она была так юна, так доверчива и невинна, что я хотел быть ей всего лишь братом; меня тревожило опасение, как бы признание в иных чувствах не привело к отчуждению между нами. На самом деле я был еще мальчишкой; друзей у меня не имелось, и я хотел поразмыслить и подождать подходящего момента, когда можно будет променять нашу невинную, но теплую и нежную привязанность на надежды и муки страсти, которая устремлена в будущее и тем опасна. Покинув ее, я укорял себя за трусость, но не мог рассказать обо всем в письме и отложил признание в своих чувствах до нашей следующей встречи.

Прошло несколько месяцев, и настало время моего отъезда в Индию. Тем временем из плавания вернулся капитан Риверс и поселился в том чудесном домике; Алитея переехала к нему. Перед отъездом я ее навестил. Душа моя не находила места; я хотел взять любимую с собой, но это было невозможно, и все же боялся оставлять ее и отправляться в далекую и долгую ссылку. Не верилось, что я смогу прожить без надежды ее увидеть и без ожидания встречи; что наши сердца теперь окажутся порознь, хотя привыкли биться в такт. Я решил сделать ей предложение

и назначить своей суженой, своей невестой; при этом я смутно рассчитывал, что, если предложение будет принято, капитан Риверс похлопочет о том, чтобы воспрепятствовать моему отъезду в Индию или ускорить мое возвращение. Я подъехал к дому и, бросив один лишь взгляд на ее отца, ощутил резкую неприязнь. Он был груб и неотесан и, хотя гордился дочерью, относился к ней без капли почтения, которого она заслуживала даже от него, — тем больше причин сделать ее моей, решил я и тем же вечером сообщил капитану Риверсу о своем намерении. Ответом мне стало лошадиное ржание; он отнесся ко мне то ли как к спятившему мальчишке, то ли как к наглому попрошайке. Во мне всколыхнулись страсти, и гнев разорвал все путы, которыми я пытался себя сдерживать; я ответил ему надменно и дерзко; разговор пошел на повышенных и резких тонах; я смеялся над его угрозами и демонстрировал, что он мне не указ. Я отвечал насмешкой на насмешку, пока в старом моряке не взыграла ярость и он меня не ударил. Все это время я даже не думал о нем как о неприкосновенном родителе Алитеи; для меня существовала только одна ее родительница, которая нас и свела; благодаря ей мы, дети ее сердца, стали спутниками и друзьями.

Но она умерла, а ее место занял невоспитанный тиран, возбуждавший во мне своей наглостью лишь презрение и ненависть. И все же, когда он меня ударил, я не ответил; он был стар и к тому же хром. Я встал, сложил руки на груди и взглянул на него с усмешкой, полной неописуемого презрения. Я сказал: „Бедный, несчастный человек! Вы думали, что ваш удар меня унизит? Я мог бы ответить тем же, и вы уже никогда бы не очнулись, но я вас пожалел. Теперь прощайте. Вы преподали мне один урок: лучше умереть, чем оставить Алитею в руках такого дикаря, как вы“. С этими словами я развернулся и вышел из дома.

Я остановился в ближайшей гостинице и написал Алитее, попросив ее, нет, потребовав со мной встретиться; заклинал именем ее матери. Она ответила; письмо было мокрым от слез — чудесное, кроткое создание; любой конфликт и даже мысль о несогласии были чужды ее натуре и становились потрясением для ее хрупкого существа, почти лишая ее рассудка. Она уважала отца и любила меня со всей нежностью, взращенной нашей давней дружбой и священными узами. Она обещала увидеться со мной, если я больше не стану искать встречи с ее отцом.

В тот же полуночный час, в том же лесу, куда

три года назад Алитея приходила с помощью и утешением ко мне, сбежавшему мальчишке, я увидел ее снова в последний раз перед отъездом из Англии. У Алитеи был лишь один недостаток, если можно назвать недостатком чрезвычайную деликатность души, приходившей в ужас от любого столкновения человеческих страстей. Если кому-то грозила физическая опасность, она была способна на геройство, но вреда морального она боялась как ничего другого; страх сковывал ее, и она полностью теряла самообладание. И когда она тайно, под покровом ночи, явилась ко мне, отцовские оскорбления по-прежнему звучали в ее ушах; друга детства изгнали из ее родного дома, и ему предстояло уехать навсегда; к тому же мой отъезд был омрачен раздором, и ввиду всего этого рассудок почти ее покинул; она пребывала в страшном смятении и бросилась ко мне в слезах, каждую минуту боясь, что нас обнаружат. Это было мучительное прощание. Она не осознавала страсть, терзавшую мое сердце; ее чувство было кротким, сестринским, и все же любовь ко мне уже стала частью ее самой и без нее она не представляла своего существования. Она осыпала меня ласками и добрыми словами, никак не могла от меня оторваться, но решительно

отвергала любую мысль о неповиновении отцу, и мои пламенные заверения в любви не нашли у нее отклика.

Так мы расстались, и через несколько дней я вышел в открытое море и отправился к далекому рубежу, куда лежал мой путь. Поначалу я ощущал разочарование и гнев, но вскоре воображение пролило сияние на все, что казалось холодным и мрачным. Я ощутил ее милую головку на своей груди; представил ясные глаза, полные слез, и услышал сладкий голос, клянущийся никогда не забывать своего брата — нет, больше чем брата, единственного друга, единственного, кто у нее остался. За время долгого путешествия настроение менялось множество раз; тихими ночами я предавался бесконечным грезам, а шторма и опасность пробуждали во мне более сильные эмоции, и неудивительно, что постепенно воспоминание о ее привязанности переросло в убеждение, что я любим, в веру, что она моя навек.

Я не стремлюсь написать свою биографию; я поведал эту историю лишь потому, что хочу казаться менее преступным в глазах своей милой дочери, иначе я бы сразу перешел к фактам, оправдывающим бедную Алитею, и к трагической истории ее гибели. Прошли годы; забвение

стерло память обо всех описанных событиях. Кто нынче вспомнит мудрую сребровласую даму из тихого домика в лесу и ее прекрасную дочь? Кто — кроме моего сердца, где они увековечены? Я вижу их в своих снах и навещаю в одиноких грезах. Я пытаюсь забыть о более поздних годах и вновь стать тем безрассудным мальчиком-дикарем, который изумленно и доверчиво внимал урокам добродетели; вызвать то ощущение таяния сердца, что пробуждали во мне слова старой дамы, и безудержную неистовую радость, которую я ощущал рядом с ее дочерью. Если ад существует, мне не нужны иные пытки, кроме воспоминаний об этих днях и о том, как идиллия была разрушена.

Десять лет я оставался в Индии и служил офицером кавалерийского полка Ост-Индской компании. Я немало повидал, пережил много страданий и понял, что систематическое неповиновение, являвшееся частью моей неукротимой натуры, из-за которой я в мирной жизни удостаивался порицания, на поле боя или в час атаки играло мне на руку. В бою я тоже порой заходил дальше, чем мне приказывали, но мне это прощали; на казарменном же положении я всегда вставал на сторону слабых, а сильных презирал. Меня боялись, считали опасным; мало

того, мой воинственный нрав нередко толкал меня на предосудительные поступки. Я связался с туземцами; в Ост-Индской компании это считалось правонарушением. Я стремился привить местным принцам европейские вкусы и дух, просвещенные взгляды и либеральные политические воззрения, однако английские губернаторы по какой-то причине предпочитали, чтобы те оставались темными и невежественными. Я же тянулся к дружеским связям и хотел служить угнетенным; однако теплые чувства, которые я пробуждал в туземцах, встречали недовольство англичан. Порой я также сталкивался с неблагодарностью и предательством; мои поступки неверно истолковывали — то ли из предрассудков, то ли из злобы, а мое положение младшего офицера без роду без племени придавало тому влиянию, которое я приобрел среди местных, выучив их язык и уважая их обычаи и чувства, оттенок таинственности; в темные века его бы приписали действию колдовства, в наши же просвещенные времена меня просто сочли опасным интриганом. Я спас жизнь старому радже; мне стоило больших усилий вытащить его из неприятностей, в которые его нарочно впутали европейцы, и тогда пошли слухи, что я сам мечу

на трон туземного принца, вследствие чего меня без объяснений перевели в другое место. Мои взгляды радикально отличались от взглядов тогдашнего индийского правительства; мои речи были безрассудными, а юношеское воображение покорили достоинства туземцев; признаюсь, я часто мечтал изгнать из Индостана торговую компанию. В моем характере мальчишеская глупость смешивалась с опасными страстями; при этом сам себя я воспринимал как участника великого героического приключения, которое должно было стать украшением моей жизни. Будучи младшим офицером Ост-Индской компании, я никогда не смог бы заслужить мою Алитею и обеспечить ей почести, которыми мне хотелось ее одарить. Власть, влияние и статус возвысили бы меня в глазах ее отца — такие вот личные побуждения примешивались к иным мотивам, — но я был слишком молод и дерзок и потому не мог добиться успеха. Начальство бдительно следило за мной. Еще вчера меня хвалили, а на следующий день сослали в далекую провинцию.

Но я не переставал мечтать, и в средоточии моих безумных планов всегда пребывала Алитея. Я стремился лишь к одному — доказать, что я ее достоин; мечтал, чтобы она принадлежала

только мне.

Кому-то покажется невероятным, что моя страсть к ней за десять лет не ослабела, но это было так. Такова особенность моей натуры — мертвой хваткой вцепляться в свою цель и, гордо пренебрегая обстоятельствами, жаждать полной и безоговорочной победы. Кроме того, Алитея стала неотъемлемой частью меня самого, и даже если бы мое сердце изучили и исследовали вдоль и поперек, то едва ли смогли бы вычленить ее и отделить. Мысль о других женщинах была мне ненавистна. Я гордился своим равнодушием к женским уловкам и закрыл сердце для всех, кроме Алитеи. В первые годы пребывания в Индии я часто ей писал, изливал душу на бумаге и умолял дождаться меня. Рассказывал, что каждый уголок одиноких джунглей и каждое горное ущелье наводят на мысли, как мы с ней когда-нибудь заживем в уединении; что все индийские дворцы и роскошные покои кажутся недостойными ее. Мои письма дышали страстью; то были письма жениха, нежные и невинные, но полные пылких чувств, проникновенные и красноречивые. Лишь они приносили мне облегчение. После длительных утомительных походов, пережив опасности прямой атаки или засады, проведя

целый день среди раненых и умирающих, в гуще разочарований и тягостных хлопот, коих в армии было множество, в приступе гордыни или отчаяния я всегда утешался, представляя ее лицо и вспоминая наше счастливое воссоединение. Я пытался донести до нее, что она — моя надежда и цель, мой оазис в пустыне, тенистое дерево, укрывающее меня от палящего солнца, мягкий освежающий ветерок, ангел, явившийся несчастному мученику. Ни одно из этих писем до нее не дошло; отец уничтожил их все, так что смерть его дочери и на его совести, он тоже должен мучиться раскаянием! Впрочем, я дурак и трус! К чему перекладывать тяжкое бремя на чужие плечи? Ни к чему! Нет, преступление совершил я, и я должен мучиться; мой поступок и моя совесть по-прежнему связывают меня с ней. Пусть раскаяние причиняет мне самую жгучую боль; лучше это, чем забвение!

В Индии я жил двойной надеждой: во-первых, рассчитывал дослужиться до такого высокого звания, чтобы капитан Риверс счел меня достойным Алитеи; во-вторых, ждал возвращения в Англию и надеялся, что ее чувства ко мне переменились, в сердце зародилась любовь и она будет готова все бросить ради меня. Эти две мечты

владели мной по очереди; я покорно поддавался обеим, упрямо их лелеял и всякий раз охотно к ним возвращался. При виде молодой индианки с младенцем моя душа всякий раз растворялась в трогательных фантазиях о семейном союзе и блаженстве с Алитеей. В ее ласковых темных глазах и выражении лица мне всегда виделось что-то восточное; сколько раз в мелькавших на улице красивых лицах под покрывалами мне виделась она; сколько тонких симметричных фигур, изящных, хрупких, с округлыми формами и плавной гибкой походкой я встречал по пути на праздник или в храм, и все они напоминали мне ее. Я лелеял эти фантазии; они подпитывали мою преданность, и мысли об Алитее стали моими вечными спутницами.

Прошло десять лет, и я получил известия, полностью изменившие мои обстоятельства. Умерли мой дядя и его единственный сын; ко мне перешло семейное состояние. Теперь я был богат и свободен; богат в своих собственных глазах и в глазах всех, кто равняет власть с богатством. Я не сомневался, что с таким наследством капитан Риверс уже не сочтет меня недостойным своей дочери. Я немедленно уволился со службы и вернулся в Англию.

Англия и Алитея! Какой благостной, какой невыразимо сладкой представлялась мне мысль о скором возвращении в деревенский уголок, где она жила; я представлял, как мы снова будем гулять по лесным тропинкам, навестим могилу ее милой матушки, вспомним все, что нас прежде связывало, и наши судьбы неразрывно сплетутся в единую судьбу. Путь домой прошел в блаженном предвкушении. Мне не терпелось ступить на родную землю; мне чудилось — через океан тянется тропа, в конце которой меня ждет она, и я радовался каждой волне и каждому отрезку лазурного моря, который мы преодолевали. Бескрайний Атлантический океан должен был привести меня к ней, и я благоговел перед ним, как иудейский пастух, которому явилось откровение; вместе с тем эти воды уже казались мне такими же родными и милыми, как ведущая к ее воротам липовая аллея. Прошедших в разлуке лет как не бывало; порой я воображал, что по возвращении найду рядом с Алитеей ее бледную мать и та освятит наш союз».

Глава XXVIII

«Высадившись в Англии, я тут же отправился в далекий северный край, где жила Алитея. Приехал в знакомую деревушку; там ничего не изменилось: я узнал и домики, и цветочные сады, а пожилые обитатели деревни, казалось, совсем не состарились. Сердце с восторгом ждало возвращения домой, и я торопливо направился к коттеджу Алитеи. Тот стоял заброшенный и заколоченный. Тут мое радостное настроение впервые омрачилось. До этого момента я никого о ней не спрашивал, даже не произносил ее имени; мне почему-то верилось, что я вернусь, как с прогулки, и все будет точно так, как до моего отъезда. Я жил мечтой и не учитывал, что всякое может случиться, хорошее и плохое; мне даже в голову не пришло, что жизнь меняется с течением лет.

Мое перо слишком медлит; я задерживаю внимание на том, на чем не следовало бы останавливаться, а всё потому, что эти подробности служат ширмой между мной и судьбой. Я навел справки и вскоре все узнал. Капитан Риверс умер; его дочь вышла замуж. Я, как дурак, жил в

вымышленном раю. Ни одного из препятствий, которые я рассчитывал преодолеть, больше не существовало, но на их месте выросла неприступная бронзовая дверь, защищенная замками, решетками и стражами; и ни одна петля и ни один засов в этой двери мне не поддавались.

Я поспешил уйти из проклятого места; теперь оно виделось мне адом. Подумать только, столько лет я надеялся зря; зря грезил о своем обожаемом ангеле, зря ее ждал и любил; я называл ее своей, пока другой держал ее в объятиях, я продался в вечное рабство ее тени, пока она, живая, служила украшением чужого дома! В моей душе бушевала буря, и я был не в состоянии описать эти болезненные чувства и тем более внятно их проанализировать; но теперь я понимаю, что так чувствует себя человек, который вернулся из приятного путешествия, завернул за угол своей улицы, рассчитывая увидеть дом, где жил с женой и детьми, — увидеть все, что было ему дорого; а прибыв на заветное место, обнаружил лишь дымящийся остов и узнал, что все сгорело и кости его возлюбленных покоятся под обломками; точно так я себя ощущал, ведь мое воображение построило дом и в нем поместило невесту, а рядом с ней — прекрасного малыша, что звал меня

отцом, а теперь я словно овдовел; одно лишь слово уничтожило мое будущее.

Так началась цепь событий, что привели к моему необдуманному поступку. Случайности и нечаянные обстоятельства, действия, которые я не знаю почему совершил; сами по себе они ничего не значили, однако, сложившись в единую последовательность и подпитываемые яростным пламенем, бушевавшим в моей груди, привели в движение разрушительные силы и обернулись трагедией, о которой я буду век сожалеть.

Растерянный и охваченный горем, столь острым и мучительным, будто катастрофа случилась вчера, — хотя я узнал, что с тех пор прошло уже много лет, — я бежал из деревушки, куда еще недавно так сильно стремился, и уехал в Лондон, не имея ни плана, ни четкого представления, как поступить, — лишь смутное желание что-то сделать. Сразу после приезда я встретил своего старого знакомого из Индии. Тот пригласил поужинать с ним, и я согласился; отказ пришлось бы объяснять, поэтому проще было сказать „да“. Я не хотел идти, но, когда подошел час, мне стало так невыносимо, мысли настолько одолели меня и измучили, что я пошел, лишь бы немного отвлечься от своего тягостного состояния. Это был

холостяцкий ужин; кроме меня, присутствовали еще три-четыре гостя, и среди них оказался мистер Невилл. С той самой минуты, как этот человек открыл рот и заговорил, я проникся к нему сильнейшей неприязнью. Он принадлежал к тому роду людей, который мне более всего отвратителен. Холодный, гордый, язвительный, развращенный денди, со временем превратившийся в закоренелого циника, он отчасти презирал и самого себя, а к окружающим относился с полнейшим пренебрежением. Его сердце не знало великодушия; он гордился умением увидеть червоточину и развращенность даже в прелестнейшей добродетели. Несмотря на свою высокомерную наружность, он был несчастен и озлоблен, а когда начинал говорить о женщинах, казался примитивным ничтожеством. Он не верил в женскую добродетель, и его высокомерная снисходительность и оскорбительное сладострастие возмущали меня до закипания крови. Для меня даже женская тень обладала святостью; коль скоро женщина оказывалась порочной, я относился к ней с богобоязненным сожалением, как к осквернённому храму; мне казалось, что вокруг нее по-прежнему витает дух святости, как вокруг поруганного алтаря; я никогда бы не

подумал относиться к женщине как к существу одного с собой порядка — для меня она была созданием более совершенным, пусть даже заблудившимся в дебрях нашего порочного мира, но всегда возвышающимся над лучшими представителями мужского пола. Из почтения к Алитее я уважал всех женщин. Сколько хорошего я о них знал! Бескорыстные, преданные, хрупкие — всё, что можно было бы счесть изъяном, являлось и их достоинством. А это сидевшее передо мной животное смело очернять тех, о чьей природе даже не имело представления! Я порадовался, когда он ушел.

„Странно, что Невилл ведет такие речи, — сказал хозяин ужина, — ведь он женат на самой прелестной — что там, лучшей — женщине в мире. Она намного моложе него, но выполняет свои супружеские обязанности прилежно и с радостью; наделена женской миловидностью, но лишена присущих женскому полу слабостей, однако, чтобы угодить его ревнивым причудам, согласилась уединиться от общества и похоронить себя заживо в его поместье на севере. Ума не приложу, как она умудряется выносить постоянную компанию этого никчемного заносчивого себялюбца. — Тут я заметил, что характер мисте-

ра Невилла показался мне крайне гадким, и мой знакомый продолжал: — Да, он неприятен и мелочен, но все же общество такой великолепной и совершенной женщины должно было изменить его мнение о женском поле; однако мне кажется, что он завидует ее абсолютному над ним превосходству, и дело даже не в естественном — я бы даже сказал, благородном — страхе потерять ее расположение; ему просто не нравится, когда другие ею восхищаются и предпочитают ее ему, особенно теперь, когда он постарел. Бедная Алитея Риверс! Вот уж кому не повезло“.

Я держал в руке бокал вина и сжал его так крепко, что хрупкое стекло чуть не треснуло, но в остальном никак не выказал своих чувств; если прежде я был несчастен и лишился всего, ради чего стоило жить, то теперь кровь свернулась в жилах и неестественный холод разлился по телу, так как я узнал, что моя Алитея навек привязана к этому грубому негодяю и потеряна не только для меня, но и для себя самой.

Какую жертву ей пришлось принести! Она отдала не только свою жизнь и сокровенные чаяния сердца; чудесный дух, ангел, ниспосланный радовать мир и подслащивать горечь существования каплей небесного нектара, стал

мусором для этого презренного животного. С того момента, как я убедился, что видел мужа Алитеи, кое-что в этом мире для меня навсегда умерло и перестало существовать. Прежде я примирялся с решениями Провидения, не сомневался в благосклонности и красоте Вселенной и, несмотря на свои несчастья, гордился принадлежностью к человеческому роду, любовался природой, но теперь все это ушло. Я ее потерял, но это было неважно; это была моя беда, но она не повредила порядку и благости всего мироздания: я-то свято верил, что она вышла за человека лучше меня, однако теперь выяснилось, что она связала свою судьбу с низменным и отвратительным типом, вмещающим самые худшие в мире качества, и будто дьявол воцарился на троне Господнем и жизнь превратилась в ад.

„Ты несчастна, Алитея! Иначе и быть не может! В этом союзе не может быть взаимности, слияния сердец и нерушимой веры в уважение и доброту другого; в нем никто не станет предаваться сияющим фантазиям о красоте жизни. Ты привязана к грязному разлагающемуся трупу! Ты отрезана от всякого теплого общения, ты не можешь гордиться, что обменяла свою девственную чистоту на нечто более сладостное и драгоценное

— место в сердце возлюбленного; ты холодно и равнодушно взираешь на дни, что не приносят надежды, а может, даже буйствуешь в отчаянии и проклинаешь Всевышнего. О, как отличалась бы твоя судьба, случись тебе связать ее со мной, твоим сердечным братом, слугой, возлюбленным и верным другом!“

Я выбежал из дома своего знакомого и всю ночь скитался по улицам; мои страсти пробудились и бушевали, как неистовый вулкан. Если бы я встретил Невилла, то, несомненно, убил бы его; моя душа низверглась в хаос, но в эпицентре бури тьму прорезал один дрожащий луч; слабое, но негаснущее мерцание воссияло над руинами, среди которых я стоял. Я сказал себе: „Я сошел с ума и дошел до грани отчаяния“, но под внешней оболочкой мысли различил отчетливые внутренние очертания. Я понял, чего хочу и что собираюсь сделать; с тех пор я упорно к этому шел, хотя пытался обмануть себя и убедить, что моя решимость дрогнула. Нет более опасного состояния ума, чем слепое упорство в средствах, когда цель на самом деле до конца не определена.

Вот что подвело меня к роковому часу: любовь, которая длилась всю мою жизнь, внезапная потеря и осознание, что меня уничтожил этот

негодяй. Я возненавидел устройство Вселенной и вступил с судьбой в грозное демоническое противостояние, решив, что возьму власть в свои руки и исправлю допущенную Господом несправедливость. Ах, снова я святотатствую! Господь создал звезды и зеленую землю, в чьем чреве теперь покоится Алитея. Она тоже принадлежит Богу; я верю, что, несмотря на дьявольское вмешательство, осквернившее и растлившее ее земную жизнь, сейчас она вернулась к источнику всего благого и пожинает плоды своих добродетелей; ей воздалось за страдания. Иначе зачем нас создал Бог? Чтобы ползать по земле, мытарствовать и умирать? Я в это не верю. Блаженный дух и всемогущий наш Владыка не для того сотворили идеал, чтобы затем его разбить, оставив лишь обломки! Я негодовал и изумлялся; тем временем Алитея продолжала жить и страдать, а я вообразил себя Провидением и решил исправить ошибки судьбы и изменить несправедливое устройство мироздания. С того момента я ни разу не остановился и не оглянулся; жребий был брошен, и вот я здесь. А Алитея? Мы уже подошли вплотную к ее заброшенной могиле.

Я сосредоточился на своей опасной задаче, и тут судьба подбросила мне инструмент, без которого

мне было бы трудно осуществить свой план. Я получил письмо от человека, попавшего в беду; тот просил денег, потому что собирался уехать из Англии и эмигрировать в Америку, а теперь пытался заработать на проезд; небольшая помощь с моей стороны принесла бы ему неоценимую пользу. Проситель вскоре предстал передо мной; я взглянул в его умное, но печальное лицо, обратил внимание на его манеру держаться — шустрость пополам с неуверенностью — и угадал, что передо мной трус, но он согласится преступить закон за достойное вознаграждение, если это не будет чревато риском. Я знал его со времен своей службы в Индии: его звали Джон Осборн, он был замешан в различных финансовых махинациях с участием туземцев и англичан, в конце концов вызвал подозрения правительства и отправился в тюрьму. Оттуда он написал мне, так как меня считали своего рода защитником обездоленных, и я его навестил. Это был безобидный человек, добрый и милосердный; его погубила нечестность, которой он заразился в дурной компании, а бедность способствовала развитию его порока; но в нем жило сильное желание стать уважаемым человеком, если бы только ему удалось существовать, зарабатывая на жизнь честным образом. Я думал, что,

если помогу ему выпутаться из затруднительного положения и избавлю от искушения, мне удастся спасти его от позора; я оплатил ему билет до Англии, где, по его словам, у него имелись друзья и средства. Но старые привычки его не оставили, и в тот момент, хотя он утверждал, что решил эмигрировать из-за бедности, я понял, что на самом деле он боялся преследования за очередное мошенничество; как он сам утверждал, его обманом втянули в сделку, оказавшуюся жульнической. И даже с учетом всего этого Осборн не был злодеем; его едва ли можно было назвать даже преступником; он честно мне во всем признался; он всегда стремился занять более благородное место в обществе, но не понимал, как этого достигнуть, кроме как с помощью денег, а зарабатывать умел лишь обманом.

Я выслушал его. „Вы неисправимы, друг мой, — сказал я. — Разве можно верить вашим обещаниям? И все же я хочу вам помочь. Я сам еду в Америку; будете меня сопровождать“. Затем я постепенно раскрыл карты и объяснил, что от него требуется, но рассказал лишь половину правды. Осборн не знал ни имени, ни статуса дамы, которая должна была сопровождать меня в путешествии через океан. Люди всегда формируют

представление о поведении окружающих с оглядкой на собственную самую сильную страсть; вот и Осборн решил, что я собираюсь увезти из дома богатую наследницу.

Так, заручившись поддержкой Осборна, я отправился в Камберленд. Я представлял исход своего плана, но не продумал промежуточные этапы. Перед отъездом я узнал, что мистер Невилл еще в городе. Мне выпал шанс воспользоваться его отсутствием, и я это сделал. Я добрался до поместья Невиллов, миновал ворота и подъехал по центральной аллее к дому; меня проводили в комнату, где, я знал, меня ждет она. Я призвал на помощь все самообладание, чтобы унять гулкое биение сердца. Я рассчитывал увидеть ее другой, думал, что она изменилась, но она осталась прежней. Странно, что в ее внешности сохранилось так много от той девочки, с которой я был знаком. Фигура была тонкой и воздушной, густые тугие кудряшки — пышными, как прежде, лицо… Это была Алитея, такая же, как раньше. Ласковый любящий взгляд, высокий лоб, уста, из которых текла мелодичная речь, — время ей совсем не навредило; это была она.

Она не сразу меня узнала; безбородый мальчишка стал мужчиной, потрепанным ветрами и

истерзанным размышлениями; когда я представился и назвал свое давно забытое имя, которое она ни разу не слышала с тех пор, как в последний раз его произнесла, с ее губ сорвался вскрик: „Руперт!“ — и наши жизни, разведенные судьбой, вновь соединились; с каким восторгом она смотрела на меня, с каким пылом произносила мое имя; ее сердце осталось прежним — горячим, любящим и честным.

Мы сели вместе, взявшись за руки, и с неприкрытой радостью смотрели друг на друга. Сперва я притворился с дьявольским коварством, что испытываю к ней лишь братские чувства, расспросил о ее судьбе и переживаниях и, увидев, что она не хочет признаваться в своих разочарованиях и в том, как на самом деле обстоят дела в ее несчастном браке, заговорил о прошлом. Вспомнил ее дорогую матушку; сказал, что ее бледный образ часто являлся ко мне, сдерживал мои порывы, направлял меня и нашептывал мне мудрые слова. Я перебирал тысячи сцен из нашего детства, когда мы гуляли по тропинкам, держась за руки, и наши сердца бились в такт; мы поверяли друг другу все свои переживания, все самые безумные и смелые мысли и обсуждали великие тайны природы и судьбы, что завораживали

вали наши юные сердца и внушали им трепет, но всё же казались светлыми и прекрасными. Я говорил и в то же время пристально ее изучал; поначалу мне показалось, что она совсем не изменилась, но потом я заметил разницу. Ее губы, всегда такие улыбчивые, остались прежними и так же мило и добродушно улыбались, но глаза — глаза смотрели иначе: отяжелели веки, во взгляде появилась влажная меланхолия, свидетельствовавшая о том, что Алитея часто плакала; щеки, некогда круглые и бархатистые, как персик, не ввалились, но утратили свою полноту. Она стала еще прекраснее — задумчивость и пережитые чувства облагородили ее лик, — но она казалась куда менее счастливой. Прежде улыбка вспыхивала на ее лице, стоило лишь ее взгляду упасть на любой новый предмет; теперь же у наблюдателя пробуждались жалость и слезы и начинала болеть душа, так как все, что происходило в ее правдивом сердце, как в зеркале, отражалось на лице. А хуже всего было то, что время от времени в ее глазах мелькало нечто напоминавшее страх. Как непохожа была эта женщина на прежнюю доверчивую и бесстрашную Алитею!

Мой разговор о прошлом сперва успокоил ее, затем вызвал радостное возбуждение и заста-

вил забыть об осторожности. Так постепенно я подвел ее к нужной мне теме — разговоре о ее отце и мотивах, побудивших ее вступить в брак. Поскольку я знал и живо помнил обо всем, что было ей дорого, она не заподозрила ничего плохого и рассказала чистую правду, признавшись в том, в чем никогда никому прежде не признавалась; не успела она опомниться, как я заставил ее сознаться, что она никогда не любила мужа, не находила в нем сочувствия и доброты и что необходимость заставляла ее терпеть изъяны, противоречившие ее нраву. Будь я немного осмотрительнее, я бы сдержался и попробовал завоевать ее безоговорочное доверие, прежде чем открыть ей душу, ведь все поведанное мне она раньше не рассказывала ни одной живой душе. Таков был ее принцип: смиряться и утаивать собственное понимание недостатков супруга, и если бы я со змеиным коварством не подкрался незаметно, не упомянул имя ее матери и не заговорил о безоблачных детских годах, она бы и мне ни в чем не созналась. Но я больше не мог сдерживаться. Рассказал, что видел ничтожного человека, с которым она связала свою жизнь. Проклял судьбу, что их свела. Она же положила ладонь мне на плечо и, заглянув мне в глаза с

доверчивой невинностью, произнесла: „Тихо, Руперт. Не додумывай того, о чем не знаешь. Он не злой человек, и я не вправе жаловаться; не каждый становится нам братом, другом и родственной душой. Невиллу все это непонятно, но он мой муж, и я его уважаю“.

Я понимал, что ею движет и почему она так говорит; я чувствовал почтительную терпеливость, присущую ее благородному уму. Она помнила об утрате своей невинной доверчивости, о долгих годах, прожитых рядом с ним, о детях, о верности, о долге, который образцово исполняла, и об искренних попытках игнорировать его ничтожность. Она не помышляла о другом мужчине, хотя давно перестала испытывать чувства к супругу. Она действовала согласно чистоте своей души, хотя обманывала себя и верила, что все это ради него. Ее кроткость и стремление поступать правильно заслонили от нее правду; я же преисполнился решимости сорвать этот покров и нетерпеливо воскликнул: „Ах, как же ты ошибаешься, моя дорогая! Не заблуждайся: твоя благородная душа не сможет опуститься до уровня этого примитивного человека. Ты уважаешь собственное чувство долга, но *его* ты ненавидишь — иначе и быть не может!“

Тут она вскочила, ее лицо и шея пошли красными пятнами то ли от гнева, что ее подталкивают к чему-то против ее желания, то ли от природной деликатности, из-за которой ей было неприятно слышать, как о ее муже говорят в таком ключе. Что до меня, я рассердился, когда посмотрел на нее и ощутил исходившие от нее сладостные, сводящие с ума флюиды; передо мной стояла та, кого я любил столько лет; она принадлежала мне в мечтах, и я воображал, что ее верность и истинная привязанность — мои навеки; но ее у меня отняли, отдали, и не тому, кто, подобно мне, знал о ее непревзойденном совершенстве и мог его оценить, а человеку с низменной душой, который должен был вызывать у нее отвращение, как животное другого вида. Все возвышенные мысли и ангельские устремления ее души, все щедрое, высокое и героическое, что согревало ее сердце, досталось слепому земляному червю, державшему в руке бесценную жемчужину и считавшему ее шлаком! Ему были незнакомы даже простые чувства — взаимное доверие и терпеливость; признания в любви, нежные прикосновения — что они значили в глазах жалкого существа, которое видело низменность и обман в высочайших и чистейших побуждениях жен-

ского сердца?

Обо всем этом я ей поведал; точнее, эти соображения попросту вырвались у меня. Она меня остановила? „Не стану отрицать, те же мысли иногда приходили в голову и мне, — произнесла она, — и ты сейчас выманил у меня мою тайну. Я проливала глупые слезы, и казалось, будто девичьи мечты были безоблачным утром, за которым настал пасмурный унылый день. Однако я укоряла себя за недовольство, и ты не прав, пытаясь вновь пробудить его во мне; сердце может бунтовать, но вера, философия и память о пролитых слезах не дают мне роптать; я помню, что цель существования каждого человека — не быть счастливым, а исполнять свой долг, и смысл моей жизни — исполнить мой. Так научи меня делать это более усердно, более самозабвенно, и тогда я поверю, что ты желаешь мне добра. Это правда, муж не понимает ребяческой сентиментальности моего сердца, которое слишком сильно рвется в облака и там пытается искать радость; его не восхищают мысли и чувства, которые питают меня и дарят счастье. Его натура сильная, суровая и не столь восприимчивая; он менее охотно сопереживает и сочувствует. Но если мне и приходилось скучать по нашим с тобой оживленным

и воодушевляющим беседам, так как общение с ним не дарило того же, теперь ты вернулся, ты снова подарил эту радость, и я уже не чувствую, что ее лишена; теперь моя жизнь полноценна“.

Я горько усмехнулся. „Бедная невинная пташка, — воскликнул я. — Думаешь, можно одновременно быть свободной и жить в клетке? Вознестись в небеса, находясь в руках птицелова? Алитея, ты страшно заблуждаешься; ты, кажется, совсем не понимаешь устройства низменной души. Скажи, муж тебя когда-нибудь ревновал?“

Она похолодела, и я увидел, как ее черты исказила острая болезненная судорога; Алитея отвернулась от меня, но я успел заметить в ее взгляде трепещущий испуг, который видел и ранее. Поняв, насколько сильно этот человек поработил ее душу, я ужаснулся. Я сказал ей об этом; заметил, что ее „долг“, которому она душой и телом себя посвящает, является для нее унизительным; сказал, что она должна освободиться.

Она в недоумении смотрела на меня, но я продолжал. „Неужели ты не чувствуешь трепета и восторга при одном упоминании свободы? — спросил я. — Неужели мысль о ней не подталкивает тебя к действию? Не наполняешься ли ты дотоле неведомой невыразимой радостью, пред-

ставляя, как сбросишь тяжкие оковы? Несчастная узница, неужели не хочешь вздохнуть полной грудью и перестать бояться? Сбежать от своего тюремщика в дом, где царят свобода и любовь?“

До этого момента она, видимо, думала, что я, как и она, сожалею о ее печалях и сокрушаюсь о ее несчастье, чью истинную глубину могла прочувствовать лишь она одна; она раскаивалась в своей откровенности, но была благодарна мне за искреннее сочувствие. Но теперь она увидела скрытый подтекст и посмотрела на меня в упор, словно пытаясь заглянуть мне в душу; прочла в глазах желания моего сердца, отпрянула от них, как от змеи, и воскликнула: „Никогда больше, Руперт, — слышишь, никогда! — не говори со мной так, или нам снова придется расстаться. У меня есть сын!“

При этих словах ее лицо осветилось ангельской любовью; она воспользовалась моей ошибкой и слабостью, и к ней вернулось самообладание, которое она потеряла во время нашего разговора; с чарующей благосклонностью она протянула мне руку и голосом, полным искреннего стремления меня переубедить, произнесла: „Будем друзьями, Руперт, как когда-то давно; будем братом и сестрой. Не верю, что ты вернулся, чтобы мне

навредить и ранить меня. Я счастлива с детьми; побудь со мной немного, и ты увидишь, что мне грех жаловаться. Ты полюбишь моего чудесного мальчика“.

Ах, если бы одних этих слов было достаточно, чтобы излечить меня от безумия и заставить забыть о преступных планах! Однако, если бы вы ее видели, если бы своими глазами смотрели на это неподражаемое изящество, кроткий и ласковый румянец на ее щеках, скромность и прямодушие; если бы слышали, как она отзывается о своем ребенке, — как католическая Мадонна, в которой нет ни единой капли женской обольстительности, а есть невинный и безудержный восторг от одной лишь мысли о сыне, — вы бы поняли, почему я испытал желание как можно скорее исполнить свой план, а стремление сделать ее моей навек лишь окрепло и обострилось. Я продолжил подталкивать ее к побегу, пока не увидел в ее лице явное расстройство и тревогу; наконец она внезапно встала и вышла, словно была не в силах больше выносить мою настойчивость. Она вышла, не говоря ни слова, но я заметил, что она заплакала. Поистине, тогда я был безумен и принял эти слезы как знак, что она наконец поддалась моим уговорам и в сердце ее идет

борьба, хотя на самом деле она плакала оттого, что друг ее детства перестал быть другом и ранил ее чувства».

Глава XXIX

«На следующее утро я снова пришел, но меня к ней не пустили; это повторилось дважды. Я решил, что она меня боится, и это лишь пуще прежнего побудило меня продолжать добиваться своего. Я писал ей письма; она не отвечала. Я тайком проникал на территорию поместья, сидел в засаде и поджидал ее; я решил во что бы то ни стало снова с ней встретиться. Наконец однажды днем я увидел, как она одна гуляла в уединенной части парка, погрузившись в раздумья; я внезапно подошел к ней, и, заметив меня, она сперва обрадовалась, так сильна была в ее сердце привязанность ко мне и жива надежда, что я не стану мучить ее, пытаясь возобновить наш предыдущий разговор. Но я считал, что имею на нее право, и не желал так просто от него отказываться. Когда она предложила возобновить нашу детскую дружбу, я спросил ее, как это возможно, раз она больше мне не доверяет; как она может сулить мне счастье, раз все мои надежды рухнули. Я заявил, что твердо убежден: ее мать хотела, чтобы мы поженились; она ради меня

ее воспитывала и препоручила ее мне, поэтому Алитея по праву моя.

Тут ее глаза полыхнули огнем. „Моя мать, — сказала она, — воспитывала меня ради куда более высокой цели, чем обеспечивать твое счастье! Она учила меня уважать обязательства и хотела, чтобы я, как и она, стала матерью. Не буду отрицать, — продолжила она, — наши с матушкой судьбы схожи, мне тоже больше по душе роль матери, чем жены. И поскольку я искренне хочу походить на нее добродетелью, я не буду сожалеть об обстоятельствах, из-за которых посвятила свое существование детям, а не стала счастливой женой и лишилась этой благословенной доли. Я не прошу для себя счастья; меня вполне устраивает моя судьба, я не горюю из-за того, что мои девичьи романтические мечты не осуществились“.

„Значит, тебя не делают несчастной твои страхи, его низменная ревность, тщеславие и ограниченная натура, его зверская жестокость? Я знаю больше, чем ты думаешь, Алитея; я читаю твое сердце; не может быть, чтобы ты не горевала; ты подчинилась ему, но стонешь под его гнетом; ты повенчана со своим долгом, но *он* постоянно наблюдает за тобой, подозревает, обвиняет! Страх

оставил отпечаток на твоем лице, моя бедная девочка; твоя шея согнулась под ярмом, глаза потеряли блеск, так как ты больше не уверена в своей добродетели, и все же ты по-прежнему невинна“.

„Господь свидетель, так и есть, — ответила она, и из ее глаз хлынул чистейший поток, но ей стало стыдно, и она смахнула слезы. — Я невинна и такой останусь, Руперт, хотя ты пытаешься сбить меня с пути истинного! Где еще мне искать уверенность в своей добродетели, как не в своем сердце? Ты под пытками выманил у меня правду, и я признаюсь: муж мне не доверяет; но если он меня просто не понимает, ты извращаешь мои помыслы; я верю в Бога и в свое сердце и никогда не пойду наперекор своей совести; я буду счастлива вопреки всему. Мать, на мой взгляд, — звание более священное, чем жена. Мой мальчик — центр моего мироздания; пусть остальные пронизывают мое сердце ядовитыми стрелами, в нем я нахожу чистую радость“.

„Но, милая Алитея, твой мальчик никуда не денется, как и остальные радости, к которым ты привыкла! — воскликнул я. — Ты недостойна этого неполноценного убогого существования; ты не должна жить, как вдовая мать сироты, — а

именно так ты живешь сейчас; ради тебя я стану ему отцом, а ты обретешь множество других радостей, и самое верное и любящее сердце, что когда-либо билось в мужской груди, станет твоим. Алитея, ты не должна приносить себя в жертву этому гнусному истукану; отдайся тому, чья любовь, уважение и вечная преданность тебя достойны, пусть у него и нет других прав. Позволь мне спасти тебя от него! О большем я не прошу“.

Я почувствовал, как по щеке скатилась слеза. Такого не случалось уже много лет. Сердце преклонялось перед ее безупречностью. Сочувствие и горе смешивались во мне с глубоким сожалением. Она заметила искренность моих переживаний и попыталась меня успокоить. Тоже заплакала, ведь, несмотря на увещевания разума, осознавала жестокость своей доли; ее сердце наверняка мечтало еще хотя бы раз в жизни испытать восторг полного взаимопонимания. Но, несмотря на слезы, которые она отчасти проливала и о себе, она не дрогнула; она сострадала моему несчастью, но осуждала мою беспринципность и пыталась пробудить во мне терпение, благочестие и философскую стойкость — все те благородные добродетели, что помогли бы мне совладать с поработившими меня страстями.

Мы забыли о времени и беседовали так же откровенно, как в прежние времена, но с тех пор наши сердца много пережили и стали намного печальнее. Я не хотел с ней расставаться; когда вышла луна, пролив на лес серебристое сияние и украсив тропинку темными тенями, мы по-прежнему разговаривали, так как она думала, что больше мы не увидимся. Пусть мне придется ответить за свои преступления перед Господом, но я клянусь, что она ни разу не засомневалась и не ступила на запретную территорию, куда я пытался ее заманить. Она сказала, что больше не намерена со мной видеться до возвращения мужа, и умоляла не искать с ней встречи тайком, иначе она будет вынуждена запереться в доме. Я слушал ее и отвечал, хотя не помню, что именно; я пуще прежнего исполнился решимости не потерять ее и, несмотря ни на что, продолжал питать безумную надежду. Наконец она ушла, полагая, что ей удалось меня убедить; она была полна решимости не видеться со мной до возвращения мужа. Это намерение совершенно противоречило моим планам. Я поклялся, что увижу ее снова, причем не на территории ее поместья, где все свидетельствовало против меня, а там, где она будет свободна и ничто не станет напоминать

ей о ярме, под тяжестью которого склонилась ее шея. Я наивно мечтал, что смогу убедить ее сбросить этот груз. Если она позволит, я задержу ее всего на несколько часов и после верну домой, но если все-таки смогу убедить ее стать свободной и последовать за мной добровольно, тогда… При мысли об этом земля уходила из-под ног, и моя глупость лишь укрепляла мою страсть.

Я подготовил все для осуществления своего плана; поехал в Ливерпуль и купил двух быстрых лошадей и маленькую импортную коляску, которая идеально подходила для моих целей. Вернувшись на север, в Дромор, выбрал уединенный уголок для нашего последнего разговора или первого часа моего вечного блаженства. Есть ли место более одинокое, чем мрачное дикое взморье Южного Камберленда? Со стороны суши вид преграждают величественные горы; просторный безлюдный берег тянется, покуда хватает глаз; его пересекают реки, которые в полноводье представляют собой угрюмые широкие протоки, а мелея, превращаются в болотистые пустоши и не пересыхают только в самом русле. Эту картину запустения оживляет лишь ряд песчаных дюн, высота которых доходит до тридцати-сорока футов и заслоняет океан; впрочем, в этих одиноких

водах не на что смотреть, так как ни один корабль никогда не приставал к этому унылому берегу. Там, в песках, рядом с устьем одной из рек, стояла маленькая хижина, заброшенная, но целая; в ней иногда ночевали проводники, которых в этих краях нанимают для перехода рек вброд в полноводье, так как любое отклонение от правильного пути в такое время чрезвычайно опасно: дно реки испещрено глубокими ямами и рытвинами. Эту хижину я и выбрал в качестве места, где все решится. План был такой: если она согласится меня сопровождать, мы немедленно двинемся в Ливерпуль и сядем на корабль, плывущий в Америку; если же решит вернуться, хижина находится всего в пяти милях от Дромора, и я легко смогу отвезти ее обратно; никто и не успеет ничего заподозрить. Я спешил это осуществить, так как скоро должен был приехать ее муж.

Мой замысел казался вполне исполнимым. В глубине души я не рассчитывал, что смогу убедить ее покинуть семейный дом, но все же крошечная вероятность оставалась, и это сводило меня с ума. Однако даже если я не сумел бы ее уговорить, мне хватило бы уединения с ней на несколько часов, и не под крышей ее презираемого мужа и хозяина, а на природе, где все

дышит простором и свободой, а у ног плещется вольный океан; где ни глаза, ни уши не станут шпионить за истинными безудержными порывами ее души и никто не помешает нам сбежать, коль скоро она этого захочет. Для этого плана мне был нужен Осборн, которого я оставил в унылом городке Рейвенгласс; он, собственно, и показал мне ту одинокую хижину. Я почти ничего ему не объяснял, лишь приказал пригнать коляску в определенное место и играть роль кучера; завидев меня и даму, которую я посажу в экипаж, немедленно пришпорить лошадей и не обращать внимания на ее крики, на мои приказы и вмешательство незнакомцев; не останавливаться, пока мы не доедем до хижины; там я ее отпущу, до тех пор же буду держать своей пленницей независимо даже от моей воли — я опасался, устоит ли моя решимость перед ее мольбами. Некоторые из этих распоряжений напугали Осборна, но я успокоил его сомнения; как-никак я предложил ему щедрую награду, и он подчинился.

Чем дальше я продвигался в осуществлении своей сумасбродной и преступной затеи, тем сильнее крепло мое намерение довести дело до конца. В этом мое единственное преступление, мой грех, в котором я хочу покаяться. Остальное

произошло случайно, и все же совесть будет мучить меня вечно. Что привело меня к вершине безумия? Что ослепило мой разум настолько, что я не заметил непростительной природы своего плана? Этого я не знаю; разве что причина в том, что я годами жил мечтой, а очнувшись в реальном мире, отказался смириться с увиденным и вместо этого решил изменить реальность, чтобы та соответствовала моим желаниям. Я любил Алитею, пока мы были в разлуке; в сердце, в мечтах и надеждах я давно сделал ее своей женой. Я не мог расстаться с этим воображаемым образом, который стал для меня столь же реальным, как мое представление о себе самом. Кому-то может показаться, что, узнав, что она вышла замуж и стала матерью, я должен был бы отказаться от своих фантазий, но все получилось наоборот. Ее присутствие, ее красота, чарующий взгляд, усмиряющий сердце голос, восприимчивость и совершенство ее души, которое я интуитивно ощущал и перед которым преклонялся, хотя даже ее прелестная наружность была не в силах вполне его передать, — все это усиливало мое неистовство и опьяняло, подталкивая к самому краю.

Разве я был вправе считать своим это совер-

шенное создание? Нет! Я признавал это, но сама мысль, что бездушный человек, воплощение Велиала на земле, прибрал ее себе, казалась мне невыносимой. Хотя я обезумел, присягаю — и Господь, знающий тайны сердец, мне свидетель, — я прежде всего стремился освободить ее от него, а не привязать ее к себе; именно это желание повелевало моими поступками. Во время нашего последнего спора в уединенной части парка я поклялся, что, если она позволит мне забрать ее — и сына тоже, если она того пожелает, — подальше от него, я отвезу ее в самое романтичное место и построю дом, которого она достойна, в окружении роскошной природы, а сам буду приходить к ней лишь в качестве ее слуги и раба. Я душу свою прозакладывал, что все будет так, и сдержал бы слово. Тот, кто не любил, возможно, сочтет это приступом моего неистовства; возможно, не знаю, но именно так я чувствовал себя тогда.

Итак, все было готово; я написал ей записку и попросил встретиться со мной в последний раз. Я не лукавил; я действительно решил, что, если в этот раз мне не удастся ее убедить, мы больше не увидимся. Она пришла, но опоздала на несколько часов, и это чуть не сорвало мой план. Весь день стояла пасмурная погода, намечалась гроза, и все

вокруг навевало тревогу и беспокойство. Я часами бродил по аллее, примыкавшей к территории Дромора; в отчаянии бросался на траву на склоне холма. Небо темнело с пугающей быстротой; свирепый ветер гнал тучи с запада на восток, хотя внизу еще было тихо, листва не колыхалась, и даже верхние ветви деревьев застыли неподвижно. Такое противоречие в природе казалось странным и зловещим. Когда над океаном нависло красное солнце, Алитея открыла потайную калитку своего сада и предстала передо мной во всей красе.

Она привела с собой сына. Сперва меня это разозлило, но, подумав, я решил, что это сыграет мне на руку. Она с таким восторгом отзывалась об этом ребенке, что было бы жестоко с моей стороны пытаться их разлучить. Взяв его с собой, она исполнила мой замысел; я вознамерился увезти их вместе. Во время нашей встречи мне удавалось хранить самообладание — так мне казалось, — но Алитея сумела прочесть на моем лице противоборствующие страсти и, встревожившись, спросила, что меня беспокоит. Я объяснил свое состояние грядущей разлукой с ней и, взяв ее под руку, зашагал к дороге. Когда пришло время осуществить мою затею, я осознал, как та зла и

жестока; тут мне захотелось во всем признаться, попросить у нее прощения и навсегда оставить, но сердце вдруг окаменело, и человеческие сомнения уступили непоколебимой решимости. В древности считалось, что такое упорство придают людям боги. Я законопатил все щели своей души, чтобы обуявшие меня сомнения не смогли сквозь них просочиться, и все же те всякий раз подступали с новой силой и в конце концов завладели мной целиком. Тогда я смирился и хотел уже отказаться от своего плана и попрощаться с ней навсегда; при мысли о несчастной судьбе, что ждала меня впереди, меня охватила жалость к себе; я заговорил о нашем расставании и гибели надежды с таким искренним пылом, что тронул ее до слез.

Поистине худший враг добродетели и хороших намерений — недостаток самоконтроля; я научился справляться с внешними проявлениями чувств, но не овладел искусством усмирять ум. Посторонним я казался спокойным, гордым и суровым, способным совладать со своим яростным нравом, но внутри оставался тем же рабом страстей, каким был всегда. Я никогда не мог заставить себя сделать то, чего мне не хотелось, и так же не мог убедить себя отказаться от своих

желаний. Вот она, тайна моих преступлений; вот главный порок, который привел мою возлюбленную к несчастной гибели, а меня самого — к нескончаемым и невыразимым мучениям. Я лишь на миг ощутил в себе героическое великодушие. Мы дошли до конца тропинки; подъехал мой сообщник на коляске. К тому моменту я был полон решимости вернуть ее домой и навсегда с ней расстаться. И она поверила. Отчаяние на моем лице, печальное и горестное молчание, краткие и пылкие фразы, которыми я выразил свое намерение навсегда отказаться от заветного плана и оставить ее навек, — все это убедило ее, что я хочу лишь взглянуть на нее в последний раз и в последний же раз с ней поговорить; она ведь изначально не подозревала ничего иного. Итак, мы стояли на обочине дороги; подъехал Осборн. „Не удивляйся, — промолвил я. — Это моя карета, Алитея; она увезет меня очень далеко. Не думал я, что так все кончится“.

Экипаж остановился; мы подошли к нему вплотную. И в тот момент сам дьявол шепнул мне на ухо — дьявол, что питается человеческими грехами и страданиями, толкнул меня под руку. Впрочем, нет; лишь глупцы и трусы оправдывают свои поступки проделками дьявола; меня

подстрекал мой порочный ум и больше никто и ничто. Все случилось за одну секунду. Я подхватил ее и усадил в коляску; она была легкой как перышко; сам я запрыгнул следом и позвал за собой мальчика. Но было слишком поздно. Он закричал; она тоже, пронзительно и протяжно, и Осборн сорвался с места. Со скоростью ветра мы помчались вниз по холму к океану, а ребенок и Дромор остались позади.

В тот момент нас накрыла гроза, но за грохотом колес не было слышно даже грома. Крики Алитеи потонули в грохоте, но когда тучи сгустились и на смену сумеркам пришла темная ночь, сверкнула молния, и я увидел ее у своих ног. Охваченная страхом и горем, она билась в судорогах. Помочь ей никак было нельзя. Я поднял ее и обнял; она рвалась прочь, не понимая, не ведая, что делает. Спазмы сотрясали ее тело; я видел это, когда вспыхивала молния, видел, как ее черты искажала агония, но не слышал стонов: все звуки заглушал шум мчащейся кареты, раскаты грома над головой и стук дождя, перемежаемый завываниями нарастающего ветра. Я кричал Осборну, чтобы тот остановился, но он не обращал на меня внимания. Я решил, что лошади, должно быть, испугались и понесли — с такой невообразимой

скоростью мы мчались вперед. Рев океана, бушующего под порывами свирепого западного ветра, смешивался с шумом грозы; ад разверзся на земле, но в душе моей поднялась более отчаянная буря. Я в агонии прижимал к груди Алитею, тщетно надеясь, что щеки ее вновь порозовеют, а ласковые глаза откроются. Я испугался, что она умерла; попытался прислушаться к ее дыханию, но мы ехали так быстро, а стихия бушевала так неистово, что я не мог даже определить, жива она или мертва. Вот как я ее увез; вот как сделал ее своей невестой; я, ее главный обожатель, сам опрокинул сосуд скорби на ее голову».

Глава XXX

«Наконец я услышал, как колеса кареты прокатились по воде. Во мне пробудилась надежда. Хижина, куда Осборн должен был нас отвезти, находилась к югу от реки, которую мы только что пересекли; стоял отлив, вода ушла, и, несмотря на ветер и грозу, мы переехали реку без затруднений; через минуту карета остановилась на песке. Я подхватил на руки несчастную Алитею и отнес ее в хижину; взял из кареты подушки и велел Осборну отвести лошадей в сарай под навесом примерно в полумиле, где все было для них готово, после чего немедленно возвращаться.

Я вошел в хижину; Алитея по-прежнему неподвижно лежала на полу там, где я ее оставил. Молния осветила ее бледное лицо; со следующей вспышкой я заметил принесенный Осборном багаж, без которого мы не смогли бы обойтись, если бы решили бежать. Среди солдатского скарба, который всегда был при мне, я увидел походный котелок; в нем лежали тонкие свечи и все необходимое для разведения огня. Я зажег свечу и смог наконец удостовериться, что моя

жертва жива; ко всему прочему, она иногда стонала и тяжело вздыхала. Я не знал, что с ней и как вернуть ее в чувство. Я растер ее голову и руки спиртом, разведенным с водой; заставил ее глотнуть этого питья, но ничего не помогало. На миг она вроде бы пришла в себя, но потом снова провалилась в забытье; ее ладони и стопы похолодели, что, казалось, предвещало скорую смерть. Вернулся Осборн, как я ему велел; он не догадывался, в какое состояние мои дьявольские махинации повергли жертву. Он обнаружил меня на коленях; я склонился над ней и называл ее всеми ласковыми именами, что приходили мне в голову, растирал ее ладони своими и в мучительной агонии ждал появления признаков, которые бы свидетельствовали, что сознание к ней вернулось и она не умрет на моих глазах. Увидев эту картину, Осборн испугался, но я велел ему замолчать, развести огонь и нагреть песок; я приложил к ее стопам горячий песок, а потом постепенно, с помощью нюхательных солей и прочих снадобий, восстановил ее кровообращение. Она открыла глаза, растерянно оглянулась, и слезы крупными медленными каплями покатились по ее щекам. Милостивый Боже! Все мои безумные желания и порочные планы померкли

перед угрозой ее гибели. Теперь я просил небеса лишь об одном: чтобы те сохранили ей жизнь и она вернулась домой к ребенку. И мне показалось, что небеса услышали мои молитвы. Исчезла синева вокруг ее рта и глаз; черты утратили судорожную неподвижность, а на щеках проступил легкий румянец; холодные застывшие ладони согрелись, пальцы зашевелились. Она огляделась и попыталась заговорить.

— Джерард! — Так звали ее сына.

Я склонился над ней, чтобы лучше слышать.

— С ним все в порядке; он в безопасности, — прошептал я. — Все хорошо, Алитея, не беспокойся.

Моя несчастная жертва улыбнулась чудесной улыбкой, которая была мне так хорошо знакома. „С ней все хорошо“, — подумал я, и сердце снова забилось легко и свободно.

Но она по-прежнему находилась в ступоре. В хижине было две комнаты. Я приготовил в задней комнате нечто вроде постели, уложил ее и укрыл плащом. Ее состояние, напоминавшее шок, постепенно сменилось дремой. Мы ее оставили, сели в соседней комнате и стали наблюдать. Я не сводил с Алитеи глаз и видел, что с каждым часом ее сон становился все спокойнее; гроза и дождь прекратились, но за ревом океана и воем ветра я

не слышал ее дыхания. Гонимые западным ветром волны подступали почти к порогу хижины.

Я вдруг наполнился отвращением и почувствовал, что ее жизнь мне дороже исполнения всех моих планов. Казалось, она чудом избежала гибели, и мое сердце растаяло, благословило ее и поблагодарило Бога за спасение. Я поверил, что смогу быть счастлив, даже если мы больше никогда не увидимся, главное, чтобы грех ее смерти не тяготил меня. Помню, какой восторг переполнил меня, когда на заре я бесшумно подкрался к кровати и заметил, что ее грудь мерно вздымается, а веки, тяжелые и потемневшие от мук, мягко прикрывают милые очи, которые скоро снова увидят свет и будут наслаждаться ясными днями еще много лет. Я чувствовал себя другим человеком; я был счастлив. Через несколько часов она меня простит, я отвезу ее домой и признаюсь, что во всем виноват; оправдаю ее и приму любую кару, которую пожелает обрушить на меня ее супруг. Кто такой я? Никто — сам по себе я не существовал, мое существо растворилось в стремлении сохранить жизнь и счастье Алитеи. Я собирался сдаться на милость человеку, который в лучшем случае вызвал бы меня на поединок, но я был готов; я думал об этом без радости, но и без сожа-

ления. Алитея выжила, это главное; она вернется к тем, кто ее любил, и снова обретет покой.

Вот о чем я мечтал, склонившись над ней; светало, и при свете дня я убедился, что не обманулся: она действительно спала здоровым, глубоким, исцеляющим сном. Я вышел в переднюю; Осборн завернулся в шинель и спал, растянувшись на полу. Я растолкал его и сказал немедленно пригнать коляску с лошадьми, чтобы сразу отвезти Алитею домой, как только она проснется. Осборн охотно повиновался и вышел из хижины, но как только он удалился, мне вдруг пришло в голову, что не пристало оставаться с Алитеей в доме наедине, поэтому я последовал за ним к навесу, где стояли карета и кони.

Облака рассеялись, но небо по-прежнему было серым и завывал ветер; океан бушевал, громадные волны быстро подкатывали к берегу и тяжело о него разбивались. Начался прилив, и русло реки, которую мы спокойно пересекли вчера ночью, бурлило волнами; еще немного, и вброд ее уже нельзя будет перейти, поэтому надо было спешить и скорее пригнать лошадей. На востоке на фоне золотистого неба темнел силуэт гор; отчетливо вырисовывались каждый уступ и скала, каждая вершина; со стороны моря шторм

затуманил горизонт; бескрайний океан тянулся в обе стороны, кроншнепы и чайки кричали, скользя по гребням волн, и пена яростно разбивалась у моих ног. Унылый, но торжественный пейзаж; сердце вторило песни величественных просторов. Я благословил море, ветер, небеса и рассвет; груз вины упал с души, я уже не боялся ужасного наказания; мне снова стало спокойно. Я быстро зашагал вперед и очутился у навеса. Осборн занимался лошадьми; вчера он хорошо их устроил, и они смогли отдохнуть. Я бодро заговорил со своим помощником, помогая надевать сбрую. Осборн по-прежнему был бледен от испуга, но успокоился, когда я сказал, что отвезу даму обратно к семье и бояться нечего; я велел ему медленно подвести лошадей к дому, чтобы стук колес ее не разбудил — вдруг она по-прежнему спит. Сам я шел, положив руку на шею одной лошади, а Осборн вел другую. Мы оглядывались по сторонам и указывали друг другу на следы недавней бури; во вчерашней суматохе я и не заметил, какой та выдалась свирепой. В голове снова промелькнула мысль, что мы не сможем перейти реку вброд, и я поторопил Осборна, уже не боясь потревожить спящую Алитею, так как колеса катились по песку и не производили ни-

какого шума.

Я говорил, что вдоль берега тянулась гряда дюн; две высокие дюны скрывали из вида хижину и даже реку. Мы подошли к ним вплотную, и, когда вышли из-за них, я первым делом взглянул на нее. В русле плескались неистовые пенные волны, подступавшие с моря с невообразимой скоростью; вброд реку было уже не перейти. Я встревоженно огляделся, и мне стало ясно, что придется ждать отлива или ехать в обход и искать брод выше по течению. Я смотрел по сторонам, и тут что-то странное привлекло мой взгляд. Пена на волнах была белой, и белым был качавшийся на них предмет; почудилось ли мне, или это был человек? На миг сердце перестало биться, а потом у меня словно выросли крылья, и я бросился к хижине; в спальне никого не оказалось, на кушетке никто не лежал, хижина была пуста! Я поспешил к берегу реки и напряг зрение, высматривая тот странный белый предмет, и снова его увидел. Я не ошибся; взметнулась волна, завертела и унесла в свою бездну белое тело, уже неживое — мертвое тело Алитеи. Я кинулся в воду и стал сражаться с волнами; меня несло течение, волны накрывали с головой и ослепляли, но я держался и пробирался в самый эпицентр ревущего потока. Вынырнув

из-под большой волны, которая на миг утянула меня в глубину и чуть не потопила, я почувствовал, как обо что-то ударился; я инстинктивно ухватился — это были длинные мокрые волосы, и я с утроенной силой и лихорадочной энергией поплыл к берегу. Волны швыряли меня, словно куклу, но я поддался течению и позволил реке отнести себя туда, где русло сужалось и волны стихали. Наконец мне, несчастному, удалось выбраться. Глупец! Неужели я не знал, что она мертва? Почему не утопился тогда, обнимая ее бездыханное тело? Но я не знал; вчера она ожила и вернулась ко мне, хотя уже почти перешагнула по ту сторону, и я, безумец, решил, что это чудо может повториться и сегодня.

Я вышел на берег. Бледный и дрожащий Осборн помог мне уложить ее на землю; мы пытались вдохнуть в нее жизнь, пробовали разное, но опоздали. Она долго пробыла в воде и, видимо, захлебнулась уже давно.

Откуда я беру силы писать эти слова и вспоминать ужасные подробности? Увы; они вечно стоят предо мной, и не проходит ни дня, ни часа, чтобы вся эта сцена с поразительной яркостью не проигрывалась вновь, и всякий раз моя душа содрогается и трепещет при виде ее мертвого ли-

ца. Даже сейчас, когда над греческими холмами занимается заря, теплый летний ветерок ласкает мои щеки, далекие горные вершины золотятся под утренними лучами и все вокруг напитано безмятежной красотой южного края, — даже сейчас я слышу рев далекого океана и вижу безлюдный берег, а у моих ног лежит бледное, промокшее и безжизненное тело Алитеи.

Я видел это, и с тех пор не раз размышлял, что произошло за время моего отсутствия. Должно быть, она проснулась отдохнувшей, пришла в себя и вспомнила, что с ней случилось; нахлынули ужасные воспоминания о похищении; она не знала, что я передумал, боялась насилия и решила сбежать. Она хорошо знала побережье, реки и периодичность приливов и отливов. Она не сомневалась, что сможет безопасно перейти реку вброд, поскольку помнила, как часто пересекала ее верхом и вода едва закрывала копыта лошади, хотя русло казалось полноводным. Итак, вознамерившись сбежать от похитителя и вернуться домой к любимому ребенку, она вошла в воду, не учитывая огромной разницы между обычным приливом и буйством неумолимых волн, рожденных сильным западным ветром; или, возможно, она больше страшилась меня, чем воды, и, чтобы

сбежать от меня, решила отдаться стихии. И теперь она лежала на песке мертвая, погибшая, утраченная навеки!

Впрочем, довольно об этом. То, что я сделал дальше, вероятно, шокирует моих соотечественников намного сильнее всего случившегося до этого. Но я почти ничего не знал об английских обычаях. Я уехал в Индию безусым юнцом и научился вести себя в соответствии с тамошними порядками. Теперь я знаю, что, когда человек в Англии умирает, принято сохранить бездыханное тело, устроить бдение и плакать подле него много дней, а потом торжественно опустить труп в могилу в ходе длительной церемонии в присутствии друзей и родственников. Но я видел, как целые армии выкашивали меч и эпидемии; в климате, где трупы быстро разлагаются, я привык к наспех вырытым солдатским могилам. Индийский обычай предписывал как можно скорее убрать тело с глаз долой.

Впрочем, я все же сомневался: возможно, стоило взять труп Алитеи, промокший от морской воды, бледный и хранящий следы предсмертной агонии, отнести его к ней домой и сказать: вот она, так любившая жизнь и еще вчера счастливая; я ее увез, так смотрите на деяния рук моих!

Должен ли я был предстать перед ее мужем, ответить на его вопросы и подробно описать свое преступление, а затем смиренно ждать мести или прощения? Нет, ни за что!

А может, мне следовало уничтожить себя и лечь с ней рядом? Пускай наши тела расскажут страшную историю, полную ужаса и тайн! Однако этой катастрофы не допустил мой несчастный испуганный сообщник; я должен был успокоить и защитить его.

Я тут же решил покончить с собой при первой же возможности и искупить вину смертью; смерть станет самым справедливым наказанием. Однако я не хотел становиться предметом пересудов для пошлых обывателей; не желал я и угождать мужу Алитеи, чье сердце наверняка восторжествует, узнав о моей кончине. Все должно было остаться в тайне и забыться. Так у меня родился план, и я приступил к его исполнению.

Осборн с готовностью бросился мне помогать. Им двигали другие чувства: его обуял смертельный страх, и он не сомневался, что нас обвинят в убийстве несчастной дамы; он уже видел себя на виселице.

Мне не понадобилось долго ему объяснять; он вспомнил, что видел лопату в сарае, где держал

лошадей; было раннее утро, вокруг ни души, и он пошел за ней. Примерно через полчаса он вернулся; я держал вахту у тела и неотрывно взирал на бледную жертву, лежавшую у моих ног. Из какого же твердого материала сделан человек, раз мое сердце тогда не разбилось, раз я сумел пережить тот час!

Вернулся Осборн, и мы взялись за дело. Примерно в десяти ярдах над линией прилива стояло одинокое сухое дерево, призрачное и поросшее мхом; под корнями довольно рыхлая почва, а от ветра и морских брызг его укрывала песчаная дюна. Там, под этим деревом, мы вырыли глубокую могилу. Я поместил на дно подушки, на которых ночью покоилось ее прекрасное тело, тогда еще теплое и мягкое. Потом я распрямил ее застывшие члены, накрыл мокрой прядью волос навсегда сомкнувшиеся веки и крест-накрест сложил ладони на невинной хладной груди. Я коснулся ее со священным трепетом, не осмелившись осквернить поцелуем даже руку, завернул тело в ее накидку и опустил в открытую могилу. Отломив несколько сухих веток старого дерева, я соорудил из них нечто наподобие арки над ее телом и набросил сверху свой плащ, напрасно пытаясь уберечь от соприкосновения с землей.

Мы засыпали могилу, разбросали поверх сухой песок и уничтожили следы. Все это время мы молчали или переговаривались шепотом; грохот волн заменил ей колокольный звон, а восходящее солнце — похоронный факел. Я с удовлетворением оглядел эту торжественную картину; я был собран, ибо решил умереть. Осборн же дрожал всем телом, а кожа бледностью могла соревноваться с бескровным восковым лицом Алитеи.

Мы тщательно проверили хижину, убрали оттуда все вещи и оставили такой, как до нашего прихода. Я не боялся разоблачения; никто никогда бы не догадался, что я отправился на безлюдный берег. А если кто-то и смог бы распутать этот клубок, я все равно уже успел бы уехать далеко и умереть. Но Осборн хотел избавиться от всех примет присутствия человека. Когда он счел, что задача выполнена, я сел в карету не оглядываясь, и мы помчались в Ланкастер, а оттуда — в Ливерпуль. Осборн трясся от страха, пока не сел на корабль в Америку; к счастью, ветер сменился на северный, и судно снялось с якоря. Я вручил своему сообщнику внушительную сумму денег и посоветовал не болтать. Он явно хотел расспросить о моих планах, но, устрашившись моего сурового молчания, не стал допытываться;

мы попрощались и больше никогда не виделись. В тот момент из гавани выходило небольшое каботажное судно, направлявшееся в Плимут; я окликнул матроса и взошел на палубу.

Остальное может рассказать Элизабет. Как ей хорошо известно, я сошел на берег в уединенной деревушке в Корнуолле и там собирался принести себя в жертву разгневанному призраку Алитеи. Я до сих пор сожалею, что не совершил этого; сокрушаюсь, что тогда не умер. Она остановила мою руку — ангел в обличье человеческого дитяти; она изумила меня своей необыкновенной красотой, а ее несчастное положение — она потеряла и отца, и мать — заинтересовало меня; мне казалось, что я должен жить ради нее, что в этом мое призвание. Внутри закипела неистовая внутренняя борьба, ведь смертью я желал искупить грехи и надеялся, что могила подарит мне забвение. Поначалу мне казалось, что передышка, которую я себе дал, будет недолгой, но она затянулась на годы; я жил как ходячий мертвец, ни любви, ни надежды у меня не осталось, угрызения совести стали моими постоянными спутниками, а ужасные воспоминания о преступлении и смерти — моими лучшими друзьями. Призрак Алитеи и мои собственные нестерпимые мысли осуж-

дающе следовали за мной повсюду, и я скитался почти без отдыха. Часто меняя место жительства, я стремился утихомирить боль, но, кажется, она лишь усугублялась. Возможно, монотонность оседлой жизни смягчила бы мои мучения, но в путешествии чувства обостряются, а постоянно меняющаяся природная среда пробуждает и усиливает все эмоции. С восходом солнца вновь вспыхивают переживания и чувства, а росистый вечер и сияющие звезды обращают наш взгляд в прошлое. Густая осязаемая тьма, что окружает нас, когда мы прокладываем путь в незнакомом краю, пробуждает угрызения совести. Шторм на море и страх кораблекрушения кажутся справедливой расплатой за грехи, но как ни жаждал я погибели, она всякий раз от меня ускользала.

Так я продолжал жить самой никчемной и недостойной жизнью, пока однажды не встретил в Бадене сына своей жертвы. Я увидел несчастного ребенка, который стал таким в результате моих действий, и почувствовал, как ее бесплотный дух проклинает меня за зло, что я причинил ее любимому мальчику. Я вспомнил, как ласково она о нем отзывалась, как безоблачно красив он был, как радостно смеялся и легко ступал, когда они в последний раз были вместе. Я навредил

этому мальчику, я его уничтожил; мрачный, свирепый, дикий, он ходил с печатью вечной грусти на лице, а глаза горели ненавистью и страхом. Таким стал сын Алитеи из-за меня; таким его сделал отец, это низменное существо, но по моей вине, и потому я должен был понести наказание. Что же я за негодяй: сам жил в мире и безопасности под присмотром ангела, а самое дорогое, что было у Алитеи, обрек на страдания и вечное соседство с демоном, оказывающим на него безраздельное влияние!

С того часа я возненавидел себя с утроенной силой; ранее я пытался жить ради Элизабет, однако и это утешение покинуло меня вместе со всеми прочими, к каким я до сих пор неправедно прибегал. Я решил умереть, но, поскольку святое имя Алитеи было очернено самой злодейской в мире душой, я сперва поставил перед собой задачу оправдать ее и вырвать память о ней из недостойных рук супруга. Однако я не мог этого сделать, пока был жив, — не мог рассказать правду и допустить, чтобы мой враг восторжествовал. Но скоро, очень скоро греческая земля впитает мою кровь и могила защитит меня от осуждения и злословия, а это признание докажет ее невиновность.

А ты, милое, любимое дитя, дарованное мне небесами как величайшее благословение, ты, что согревала мое сердце любовью и сглаживала свирепость моего нрава неизменной ласковостью; ты, благословившая меня своими добродетелями и питающая ко мне, ничтожеству, такую преданность, которую я считал невозможной, — как же мне с тобой попрощаться? Прости своему другу, что он решил тебя покинуть: давным-давно он потерял и себя самого, и все лучшее, что было у него в жизни; осталась лишь пустая оболочка, и та давно разъедена раскаянием и стремлением к смерти. Тень моих преступлений не должна омрачать твои юные дни. Забудь обо мне и будь счастлива; так и должно быть, а я… Ах, солнце взошло; звучит боевой горн. Радостно думать, что меня ждет солдатская могила».

Глава XXXI

Такую историю прочла юная, счастливая, невинная Элизабет, узнав наконец тайну того, кого боготворила. Пока она читала, точнее, проглатывала страницу за страницей, душа отражалась в ее глазах; наконец она подошла к описанию катастрофы, и от наплыва чувств из глаз хлынули горячие слезы и унесли с собой тысячу трепещущих невысказанных страхов, толпившихся в ее сердце. «Он невиновен! Отец мой, благодетель мой, обвиняя себя в убийстве, имел в виду не само преступление, а последствия случившегося; и если верен основной принцип нашей религии, раскаяние смывает грехи: он будет прощен, а преступление забыто. О, благородное, щедрое сердце! Сколько же ты выстрадало, чтобы искупить свои грехи! И какую великодушную услугу оказало своей жертве! Ведь она теперь тоже оправдана. Мать Джерарда не просто невиновна; она до самого конца осталась верна ему и чистейшим побуждениям своей души; нет, даже больше: она пожертвовала жизнью, пытаясь вернуться к семье!» Элизабет

постаралась представить, как не раз представлял Фолкнер, какие чувства побудили Алитею предпринять опасный переход через реку. Она вообразила, как Алитея проснулась тем роковым утром и растерянно огляделась по сторонам. Увидела незнакомую комнату и не услышала дружеских голосов, которые бы ее успокоили; непривычное окружение и одинокая хижина подсказали, что прошлая ночь ей не приснилась и ее на самом деле увезли из дома и силой разлучили с любимыми, а она не смогла сопротивляться. Поначалу она, должно быть, в страхе прислушивалась и думала, что дорогой друг, ставший теперь врагом, где-то рядом. Но вокруг было тихо. Тогда она встала и решила осмотреть странную хижину, куда ее привезли. В хижине никого не оказалось, и она вышла за порог; тут увидела знакомый пейзаж, океан, и унылый, но хорошо известный ей берег, и реку, которую она пересекала много раз, а совсем близко — волнистый силуэт холмов, поросших деревьями, и Дромор, ее мирное пристанище. Она поняла, что находится всего в нескольких милях от дома; осознавая, что враг может быть где-то рядом, она все же надеялась, что ей удастся незаметно перейти реку и сбежать. Элизабет живо представляла ее

упования и страхи и как наяву видела несчастную женщину, что шагнула в неведомые воды, твердая и непоколебимая в своем намерении; ей казалось, что удастся безопасно пересечь реку по мелководью; но рев подступающего прилива оглушил ее, волны разлетались брызгами, и, пытаясь найти верный путь по неровному дну, она начала оступаться. Она думала лишь о ребенке, с которым ее разлучили, и боялась, что, хотя ее увезли насильно, она навсегда будет изгнана из дома. И все же ей хотелось лишь одного — вернуться в этот дом. Продвигаясь вперед, она неотрывно смотрела на густые леса, окружавшие Дромор и неподвижно дремавшие в серой безмолвной предрассветной мгле; не колеблясь, она рискнула жизнью, лишь бы добраться до своего благословенного пристанища. Все зависело от того, удастся ли ей добежать до дома быстро и в одиночку, но она была обречена больше никогда не увидеть Дромор. Она шла вперед решительно, но осторожно. Волны нарастали; она добралась уже до середины реки, дно под ногами становилось все более неровным. Оглядывалась ли она? Назад дороги не было; сердце гордо отвергало саму мысль о возвращении на берег. Она подобрала юбки, взглянула прямо перед собой и пошла еще

медленнее; волны ударяли ее, поднимались все выше и выше, и вот одна захлестнула ее с головой и ослепила; она оступилась, упала, воды разверзлись и поглотили ее, унося с собой. Она успела подумать о Джерарде; успела произнести одну молитву, и ее душа, невидимая человеческому глазу, унеслась в небеса. Так Алитея прекратила свое земное существование, и больше никто на земле не сможет назвать ее своею.

Но она была невиновна. Последним словом, которое она пробормотала во сне, — последним из произнесенных ею слов, что слышало человеческое ухо, — было имя ее сына. До последнего она оставалась матерью; ее сердце пронзала глубокая тоска по ребенку, чье присутствие для молодой матери является самым главным в жизни. Нет ничего прекраснее материнских чувств. Женщина обычно сама нуждается в опеке и защите; слабый пол учат искать помощи и покровительства у окружающих; и вместе с тем женщина бесстрашно опекает своих маленьких детей. Она готова столкнуться с тысячей опасностей, лишь бы уберечь от вреда беззащитного малыша. Сердце матери застывает от ужаса, когда ребенку грозят недуг или травма; она с радостью и без малейших колебаний отдаст свою

кровь, лишь бы поддержать в нем жизнь. Весь мир представляется бесплодной пустыней, когда она боится лишиться ребенка, а когда он рядом, она укрывает его на груди, баюкает в мягких и теплых объятиях, и ничего за пределами этого круга больше ее не заботит; его улыбки и детские ласки — свет ее жизни. Такой матерью была Алитея, а Джерард отплачивал ей столь же горячей любовью, с лихвой вознаграждая ее материнскую нежность. Стоит ли удивляться, что, когда его безжалостно бросили на краю дороги — она даже не знала, жив он или мертв, ведь колеса экипажа, который ее увез, могли его раздавить, переломать его нежные ручки и ножки, — так стоит ли удивляться, что от ужаса она сама чуть не погибла, а очнувшись от смертного испуга, первым делом стала думать о побеге, о возвращении к Джерарду, мечтая прижать его к сердцу и больше никогда с ним не разлучаться?

Какую радость и вместе с тем какое горе испытает Джерард, прочитав это признание! Его непреклонная вера в невиновность матери подтвердится, но он поймет, что потерял ее навсегда — ту, чье совершенство ныне подтвердилось. Теперь Элизабет задумалась о нем и о Фолкнере; она снова открыла признание на первой стра-

нице и еще раз его перечитала; чувства ее не изменились, и она заплакала и возрадовалась; ей захотелось как можно скорее утешить отца и поздравить Невилла.

О себе она не задумывалась ни на минуту. Такова была особенность ее характера. Сочувствие к окружающим настолько ее поглощало, что она полностью забывала о себе. Наконец она вспомнила указания отца, который велел отдать признание Невиллу, когда тот приедет. Элизабет даже не думала нарушать этот наказ и радовалась, что сыновняя преданность Джерарда будет наконец вознаграждена, хотя ей было больно думать, что новый друг начнет воспринимать Фолкнера как врага. И все же ее щедрая натура побуждала сочувствовать слабому. Невилл восторжествовал, Фолкнер был унижен и повержен; поэтому она больше сочувствовала Фолкнеру, а цепь благодарности и верности, которой она была к нему прикована, стала прочнее. Элизабет пролила много слез, оплакивая безвременную кончину Алитеи: такая добродетельная, такая счастливая, она почила в безымянной могиле, и обстоятельства ее смерти для всех оставались загадкой. Но Алитея обрела и награду: как давно она покоилась там, где не было ни бед, ни стра-

даний! Ангелы приняли к себе ее чистую душу. Теперь все узнают о ее геройстве; ее поступки будут оправданы, и она удостоится хвалы, какой не удостаивалась ни одна женщина. Память ее увенчается немеркнущей славой. Но Фолкнер — Фолкнер сейчас больше всех нуждался в поддержке, утешении и прощении; его необходимо было излечить от отчаяния. Он должен был почувствовать, что время терзаться угрызениями совести прошло; настал час искупления и отпущения. Он должен был получить награду за все хорошее, что сделал ради нее, Элизабет, и ради нее полюбить жизнь. Невилл, чье сердце было лишено низменных чувств, наверняка с ней бы согласился. Он будет доволен, что честь матери спасена и очищена от причиненного ей ущерба; счастлив, что преданная сыновняя любовь не дала ему ошибиться, и первым побуждением его щедрой души наверняка тоже будет прощение. И все же Элизабет боялась, что, увлеченный пылким чувством, которое вызывала у него судьба матери, Невилл не заметит смягчающих обстоятельств и не сочтет Фолкнера достойным прощения. Поэтому она решила приложить к рассказу Фолкнера объяснительную записку. Она написала:

«Отец передал мне эти документы, чтобы я отдала их тебе. Само собой, сегодня я прочла их первый раз и до сих пор не имела ни малейшего представления об этих событиях.

Это правда, что, будучи маленькой девочкой, я остановила его руку, когда он пытался выстрелить в себя из пистолета. Он сжалился над сиротой и согласился жить. Можно ли считать это преступлением? И все же я не смогла примирить его с жизнью, и он отправился в Грецию искать погибели. Он поехал туда в расцвете лет и сил. Ты видел его в Марселе; видел его и сегодня — не человек, а призрак, мучимый горем и раскаянием.

Трудно просить сочувствия его страданиям и благородному покаянию, когда ты только что узнал, что он стал причиной смерти твоей матери. Поступай в соответствии с велением сердца. Что до меня — если я прежде испытывала к нему глубочайшую привязанность и благодарность, с этой минуты моя преданность ему усилилась стократ, и я еще больше готова доказать ему свою верность.

Я пишу по своей, и только своей воле. Отец ничего не знает об этом письме. Он велел мне сообщить тебе, что останется здесь и, если ты пожелаешь его видеть, он в твоем распоряжении. Он думает, что ты, возможно, захочешь услышать подробности и узнать точное расположение могилы матери. Она находится в уединенном месте, но ангелы должны ее охранять; возможно, они уже приводили тебя к ней?»

Тут она прервалась — у ворот зазвонил колокольчик. Час настал; должно быть, Невилл приехал! Она убрала бумаги в письменный прибор, надписала и запечатала письмо и отдала оба письма слуге, чтобы тот передал их Невиллу. Как только она это сделала, у нее вдруг промелькнула мысль, что их с Невиллом отношения теперь могут кардинально перемениться. Еще утром она была его доверенной подругой, с которой он делился надеждами и страхами; она сопереживала ему и чувствовала, что рядом с ней он как никогда счастлив. Теперь же она стала дочерью врага, погубившего его мать; может, им вовсе не стоило больше общаться? Она инстинктивно бросилась

наверх, чтобы еще раз взглянуть на него. Из окна она увидела, что дело сделано и отныне их жизни никогда не будут прежними: слуга вручил пакет. В неясных сумерках она смотрела, как из-за изгороди показался всадник и поскакал через пустошь; сначала медленно, будто был охвачен смятением и не понимал, что происходит и что он делает. Когда мы видим очертания любимой фигуры даже издалека, в душе пробуждается невыразимый трепет, и хотя Элизабет еще не осознавала природу и глубину своих чувств, ее сердце растаяло при виде друга и потянулось к нему. С губ слетело благословение; она понимала, что в этот момент его терзали сомнения и печаль, так как он уехал от нее, не попрощавшись и имея при себе лишь написанные ею строки; вместе с тем она знала, что с каждым последующим часом стена между ними будет расти, и это вдруг показалось ей таким невыносимым, что, когда он наконец пришпорил лошадь и скрылся из виду в сгущающихся сумерках, она залилась слезами и проплакала довольно долго, потеряв всякое представление о том, где находится и что делает. Она чувствовала, что с этой самой минуты из ее жизни ушла часть красок, померк золотистый свет и на место радости и надежды отныне долж-

ны прийти терпение и смирение.

Через несколько минут она встрепенулась, стряхнула оцепенение, и ее мысли вернулись к Фолкнеру. В мире не так уж много преступлений, которые не находят никакого оправдания и прощения в глазах окружающих, стоит лишь проанализировать их мотивы; только сам преступник считает свой грех непростительным. Совесть не даст обмануться, а вот сострадание нередко затуманивает нам взор. Сторонний наблюдатель может рассуждать о силе страсти и воздействии искушения, но сам виновный не обманется такими уловками: он знает, о чем говорит тихий голос внутри. В момент совершения преступления он ощутил, как дрогнула рука, а в ушах прозвучало предостережение. Он мог остановиться и тогда остался бы невиновен. Из всех мучений, насылаемых чудовищными Эвменидами, ни одно не терзает преступника так сильно, как осознание, что прискорбное событие совершилось по его собственной воле. Этот таинственный принцип не объяснить никакими разумными доводами и обыкновенной философией. Совесть разъела душу Фолкнера, лишила его сна, ослабила его члены и изгнала из его сердца все добрые и утешительные мысли.

Однако Элизабет в силу своей наивности и доброты тут же придумала тысячу оправданий его поступку, решив, что он никак не мог предусмотреть эту страшную катастрофу. Фолкнер называл себя убийцей, но, хотя Алитея погибла из-за стечения обстоятельств, к которым он имел непосредственное отношение, сам он едва ли был в этом виноват и пожертвовал бы жизнью не один раз, чтобы ее спасти. С тех пор, как она умерла, сон его покинул и еда потеряла всякий вкус. Он был уничтожен, все занятия и удовольствия утратили для него свою прелесть; он желал лишь одного — могилы, стремился к смерти и сам стал похож на призрак.

Элизабет признавала, что Фолкнер поступил неправильно и даже преступно. Но разве он не искупил прошлое страданиями, раскаянием и жертвой? Элизабет не терпелось снова его увидеть и сказать, как сильно она по-прежнему его любила и как признание возвысило, а вовсе не принизило его в ее глазах. Она жаждала утешить Фолкнера сочувствием и окружить любовью. Она не одобряла нынешнего состояния его ума; слишком много в нем было гордыни и отчаяния. Но если он поймет, что признание вызвало в ней не презрение, а сочувствие и удвоенную привя-

занность, его сердце смягчится и он перестанет желать смерти, которая, как ему казалось, спасет его от вины и наказания; он согласился терпеть и учиться смирению — благороднейшему и самому труднодостижимому свойству, к какому только может стремиться человек.

Глава XXXII

Пока Элизабет предавалась этим мыслям, чистым и кротким, как она сама, и продиктованным природным благочестием, Фолкнера занимали совсем другие соображения. Его переполняло торжество. Парадокс: хотя воображение постоянно нас обманывает и сбивает с пути, нам всегда кажется, что мы в силах предвидеть последствия наших действий и даже в некоторой степени управлять ими. Хотя Фолкнер искренне оплакивал свою жертву, он ни разу за все время не испытал страха, так как считал, что средство избавления всегда в его распоряжении и он в любой момент может скрыться от позора в могиле, где никто уже ему не навредит. Однако по странному стечению обстоятельств он теперь лишился такой возможности; он был жив, а его тайна попала в руки врагов. Но теперь, когда он встретился лицом к лицу с несчастным сыном бедняжки Алитеи, ему в голову пришла мысль, воспламенившая его безудержное героическое воображение. Он понял, что может компенсировать ущерб, и этого, несомненно, от него

потребуют; чтобы отомстить за смерть Алитеи, Невилл наверняка прибегнет к закону чести. Фолкнер ни на минуту не сомневался, что Невилл вызовет его на поединок; тогда он должен постараться пасть от руки юноши. В этом ему виделась поэтическая справедливость; представляя себе такой благородный и подходящий конец трагической истории, он преисполнялся торжества, и его гордость была удовлетворена.

Сделав подобный вывод, он также решил, что Невилл бросит ему вызов непосредственно после того, как прочтет его рассказ, а значит, сегодняшний день мог оказаться для него последним и необходимо было подготовиться. Оставив Элизабет за чтением рокового документа, он отправился в город искать адвоката мистера Рэби, чтобы передать ему доказательства рождения своей приемной дочери и обеспечить ей будущее в отцовской семье. Она не была его родной дочерью; в ее жилах не текла его кровь; она не должна была носить его фамилию. Невилл с радостью примет ее, когда она станет мисс Рэби; покуда она остается мисс Фолкнер, между ними будет существовать непреодолимый барьер. И хотя Фолкнер был готов умереть от руки Джерарда, он собирался оставить письмо, которым убедил

бы Элизабет, что на самом деле таким хитрым способом совершил самоубийство и его смерть не должна стать препятствием между двумя людьми, которые, как он считал, были созданы друг для друга. Разве могло что-то порадовать его сильнее, чем любовь между его Элизабет и сыном Алитеи? Если бы Фолкнер продолжил жить, это стало бы препятствием для их взаимной привязанности, но с его смертью рухнет разделяющая их высокая гора; он перестанет закрывать собой пейзаж, и воцарятся ясность, легкость и счастье.

Ему стоило труда отыскать адвоката мистера Рэби, однако, когда все-таки удалось, он обнаружил, что тот хорошо знаком со всеми обстоятельствами дела и готов изучить предоставленные документы. Оказалось, он уже написал в Треби, и заявления Фолкнера подтвердились. Инициатором стала миссис Рэби, в то время находившаяся в Танбридж-Уэллсе; как только она узнала о существовании сиротки, в ней вспыхнуло желание восстановить справедливость. С огромным удовлетворением Фолкнер узнал о превосходных качествах этой дамы и интересе, который та проявила к дочери бедного Эдвина Рэби. День и часть вечера прошли в хлопотах; наконец Фолкнер наведался и к своему адвокату. Он давно соста-

вил завещание, распределив состояние поровну между Элизабет и своей кузиной, единственной дочерью дяди, которая до сих пор была жива.

Возвращаясь домой к приемной дочери, Фолкнер испытывал что-то наподобие стыда, однако то был благородный стыд, ведь скоро ему предстояло предложить свою жизнь в искупление. Элизабет же долго размышляла над случившимся, но, когда снова его увидела и еще раз прочла на его лице историю горя и раскаяния, написанную куда отчетливее, чем на бумаге, чувства нахлынули с новой силой. Ее благодарное сердце прониклось теплом, и его страдальческий вид всколыхнул в ней самые преданные чувства; хотя она сознавала перемену, которую повлекли его признания, и усеянный цветами путь, по которому она некогда ступала, теперь виделся ей бесплодной пустыней, всякое эгоистическое разочарование растворилось в желании немедленно доказать ему свою любовь. Молча, с героическим пылом она возложила себя на алтарь его поломанной судьбы; любовь, дружба, доброе имя, сама жизнь, если потребуется, ничего для нее не значили по сравнению с долгом перед ним; перышко на весах.

Они сели рядом, как в старые добрые времена;

их взгляды были ласковыми, а разговор — веселым; они говорили не только о настоящем, но и о будущем и не упоминали болезненного прошлого. Сердце каждого безмолвно хранило тайну. Фолкнер ждал, что через несколько часов его призовут расплатиться жизнью за сотворенное им зло, а мысли Элизабет обратились к Невиллу. Сейчас тот читал роковое признание; его сердце поочередно терзали мучительная жалость к матери и ненависть к Фолкнеру; об Элизабет он совсем не думал, а если и вспоминал, то соединяя ее образ с презренным преступником. Все ее чувства обострились. Как пламенно она молилась, как горячо верила, что Невиллу удастся восстановить доброе имя матери; какое глубокое почтение у нее вызывало его сыновнее благочестие. Все это не изменилось; изменились лишь их чувства друг к другу. Они впредь не встретятся, как раньше, не смогут так же доверительно беседовать; никогда больше она не порадуется мысли, что она — его друг и утешитель.

Фолкнер рассказал ей о подробностях своего визита в Беллфорест и сообщил, что, возможно, вскоре ей нанесет визит ее тетка. Еще одна пытка: Элизабет принуждалась вспомнить, что ее настоящая фамилия — Рэби. Фолкнер описал

величественную красоту ее родового поместья, попытался увлечь ее рассказом о великолепии и роскоши старинного особняка и пробудить в ней интерес к религии и предрассудкам родни, подав их как набожность и принципиальность. О миссис Рэби он отзывался как о женщине теплосердечной, умной и чрезвычайно великодушной, повторяя характеристику, данную ей адвокатом. Элизабет слушала, ласково глядя на Фолкнера, и наконец пылко воскликнула:

— Несмотря ни на что, я — твоя дочь, и мы никогда не расстанемся!

Близилась полночь; Фолкнер с минуты на минуту ждал вестей от сына своей жертвы. Он велел Элизабет ложиться, чтобы та не столкнулась с посетителями в столь поздний час и ничего не заподозрила. Он радовался, что она совсем не догадывалась о последствиях его признания, которые ему самому казались неизбежными; хотя она была погружена в размышления и ее лоб омрачало сожаление, она испытывала грусть, а не страх, и пыталась бодриться, примириться с прошлым и с решимостью встретить будущее, а самым ужасным в этом будущем была перспектива никогда больше не увидеть Джерарда Невилла.

Она пошла в свою комнату, а он остался ждать и ждал всю ночь, но никто не явился. Последующий день прошел в том же таинственном молчании. Что это могло значить? Едва ли сын Алитеи оказался равнодушным к ее истории или струсил. В сердце Фолкнера закрался темный сверхъестественный страх: что-то должно было случиться, возмездие должно было его настичь. Какой страшный облик примет призрак прошлого? Он чуял ужас и позор даже в дуновении ветра, но не мог двинуться с места; он решил ждать прихода Невилла и оставаться дома, как обещал, чтобы искупить свою вину, если от него потребуют. Он уже почти поверил, что в расплату за грехи отдаст свою жизнь, и ощутил радость и торжество, но отсрочка наказания зловеще нависала над ним; он не знал почему, но всякий раз, когда у ворот звонил колокольчик, всякий раз, когда он слышал шаги в коридорах, сердце холодело, а душа трепыхалась, как пташка. Он презирал себя за трусость, но то был не совсем страх: он знал, что должно произойти что-то плохое, жалел Элизабет и ненавидел себя, обреченного на бесчестье и невыразимые муки.

Глава XXXIII

Прибыв в Лондон из Гастингса, Невилл, по своему обыкновению, отправился в дом отца, где, как обычно в это время года, никого не оказалось. Но на следующий день неожиданно явился сэр Бойвилл. Он выглядел неприветливее и суровее обычного. При встрече отец и сын вели себя как оба привыкли: последний ждал упреков и гневных несправедливых приказов; первый говорил высокомерным начальственным тоном и возмущался, когда ему возражали.

— София сообщила, — сказал он, — что ты собираешься отплыть в Америку; ты не счел необходимым известить меня о своем намерении? Это, по-твоему, нормально? Даже шапочные знакомые проявляют друг к другу больше учтивости.

— Я боялся вашего неодобрения, сэр, — ответил Невилл.

— И поэтому решил действовать без отцовского согласия? Какой примитивный и к тому же ошибочный ход мысли! Теперь ты вдвойне виновен: ослушался меня и не предупредил о возможной

угрозе!

— О какой угрозе ты говоришь? — заметил Невилл.

Сэр Бойвилл отвечал:

— Я здесь не для того, чтобы спорить с тобой, разубеждать тебя или приказывать тебе остаться. Мое намерение куда скромнее: мне нужна информация. Софи хоть и сожалела о планируемом путешествии, намекнула, что оно не так бесцельно и безумно, как твои прежние экспедиции, и те письма из Ланкастера привели тебя к неожиданному открытию. Ты совсем меня не знаешь, если полагаешь, что вопрос, над которым ты бьешься в свойственной тебе ребяческой и опрометчивой манере, занимает меня меньше твоего. Так расскажи, что тебе удалось выяснить.

Невилл был удивлен и даже тронут, увидев, что отец смягчился и даже готов его слушать. Он поведал ему историю американца и сказал, что Осборн, вероятно, сможет предоставить более подробную информацию. Сэр Бойвилл внимательно его выслушал и заметил:

— Ты, верно, обрадуешься, Джерард, узнав, что своей странной настойчивостью тебе удалось наконец меня убедить. Ты уже не ребенок и, хотя все еще неопытен и горяч, проявил недюжинный

талант и решимость. Я могу поверить — хотя, возможно, ошибаюсь, — что тобой движет убеждение, а не слепое ослушничество. Ты ни разу не отступился от своей цели; твое упорство заслуживает уважения. Но, как я и сказал (прости отца за такие речи), ты неопытен; для мира ты еще ребенок. Ты прямолинейно идешь к цели, не обращая внимания на замечания окружающих, и своим равнодушием провоцируешь в них недовольство и обиду. Почему ты не согласишься со мной хотя бы отчасти? Если бы ты хоть раз поинтересовался моими взглядами, то понял бы, что они не слишком отличаются от твоих.

Невилл не знал, что ответить; любое объяснение, любой ответ уязвили бы отца.

— До сих пор, — продолжал сэр Бойвилл, — твое неповиновение вызывало у меня лишь недовольство, поэтому ты слышал от меня только приказы и, само собой, не выполнял их. Но я готов отнестись к своему сыну как к другу, если он мне позволит; у меня лишь одно условие: я хочу, чтобы ты кое-что мне пообещал.

— Я готов, сэр, — ответил Невилл, — если только эта договоренность не помешает достижению моей цели.

— Я просто прошу, чтобы ты ничего не предпри-

нимал, сперва со мной не посоветовавшись, — ответил сэр Бойвилл. — Я же, в свою очередь, обещаю не вмешиваться в твои дела и не отдавать приказы, которые ты все равно потом не выполнишь. Если твои поиски не безумны, мой совет тебе только поможет. Я ничего не прошу, только возможность высказать мнение и дать совет. Ты позволишь мне эту малость? Пообещаешь сообщать мне о своих проектах и без утайки рассказывать обо всех обстоятельствах, которые стали тебе известны? Больше я ничего не требую.

— Обещаю, и очень охотно, — воскликнул Невилл. — Я рад, что ты готов поучаствовать в моей священной миссии.

— Степень моего участия, — ответил сэр Бойвилл, — будет зависеть от твоих дальнейших действий. Что касается Осборна, я согласен, что его историю нужно проверить, и даже поддерживаю твое желание отправиться ради этого в Америку, но только если пообещаешь, что, если узнаешь что-то новое, не станешь ничего предпринимать без моего ведома.

— Можешь не сомневаться, — ответил Джерард, — я сдержу обещание. Честью клянусь, что буду рассказывать тебе все, узнавать о твоих

пожеланиях и стараться отныне действовать с твоего одобрения.

После того, как отец и сын согласились пойти на уступки, их разговор продолжился в непринужденном и дружелюбном ключе, чего не случалось уже очень давно. Они провели вечер вместе, и, хотя надменность, уязвленная гордость, раздражение и неисправимое себялюбие сэра Бойвилла давали о себе знать при каждом удобном случае, Джерард с удивлением отметил, что за этим внушительным фасадом крылась слабость. Гневные приказы и оскорбления служили защитой для уязвимых сторон натуры сэра Бойвилла. Тот по-прежнему любил Алитею и сожалел о ее смерти; жаждал убедиться, что она осталась ему верна, но презирал себя за эти чувства, считая их мягкотелостью и наивностью. Он был убежден, что его худшие подозрения оправдаются. Он верил, что Алитея, скорее всего, мертва и ее ошибки и печали — дело прошлого и упокоились с ней в могиле; вместе с тем считал, что, если она хотя бы полчаса добровольно оставалась во власти человека, забравшего ее из дома, никакое покаяние, угрызения совести и страдания не искупят ее вину. Он боялся услышать историю бесчестья; страшился, что публике вновь представят обры-

вочный неубедительный рассказ и люди станут насмехаться над его доверчивостью и потешаться над новыми деталями давно забытой истории. Вот о чем он думал, пока в сердце безудержно бушевали гордыня и негодование.

Невиллу же не было дела до публики. Его заботили лишь страдания матери и несправедливые обвинения в ее адрес. Он представлял, как та была несчастна в течение долгих лет, и мечтал вновь почувствовать материнские объятия и отблагодарить ее за заботу о нем в раннем детстве независимо от того, что случилось потом. Так он рассуждал и такие чувства испытывал, когда что-то грозило поколебать его уверенность в ее непорочности и честности, — а он верил в них всем сердцем. В то же время ему, как и его отцу, была ненавистна мысль, что история Алитеи станет пищей для пересудов равнодушных, легкомысленных, низких и примитивных людей с презренной склонностью к клевете. До сих пор его отец берег имя Алитеи от праздных обсуждений; Невилл уважал его за это. Он доказал отцу, что был отнюдь не так неблагоразумен, как тому казалось, и наконец убедил его, что путешествие в Америку может пролить свет на случившееся. Открытый и спокойный разговор приободрил

обоих, и на следующий день Джерард отправился к Элизабет в легком и счастливом настроении; суровый зов долга в нем смешивался с радужными любовными мечтами. Он вошел в дом Фолкнера торжествуя; его сердце полнилось надеждой; он вышел в ужасе, потрясении и почти в отчаянии.

К отцу он вернуться не мог. Его остановило предположение Элизабет, что Фолкнер, возможно, внезапно впал в безумие и все это наговорил в бреду; ему не хотелось смешивать дорогое имя своей подруги с трагедией материнской смерти, пока не выяснилось, что произошло на самом деле. Он тут же решил не предпринимать ничего до вечера; сперва он должен был снова увидеть Элизабет и узнать, правдиво ли ужасное признание, что до сих пор звенело в его ушах. Он ждал вечера, но тот, казалось, не наступит никогда. Он бродил по городу как в страшном сне. Сперва пошел в доки, забрал свой багаж, но сказал, что, возможно, еще сядет на корабль в Ширнессе. Он радовался, что ему было чем заняться, и все же с готовностью обменял бы часы напряженного ожидания на определенность, подобную проглянувшему из-за туч внезапному солнечному лучу, который осветил бы ему путь и показал, что все это время он шел по краю высокого обрыва.

Вечером он получил из рук слуги пакет и письмо; уехал в растерянности и смятении; под первым встретившимся фонарем прочел письмо Элизабет. Кровь застыла в жилах, смятение охватило разум; пришпорив коня, он яростно скакал прочь, пока не очутился у отцовского дома.

Сэр Бойвилл сидел один в гостиной, пил кофе и предавался размышлениям. Впервые с момента исчезновения жены он вспомнил их супружескую жизнь, очарование и добродетель Алитеи, ее кроткий нрав, располагающий к себе любого. Впервые с его глаз упала сплетенная гневом и тщеславием пелена, и он отчетливо увидел опрометчивость и несправедливость своих прежних действий. Теперь он уже не сомневался, что она не могла его обмануть; ведь сын был так на нее похож, а в нем не было ни капли лживости. Прежде он питал к сыну неприязнь, так как тот был ее отпрыском; теперь же ему стало казаться, что Джерард унаследовал от матери ее добродетели, и его сердце инстинктивно и необъяснимо потянулось к ним обоим.

Джерард открыл дверь и заглянул в гостиную; сэр Бойвилл с трудом его узнал: его лицо было белее мрамора, взгляд безумно блуждал, а черты исказила судорога, как у человека, терзаемого

сильной болью. Джерард бросил на стол пакет и воскликнул:

— Победа, отец, победа! — Его голос звучал резко и пронзительно, почти срывался на визг, и сэр Бойвилл не обрадовался, а, напротив, испугался. — Читай! Читай! — продолжил Джерард. — Я еще не читал, я держу обещание; ты узнаешь обо всем раньше меня, но я и так все знаю, я видел человека, погубившего мать! Она мертва!

Теперь сэр Бойвилл отчасти понимал, почему Джерард так взбудоражен. Он видел, что в таком состоянии от него не стоит ждать рассудительных поступков; он не догадывался, как сыну удалось найти злодея, который в них обоих вызывал ненасытную жажду мести, но если Джерард на самом деле его встретил и узнал о его деяниях, неудивительно, что это привело его в такое исступление. Сэр Бойвилл взял пакет, перерезал скреплявшую его бечевку, пролистал бумаги и нахмурился.

— Какое длинное письмо, — промолвил он, — как много объяснений и отговорок! Оправдательный рассказ должен быть коротким; ни к чему приукрашивать простую истину!

— Он ничего не приукрашивал, — ответил Невилл, — во всяком случае, я ничего такого от него

не слышал. Он говорил прямо; в его признании не было увертoк.

— О ком ты говоришь?

— Читай, — сказал Невилл, — и ты узнаешь больше, чем знаю я. Я получил эти бумаги всего полчаса назад и пока не успел их прочесть. Я отдаю их тебе, не зная их содержания; я выполнил обещание. Письмо написал Руперт Фолкнер; это он виновен в смерти матери.

— Тогда оставь меня, — произнес сэр Бойвилл изменившимся тихим голосом. — Странные вещи ты говоришь; выходит, из этого письма я узнаю факты, что приоткроют тайну трагического прошлого и создадут будущее, в котором я вынужден мстить. Оставь меня; я должен прочесть это один, а после понять, как почтить ее память и как действовать. Оставь меня, Джерард; я долго был к тебе несправедлив, но теперь тебе воздастся по заслугам. Возвращайся через несколько часов; я приму тебя, как только прочитаю эту рукопись.

Джерард ушел. Он почти не помнил, что делал, пока вез запечатанный пакет отцу. Он боялся, что поддастся искушению — какому? Скрыть признание, оправдывающее мать? Никогда! Однако ответственность его тяготила, и, повинуясь неудержимому порыву, он решил от нее

избавиться и сделать самое простое — предать огласке все, что произошло. Сделав это, он почувствовал себя так, будто поднес спичку к снаряду, несущему разрушение храму и святилищу, где хранились его самые драгоценные чаяния — счастье и жизнь Элизабет. Но дело было сделано; оставалось лишь зажмуриться и позволить смертоносному снаряду достичь назначенной цели.

Джерард был молод и стремился к счастью со свойственным юности пылом. В молодости нам кажется, будто счастье является неотъемлемым правом человека; опыт долгих и жестоких лет избавляет нас от этой иллюзии и всего, что дарит радость (а эту жертву принести еще сложнее). Такие вещи хоть и существуют на земле, ради них человеку слишком часто приходится жертвовать спокойствием ума и чистой совестью. Этот выбор теперь встал перед Джерардом. Он не сомневался, что, если завоюет любовь Элизабет и сделает ее своей, его ждет счастливая жизнь, но ради этого пришлось бы пожертвовать именем матери и священной миссией, которой он посвятил себя с самого детства. Такого он допустить не мог.

Эта мысль принесла крушение новых надежд, озарявших его существование. Поэтичная и хрупкая натура Джерарда способствовала

формированию радужных фантазий о союзе, скрепленном любовью, сопереживанием и пламенным преклонением перед добродетелями его спутницы. В Элизабет воплотились все его чаяния; в ее очах он читал свершение своей мечты. Он полюбил ее за преданность отцу. Мудрость, простота и правильность ее мышления; чувствительность, сдерживаемая самообладанием, но готовая проявиться и утешить несчастных; щедрость, абсолютная самоотверженность; верные и справедливые суждения о мире, смягченные чисто женским свойством приспосабливаться к ситуации и чувствам окружающих, — все эти качества, которые он постепенно в ней обнаружил и полюбил благодаря дружескому расположению, которое она к нему проявляла, открыли перед ним прежде запертые врата единственного земного рая. Но теперь, выражаясь словами поэта, зло проникло даже туда, и змей обнаружился даже под самыми прекрасными и чистыми райскими цветами[23], оставив на них свой скользкий ядовитый след.

Невилл предвкушал жизнь, полную невинного и безудержного счастья; он видел себя другом,

---

[23] Примечания: 23
Перефразированные строки из «Пери и ангела» Томаса Мура.

защитником и супругом Элизабет. Юности свойственен оптимизм, хотя и не самонадеянность; она полностью отдает себя и считает себя вправе на взаимность. Джерард с готовностью помогал Элизабет ухаживать за отцом, который, как ему казалось, чах с каждым днем; он представлял, как окажется рядом, утешит ее, займет его место и не даст ей упасть духом, когда ее постигнет горестная утрата.

Но Фолкнер! Джерард не сомневался, что столь слабый здоровьем человек не проживет много лет. Он вспомнил, как в Марселе тот лежал, растянувшись на кушетке, слабый, словно младенец; печать смерти читалась на его лице. Потом он вспомнил его таким, каким видел сегодня с утра: болезнь согнула его спину, лицо посерело и осунулось. Тот самый человек тринадцать лет назад ходил прямо, гордо и был полон едва ли не юношеских сил, но горе и недуг ускорили старение; его настиг преждевременный упадок — не пройдет и нескольких лет, как природа возьмет свое и он сойдет в могилу. Однако Джерард не мог оставить его в покое; он должен был немедленно сойтись с ним в поединке, который завершился бы смертью одного из них, и вне зависимости от того, кто из них падет, для Элизабет всякая

надежда была потеряна: в любом случае она лишится всего, Фолкнер умрет, а между ней и ее единственным другом вырастет непреодолимый барьер. При мысли об этом пылкий и кроткий дух Невилла трепетал от ужаса. «О разрушительные силы природы! — воскликнул он. — Придите же мне на помощь! Шторм, наводнение и пожар, смешайтесь в одном отчаянном вихре; или нет, обрушьте на меня смертельные пытки, каким тираны подвергают своих жертв! Сравнится ли боль, пережитая мучениками, с той, что терзает человеческое сердце, раздираемое противоречивыми страстями и противоположными намерениями? Еще сегодня утром Элизабет воплощала все мои надежды и радости. Я ни за что бы не допустил, чтобы с ее головы упал хоть волосок, а теперь обдумываю деяние, которое обречет ее вечно страдать!»

На смену этим сумбурным размышлениям пришло осознание, что он по-прежнему не знает правды. Он вспомнил о письме, которое читал отец: изменит ли оно что-то в его представлении о своем долге? В юноше пробудилось всепоглощающее любопытство. Оставив отца в доме, он выбежал на свежий воздух, повинуясь инстинкту, что всегда побуждает мятежный ум

искать успокоения в движении. Он поспешил в Гайд-парк; в сумерках тот казался бескрайним пустырем. Он мерил шагами лужайку и ничего перед собой не видел, ничего не замечал, кроме войны, что велась в его душе. Наконец желание избавиться от сомнений стало нестерпимым; ему показалось, что прошло уже много времени, и он решил, что отец его заждался. На лондонских башнях пробили часы; он насчитал одиннадцать и понял, что минуло чуть больше часа.

Глава XXXIV

Невилл вернулся домой, остановился на пороге гостиной: легкий шум сообщил ему, что отец все еще там; рука уже легла на дверную ручку, но юноша ушел, не желая являться без приглашения. Он бродил по темным пустым комнатам, пока не услышал колокольчик. Сэр Бойвилл вызывал его; Невилл поспешил в гостиную и устремил взгляд на отца, пытаясь прочесть его мысли. Лицо сэра Бойвилла обыкновенно было отмечено выражением холодной сдержанности с примесью сарказма. Сейчас это впечатление усилилось; лицо пожилого джентльмена, увядшее и изрезанное морщинами, сложилось в необыкновенно красноречивую мину глубочайшего презрения с поджатыми губами и высоко поднятыми бровями. Он указал на лежавшие перед ним бумаги и холодным гулким тоном произнес:

— Забери письмо; прочти его, ты должен; в нем ты найдешь многословную исповедь убийцы!

Кровь похолодела в жилах Джерарда.

— Впрочем, стоит ли называть это исповедью, — продолжал сэр Бойвилл, и выражение

презрения на его лице сменилось гневной неприязнью, — ведь это гнусная ложь от начала до конца! Он может сколько угодно приукрашивать свое очевидное злодейство и пытаться уйти от наказания, но ничего не выйдет. Читай, Джерард, читай, и сам удостоверься, что я прав. Я напрасно осудил твою мать, она чиста; ее убили. Будь покоен, о ее невиновности услышат все, как услышали прежде обвинения в ее адрес. А в расплату за ее смерть тот, кто ее уничтожил, сам должен умереть.

— Поручи это мне, — сказал Джерард, который весь побледнел и задрожал от раздиравших его страстей. — Я сам ему отомщу. Я встречусь с мистером Фолкнером.

— Ха! Хочешь вызвать его на дуэль? — воскликнул сэр Бойвилл. — Помни о своем обещании, мой мальчик; я не дам тебе о нем забыть. Ты ничего не сделаешь, не посоветовавшись сперва со мной. Прочти эти бумаги и потом решай; я уже все для себя решил, но не бойся, я не стану препятствовать твоему намерению и не вызову убийцу на поединок. Однако пообещай, что не станешь искать встречи со злодеем, пока не поговоришь со мной. Я не буду мешать твоей мести, но сначала мы должны все обсудить.

— Обещаю, — ответил Джерард.

— И еще кое-что, — продолжил сэр Бойвилл. — Есть ли хоть малейшая вероятность, что этот человек сбежит? Он верит, что ложь защитит его от всякой угрозы, или уже успел удрать от нашей мести?

— Какие бы преступления он ни совершил, — ответил Невилл, — он не бесчестный человек. Он пообещал оставаться дома и дожидаться от меня вестей. Он, несомненно, ждет, что я вызову его на поединок; полагаю, он даже этого хочет. Уверен, мысль о побеге не приходила ему в голову.

— Хорошо; тогда спокойной ночи, Джерард. Теперь мы рассуждаем едино; нас объединяют любовь, уважение к памяти твоей несчастной матери и стремление отомстить; различие между нами лишь в том, что мое желание исправить причиненную ей несправедливость еще сильнее твоего. — Сэр Бойвилл пожал руку сына и удалился. Невиллу показалось, что через несколько минут он вышел из дома.

«Что ж, приступим, — подумал Невилл. — Господь, что оберегает невинных, но сам же передает их злодеям, возьми в свои руки бразды моей души и не позволь безумной ненависти и жажде мести лишить меня человеческого и превратить

в зверя!»

Он взял письмо; поначалу ему казалось, что строки объяты огнем, но, поняв, что повествование начинается издалека, он постепенно успокоился, любопытство одержало верх над жгучим нетерпением, и он начал читать более внимательно.

Он читал и жалел Фолкнера. Все, что раздражало сэра Бойвилла, — самонадеянность Фолкнера, осмелившегося любить, и его многолетняя преданность — возбуждало в нем сочувствие. Когда он дочитал до встречи забытого друга Алитеи с ее счастливым супругом и увидел, какими эпитетами Фолкнер наградил его отца и как презрительно его описывал, он понял, отчего жажда мести пробудилась в сэре Бойвилле с утроенной силой. Прочитав, что его мать сама жаловалась на мужа и неприязненно о нем отзывалась, он удивился, отчего сэр Бойвилл не обозлился на нее, и заподозрил, что в уме отца, должно быть, сложилась некая причудливая и чудовищная идея, чем и объяснялась его неестественная сдержанность. Остальное же виделось ему чистым безумием, безумием и ужасом: похитить жену и мать из дома, чтобы удовлетворить безрассудное желание на полчаса возыметь над ней навек по-

терянную власть; тщетно надеяться отвратить ее от долга, которым она дорожила больше всего на свете, по крайней мере в отношении своих детей; ее страх, неспособность совладать с тревогой, ночь, проведенная в хижине в беспамятстве… Джерард вздрогнул, вспомнив, что видел и когда-то заметил то самое место; чтение обострило его чувства до предела, стало нечем дышать, а когда он дошел до печального конца, на лбу выступила холодная роса; слезы, затуманившие его взор, сменились судорожными рыданиями, и он, хотя был уже взрослым мужчиной, заплакал, как маленький мальчик.

Он дочитал рассказ и подумал: «Да, у этой трагедии может быть только один конец; я должен отомстить за милую матушку, убить Фолкнера и объявить о ее невиновности». Но почему его отец назвал Фолкнера убийцей? Тот не намеревался убивать Алитею и не приложил к ее гибели руку, так почему отец сказал, что его повествование — ложь? Джерард сам внимательно прочел каждое слово и не сомневался в правдивости всего признания.

В доме было тихо; часы пробили два. Ушел ли отец спать? Джерарда так поглотило его занятие, что он не слышал ни звука и не ведал, что

творилось вокруг. Наконец он вспомнил, как сэр Бойвилл пожелал ему спокойной ночи, и, решив, что в доме все спали, поскольку в комнатах царила тишина, отправился к себе. Он не мог думать об Элизабет или предполагаемом поединке; все его мысли были о прочитанном письме. Он лег в кровать, но заснуть не смог; встал, зажег свечу и перечитал рассказ Фолкнера; обдумал каждое слово и готов был поклясться жизнью, что все это было правдой, что ни одной детали Фолкнер не выдумал, — разве не отражалось это на его лице, когда они виделись всего несколько часов назад? Фолкнер был печален, измучен горем и страданиями, но было непохоже, что его терзала скрытая вина; в самом своем страдании он оставался возвышенным. Занималась заря, и Джерард уже подумывал встать и найти отца, как его сморил сон. Сон часто настигает молодых нежданно; Джерард так устал душой и телом, что его организм стремился к отдохновению; сперва юноша ворочался, но вскоре уснул глубоким освежающим сном; мятежные мысли успокоились, а утомленные члены сморила блаженная нега.

Он проснулся поздним утром, отдохнувший и готовый встретиться с неизбежностью; душа его терзалась, но он держал себя в руках, печаль не

мешала его решимости и твердости. Он справился об отце и с изумлением узнал, что тот уехал из города; в четыре утра велел подать дорожный экипаж и был таков, оставив записку, которую вручили Невиллу. В ней содержалось всего несколько слов: «Помни о нашей договоренности и не предпринимай ничего касательно мистера Фолкнера, пока не увидишься со мной. Я еду в Дромор; когда вернусь — а это будет скоро, — сообщу тебе о своих намерениях, с которыми ты, безусловно, согласишься».

Невилл удивился; он тут же догадался, зачем сэр Бойвилл внезапно отправился в путешествие, но разве не следовало взять его с собой? Разве не его сыновний долг — посетить могилу матери и воздать ей почести? Он чувствовал, что должен быть рядом с отцом, и, велев подать карету, отправился в путь, надеясь его догнать.

Но сэр Бойвилл ехал с такой же скоростью и на много миль его опередил. Джерард надеялся с ним поравняться, когда тот остановится на ночлег, но старый джентльмен так хотел скорее добраться до места, что ехал без отдыха. Джерард тоже не задержался на ночь; он путешествовал один, снова и снова прокручивая в голове все, о чем узнал из письма, и думая о том, что должно

произойти. Что бы ни случилось, они с Элизабет разлучены навсегда. Любила ли она его? Прежде он не сомневался, что однажды она ответит на его чувства, но теперь навсегда ее потерял и, как положено влюбленному, стремящемуся удержать хоть какие-то права на предмет своего обожания, лелеял надежду, что и она будет горевать и тем докажет единство их сердец. Как чудесны были дни, что они провели в Оукли! Его переживания и страстное желание раскрыть тайну материнской судьбы насыщали интересом каждый час, а возлюбленная Элизабет, которая так пылко и сердечно ему сопереживала, казалась самым милым на земле созданием.

Как странно, что дочь человека, погубившего мать, разделяла чувства сына несчастной жертвы; еще более странно, что у такого человека вообще была дочь. Вконец запутавшись, Джерард вздрогнул, впервые подумав об этом. А как же хваленая преданность Фолкнера, благодаря которой он мог претендовать на сочувствие и прощение? Как же заверения, что его сердце принадлежало только Алитее? Ведь эта девочка, этот ангел во плоти, уже родилась на момент его преступления. Невилл открыл письменный прибор, в котором лежали бумаги и который он взял с собой, и обра-

тился к рассказу Фолкнера за подтверждением. Да, Элизабет тогда уже родилась и находилась рядом с Фолкнером; тот писал, что она удержала его руку, когда он пытался покончить с собой. Значит, мало того что его безумная страсть побудила его оторвать Алитею от ее собственного дома и детей, — даже существование дочери его не остановило, он сделал ее с самого детства своей соучастницей в вине и несчастье! До того, несмотря ни на что, Невилл жалел Фолкнера, хотя был готов сразиться с ним в смертельной схватке; теперь же его сердце ожесточилось, а в голове появились мысли, подобные тем, что выразил отец; он уже считал отца Элизабет обманщиком, а его рассказ — ложью. Он снова перечитал рукопись, теперь уже скептически, и в этот раз, поскольку был настроен против ее автора, заметил преувеличение там, где прежде находил лишь пылкость, и попытки смягчить вину там, где прежде ему виделись угрызения совести — естественное и благородное чувство, что сопутствует вине, в которую обстоятельства способны обратить наши самые возвышенные порывы. Страдания Фолкнера теперь виделись ему справедливой карой разгневанных небес, а сам Фолкнер — негодяем, для которого и смерть

— слишком милосердное наказание. Подумать только, что прекрасная, великодушная и чистая душой Элизабет — его дитя!

Глава XXXV

Ночь прошла в дороге; Невилл не спал. Печальная заря пробивалась сквозь облака, принесенные юго-восточным ветром. Природа казалась бесцветной и унылой, хотя по-прежнему носила летний наряд. Был конец августа, а в нашем климате в это время погода бывает переменчивой; еще недавно в Сассексе Невилл наслаждался ясными солнечными днями, а теперь похолодало, и пасмурное небо сообщало, что год близится к концу. Он прибыл в Дромор около полудня и узнал, что его отец приехал ночью, поспал несколько часов, но уже ушел; кажется, поехал к соседу, мистеру Эшли, так как спрашивал, на месте ли тот; захватил слугу, и они верхом поскакали по дороге к соседскому дому.

Невилл быстро освежился и велел оседлать коня. Сердце гнало его к месту, где он однажды уже бывал; Фолкнер точно описал его в своем рассказе. Позади остались леса Дромора и покатые зеленые холмы, в тени которых раскинулось поместье; Джерард спустился к безлюдному мрачному берегу и вскоре услышал рев океана.

Его взору открылись пустынные пески, протянувшиеся вдоль края печального берега; он увидел вереницу дюн — своего рода природный вал, защищающий берег от прилива, и наконец очутился у быстротечной мелкой реки шириной всего каких-то двадцать ярдов с неровным каменистым дном. Дно хорошо просматривалось сквозь прозрачную воду; глубина реки составляла не больше двух футов. Неужели его мать утонула здесь в смертоносных бушующих водах? Он бросил взгляд на противоположный берег; там стояла хижина и поросший мхом дуб с мертвыми ветвями; вокруг дуба собралась толпа людей. Его отец и еще два или три человека верхом на лошадях толпились рядом, а рабочие раскапывали песок под высохшим стволом. Когда человек долго думает и горюет о каком-либо событии, а потом видит перед собой предмет, являющийся физическим воплощением его мыслей, сердце захватывает поразительная череда чувств. Невилл много раз представлял себе эту сцену и отдельные ее детали: дикий и безлюдный океан, мглу и пурпур под нависшими облаками, унылый берег, далекие громады гор, заслоняющие небеса своими величавыми неровными очертаниями, снежные пики и широкие долины, опоясываю-

щие благородный рельеф подобно гигантской изгороди. Его внутренний взор некогда выхватывал и отдельные небольшие предметы — реку, хижину, призрачное дерево; он думал, что, если бы когда-нибудь увидел это наяву, картина показалась бы ему куда более блеклой, чем в воображении. Но когда его взгляд упал на эту реку, хижину и дерево, и он увидел, чем заняты рабочие, и осознал, зачем на самом деле явился сюда, его юное сердце, так и не закалившееся страданиями, вдруг заболело, слезы хлынули из глаз, а с губ сорвались слова «Ох, мама!». Его пронзила болезненная судорога, но через миг он овладел собой и, направив коня через реку, со спокойным, хоть и бледным и печальным лицом приблизился к отцу. Сэр Бойвилл повернулся к нему и, кажется, ничуть не удивился, однако Джерарду показалось, что различил в его жесте благодарность и даже торжество; глядя на подернутые поволокой глаза отца и хрупкую фигуру, отмеченную бременем лет, хотя тот по-прежнему держал спину прямо, а лицо его хранило суровость, молодой человек понял, что его место — рядом с отцом и что тот нуждался в его юношеской энергии и физической мощи. Рабочие продолжали молча трудиться, никто не произносил ни слова; груда

песка рядом с ними росла, кони нетерпеливо били копытами по земле, тишину заполнял гулкий рокот волн, но не человеческий голос; если кому-то из рабочих требовалось отдать приказ, он говорил шепотом. Наконец они наткнулись на твердый предмет и начали рыть осторожнее; извлекли из ямы вперемешку с песком куски чего-то темного, похожего на шелк или иную ткань, и наконец выбрались из выкопанной ими широкой и длинной траншеи. В едином порыве, так и не обменявшись ни словом, все шагнули к краю и заглянули в яму. Там лежал скелет. Песок не смог помешать стихиям, и те уничтожили тело целиком, оставив лишь выбеленные кости и длинные пряди темных волос, обернутые вокруг черепа. Дружный стон вырвался из груди собравшихся у обрыва; Джерард же ощутил желание прыгнуть в могилу, но его остановила мысль, что все на него смотрят; вторым инстинктивным побуждением было благочестивое чувство, толкнувшее его расстегнуть большой черный дорожный плащ и накрыть им отверстие в земле. Сэр Бойвилл нарушил молчание.

— Ты хорошо поступил, сын; пусть никто не заглядывает в яму и не тревожит ее останки. Знаете, друзья, кому они принадлежат? Помните

ночь, когда похитили миссис Невилл? Тогда мы подняли всю округу, но напрасно ее искали. В ту ночь ее убили и похоронили здесь!

Гулкий шепот пронесся по рядам; к рабочим уже присоединились несколько зевак, услышавших, что творится нечто странное. Толпа напирала, но не видела ничего, кроме плаща, который возбудил всеобщий интерес и любопытство. Кто-то вспомнил леди Невилл, чьи истлевшие останки обнаружились столь странным образом; говорили, как та была молода и красива, добра, великодушна и всеми любима, и вот что от нее осталось! Убогие кости в земле — вот чем стала милая Алитея!

— Мистер Эшли любезно согласился мне помочь. Мы оба мировые судьи. Послали за коронером, вскоре созовут присяжных; когда этот долг будет исполнен, останки моей несчастной несправедливо обвиненной супруги будут перезахоронены со всеми почестями. А эти действия необходимы, чтобы наказать убийцу. Его личность нам известна, он не скроется, а вы — каждый из вас — порадуетесь, что я наконец смог отомстить.

Тут все собравшиеся разразились проклятиями в адрес злодея, но даже тогда их взгляды

были прикованы не к сэру Бойвиллу, чья мстительность ранее обрушивалась на саму миссис Невилл, — все смотрели на его сына, юношу, чье горе и благочестивое рвение стали предметом многочисленных пересудов и чьи бледность и безмолвие, трогательный жест и полный страдания взгляд свидетельствовали об искренней скорби, до которой сэру Бойвиллу с его разглагольствованиями было далеко.

— Надо назначить констеблей, чтобы охраняли могилу, — сказал сэр Бойвилл.

Мистер Эшли согласился; выбрали охранников, любопытным велели держаться подальше, а двое слуг из Дромора остались помогать констеблям. Затем сэр Бойвилл уехал. Невилл в смятении последовал за ним; ему хотелось задержаться и еще разок взглянуть на то, что осталось от его матери, но он не желал делать это на глазах у зевак. Он скакал чуть поодаль, пока сэр Бойвилл с мистером Эшли не разъехались в разные стороны; тогда он решил, что лучше присоединиться к отцу.

— Спасибо, сын мой, за твое рвение и за то, что приехал вовремя, — сказал сэр Бойвилл. — Я так и знал, что ты явишься. Теперь наши мысли совпадают; мы оба думаем, как воздать почести

твоей матери и отомстить за нее. На этот раз ты не откажешься давать показания.

— Неужели ты веришь, что мистер Фолкнер — убийца? — воскликнул Невилл.

— Пусть законы нашей страны ответят на этот вопрос, — с издевательским смешком промолвил сэр Бойвилл. — Я сообщу суду лишь факты; то же самое сделаешь ты, а дальше уже закон и присяжные его осудят или оправдают.

— Значит, твой план — чтобы он предстал перед судом? — спросил Джерард. — Я думал, что огласка…

— Мой план, — с безудержной яростью воскликнул сэр Бойвилл, — обрушить на него такие же несчастья, какие он обрушил на свою жертву, и даже хуже; благодарю всевидящие небеса, что дали мне возможность отомстить сполна. Он умрет от рук палача, и я буду удовлетворен.

В выражении лица и голосе старика было что-то дьявольское; он от души злорадствовал, представляя страшное бесчестье, которое постигнет его врага. Джентльменские принципы Джерарда, готовившегося к дуэли со злодеем, казались бледным и ничтожным подобием возмездия по сравнению с позором, который уготовил своему обидчику сэр Бойвилл.

— Разве не обвиняли твою мать публично, во всеуслышание, на весь мир? — продолжал его отец. — Разве не признали ее виновной в парламенте, не осрамили официальным постановлением суда? Так с какой стати мы должны замалчивать сведения о ее невиновности, с какой стати решать все в частном порядке? Я требую публичности! Пусть это будет не столь высокий суд, но тот, о чьих решениях тем не менее станет широко известно; пусть он объявит о ее невиновности! Одна лишь эта мысль определила бы мои действия, даже если бы душа оказалась настолько слабой, что позабыла о мщении. И хочу знать, кровь течет в твоих жилах или молоко, сворачивающееся при мысли, что преступник понесет справедливую кару.

В припадке ярости сэр Бойвилл подыскивал для выражения своих мыслей самые обидные и ядовитые слова, и Невилл сразу догадался, что отец пришел в бешенство, прочитав, как Фолкнер отзывался о нем в своей рукописи. Раненое тщеславие маскировалось под оскорбленные чувства; Джерард не разделял этих мелочных эгоистичных страстей, поэтому заметил:

— Мистер Фолкнер — джентльмен. Признаюсь, я поверил его рассказу. Преступление, описанное

его собственными словами, само по себе ужасно, и, если бы решение оставалось за мной, я бы заставил его сурово поплатиться, однако план, который предлагаешь ты, совсем не соответствует обычаям людей нашего круга, потому я смотрю на него с отвращением. Я бы предпочел поступить иначе.

— Ты имеешь в виду дуэль? — ответил сэр Бойвилл. — И ты готов рискнуть жизнью ради шанса его убить? Прости; я ни за что не признаю твой план благоразумным. Он причинил нам столько зла, что не имеет права на цивилизованное обращение, и я уж точно не хочу, чтобы к моим страданиям добавилась еще и смерть единственного сына.

Старик замолчал; его губа задрожала, а голос сорвался. Невилл решил, что причина этой перемены — нежность чувств, но он ошибался. Его отец продолжил:

— Я стараюсь сохранять самообладание и сдерживаться в выражениях. Мою беспощадную ненависть все равно не выразить никакими словами, поэтому не будем об этом. Ты можешь говорить спокойно и рассудительно и считаешь, что я должен делать то же самое; так давай рассуждать. Итак, ты готов бросить вызов этому

злодею, или, как ты его называешь, «джентльмену». Готов рискнуть своей жизнью, приравняв ее к жизни преступника. Он убил твою мать, а теперь и ты погибнешь от его руки — это будет моя награда? Но если ты говоришь правду и он обладает хотя бы каплей чувств, которые ты ему приписываешь и которые подобают солдату, — думаешь, он станет в тебя стрелять? В этом злосчастном лживом листке, который ты мне вручил, он беспрестанно твердит о муках совести; если в нем сохранилось что-то человеческое, если у него есть совесть, он не сможет поднять оружие на сына бедной Алитеи. Поэтому он должен отказаться встретиться с тобой на дуэли или, встретившись, отказаться стрелять; в любом случае либо это будет фарс на потеху всему свету, либо ты выстрелишь в беззащитного человека. Это немилосердно.

— Но мы должны рискнуть, сэр, — возразил Невилл.

— Я рисковать не стану, — воскликнул его отец. — Мою несчастную жену насильно увезли из дома; ты был тому свидетелем! Ее похитили двое мужчин, и с тех пор мы о ней ничего не знали. Теперь же один из похитителей, главный преступник, приукрашивает обстоятельства

своего преступления так, как ему вздумается, рассказывает свою историю, да с таким красноречивым изяществом, что неискушенный человек несомненно попадется на эту удочку! А мы должны довольствоваться этим и говорить: что ж, что было, то прошло? Это абсурд, и лишь безумец на это согласится! Довольно; я пытался тебя увещевать, будто решение зависит от меня, но на самом деле у меня нет права голоса. Я уже ни на что не влияю; теперь дело передано властям, а мы можем лишь стоять в стороне и наблюдать. Я верю, что найденные останки — и есть все, что осталось от твоей потерянной матери, и ты пред лицом Господа и своей отчизны должен подтвердить это. Тайное захоронение ясно свидетельствует об убийстве; беспристрастные судьи придут именно к такому выводу. Больше я вмешиваться не стану. Пусть суд присяжных установит истину; я не стану подкарауливать его и пытаться отомстить; если суд оправдает нашего врага, я дам ему сбежать, но если он виновен, пусть умрет смертью преступника — а именно это, полагаю, и произойдет.

Мысль о желанном жестоком триумфе придала стеклянный блеск глазам сэра Бойвилла, и губы его скривились в презрительной усмешке.

— Коронера вызвали в Рейвенгласс, — добавил он, — там соберется суд. Мы поедем туда и дадим показания. Не станем ни лгать, ни искажать факты; скажем, кто указал нам местонахождение тайной могилы твоей матери, а присяжные пусть решают, лежит ли грех убийства на душе того, кто, по его собственному признанию, похоронил ее там.

Глава XXXVI

Сэр Бойвилл пришпорил коня, и Невилл последовал за ним. В нем по-прежнему оставалось много от того мальчика, которого в детстве деспотизм отца почти довел до безумия. Его свободная и восприимчивая душа противилась произвольным приказам и чужому эгоизму. Его раненое больное сердце вспомнило об Элизабет и представило ее муки. Жестокая и низкая месть отца вызывала в нем отвращение. Он видел Фолкнера, и благородное величие его черт, хоть и слегка померкшее с годами, убедило его в правдивости этой печальной повести; Невилл не питал к нему того же презрения, что сэр Бойвилл, для которого Фолкнер являлся лишь призраком его воображения; он никогда его не видел и не знал. К тому же Фолкнер любил его мать; больше того — она сама по-сестрински любила его, и, как бы порочно и жестоко ни отблагодарил он ее за доброту, любовь Алитеи делала его неприкосновенным в глазах Джерарда.

В противоположность этим кротким чувствам в нем бушевала ярость оттого, что Элизабет — его

дитя, что из-за Фолкнера между ним и его подругой сердца — ангелом, с чьим появлением в его душе впервые воцарился покой, — выросла стена. Внутри развернулась жестокая борьба: он не мог отказаться свидетельствовать на процессе, который уже начался; его мотивы могли истолковать неверно, он мог навредить памяти матери. В конце концов эта мысль победила; он должен был сделать все возможное, чтобы оправдать Алитею; об остальном же пусть позаботится таинственная рука Провидения.

Он прибыл в убогий городишко Рейвенгласс, где собрались чиновники; пока готовились к предварительному слушанию, к нему подошел адвокат сэра Бойвилла и попросил рассказать все, что он знал, чтобы с учетом своих юридических знаний подсказать, как сделать показания краткими и убедительными. Невилл поведал свою историю простыми словами, стараясь по возможности ограничиваться голыми фактами. Адвокат, по-видимому, удивился, услышав новую версию, ведь сэр Бойвилл уверенно обвинял Фолкнера в убийстве.

— Этот Фолкнер, — сказал он, — скрывался тринадцать лет, пока не обнаружили его сообщника Осборна и пока он не узнал, что Джерард вел

свое расследование; тогда, испугавшись, что в Америке его история выплывет наружу, он сам признался, приукрасив факты преступления, но все же указав на место захоронения жертвы, что явно подтверждает истинность настоящего обвинения. Не может быть, чтобы все было так, как он описывает, хотя его рассказ очень убедителен. Возможно ли, чтобы женщина столь робкая, как Алитея, бросилась на верную смерть, как он утверждает? Зачем она пыталась пересечь бушующую реку? Пройдя всего полмили, она бы дошла до крестьянского дома, где смогла бы укрыться от преследования. Разве дама, хорошо известная в округе, где все относились к ней по-доброму, не отправилась бы в ближайшую деревню вместо того, чтобы лезть в опасную воду? Она боялась даже замочить ноги в ручье; она никогда бы не осмелилась броситься в ревущие волны, грозившие ее поглотить и уничтожить!

Так рассуждал сэр Бойвилл, и, хотя Джерард озадачил адвоката своим заявлением, что верит Фолкнеру, он не мог спорить с утверждением, что суд неизбежен и лучше суда никто не установит истину. Созвали присяжных, и сэр Бойвилл выступил в таком ключе, чтобы настроить их против обвиняемого. Печальная процессия дви-

нулась к могиле бедной Алитеи; вокруг нее уже собралась толпа деревенских жителей, которые не осмеливались прикоснуться к плащу, но таращились на него с любопытством и жалостью. Многие помнили миссис Невилл, и их простецкие восклицания показывали, как они горевали о ней. «Помню, я захворала, — сказала одна старуха, — а она сама дала мне лекарство». «Мой сын Джеймс сгинул в море, — вспомнила другая, — и тогда она пришла, утешила меня и привела с собой юного мастера Джерарда, и плакала, благослови ее Господь! Такая богатая, благородная дама — глянула на меня, увидела, как мне тяжело, и заплакала по бедняжке Джеймсу! И подумать только — остались от нее одни косточки!» «Дорогая моя хозяйка, — причитала еще одна женщина, — никогда и слова грубого мне не сказала; ее стараниями я мужа нашла; будь она жива, я бы горя не знала!»

За плачем последовали проклятия в адрес убийцы. С приездом присяжных по рядам прокатился ропот, толпа отступила, подняли плащ, и присяжные заглянули в яму; череп, оплетенный длинными темными волосами, чей цвет и блеск помнили многие из присутствующих, привлек всеобщее внимание; женщины, увидев его, за-

рыдали в голос. Осмотрели фрагменты платья, шелкового или муслинового, которые довольно хорошо сохранились, хотя выцвели и пошли пятнами. Еще одно доказательство — среди костей нашли украшения; на руке скелета — обручальное кольцо и еще два; сэр Бойвилл поклялся, что оба принадлежали его жене. Личность усопшей теперь ни у кого не вызывала сомнений; рассматривать кости дольше необходимого казалось святотатством, и каждый видевший их, размышляя о том, как такая красота и совершенство превратились в маленькую груду костей, ненавистных глазу, усвоил проникновенный урок о быстротечности жизни. Плакали даже самые суровые мужчины, и в каждом сердце пылала ненависть к человеку, погубившему несчастную даму.

Через несколько секунд над ямой снова натянули плащ, толпа подступила ближе, а присяжные ушли и возвратились в Рейвенгласс. Показания Невилла были нужны лишь для того, чтобы подтвердить имя и место проживания убийцы; в вердикте же никто не сомневался. Фолкнера единогласно признали виновным в преднамеренном убийстве, выдали ордер на его задержание и отправили к нему полицейских.

После оглашения вердикта сэр Бойвилл с сыном вернулись в Дромор. Их сопровождали мистер Эшли и адвокат; жизненная рутина, что так часто вмешивается в наши дела ради нашего же блага, сводя вместе разных людей и притупляя острые впечатления, вынудила Невилла, который жаждал предаться размышлениям, провести несколько часов в обществе этих джентльменов. Подали обед; мистер Эшли остался, а Джерард решил, что уйти было бы невежливо. После обеда его подвергли настоящему допросу, который его восприимчивому и живому уму показался более жестоким, чем любые превратности судьбы. Его подробно расспросили о знакомстве с Фолкнером, о том, как они встретились, часто ли виделись и как вышло, что тот, кого они называли убийцей, решил во всем сознаться. Ответить на эти вопросы не составляло труда, но пришлось упомянуть об Элизабет — и, разумеется, как только выяснилось, что у Фолкнера есть дочь, на него обрушилась лавина расспросов, а с губ отца сорвались грубые слова, возмутившие душу молодого человека; вместе с тем он никак не мог ее защитить и избавить от связи с Фолкнером: теперь она считалась дочерью убийцы.

Он выбежал из комнаты при первом же удоб-

ном случае, вышел на свежий воздух и поспешил туда, где мог бы совладать с мятежными чувствами и очистить душу, — к могиле матери, где ни было никого, кроме часовых. При виде молодого сквайра они отошли в сторону, а он, прибежавший сюда с такой скоростью, что не чувствовал почвы под ногами, бросился на песок, радуясь, что остался наконец наедине с природой. Луна плыла по небу среди облаков, то ярко сияя в просветах, то исчезая за темной завесой, и зеркальная поверхность океана то искрилась серебром, то тускнела, подергиваясь поволокой, и тогда шум прилива был слышен, но волны не видны.

Однажды красноречивый философ с презрением произнес: «Попробуйте представить человека, который не ведает ни о существовании Бога, ни о вечности, ни о добре, ни об истине, ни о красоте, ни о бесконечности»[24]. Невилл не был таким человеком. Поэзия жила в его душе, а стремление к идеалу придавало его характеру особое очарование, которое замечали натуры столь же тонкие и возвышенные. Под этими песками покоилось истлевшее тело его матери; смерть присутство-

---

[24] Примечания: 24
Сэмюэл Кольридж.

вала рядом в самом отвратительном обличье; тело той, что когда-то была ему так дорога, чьи теплые и нежные ласки он вспоминал с таким трепетом, больше не обладало ни красотой, ни даже формой. Он требовал, чтобы небеса открыли ему судьбу матери, и те привели его сюда; здесь, в узкой могиле, лежали свидетельства ее добродетели и ее смерти. Благодарил ли он небеса? Да, но с горечью осознавал, что ответ на его молитвы был неразрывно связан с крахом столь же светлого и благородного существа, как та, чью честь он стремился отстоять.

Его сердце трепетало, когда он представлял все страшные и жестокие беды, которые сам же навлек на Элизабет; он искал в душе оправдания успеху, к которому так стремился. Те не заставили себя ждать: он не желал низменной мести; его мотивы были благородными, он вел себя честно. Фигура матери отмечена для каждого божественной печатью; Невиллом двигало желание доказать, что мать, которую он боготворил, не нарушила первостепенный и самый священный в мире долг, и он не мог предвидеть, что в результате его поисков пострадают невинные. Отвечать за преступление обязан совершивший его; Фолкнер должен был принять на себя все последствия сво-

его поступка, остальные невиновны. Однако эти размышления лишь на время притупили боль от раны; вмешались другие мысли и реальность, неприглядная реальность сцены, в которой ему, несчастному, должно участвовать. За Фолкнером придут, наденут ему кандалы, посадят в тюрьму; его ждет публичный позорный суд; ему предстоит подвергнуться этим унижениям, и Джерард прекрасно знал, что дочь его не оставит. «А я, ее сын, потомок этих священных костей, помещенных сюда его рукой, — разве могу я находиться рядом с его дочерью? Пусть Господь смилуется над ней, ибо люди ее не пощадят!»

И все же он был недоволен. «Что-то можно предпринять, и я это сделаю! Люди, которых отрядили его забрать и отвести в презренное место, предназначенное для худших представителей человечества, уже в пути; она пойдет с ним, а я вынужден оставаться здесь. Завтра останки перенесут в наш дом; на следующий день захоронят в семейном склепе, и я обязан присутствовать на церемонии; мои руки связаны, я поневоле бездействую; у меня отняли свободу действий».

Однако в ходе этих размышлений в нем пробудилась надежда. Он вспомнил щедрую добросердечную натуру леди Сесил и то, как привязана

она была к своей юной подруге, и решил ей написать. Он не сомневался, что леди Сесил сделает все возможное, чтобы облегчить страдания Элизабет; правда, он толком не понимал, что именно можно сделать, но успокоился тем, что хоть как-то помог преданной дочери Фолкнера. Несмотря на все горькие размышления, жалел ли он, что встретил Элизабет? Они очутились в центре такой запутанной паутины, что едва бы что-то изменилось, если бы одно из цепи событий сложилось иначе; он жалел лишь об одном: что доверился отцу, который его обманул. Он понял, что щедрые и мелочные люди никогда не смогут договориться; он должен был действовать сам и никому не сообщать о своих планах, и даже если бы его замысел привел к несчастному концу, последствия честной благородной мести оказались бы менее жестокими, чем злобное преследование со стороны его мстительного отца.

Глава XXXVII

Юности свойственно нетерпение; молодые люди не желают мириться с естественными паузами, возникающими между событиями. Все, что не движется, кажется им стоящим на месте. Поэтому Фолкнер удивился, что от Невилла несколько дней не было вестей; однако он не переставал ждать и готовиться к часу, когда его призовут ответить за совершенное зло. Элизабет, напротив, решила, что все кончено и занавес опустился. Что еще могло случиться? Невилл удостоверился в невиновности своей матери и узнал историю ее трагической гибели. Возможно, теперь об этом узнает весь мир, но Элизабет не представляла, что отголоски этой истории могли нарушить их с отцом уединение. Тишина и изоляция свидетельствовали о том, что его вину обнаружили; другого наказания она не ждала. Имя Фолкнера теперь вызывало отвращение у всех, кто имел отношение к его жертве. Элизабет мысленно попрощалась со своими друзьями из Оукли, с доброй и чистосердечной леди Сесил и, конечно, с Джерардом. Его добродетельный

ум и его сердце, чья чувствительность пробудила в ней симпатию, были безвозвратно для нее потеряны.

Любила ли она Джерарда? Она никогда об этом не задумывалась. Она чувствовала, но не анализировала свои чувства. Элизабет была создана для любви. Ее энтузиазм придавал возвышенность всем чувствам; ласковый нрав наделял их теплотой. Она любила Фолкнера с такой искренностью и нежностью и вместе с тем с такой отчаянной пылкостью, что ее невинное сердце не могло представить более абсолютной силы и нежной привязанности, чем та, в которой она ему поклялась. Вместе с тем она чувствовала разницу между глубокой преданностью тому, кого называла и считала своим отцом, и фонтаном живых, счастливых и всепоглощающих эмоций, которые вызывал в ней Невилл. Фолкнеру она служила и посвятила всю жизнь; заботилась о нем, как мать о ребенке; одной его улыбки и ласкового слова было достаточно, чтобы ее тревожное сердце успокоилось, а его беды она оплакивала с искренним сочувствием.

Но чувства к Невиллу скорее представляли собой искреннюю связь двух умов. Фолкнер был угрюм и всецело поглощен собой. Элизабет жа-

лела его, но не могла утешить. С Джерардом все было иначе. Ей удалось пробудить в его душе неведомый прежде источник сопереживания и унять терзавшую его меланхолию. Раньше он вынужден был контролировать поток своих чувств, но рядом с ней не сдерживал порывы сердца, тянувшегося к общению с другим, дорогим ему существом. Все в нем вызывало у нее восхищение и приязнь. Его поэтичная натура рождала увлекательные и разнообразные суждения и идеи. Он познакомил ее с творчеством поэтов родной Англии, о которых она прежде ничего не знала, и открыл ей новый восхитительный мир. Из всех английских бардов Элизабет читала только Шекспира и Мильтона; Джерард дал ей книги классиков — Чосера и Спенсера — и более современных Поупа, Грея и Бёрнса. Вдобавок он показал ей сочинения молодой плеяды поэтов-романтиков. Он также стал ее музыкальным наставником: Элизабет была талантливой пианисткой немецкой школы, но он дал ей почувствовать простую радость песенной музыки и баллады Мура, в которых поэт, «со стихом бессмертным слив змеею вьющийся мотив»[25], добился, что

[25] Примечания: 25
Джон Мильтон «L'Allegro» (пер. Ю. Б. Корнеева).

слова и музыка стали неотделимы друг от друга. Ах, как счастливы они были в Оукли! Каждый час проходил в удовольствиях зарождающейся страсти, о существовании которой она раньше даже не догадывалась, — а теперь все это потеряно навсегда! Осознавать эту печальную истину и не оплакивать утрату было невозможно. Элизабет велела себе казаться веселой, но в часы одиночества грусть неизбежно ее настигала. Ей казалось, будто мир из подобия рая превратился в край мук и разочарования, где лишь тот, кто жертвует собой, достоин самоуважения, а долг и счастье существуют по отдельности, не являясь больше единой целью, к которой нужно стремиться.

От этих мыслей ее спасало общество Фолкнера. Она так горячо его любила, что забывала о личных бедах, и рядом с ним не думала даже о Невилле. Ее привязанность к благодетелю не была стоячим водоемом, не питалась воспоминаниями, которые хранились в глубине памяти и не выходили наружу, — нет, то был свежий ключ бьющей через край любви, питавшийся лучшими свойствами человеческой природы. Благодарность, восхищение и сочувствие не давали ему иссякнуть — как источнику вечной жизни.

На пятый день после того, как Фолкнер во всем

признался, она, как обычно, отправилась на верховую прогулку, предаваясь размышлениям; ее попеременно охватывали возбуждение, уныние и печаль — все чувства, вызванные ее необычными и неприятными обстоятельствами. Она вернулась домой, надеясь, что компания Фолкнера поможет утихомирить мятежные мысли и на время забыть о молодом друге, ведь при виде исхудавшей согбенной фигуры своего благодетеля и его благородных черт она всегда преисполнялась стремления посвятить ему судьбу и сердце. Даже назвав его архангелом, «чей блеск небесный омрачен»[26], мы не смогли бы отдать должное его удивительной наружности; таким архангелом он был тринадцать лет назад в Треби, но кротость и доброта, развившиеся в нем благодаря смягчающему влиянию Элизабет, его натренированный годами интеллект и способность управлять внешними проявлениями страстей изменили лицо, которое теперь выражало мягкость и добродушие в сочетании с меланхоличной задумчивостью и рассеянной, но не угрюмой серьезностью; совокупность качеств, привлекавшая интерес любого наблюдателя. С тех пор, как он во всем признался

[26] Примечания: 26
Джон Мильтон «Потерянный рай» (пер. А. А. Штейнберга).

Невиллу, бросил жребий и отдался на милость судьбы, объявив о решении искупить вину, к этому выражению добавилось кое-что еще: на смену обычной меланхолии пришло благородное смирение и спокойная возвышенная сдержанность, а страсти души, что прежде обезображивали его прекрасные черты, теперь оживляли их красотой ума, и Элизабет, глядя на него, испытывала одновременно нежность и восхищение.

Итак, ей не терпелось увидеть его милое лицо и услышать голос, который всегда ее очаровывал и заставлял забыть печали. Но, к своему разочарованию, она не обнаружила Фолкнера в гостиной; ей также показалось, что мебель в беспорядке и кое-где даже опрокинута; на ковре виднелись следы грязных ботинок, а на столе лежало незаконченное письмо, поверх которого было брошено перо, оставившее кляксу на бумаге. Элизабет растерялась, но тут вошел слуга и сообщил, что хозяин уехал и дома ночевать не будет.

— Не будет ночевать? — воскликнула Элизабет. — Но что случилось? Кто приходил?

— Двое мужчин, мисс.

— Мужчин? Джентльмены?

— Нет, мисс, не джентльмены.

— И отец пошел с ними?

— Да, мисс, — ответил слуга, — он пошел с ними и не взял карету, а уехал в наемном экипаже. Велел передать вам, мисс, что напишет письмо и сообщит, когда его ожидать.

«Странно, очень странно!» — подумала Элизабет. Она не понимала, отчего ей так тревожно, но ум охватило беспокойство; она чувствовала себя брошенной и одинокой, а когда наступил вечер и сгустились тени, то даже несчастной. Она бродила по комнатам и выглядывала в окна; дул холодный восточный ветер, и все равно она вышла в сад; она не находила себе места и все сильнее волновалась. Что же такое могло произойти, что Фолкнер уехал? Напрасно она пыталась догадаться. Самым вероятным объяснением было, что он получил сообщение от ее родственников. Тут ей в голову пришла одна мысль; она вернулась в дом и вызвала слугу. Из-за кочевого образа жизни у Фолкнера не было постоянного слуги, который сопровождал бы его давно, но Томпсон, что служил у них сейчас, был добрым и порядочным человеком. Он сочувствовал молодой хозяйке и посоветовался с ее горничной, как себя вести в столь неприятных обстоятельствах; решили пока молчать о случившемся, чтобы Элизабет сама все узнала из письма

хозяина. Однако тайна оказалась под угрозой, когда Элизабет устремила на Томпсона взгляд и спросила:

— Скажи честно, ты не догадываешься, по какому делу уехал твой хозяин?

Слуга растерялся, но поскольку Элизабет не имела опыта перекрестного допроса, она сама стушевалась и добавила второй вопрос, не дав возможность ответить на первый; дрожащим голосом она произнесла:

— Ты уверен, Томпсон, что он уехал не на поединок? Не на дуэль?

Слуга просиял.

— Нет, мисс, он совершенно точно уехал не на дуэль; за ним приходили не господа.

«Тогда не буду терзаться догадками, — подумала Элизабет и отпустила Томпсона. — Видимо, он уехал по делам. Завтра я обо всем узнаю».

Но наступило завтра, а потом и послезавтра, а Фолкнер не писал и не возвращался. Как свойственно тем, кто обещает себе больше не строить догадки, Элизабет все время пыталась угадать причину длительного отсутствия Фолкнера и его странного молчания. Может, он уехал, получив сообщение от Невилла? Что, если за ним послали, чтобы он указал точное расположение

могилы своей жертвы? Такое объяснение казалось вероятным, и мысли Элизабет перенеслись на одинокий берег; она представила печальное последнее пристанище прекрасной и любимой Алитеи. Неужели Фолкнер и Невилл встретятся там, где она похоронена? Не ведая, что происходит, она блуждала в лабиринте мыслей; с каждым часом ее беспокойство усиливалось. В течение нескольких дней она никуда не выходила, только в сад, так как боялась, что новости появятся, как раз когда она отлучится; но ничего не происходило, тайна становилась все более загадочной и мучила ее сильнее.

На третий день она больше не смогла выдержать напряжения, приказала запрячь лошадей в карету и сказала слуге, что поедет в город навестить адвоката Фолкнера и спросить, что ему известно. Она не сомневалась, что Фолкнер занедужил, но где он и как он сейчас? Ей стало невыносимо при мысли, что он лежит больной вдали от нее, возможно покинутый всеми; она винила себя за бездействие и решила не успокаиваться, пока не увидит отца.

Томпсон не знал, что сказать; он колебался, умолял ее не ехать; правда грозила сорваться с губ, но он боялся признаться во всем Элизабет. Та

заметила его смятение; тысяча страхов пробудились в ней, и она воскликнула:

— Какое страшное событие ты от меня скрываешь? Признавайся немедленно! Боже правый, почему ты молчишь? Отец умер?

— Нет, мисс, никак нет, — ответил слуга, — но хозяина нет в Лондоне; он уже далеко. Слышал, его увезли в Карлайл.

— Увезли в Карлайл? Но почему? Что это значит?

— Против него выдвинуты обвинения, мисс, — продолжал Томпсон, спотыкаясь на каждом слове. — Те люди, что за ним приходили, — они арестовали его за убийство.

— Убийство! — отозвалась Элизабет. — Так, значит, они сражались на дуэли? И Джерард мертв?

Не в силах больше видеть ее несчастное лицо, Томпсон все рассказал.

— Не было дуэли, — ответил он. — Речь о деле многолетней давности; убийство дамы, кажется миссис или леди Невилл.

Тут Элизабет улыбнулась — страдальчески, но искренне: она обрадовалась, что ее худшие опасения не подтвердились, ведь это обвинение не показалось ей серьезным; впрочем, улыбка стерлась с ее лица, когда она представила бесче-

стье и стыд, связанные с подобным процессом; вообразила, как Фолкнера увезли из дома и поместили за решетку, заклеймив печатью позора. Пережив подобный удар, слабый ум бывает оглушен, однако сильный начинает делать то, что необходимо, и успокаивается, услышав призыв мужаться. Элизабет могла бы заплакать, припомнив прошлые беды или думая о будущих, но когда необходимо было решать и действовать, на нее всегда снисходило спокойствие; тело ее словно становилось крепче, глаза полыхали живым огнем, а лицо лучилось благородной и гордой уверенностью в своих силах.

— Почему ты мне раньше не сказал? — воскликнула она. — Какое безумие тобой овладело, что ты держал меня в неведении? Сколько времени мы потеряли! Вели готовить лошадей! Я немедленно выезжаю; я должна присоединиться к отцу.

— Но он в тюрьме, мисс, — ответил Томпсон. — Прошу прощения, но перед отъездом вы должны посоветоваться с кем-то из друзей.

— Это я сама решу, — ответила Элизабет. — Не мешкай; и так из-за тебя потеряли много времени. Но слышишь колокольчик? И что это, колеса? Возможно, он вернулся!

Она бросилась к двери, надеясь увидеть отца;

открылись ворота в саду, и вошли две дамы; в одной Элизабет узнала леди Сесил, и через миг добрая подруга заключила ее в объятия. Элизабет расплакалась.

— Как вы добры, как великодушны! — воскликнула она. — И вы же принесли хорошие новости? Отец освобожден, все снова хорошо?

Глава XXXVIII

Семейство Рэби следовало рассматривать как неделимую единицу, ведь все его члены руководствовались общим чувством и действовали в соответствии с общим принципом. Они были католиками и никогда об этом не забывали. Миссионерская деятельность не являлась их задачей; напротив, они старались не допускать в свой круг чужаков и никогда не переставали помнить, что их вера была древнейшей в этих краях; свою преданность устоям предков они воспринимали как привилегию и отличие куда более почетное, чем благородное происхождение. Поскольку они жили в окружении протестантов, которых считали своими врагами, целью их существования было поддерживать незапятнанную честь; каждый из членов семьи должен был добиваться блага и славы для всего рода, пренебрегая личными интересами и индивидуальными привязанностями. Легко предсказать, к чему привела такая система. Простые радости — трудовые заслуги, счастливый дом, гармоничный семейный союз, в котором улыбки блестят ярче золота, — все это

было неведомо Рэби, и все это они презирали. Они безжалостно топтали юные сердца и губили хрупкие надежды без капли раскаяния. Дочерей по большей части ждал монастырь; сыновья отправлялись служить за границу. Впрочем, не стоит винить одних лишь Рэби в таком положении дел: еще несколько лет назад английские католики не имели доступа к службе и карьере в родной стране.

Эдвин Рэби пал жертвой этой системы. Его просвещенный ум томился в оковах, но, отрекшись от веры, он стал изгоем в родной семье. Он был родительским любимчиком и главной надеждой, а стал позором семьи. Его имя не упоминали; его смерть сочли за счастье — семья наконец избавилась от бесчестья. Среди Рэби его жалела лишь жена старшего брата Эдвина: она ценила его таланты и добродетели и питала к нему искренние дружеские чувства, но тоже от него отреклась.

Предрассудки ожесточили ее от природы доброе и благородное сердце, но, хотя она действовала в соответствии с семейными принципами, лучшие ее чувства при этом страдали. После смерти Эдвина ее взгляд немного прояснился; она начала подозревать, что человеческая жизнь и мучения заслуживают большего уважения, чем символы

веры. В ней пробудилось «позднее сожаление»[27], и она так и не смогла забыть глубокое впечатление, которое произвела на нее его смерть. С ней никогда не советовались по поводу вдовы Эдвина и его осиротевшей дочери; она ничего о них не знала. В то время она была еще молода и находилась под давлением более влиятельных членов семьи; ее с детства учили подчиняться. Но в характере женщины были скрытые черты, проявившиеся с возрастом. Ее муж умер, и в глазах старого Осви Рэби она повысилась в статусе. Постепенно ее авторитет возрос; в вопросах, затрагивавших внешний мир, ее позиция преимущественно регулировалась предрассудками семейства и культивируемой Рэби иерархией, однако в домашнем кругу смягчалась привязанностями. Ее дочери обучались дома, и ни одну не готовили к жизни в монастыре; единственный сын воспитывался в Итоне, а привилегии, пожалованные католикам в последние годы, вселяли в нее уверенность, что обороняться от общества и противопоставлять себя ему, возможно, больше не придется; нетерпимость вынудила жертв притеснений выстроить защитные барьеры, но

---

[27] Примечания: 27
Отсылка к «Паломничеству Чайльд-Гарольда» Джорджа Байрона.

в них больше не было необходимости. И все же гордость — за религию, семью и незапятнанную репутацию — слишком глубоко в ней укоренилась и слишком тщательно взращивалась, чтобы перестать быть неотъемлемой чертой ее характера.

Узнав о существовании Элизабет из письма свекра, она сразу прониклась сочувствием к сироте, заброшенной дочери Эдвина. Как всякому порядочному человеку, узнавшему о пренебрежении семейным долгом, ей стало совестно; гордость не допускала мысли, что девушка из рода Рэби зависела от щедрости незнакомца. Тогда она решила не терять время зря, немедленно заявить права на Элизабет и принять ее в семью, хотя и боялась, что воспитанный в чужой вере ребенок окажется скорее обузой, чем ценным приобретением. Она написала знакомым и навела справки о местонахождении племянницы. Так она узнала, что Элизабет гостила у леди Сесил в Гастингсе; сама миссис Рэби находилась в Танбридже. Она немедленно велела приготовить лошадей и выдвинулась в Оукли.

В утро ее приезда леди Сесил получила от Джерарда письмо; оно было бессвязным, он набросал его урывками в карете по пути в Дромор. В начале

он заявлял о невиновности матери и писал, что сам сэр Бойвилл это признал. Далее, было видно, перо в его руке запиналось и дрожало. «Наша общая подруга, наша Элизабет — дочь погубителя», — сообщал он. Это было неестественно, невероятно — сама мысль об этом усиливала его ненависть к Фолкнеру и мешала проявить сочувствие, на которое его щедрая натура была, несомненно, способна; эти чувства соперничали с желанием пощадить Фолкнера, насколько это возможно, ради его самоотверженной дочери. Он чувствовал, что его обманули, прокляли и подвергли пыткам. В старости мы готовы идти на компромисс с судьбой, принимать и плохое, и хорошее, и пытаться хотя бы смягчить тяжелую ношу существования. Но в молодости мы не согласны довольствоваться ничем, кроме идеала и совершенства. Пылкий и прямодушный Невилл презирал предрассудки, и, естественно, первым его побуждением было отделить отца от дочери и любить Элизабет независимо от того, кто приходился ее родителем. Но она бы не согласилась поддержать его в этом заблуждении, ведь она ни за что не бросила бы отца и, если бы тот погиб от его, Невилла, руки, возненавидела бы юношу

всем сердцем. Верно сказал Альфьери[28]: «Нет более яростного противостояния, чем борьба любви и долга в добродетельном и пылком сердце». Душа Невилла стремилась к чести и благу, но никогда еще исполнение приказов совести не вызывало у него столько горечи и отчаяния. Эти чувства отчасти проявились в его письме. «Мы потеряли Элизабет, — писал он, — мы навсегда ее лишились! Неужто ей ничего не поможет? Ничто ее не спасет? Нет! Она захочет быть рядом с убийцей и разделит его несчастную судьбу; счастье, невинность, радость жизни — всего этого теперь для нее не существует! Она проживет жизнь жертвой долга и умрет мученицей; мы потеряли ее навсегда!»

Леди Сесил несколько раз перечитала письмо; оно привело ее в расстройство и смятение, и она сердито укорила Джерарда за то, что тот взялся искать правду. Но все же сердце ее сводному брату сочувствовало, и она радовалась, что тому удалось доказать невиновность Алитеи. Подумав об Элизабет, она ощутила глубокую печаль; если бы они не встретились, если бы они с Джерардом никогда не увидели и не полюбили друг друга,

---

[28] Примечания: 28

Витторио Альфьери (1749–1803) — итальянский поэт и драматург, «отец итальянской трагедии».

половины этих мук удалось бы избежать. Как же странна и коварна судьба и как сложно смириться с ее загадочными и разрушительными происками! Даже леди Сесил, от природы наделенная спокойным и жизнерадостным нравом, добродушная, но не склонная к экзальтации чувств, горько заплакала и заломила руки в бессильном и неистовом отчаянии — такой несчастной представлялась ей судьба ее милых друзей.

Миссис Рэби обладала наружностью трагической актрисы. Она была высокой и статной; большие черные глаза смотрели печально, а годы размышлений и пережитых чувств запечатлелись на лбу глубокими, будто высеченными в мраморе морщинами. Нижняя часть ее лица казалась гармоничной, хотя красивые губы были слегка надменно поджаты; голос звучал глубоко и мелодично. Держалась она более скованно, чем леди Сесил с ее благородным воспитанием; она словно ощущала себя не в своей тарелке, казалась стеснительной, сдержанной и то робкой, то высокомерной. Но ее лицо выражало уверенность, и она с порога с очевидным нетерпением потребовала, чтобы ее представили Элизабет. Она с сожалением услышала, что та уже уехала из Оукли. Однако леди Сесил осыпала юную по-

другу такими щедрыми похвалами, пусть даже не собиралась этого делать, что миссис Рэби успокоилась и со свойственной ей прямотой сразу объявила о цели своего визита, раскрыла происхождение сироты: она приехала познакомиться с племянницей. Леди Сесил ахнула и хлопнула в ладоши, но скорее от изумления, чем от радости. В этой странной истории было слишком много удивительного и почти невероятного: если бы все произошло по взмаху волшебной палочки, едва ли она была бы поражена сильнее. Справедливость чудесным образом восстановилась, все зло улетучилось, доброе имя ее подруги очистилось от позора, родства с преступником, и теперь она навек пребудет в их сердцах и любви.

Она торопливо обо всем рассказала. Миссис Рэби была наслышана об истории Алитеи и знала о поведении Джерарда Невилла; новые же подробности поистине показались ей очень странными. Она не разделяла радости леди Сесил, но тоже видела необходимость действовать безотлагательно. Ей представлялось самым важным разорвать всякую связь между Элизабет и ее опекуном, пока дело не приобрело огласку и имя Рэби не оказалось замешанным в чудовищной истории убийства, тем более что для человека с

понятиями миссис Рэби подробности сего преступления были особенно омерзительны. Нельзя было терять ни минуты — немедля забрать Элизабет из дома виновного и опозоренного преступника, пока ее имя не успело запятнаться, иначе отцовская семья навсегда от нее отречется. Узнав о намерении миссис Рэби сейчас же поехать в Лондон и увидеться с племянницей, леди Сесил решила составить ей компанию и выступить в роли посредницы, смягчить жесткий тон этих требований и уговорить девушку им подчиниться. Она сказала об этом миссис Рэби, и они договорились поехать вместе. Обеим хотелось еще поговорить. Леди Сесил жаждала заинтересовать миссис Рэби превосходными моральными и интеллектуальными качествами своей безупречной подруги; миссис Рэби же считала, что ее племянница просто обязана оказаться достойной и добродетельной девушкой, ведь иначе о ней не стоит хлопотать. Кроме того, с каждой минутой она все больше убеждалась, что Осви Рэби и другие члены ее семьи и люди их круга не потерпят полумер и благополучие Элизабет всецело зависит от ее готовности разорвать связи с нынешним опекуном и полностью препоручить себя доброте и заботе отцовских родственников.

По прибытии в Лондон их ждали странные вести, лишь усилившие их нетерпение. Узнав о начатом сэром Бойвиллом процессе, обвинениях в адрес Фолкнера и его аресте, повлекшем за собой бесчестье, обе женщины испугались, что ничего не удастся исправить. Миссис Рэби решила действовать безотлагательно; обстоятельства дела уже попали в газеты, но имя Элизабет нигде не упоминалось. Фолкнера увезли из дома, но дочь его не сопровождала, и в описаниях шокирующих событий не было упоминаний о дочери. Неужто Фолкнеру хватило благородства спасти ее от позора? Если так, миссис Рэби считала своим долгом его в этом поддержать. Она не знала, где скрывалась Элизабет, но навела справки и выяснила, что та по-прежнему в Уимблдоне. Туда дамы и отправились. Обе не находили себе места от тревоги; события были окутаны завесой тайны, сквозь которую они не могли проникнуть; они надеялись услышать четкое и благоприятное объяснение. Первые слова и объятия Элизабет успокоили ее подругу, и та поверила, что все будет хорошо, к Элизабет вернется доброе имя и место в обществе, а наказание постигнет лишь виновного.

Глава XXXIX

Увидев леди Сесил и обняв ее, Элизабет воскликнула:

— Вы приехали, значит, все хорошо!

Услышав эти слова, леди Сесил поверила, что бедная сиротка обрадуется предложению миссис Рэби, как потерпевший кораблекрушение радуется виду гостеприимного берега. Она ласково прижала ее к сердцу и повторила за ней:

— Все хорошо, моя милая, моя дорогая Элизабет; ты снова с нами, а я уж думала, мы тебя навсегда потеряли.

— Так расскажите, что случилось? — спросила Элизабет. — И где мой дорогой отец?

— Отец? Мисс Рэби, — раздался глубокий, серьезный и мелодичный голос, — кого вы называете отцом?

Из-за возбуждения Элизабет не услышала имени тетки и удивленно повернулась к ней; леди Сесил представила ее как ту, что знала и любила ее настоящего отца; тетя приехала предложить ей добрый и благородный дом и любовь давно потерянных родственников, которые теперь, к

счастью, нашлись.

— Мы приехали тебя забрать, — сказала леди Сесил. — Пребывая тут, ты находишься в весьма неприятном положении, но теперь все изменилось; ты поедешь с нами.

— А как же мой отец? — вскричала Элизабет. — И как еще называть моего благодетеля? Дорогая леди Сесил, где он?

— Значит, ты не знаешь? — неуверенно спросила леди Сесил.

— Утром я услышала страшные, душераздирающие новости, но раз вы здесь, значит, все это выдумки или ужасная ошибка, верно? Скажите, где мистер Фолкнер?

— Я знаю еще меньше твоего, — ответила ее подруга. — Мне известно лишь то, что говорится в наспех написанном письме моего брата, но оно ничего не объясняет.

— Тогда мистер Невилл должен был вам сказать, — промолвила Элизабет, — что моего дорогого отца обвиняют в убийстве, и обвиняет тот, в чьих руках доказательство его невиновности! Я считала мистера Невилла великодушным и незлобивым…

— Ты не ошиблась, — прервала ее леди Сесил, — твоего отца обвинил не он. Расскажу немногое,

что мне известно: за арестом мистера Фолкнера стоит сэр Бойвилл. Признание твоего отца его не убедило, как и останки несчастной миссис Невилл. Прошу, Элизабет, прекрати расспросы, я ничего не знаю; мне известно гораздо меньше, чем тебе. Что до Джерарда, он верит, что мистер Фолкнер невиновен.

— Благослови его Бог! — воскликнула Элизабет, и из ее глаз хлынули слезы. — О да, я знала, что он великодушен и справедлив! Мой бедный, несчастный отец! Надо же судьбе распорядиться так, что тебя судит единственный человек, кто не способен тебя понять и оценить твое благородство!

— И все же, — заметила леди Сесил, — не может быть, чтобы он был совсем невиновен; похищение, трагическая смерть, попытки ее скрыть — разве этого недостаточно?

— Да, да, и я не пытаюсь оправдать его или преуменьшить вину. Прочтите его рассказ; по его собственной просьбе я отдала письмо мистеру Невиллу; вы поймете, что отец вправе претендовать на прощение. Не мое дело говорить и даже знать о его прошлых грехах, но, поверьте, никто не мучился столь горькими угрызениями совести и не раскаивался так искренне. Если бы не я, он

не прожил бы и недели после смерти несчастной дамы; если бы не я, он погиб бы в Греции, пытаясь искупить свою вину. Неужели возмущенным обвинителям этого мало?.. Я исхожу из высших побуждений, — после паузы продолжила она. — Я привязана к нему благодарностью, долгом, всеми человеческими обязательствами. Он взял меня, сиротку, брошенную всеми; забрал у скупой и вульгарной женщины, от которой я всецело зависела; воспитал как свою дочь и был мне больше чем отец! В болезни он выхаживал меня, как выхаживала бы родная мать; в опасных путешествиях носил на руках и укрывал от непогоды, подвергая себя опасности; год за годом, когда никому до меня не было дела, он думал обо мне и лишь обо мне заботился. Он согласился жить, чтобы я не осталась в одиночестве; тогда я не знала, что родная семья согласна меня принять. И теперь вы просите, чтобы я его оставила? Никогда!

— Но ты не сможешь ему помочь, — сказала леди Сесил. — Его будут судить по английским законам. Надеюсь, он на самом деле их не нарушал; но ты никак не облегчишь его долю.

— Где он, дорогая леди Сесил? Скажите, где он?

— В тюрьме в Карлайле; боюсь, сомнений в

этом быть не может.

— И вы считаете, что я не пригожусь ему там? Его посадили в тюрьму как преступника! Из-за этого я несчастна и знаю, что он тоже несчастен, но моя эгоистичная душа по крайней мере отчасти успокоится, зная, что я могу ему помочь и принести немного радости и утешения. Даже сейчас он по мне тоскует; помнит, что в печали я никогда его не оставляла; наверняка недоумевает, почему я еще не приехала! Пускай в тюрьме, пускай в бесчестье, но он будет счастлив, увидев меня снова! Я поеду к нему, и тогда мне тоже будет спокойно.

Она рассуждала с великодушным пылом; ее глаза блестели, голос дрожал от избытка чувств. Леди Сесил тронули ее слова, хотя она не одобряла сам замысел; она обняла девушку и похвалила, а миссис Рэби произнесла:

— Нельзя не восхититься твоими намерениями, рожденными чистым и благородным сердцем. Но все же мне кажется, что ты преувеличиваешь свои обязательства перед мистером Фолкнером. Разве после смерти твоей матери он вернул тебя нам? А ты могла быть счастлива под моей крышей. Он удочерил тебя, потому что ему самому так захотелось, и не подумал, какое зло тем самым

причинил всем нам. Лишь когда последствия его преступлений помешали ему быть твоим защитником, он решил вернуть тебя в семью.

— Простите, что прерываю, — ответила Элизабет. — Мистер Фолкнер много страдал; он считал, что умирает, и жил в мучениях, пока не признался в своем проступке, чтобы восстановить доброе имя своей несчастной жертвы. Прежде чем бросить вызов судьбе, он решил устроить мое будущее, но случайность вмешалась и изменила его планы; таковы были его мотивы, он всегда прежде всего думал обо мне!

— Поэтому, милая Элизабет, — вмешалась леди Сесил, — ты должна подчиниться ему и исполнить его волю. Он предвидел, что разоблачение обернется для него бесчестьем, и не хотел, чтобы ты разделила его судьбу. Твои фантазии о том, как ты станешь помогать ему в тюрьме, — романтическая иллюзия. Ты не знаешь, что такое современная тюрьма, как низменны и страшны ее обитатели; их речь и вид так гнусны и убоги, что невинные девушки не должны даже догадываться об их существовании. Не сомневайся: если мистер Фолкнер действительно столь благороден и чувствителен, каким я его считаю, он содрогнулся бы при мысли, что ты окажешься вблизи

этого дурного места; он был бы рад узнать, что ты в безопасности и счастлива с родной семьей.

— Какую страшную картину вы рисуете! — воскликнула Элизабет, едва удерживаясь от слез. — Мой бедный, несчастный отец, его жизнь висит на волоске! Разве сможет он выжить в таком порочном месте? Но он забудет обо всех этих ужасах, когда я окажусь рядом с ним. Слава богу, я знаю, что в силах подбодрить его и поддержать даже в самых чудовищных обстоятельствах.

— Ты сошла с ума! — огорченно заметила леди Сесил.

Вмешалась миссис Рэби с новыми предложениями. Она заговорила о своем желании принять Элизабет в семью; сказала, что теперь, когда Элизабет стала Рэби и принадлежит к их клану, у нее появился новый долг и она должна повиноваться родственникам и не делать ничего, что могло бы им навредить. Она имела в виду их притесняемую религию — католичество; если из-за поведения их племянницы горестные события станут достоянием гласности, враги семьи со злорадством распространят такую историю. И она как могла намекнула, что, если имя Элизабет окажется замешано в такой ужасной и преступной истории, отцовская семья уже никогда не

сможет ее принять.

Элизабет выслушала эти слова с примерным хладнокровием.

— Мне жаль отвечать отказом на ваши добрые намерения, — ответила она. — О прошлом я говорить не хочу, как и напоминать вам, что не воспитана слушаться вас всех именно по той причине, что вы отреклись от моего родного отца и бросили мою родную мать, а меня, ребенка, сироту, оставили жить или умирать приживалкой. Я, тогда еще носившая ваше имя, зависела от скупой и унизительной милости. Стоит ли удивляться, что, несмотря на юный возраст, я чувствовала себя обязанной и благодарной своему благодетелю, спасшему меня от крайней нужды и полюбившему меня всем сердцем! Его я слушалась и усваивала этот урок на протяжении долгих лет; я не могу вмиг о нем забыть. Я принадлежу ему; он завоевал меня добротой и неустанной заботой; я его дитя, если хотите, его слуга; называйте как хотите, но свой дочерний долг я выполню и буду выполнять всегда. Не сердитесь на меня, дорогая тетя, если позволите так вас называть; милая леди Сесил, не смотрите на меня с мольбой; я очень несчастна. Мистер Фолкнер в тюрьме, его обвиняют в самом ужасном

преступлении и подвергают унижениям — его, чья нервная система крайне восприимчива, а здоровье подорвано болезнями и страданиями. А меня рядом нет и ему не на кого надеяться! Да, я очень несчастна. Не просите меня совершить невозможное, чудовищное зло! Я должна отправиться к нему; мне не будет покоя ни днем ни ночью, пока я не окажусь с ним рядом, и прошу: ради меня не оспаривайте мой священный долг.

Однако двух дам было не так-то просто переубедить; они успокоили Элизабет, а потом снова взялись за уговоры. Леди Сесил привела тысячи доводов, призвав на помощь свою житейскую мудрость и женский такт. Миссис Рэби вновь вспомнила о долге Элизабет перед семьей, о необходимости оградиться от позора, который девушка собиралась навлечь на своих родственников. Обе твердили, что ее замысел неосуществим и она витает в облаках. Даже будь она на самом деле его дочерью, ее визит в тюрьму был бы недопустим из соображения приличий. Но Элизабет воспитывали уважать чувства, а не условности; блюсти долг, а не приличия. Всю жизнь Фолкнер был ее законом и правилом, ее единственным ориентиром; больше она ничего не знала и не чувствовала. Когда она поехала

за ним в Грецию и отправилась на Морею[29], чтобы забрать его из лап смерти; когда в Закинфе дежурила у его кровати, остальной мир, и Рэби в том числе, для нее не существовал; а теперь, когда его настигла более серьезная беда, он был одинок и несчастен и некому было его утешить, кроме нее, с какой стати она должна вести себя иначе и становиться робкой благовоспитанной девицей, связанной нелепыми предписаниями, вымышленными представлениями о приличиях и ложной деликатностью? Элизабет не знала, правы ли ее собеседницы; возможно, она ошибалась и подобное подчинение нормам общества, бессмысленное и унизительное пренебрежение благородным долгом действительно больше пристало женщине, а ее презрение к этим ограничениям и стремление к свободе было дерзким и опасным. В этом она не разбиралась, но понимала и чувствовала, что ей, чье воспитание не ограничивалось узколобыми идеями частной школы или беседами в дамском будуаре, положено быть там, где находился ее благодетель, и ее священный долг — доказать свою благодарность и остаться неколебимо верной ему даже в минуту

---

[29] Примечания: 29
Современный Пелопоннес.

отчаянной нужды. Пред лицом этой добродетели меркла и исчезала любая другая ничтожная мораль.

Они долго спорили и даже убедившись, что Элизабет ничем не пробить, не хотели сдаваться. Они умоляли ее поехать с ними домой хотя бы на один день. Тут ее глаза озарились неистовым блеском.

— Я и еду домой, — воскликнула она, — еще час, и я отправлюсь туда, где мой настоящий дом! Странно, что вы решили, будто я захочу задержаться тут! Не бойтесь за меня, дорогая леди Сесил, — продолжила она. — У меня все будет хорошо, и вы, поразмыслив над моими обстоятельствами, поймете, что я не могла поступить иначе. А вы, миссис Рэби, простите мою неблагодарность. Я признаю справедливость ваших требований и благодарю вас за ваше доброе предложение. Имя Рэби не пострадает; я никогда никому не скажу о моей связи с вами. Отец тоже будет хранить молчание. Не сердитесь на меня; я с нежностью вспоминаю дорогих родителей, но я рада и горда остаться его дочерью и другом в беде; для меня это важнее ваших обещаний богатства и славы. Я отказываюсь от права принадлежать к вашей семье; имя Рэби не будет запятнано, а

Элизабет Фолкнер, со всеми ее недостатками и упрямством, наконец докажет свою благодарность тому, кто дал ей свою фамилию.

На этом они расстались. Леди Сесил угрюмо молчала, скрывая разочарование; миссис Рэби была поражена и тронута великодушием племянницы, восхитившим ее благородный ум. Но все же ей казалось, что решение в таких обстоятельствах должны принимать другие люди, руководствуясь совершенно иными мотивами. Она рассталась с Элизабет, как родственник-язычник расстается с юным мучеником-христианином: восхищаясь решимостью девушки, оплакивая ее самопожертвование и чувствуя, что совершенно бессильна ее спасти.

Глава XL

Элизабет спешила отправиться в путь; истовое рвение заставляло ее сердце биться быстро и почти радостно. Бодрость духа, возникающая, когда мы беремся за благородное дело, компенсирует добровольно принесенную жертву и, по крайней мере поначалу, застилает от взора печальные последствия, которые мы себе уготовляем. Несмотря на ужасающие обстоятельства, омрачавшие ее мысли о будущем, Элизабет радовалась, поступая в соответствии с велениями своей совести, и пребывала в хорошем настроении; ее глаза блестели от нежности и торжества, когда она размышляла об утешении, которое несет своему несчастному благодетелю. Время от времени ее сковывал ужас; она вспоминала, что Фолкнер в тюрьме и обвиняется в убийстве, но ее юное сердце противилось даже страху, вызванному образом мук и унижения.

Не так давно, рассуждая о заложенной в каждом произведении искусства тяге к разрушению и неизбежном падении даже самых устойчивых зданий, один философ заметил: «…но когда они

уничтожаются и рассыпаются в пыль, Природа устанавливает над ними господство; мир вечно молодых растений захватывает руины, и через несколько лет с помощью человеческого труда, обеспечивающего подкормку этим растениям, развалины зданий, некогда возведенных как символы величия, вновь дышат жизнью»[30]. Таким же образом, когда преступление и несчастье атакует и разрушает оступившееся человеческое существо, любовь и добродетель тех, кто к нему привязан, украшают руины неземной красотой, и глаз и сердце радуются тому, от чего в противном случае мы бы отвернулись как от отвратительного зрелища.

Путешествие Элизабет началось в холодный сентябрьский день, и одинокие часы в дороге ее утомили. Вечером она прибыла в Стоуни-Стратфорд и по настоянию служанки провела в городе ночь. В одинокой комнате в таверне не было камина; она ужинала одна и продрогла телом и душой; увы, часто бывает, что мы встречаем большие беды с героической решимостью, но не можем противостоять ничтожным неприят-

[30] Примечания: 30

Исследователи творчества Мэри Шелли не смогли установить этого философа. Велика вероятность, что он вместе с этим афоризмом выдуман самой Мэри Шелли.

ностям. Ей хотелось, чтобы время шло быстрее, чтобы она уже приехала; хотелось увидеть Фолкнера и услышать его голос. Она чувствовала себя одинокой и брошенной. В этот момент открылась дверь, и объявили о приходе «джентльмена»; вошел Джерард Невилл. Тут любовь и природа заявили о себе во всеуслышание; сердце запрыгало в ее груди, щеки разрумянились, живой восторг переполнил душу. Она больше не надеялась его увидеть и пыталась забыть, что сожалеет об этом, но он пришел, и ради такого счастья она готова была пожертвовать своим существованием. Невилл тоже мгновенно ощутил на себе действие ее обаяния; когда он ехал к ней, его терзали многочисленные страхи, и он не ведал, зачем ищет встречи, но стоило ей предстать перед ним во всем своем очаровании — милое существо, что являлось ему во снах и грезах, — как все сомнения и колебания исчезли и они оба ощутили слияние сердец.

— Теперь, когда я здесь и ты передо мной, — промолвил Невилл, — решение следовать за тобой кажется мне самым естественным на свете. Пока мы были в разлуке, я тысячу раз сомневался, но зачем? Разве я не знал, что ты сочувствовала моим страданиям и хотела помочь мне в поисках?

Теперь я убежден, что судьба связала нас крепче прежнего, хотя со стороны может показаться, что последний поворот событий нас разъединил. Я привез послание от Софии и сам хочу попросить тебя передумать; ты не должна продолжать это путешествие.

— Видимо, леди Сесил тебя наставляла, раз ты такое говоришь, — ответила Элизабет. — Научила тебя доводам разума — сам бы ты никогда до этого не додумался! Если уж ей самой не удалось таким образом переманить меня на свою сторону, тебе и подавно не удастся. А ведь я поддержала тебя, когда ты собирался в Америку!

Элизабет начала говорить почти шутливо, но при упоминании Америки вспомнила, почему он хотел поехать и какие обстоятельства ему помешали; слезы покатились по ее щекам, и она продолжала голосом, срывавшимся от чувств:

— Ах, мистер Невилл, я улыбаюсь, но сердце мое разрывается! Мой милый, мой дорогой отец! Какое несчастье ты на него навлек, а ведь он был с тобой честен; ты несправедливо — ты должен это понимать! — обвинил его в убийстве и выбрал самую злокозненную, самую бесчестную месть! Это так непорядочно!

— Прошу меня простить, — ответил Невилл, —

прощаю вам несправедливость, хотя она очень велика. Я приехал, в том числе чтобы объяснить, как все было на самом деле, хотя полагал, что ты знаешь меня достаточно хорошо и поймешь, что я не разделяю отцовские мстительные чувства.

Невилл рассказал обо всем, что произошло: как они нашли останки его матери в том самом месте, которое указал Фолкнер; как сэр Бойвилл решил предать дело огласке.

— Возможно, мой отец и вправду верит в истинность своих обвинений, ведь он никогда не видел мистера Фолкнера, не распознал признаков благородного ума, которые читаются на его лице, невзирая на проступки. Как бы то ни было, он очень обижен; в рассказе Фолкнера о нем отзываются презрительно, и его это ранит; он зол, что его вынудили несправедливо обвинить жену, и теперь память о ее добродетелях и красоте служит ему горьким укором. Я не удивлен, что он так поступил, хоть и не одобряю его поведение; оно мне ненавистно, так как я разделяю твои чувства. Что касается мистера Фолкнера, Бог свидетель, я бы придумал для него другое наказание, но все страдания он навлек на себя сам; он должен понимать, что заслужил их, и стойко их переживать. Прости меня за эти жестокие слова; я тоже

ему сочувствую, но только из-за тебя; самого по себе мне его не жаль.

— Как глубоко ты заблуждаешься! — воскликнула Элизабет. — Страсть извратила твое восприятие и сбила тебя с пути. Он невиновен в ужасном преступлении, в котором его обвиняют; ты это знаешь и чувствуешь; и даже будь он виновен, не ты ли сам жаловался, что законы общества слишком жестоки к преступникам? Не ты ли говорил, что, даже если к вине присовокупится безжалостность укоренившегося порока, к преступнику стоит относиться со снисходительностью воспитующего отца, а не с жестокой мстительностью закона? Теперь тот, чья душа и плоть изъедены совестью, тот, чья мораль и так беспрестанно его наказывает, тот, кто искупил вину многими добродетельными и героическими деяниями, — этот человек обречен на самую несчастную судьбу, которую только может нарисовать человеческое воображение, и все потому, что ты пострадал из-за его ошибки и позабыл о собственной философии!

Это воззвание вызвало у Невилла глубочайшую боль.

— Давай на несколько минут забудем обо всем, — сказал он наконец. — Не я стал причи-

ной этих событий, и я не мог их предотвратить; сейчас ни один человек не в силах повлиять на ситуацию. Фолкнер точно так же мог вернуть домой мою мать, чьи останки мы нашли истлевшими в могиле, которую он для нее выкопал; вернуть ее к жизни и счастью, которых он ее лишил, — как я и мой отец или кто другой могли не отдавать его в руки закона. Теперь же мы все должны смириться с последствиями; ничего уже не исправить. Но ты — я говорю о тебе!

— Я не могу ни говорить, ни думать о себе, — ответила Элизабет. — Я думаю лишь об одном: как невыносимо все, что меня задерживает и мешает скорее оказаться рядом с отцом и разделить его беду!

— Но тебе к нему нельзя, — возразил Невилл. — Твой замысел наивен; он не должен осуществиться! Как ты собираешься разделить его печали? Тебя даже к нему не пустят. И ты совершенно не годишься для пребывания в такой среде! Ты не представляешь, что такое тюрьма; поверь, это место совсем не подходит для юной девушки. Мне самому страшно думать, в каких омерзительных условиях содержится убийца моей матери. Тебя станут оскорблять, ты одна, тебя некому защитить; даже твой возвышенный

дух будет сломлен при виде того зла, с которым тебе предстоит столкнуться!

— Не думаю, — ответила Элизабет. — Несправедливость не сломит мой дух, и он не дрогнет, пока я исполняю свой долг. Его сломит лишь осознание, что я покинула отца; этого моя совесть точно не выдержит, и мое сердце будет разбито. А в тюрьме и под осуждающими взглядами толпы — если именно это меня ждет — я буду в безопасности; осознание, что я поступаю правильно, будет меня хранить.

— Ах, если бы ангелы небесные спустились и берегли тебя! — пылко воскликнул Невилл. — Но в нашем необъяснимом мире вина и невиновность так перемешались, что первая пожинает благословенные плоды, предназначенные второй, а вторая терпит наказание, заслуженное первой. Иначе почему судьба призывает тебя в этот темный час, хотя ты не связана родством с причиной несчастий и в момент совершения преступления находилась совсем в другом месте? Была бы ты его дочерью, мое сердце так бы не бунтовало: зов крови силен, и дочерний долг превыше всего. Но ты ему не родная, ты принадлежишь к другой семье; в ней тебе уготованы честь, любовь и процветание. Зачем тебе этот несчастный че-

ловек?.. Погоди, дай сказать еще, — продолжил он, увидев, что Элизабет намеревается пылко ему возразить, — хотя слова все равно бессильны тебя убедить. Если бы я мог подняться с тобой на башню и с высоты продемонстрировать ход событий и роковые последствия твоих нынешних действий, ты бы сама умоляла меня увести тебя с пути, по которому сейчас идешь. Стоит тебе только явиться в Камберленд и публично заявить о себе как о дочери Фолкнера, имя Рэби будет навсегда для тебя потеряно; а если случится худшее, к кому ты обратишься за поддержкой? Где скроешься? Поскольку убедить я тебя не могу, позволь хотя бы умолять: не подвергай себя такому риску! Ты не понимаешь, на что идешь.

Эти пламенные речи на миг ошеломили Элизабет.

— Видимо, — ответила она, — я, увы, человек дикий и не способный подчиниться законам цивилизации. Я об этом не догадывалась; думала, что похожа на других девочек, привязанных к дому и родителям и исполняющих ежедневные обязанности и все родительские требования. Я выхаживала отца, когда тот болел; теперь же, когда ему грозит беда намного хуже, я по-прежнему чувствую, что мое место рядом с ним, что я

должна утешать его и составить ему компанию, и, если мне удастся хоть немного его утешить, я буду рада. Он мой отец, даже больше, чем отец, — он мой спаситель; он уберег меня от худшей доли, когда я была беспомощным ребенком. И пусть страшная кара настигнет меня, если я об этом забуду! Пусть даже мир станет его презирать, поверив в ложь о его виновности, — люди не будут столь же несправедливы ко мне, ведь я ничего не сделала, значит, мне ничего не грозит. Мы с тобой как будто говорим на разных языках: я говорю о самом священном долге, нарушив который я стану презирать себя до скончания дней. Ты же рассуждаешь об удобстве, видимости, внешних приличиях, которые ничто в сравнении с долгом. Рискуя показаться эксцентричной и безрассудной, я все же не могу поддаться твоим уговорам; такова моя жестокая судьба, а не злая воля.

— Не называй такими словами героическое великодушие, слишком благородное для этого порочного мира, — ответил Невилл, которого глубоко тронула ее речь. — Это я должен уступить и молиться Господу, чтобы тот защитил тебя и воздал тебе по заслугам; только Он на это способен, Он и твое собственное благородное сердце. Вы простите меня, мисс Рэби?

— Не называй меня так, — прервала его Элизабет. — Я веду себя наперекор воле моих родственников и не возьму их фамилию. Но другую мою фамилию тебе, должно быть, больно произносить. Называй меня просто Элизабет.

Невилл взял ее за руку.

— Я эгоистичный гнусный человек, а в тебе столько самопожертвования, заботы о других и благословенной добродетели, — сказал он. — Я же думаю о себе и ненавижу себя, поддаваясь этому импульсу. Милая, милая Элизабет — ты же разрешила называть тебя так? — в тебе я обнаружил воплощение своих представлений об идеале. Я люблю тебя так, что не представить и не выразить словами; я полюбил тебя давно, много месяцев назад, с того первого дня, как увидел в Марселе. Я сразу понял и почувствовал, что ты — та, кого жаждала моя душа. Я нашел тебя и сразу потерял!

Сама любовь окрасила щеки Элизабет в свой цвет; ей казалось, что все ее страдания разом компенсировала уверенность в том чувстве, которое она пробудила. За миг до этого тучи сгущались в ее сердце и надвигался шторм; теперь же из-за облаков выглянуло солнце. Луч его блеснул ярко, но быстро погас. Мысль о Фолкнере вновь

затмила сияние, будто ангел, принесший с собой благоухание рая, на миг показался и снова исчез.

Невилл не был столь сдержан. Он никогда не разделял горького презрения своего отца к Фолкнеру, и верность Элизабет этому несчастному человеку наводила на мысль, что дело приняло слишком жестокий и несправедливый оборот. Однако сопереживание арестанту было пассивным чувством, в то время как при мысли о судьбе, уготованной Элизабет, он испытывал ужас, сотрясавший его чувствительную натуру до самых глубин и причинявший ему страдания. Он нетерпеливо мерил шагами комнату, затем остановился и поднял на нее мягкие сияющие глаза, в которых читались нежность и страсть. Элизабет ощутила на себе влияние этого взгляда, но поддаваться иллюзиям любви было не время, и она произнесла:

— А теперь оставь меня, Невилл; завтра мне предстоит дальний путь, спокойной ночи.

— Потерпи меня еще немного, — ответил он. — Я не могу уйти, пока не предложу тебе свое сердце и не уговорю тебя принять мои услуги. Мы сейчас расстанемся, и неизвестно, когда снова встретимся, а тебя ждут страшные страдания. Я верю, что ты уважаешь меня и доверяешь мне. Ты знаешь,

что я отличаюсь постоянством и настойчивостью. Я осуществил цель, к которой стремился с самого детства; я очистил имя своей матери от недостойной клеветы и теперь направлю все свои усилия и мысли на твое благополучие. Будучи далеко и зная, в каких ужасных условиях ты находишься, я стану постоянно волноваться за тебя; меня ждут долгие часы горьких тревог. Пообещай, что несмотря на все, что нас разделяет, если тебе понадобятся моя помощь и услуги, ты напишешь, и распорядишься мной, и не станешь сомневаться, что я исполню твой приказ неукоснительно и в точности.

— Обещаю, — ответила Элизабет. — Я знаю: что бы ни случилось, ты всегда будешь моим другом.

— Истинным, лучшим и верным, — воскликнул Невилл. — Я буду всегда стараться это доказать. Не хочу называть себя твоим братом, но можешь воспринимать меня так; ни один брат никогда не оберегал честь, безопасность и счастье сестры так, как я буду оберегать твои.

— Но я не буду одинока, и тебе это известно, — ответила Элизабет. — Я еду к тому, кого обязана слушаться; он скажет мне, что делать. Если в нынешних страшных обстоятельствах он будет нуждаться в совете и поддержке, увы, ты не смо-

жешь ему их дать, но в мире скорби, где мне скоро предстоит поселиться, меня утешит и поддержит мысль о твоей доброте, и я буду безоговорочно на нее полагаться.

— Мир скорби — как же ты права! — повторил Невилл. — Мир бесчестья и страданий; ты не должна была видеть его даже во сне! А ведь процесс затянется, и никакой стойкости и терпения не хватит, чтобы все выдержать. Адвокаты мистера Фолкнера, конечно же, захотят послать за Осборном, чтобы тот дал показания; это необходимо сделать, он должен явиться в суд. На это уйдет время; суд соберется не раньше весны.

— И все это время отец будет томиться в тюрьме, как преступник! — Горькие слезы брызнули из глаз Элизабет. — Как это чудовищно! И я, конечно же, должна быть рядом, чтобы облегчить бесконечно тянущиеся унылые часы. Я думала, все кончится скоро и освобождение близко, но такой отсрочки даже не предполагала.

— Слава Богу, что ты настроена на победу, — ответил Невилл. — Не хочу поколебать твою уверенность и искренне надеюсь, что твой оптимизм оправдан. А теперь пора прощаться; не стану больше тебя задерживать. Пускай тебя хранят добрые ангелы; ты даже не представляешь,

как горько мне разлучаться с тобой в час, когда мы оба страдаем.

— Прости меня, — ответила Элизабет, — но я могу думать только об отце. Ты вызвал в моем воображении целую цепочку тревожных предчувствий, но я справлюсь с ними и снова стану терпеливой ради него и всех нас.

На этом они разлучились, и в момент прощания прилив нежности смягчил жестокие муки, вызванные горем. Вопреки себе Элизабет успокоилась благодаря преданной и искренней привязанности своего друга. После его ухода и нескольких минут в одиночестве она вновь начала надеяться на лучшее, как свойственно юным и неопытным. Невилл вышел от нее и сразу покинул гостиницу; Элизабет не могла уснуть и провела несколько неспокойных, но не совсем скверных часов в размышлениях. Наконец священный покой унял ее страхи, разгладил тревожные морщины на лбу и притупил острые сожаления; ее успокоила вера в Господа и радость, которая естественным образом возникает, когда мы чувствуем любовь дорогого нам человека.

Как только занялась заря, Элизабет встала с кровати, горя желанием отправиться в путь, и больше не отдыхала до самого прибытия в

Карлайл.

Глава XLI

Тем временем Фолкнер проводил бесконечные дни в лучшей камере, на которую только мог рассчитывать заключенный, и пользовался теми удобствами, которые можно было купить в тюрьме за деньги. Впрочем, какие удобства в тюрьме? Даже вигвам индейца более приятен воображению, так как находится в непосредственной близости к природе и причастен ее очарованию; между этим жилищем и свободой не существует преграды, а природа и воля — верные друзья простодушного человека. Что касается тюремной камеры, вид даже самой удобной из них огорчает душу. Окна за толстыми решетками выходили в узкий двор, окруженный высокими угрюмыми стенами; до слуха долетали ужасающие звуки, спутники порока и горя; из-за недостатка свежего воздуха вид у здешних обитателей был нездоровый; надзиратели вели себя грубо и властно, а заключенные осознавали, что от них ничего не зависит; здесь все решало государство, и человек понимал, что в этих застенках случиться может что угодно и кандалы с него снимут, лишь если

он будет беспрекословно подчиняться и вести себя смирно. Все в тюрьме ранило свободный дух человека, побуждая завидовать самому примитивному животному, которое находится на воле и дышит свободным воздухом.

В человеческой природе заложено свойство размышлять о будущем; Фолкнер, не осознавая этого дара предвидения, заранее познакомил свое воображение со всем, что ему приходилось переживать сейчас. Когда в далеких горах Греции он писал исповедь, его ум страшился и трепетал при мысли о застенке, но теперь, оказавшись взаперти, он почувствовал себя более счастливым и свободным, чем во все предыдущие годы.

Ничто не гнетет нас сильнее страха, и тревожное ожидание страшней самой тюрьмы. Фолкнер не был трусом, но боялся. Боялся разоблачения; страшился бесчестья и охотно искал смерти, чтобы освободиться от ужаса, который, возможно, передался ему от Осборна — так уж устроен человек, что подвержен влиянию чужих эмоций. Теперь все страшное случилось; воображаемое будущее наступило и стало настоящим, повседневной рутиной, и выяснилось, что он спокойно и даже гордо переносит испытания. Человек с благородством терпит худшее, что может с ним

случиться, так как в самой мысли, что весь мир настроен к нему враждебно и все силы обернулись против него, есть что-то освобождающее; больше уже не может произойти ничего плохого, рубеж перейден, когти дикого зверя сомкнулись на сердце, но дух по-прежнему свободен и парит в вышине. К тому же покаяние всегда приносит большое облегчение. Покуда вина запрятана глубоко, она растет и приобретает великанские, искаженные пропорции. Когда же мы делимся тайной с окружающими, вина уменьшается до своих естественных размеров.

Фолкнер много выстрадал: в окрестностях Дромора все его ненавидели. Весть о найденных останках Алитеи, судебной экспертизе, вердикте и похоронах несчастной дамы разнеслась по округе, и все знали, в чем суть обвинений. В Карлайл Фолкнера пришлось везти ночью, но даже в темноте люди поджидали у тюрьмы и будили знакомых, чтобы встретить его и осыпать проклятиями. «Моя судьба описала круг, — подумал Фолкнер. — Снова меня несправедливо оскорбляют, но теперь мне будет намного легче это перенести, чем в детстве».

Гораздо труднее дался допрос в суде. Тут не было ни вопиющей несправедливости, ни мсти-

тельной ненависти, однако его обвиняли в самом страшном преступлении, и по лицам собравшихся он видел, что те не сомневались в его виновности. Его считали убийцей Алитеи; прежде, узнав, что кому-то пришла в голову такая мысль, он бы презрительно рассмеялся. Ангел, которого он боготворил, ради спасения которого был готов на тысячу смертей! Как безумен мир и порочна система, раз кто-то мог решить, что он — ее убийца!

Фолкнер не отличался низменностью помыслов. С ранней юности он стремился к совершенству, что является признаком величайшего благородства. Он хранил в своем сердце образец добродетели, которому желал соответствовать. С того самого часа, когда ему открылись истинные последствия его вины, он рвался очистить совесть, как орел рвется освободиться из железной клетки. Он чувствовал, что способен стать гораздо лучше и исправиться. Но в настоящий момент никому не было дела до происходящего в его душе и никто этого не видел; допрашивающих не интересовал его героизм, им были нужны лишь факты; не интересовала их и священная природа его поклонения Алитее, так как единственное, что им хотелось выяснить, — мог ли

он совершить преступление. Когда знающего о своей невиновности обвиняют в преступлении, которое ему ненавистно, борьба с обстоятельствами причиняет сильнейшие страдания. После пережитого испытания он был рад вернуться в тюремную камеру.

Впрочем, он не падал духом и был даже противоестественно рад находиться там, где оказался; рад стать жертвой несправедливости и подвергнуться немыслимым мукам. Но хотя его душа высокомерно презирала страдания, физическому телу было трудно их выносить, и он все время думал об Элизабет. Где она? Он радовался, что ее не было дома, когда за ним приехали; он велел слугам ничего ей не говорить, сказал, что сам напишет, и собирался сдержать обещание, однако мысль об этом представлялась невыносимой. Он ни за что не стал бы призывать ее и просить разделить его ужасную судьбу; он не сомневался, что кто-то из отцовской семьи ее навестит, и решил: пусть все идет своим чередом. Оставшись в одиночестве и без защиты, Элизабет наверняка с радостью примет предложение об убежище, связь между ними разорвется, а ей улыбнутся счастье и любовь.

Он ни в коем случае не хотел вмешивать ее

в свои ужасные обстоятельства и вместе с тем страшно по ней скучал. Ведь он испытывал к ней такие теплые чувства, каких не испытывал к своей дочери ни один отец, хотя их и не связывали родственные узы. Приемная дочь занимала все не занятое раскаянием место в его пылкой душе. Он смотрел на нее, как пророк смотрит на ангела, спустившегося с небес, чтобы утолить его жажду в пустыне; среди презрения толпы и одиночества, к которому привело его преступление, она одна дарила ему любовь и свет. Она была его милой спутницей, любимой подругой, терпеливой сиделкой; его душа сроднилась с ней, и, когда ее не оказалось рядом, его пронзила острая тоска и мужское сердце размягчилось, уподобилось женскому — так горячо было желание быть с ней рядом.

Постепенно размышления об Элизабет и прошлом подрывали и ослабляли стойкость его души. Посторонним он казался сдержанным и даже бодрым. По его бесстрастному лицу никто бы не догадался, что в душе он был несчастлив. Он коротал время за чтением и написанием писем, беседовал с адвокатами, которые должны были вести его защиту, и все это время лицо его оставалось спокойным, а тон невозмутимым. Он

ни разу не пожаловался и не проявил раздражение; казалось, он смирился с ударами судьбы. Он побледнел и осунулся, но выразительные черты по-прежнему отличались красотой; он мог бы позировать скульптору, решившему изобразить Прометея; орел терзал его сердце, причиняя физические страдания, но воля была непоколебима, а ум отказывался признавать, что тело заковано в кандалы. В нем велась противоестественная борьба: нежность души, которая смешивалась с бушующими страстями и составляла притягательность его характера, добавляла ему уязвимости, тем самым играя на руку его врагам: человек более грубый и жестокий легче сносил бы такие мучения.

Он любил природу и провел на ее лоне всю жизнь. Сейчас он был лишен общения с ней; разве что пара звезд иногда поднималась над тюремной стеной и мерцала на лоскутке неба, видном из окошка камеры; то были самые тусклые звезды на небосводе, и чаще всего их окутывали облака и дымка. Так, очутившись в двойном заточении — тело томилось в клетке, а душа — под замком, который он навесил на нее саморучно, — он стал, как образно выразился гений, «каннибалом соб-

ственного сердца»[31]. Не имея отдушины, мысли крутились в его голове со скоростью и усердием тысячи мельничных колес, и остановить их не представлялось возможным. То его пронзала судорога болезненных чувств и лоб покрывался холодной росой; то его охватывало презрение к себе и он начинал себя ненавидеть; то ему казалось, что Бог его проклял, и это чувство придавливало его тяжелым и беспощадным грузом; то он целиком погружался в грезы о свободе и мечтал глотнуть свежего воздуха. «Даже если бы смерть маячила передо мной, но я искал бы свободы и неустанно двигался вперед, как Мазепа[32], я был бы счастлив!» Вот какие безумные мысли приходили ему в голову, усиливая и без того безудержное желание достичь такой же судьбы; тем временем его окружали лишь тюремные звуки и картины, и все другие представители рода человеческого казались ему презренными и отвратительными.

---

[31] Примечания: 31

Эти слова принадлежат Фрэнсису Бэкону.

[32] Примечания: 32

Отсылка к стихотворению лорда Байрона «Мазепа» (1819), в котором рассказывается о случае, когда Иван Мазепа чуть не погиб; по сюжету Байрона, муж его возлюбленной графини Терезы застал их вместе и приказал привязать Мазепу обнаженным к лошади, которую затем раздразнили и отпустили в поле.

Погрузившись в уныние, глубина которого совсем не отражалась на его лице, сражаясь с угрызениями совести и чувством незаслуженной обиды, поверженный судьбой, но не желающий ей поддаваться, Фолкнер достиг пика страданий. Ему было уже все равно, чем закончится суд; он не думал о собственной безопасности; он помышлял о самоубийстве, хотя это означало бы победу его врагов. Он оглядывался по сторонам, и камера казалась ему склепом. Он будто умер, но продолжал жить; в его сознании мелькали странные мысли и картины, сил бороться почти не осталось, и вот однажды дверь его тюремной камеры открылась, и на пороге возникла Элизабет.

Когда мы видим дорогого человека, по которому невыразимо тосковали и думали, что он далеко, когда слышим милый голос, чье сладкое звучание уже не надеялись услышать снова, и чувствуем, что наши души состоят в истинном родстве, а тот, кого мы обожаем, предстает перед нашим взором, мы испытываем истинное блаженство, которое представляется тем более ценным ввиду несовершенств нашей ограниченной натуры. Фолкнер увидел свою дочь, и оковы рухнули; она была его свободой и безопасностью; глядя в ее милое лицо, он больше не верил в существова-

ние зла. Несправедливость и горе, муки совести — все растаяло и растворилось в ее присутствии, и каждый уголок его души наполнился бьющим через край счастьем.

Глава XLII

Приезд Элизабет совпал с первой мучительной вехой в деле Фолкнера. Суд собрался на выездную сессию; в камере толпились люди с суровыми лицами и совещались по поводу методов его защиты. Так началась вереница забот, унижений и тяжких тревог; впервые Элизабет и Фолкнеру предстояло осознать весь ужас своего положения.

Люди из благородного общества так мало знают о преступлениях и наказаниях, что те представляются им сказками далекого чужого края. Когда же эти сказки случаются с нами, мы чувствуем себя так, будто попали в незнакомую варварскую страну. Законники огласили список преступников, характер их преступлений и место, которое Фолкнер занимал в их ряду; Фолкнер слушал и казался бесстрастным, даже апатичным; взор, обычно зоркий, устремился в пустоту, на благородном челе не отражалось мучительных дум, что терзали его ум. Лишь поймав на себе обеспокоенный вопросительный взгляд дочери, он улыбнулся, чтобы она не тревожилась за него так

сильно. Она тоже слушала, ее щеки то бледнели, то краснели, глаза блестели от непролитых слез, и она встала рядом со своим несчастным другом, будто надеясь загородить его от худшего своей невинностью и любовью.

Первым делом следовало подумать о решении присяжных. Не было сомнения, что те выскажутся против обвиняемого. Так утверждали адвокаты, но Элизабет все же надеялась; она верила, что люди не могут быть настолько слепы или же что их озарит внезапное осознание. Против Фолкнера свидетельствовали сэр Бойвилл и его сын; последний, как ей было хорошо известно, не желал этого процесса, а если бы сердце сэра Бойвилла дрогнуло, если бы он понял, как недостоин и лжив выбранный им путь, то дал бы другие показания и все бы тогда изменилось; пелена бы спала с глаз людей, Фолкнера бы освободили, а вся странная и жуткая история рассеялась бы как утренний туман. Она долго об этом размышляла; иногда подумывала написать Невиллу или повидаться с его отцом, но вспоминала, как Невилл уверял ее, что ход событий уже не изменить, и это доводило ее до грани отчаяния.

Они постоянно думали о происходящем, слышали, как эти вопросы обсуждались, и все же

для обоих явилось ударом, когда против Руперта Фолкнера, выражаясь юридическим языком, выдвинули утвержденный обвинительный акт.

Такова природа ума, что Фолкнер ни разу не представлял себе истинного масштаба и значения происходящего. От будущего его отделял предварительный вердикт, и присяжные еще могли склониться в его пользу. Сам он знал о своей невиновности; даже мысль о преступлении, в котором его обвиняли, была ему ненавистна; он не понимал, как двенадцать беспристрастных образованных людей могут не заметить лжи, из которой сконструировано обвинение. Адвокаты сказали, что решение будет не в его пользу; он видел в глазах Элизабет испуганное ожидание, но не верил в худшее. Не может быть, чтобы справедливость была всего лишь словом и невиновного нельзя было отличить от виновного; низменная и безрассудная злоба сэра Бойвилла, несомненно, не укроется от взглядов и заслужит порицания; в глубине души он верил в это, хотя вслух никогда не признавался. Но теперь все изменилось. Ужасную ложь сочли правдой, точнее, вероятностью, и на ней основывались дальнейшие действия. Его ждет бесчестье публичного суда. Как обычно, он кинулся из одной крайности в другую и

решил, что его признают виновным и он умрет. Жизнь и природа подернулись темной пеленой. Порой он даже радовался, что таким образом ему удастся сбежать от ужасной несправедливой системы, причинившей ему столько мук, но гордое сердце взбунтовалось, и душа заметалась, как в ловушке.

Узнав об обвинительном акте, Элизабет ужаснулась еще больше Фолкнера; у нее закружилась голова и заболело сердце. Неужели суд уже через несколько дней? Неужели все решится так скоро? И один-единственный миг определит ее существование и превратит мир из края надежды в ад, полный мук и отчаяния? Именно таким станет мир для нее, если с Фолкнером случится худшее. Худшее! Подумать страшно! Как ужасно, гадко и несправедливо! Эта мысль граничила с безумием, и она поспешила в камеру, чтобы увидеть его, услышать его голос и развеять ужас в душе; спокойствие и равновесие ума ее покинули, она выглядела растерянной, а сердце билось так сильно, будто грозилось выскочить из груди; лицо побледнело и стало пепельно-серым, ноги и руки обессилели; она пыталась скрыть слабость от Фолкнера, но тем лишь привела его в смятение.

Он сидел у окна и любовался осенним небом,

кусочек которого был виден в высоком узком зарешеченном окне. Облака заволокли тонкую полоску небес; они спешили в далекие края, и дух свободы парил над их распростертыми крыльями; они торопились прочь от него, и он не мог их догнать и покинуть убогие стены камеры, в которых был заперт. Ах, природа! Пока ты у нас есть, пока меняется погода, дует свежий ветер и свирепствуют величественные шторма, пока у наших ног, над нами и вокруг повсюду твои творения, разве можем мы чувствовать себя несчастными? Мы ощущаем родство с растущими цветами и распускающимися бутонами; чувствуем любовь в дуновении теплого ветерка и отдыхаем при виде зеленых лугов; когда все вокруг напитано духом счастливой жизни, наша душа тоже не может не радоваться. Но томившийся за решеткой бедный пленник был всего этого лишен; тело казалось ему скованным, а дух противился виду толстых прутьев и осознанию, что он превратился в раба своих собратьев.

Оглушающий эффект от первого удара прошел, и лицо Фолкнера приняло высокомерное выражение, напоминавшее холодность, но на самом деле означавшее торжество самообладания над чувствами; губы скривились в подобии презри-

тельной усмешки, а весь вид демонстрировал неподчинение судьбе. Вошла дрожащая Элизабет; прежде она никогда не теряла выдержку и даже сейчас остановилась на пороге, пытаясь собраться, но тщетно; она увидела его и бросилась ему в объятия, расплакалась и в своих трепетных страхах стала похожа на всех женщин. Он был тронут и хотел было ее успокоить, но горло судорожно сжалось.

— Я прежде никогда не чувствовал себя узником! — воскликнул он. — Станешь ли ты по-прежнему поддерживать того, кто опозорен?

— Пуще прежнего, отец! — пробормотала она. — Ничто не связывает людей так тесно и крепко, как несчастье!

— Моя дорогая великодушная девочка, — промолвил Фолкнер. — Как же я ненавижу себя за то, что требую от тебя столько сочувствия. Позволь мне страдать в одиночестве. Тебе здесь не место, Элизабет. Твоя свободная душа должна любоваться горными склонами; вольный ветер должен гладить эти шелковые локоны! Пока я думал, что скоро выйду на свободу, я готов был наслаждаться твоим обществом, но теперь я убийца и неподходящая для тебя компания! Я проклят и притягиваю проклятье ко всем, кто со

мною рядом. Видимо, я рожден губить молодых и прекрасных.

Такими беседами они пытались противостоять свирепым обстоятельствам. Фолкнер сказал, что в тот день решится, состоится ли суд немедленно или же велят послать за Осборном в Америку. Невилл дал показания, выставив обвиняемого в благоприятном свете, и присяжные засомневались; многие считали, что судьи решат подождать важного свидетеля. Но однажды они уже потеряли надежду и боялись, что это повторится.

Во время разговора вошел адвокат и принес хорошие новости. Заседание отложили до выездной сессии в марте; решили дождаться Осборна. Безжалостная рука судьбы и людского суда немного ослабила свою хватку, и отчаяние покинуло их сердца; они снова смогли дышать, молиться и надеяться. Нельзя терять время; надо немедленно послать за Осборном. Но явится ли он? Сомнений не было. С него обещали снять все обвинения; он смог бы спасти другого человека — своего бывшего благодетеля — безо всякого риска для себя.

День закончился на более радостной ноте, чем начался. Фолкнер овладел собой и даже казался бодрым; благодаря этому и на щеки его напуганной собеседницы вернулся румянец, на губах

заиграла полуулыбка. Он увел ее мысли от животрепещущей темы, пустившись рассказывать, как они познакомились с Осборном. Он описал этого человека; Осборн был добр, но труслив, до безобразия дрожал за собственную шкуру; на вышестоящих взирал с благоговением, и потому человек более обеспеченный и благородный мог склонить его к чему угодно; раб от природы, но со многими положительными качествами раба. Фолкнер не сомневался, что он с готовностью поучаствует в процессе и даст показания — возможно, благоприятные.

Причин отчаиваться не было. После пережитого потрясения настоящее уже не казалось им таким невыносимым, страх перед скорой и ужасной катастрофой миновал, и они забыли о своем несчастном положении; напротив, им стало казаться, что их окружают комфорт и безопасность. Они пытались ободрить друг друга, а вечером даже довольно спокойно попрощались. И все же Элизабет еще никогда не приходилось проливать таких горьких слез, как в ту ночь; ее подушка промокла, хотя она искренне пыталась полагаться на Провидение. А Фолкнер не сомкнул глаз ни на час, вновь переживая случившееся, и душа его корчилась в муках и кровоточила от осознания,

что его юношеское безрассудство и непокорность соткали такую мрачную и запутанную паутину несчастий.

С того момента их дни были посвящены рутине, обладающей особой привлекательностью для человека в беде. Сменялись дни, ни один из них не был отмечен катастрофой или хоть какими-то событиями — и это приносило удовлетворение, пускай мрачное и печальное, но благодатное для сердца, уставшего от многочисленных ударов и душевных переживаний, вызванных страхами и надеждами. Ум адаптировался к новым обстоятельствам, и даже в самом страшном и убогом из мест оба стали находить поводы для удовольствия. То, что в прежние счастливые дни казалось обыденным, теперь воспринималось как Божье благословение, а мысль, что сейчас они в безопасности, а дальше будь что будет, заставляла ценить каждый час. От суда, которого они со страхом ждали, их отделяли месяцы; так уж устроен человек, что, зная, когда свершится судьба, он может резвиться даже накануне трагедии, подобно беспечному зверю за секунду до гибели.

У них установился регулярный распорядок; занятия следовали одно за другим. Элизабет поселилась в комнатах недалеко от тюрьмы. По утрам

она гуляла, а остаток дня проводила с Фолкнером в камере. Он читал ей вслух, пока она вышивала гобелен, или она читала ему, пока он рисовал или делал наброски; не было недостатка и в музыке, такого рода, какая подходила к смиренному настрою их умов и возносила их к покорности и благоговению; так они и проводили чудесные тихие часы у очага; несмотря на окружающие ужасы, в нем бодро потрескивал огонь, и хотя веселье было им чуждо, но не слышалось и голоса протеста; если и имелись у них жалобы, они прятали их в самых потаенных уголках своих сердец, а разговаривали всегда спокойно и на отвлеченные темы, не имевшие отношения к злободневным проблемам, но интересные — как всё, о чем говорят одаренные люди. Фолкнер старался разнообразить беседы и оживить их остротой наблюдений, красотой описаний и достоверностью повествования. Он рассказывал об Индии; они читали путевые хроники, сравнивали обычаи разных стран и забывали о решетчатой тени, которой оконные прутья перечеркивали солнечное пятно на полу камеры, и о печати безрадостного уныния на всем, что их окружало. Помнили ли они, что от свободы их отделяли цепи и засовы? Безусловно — об этом свидетельствовало ставшее

привычным для Элизабет выражение задумчивой нежности, спокойный голос Фолкнера и его тихая манера. Они помнили об этом каждую минуту; это осознание не давало их сердцам свободно биться, и иногда, наткнувшись на какое-то слово в книге и связав его с нынешними обстоятельствами, Элизабет чувствовала, как глаза обжигают непрошеные слезы, а когда Фолкнер читал истории угнетенных, его грудь полнилась гордым презрением и он думал: «Меня тоже преследуют, и я должен терпеть».

Так они стали бесконечно дороги друг другу; не проходило и минуты, чтобы они не вспоминали друг о друге. В красоте и изяществе есть нечто невыразимо пленительное; благословенны те, чей спутник жизни очаровывает чувства своей внешней привлекательностью, так что глазу приятно на него смотреть; чтобы увидеть красоту на холсте, мы готовы проехать большое расстояние. Наблюдая за своей юной подругой, Фолкнер забывал и о судорогах боли, и о многих часах страданий. Ее лицо можно было разглядывать дни напролет и все время находить что-то новое и благородное в священной безмятежности ее чела, в серьезных и умных глазах. В очертаниях ее щек и ямочках у губ крылась мягкая женствен-

ность. Что бы она ни говорила, что бы ни делала — все было ей к лицу, и казалось, что более прекрасных слов и поступков не сыскать; глаз и сердце пленяло особое очарование, рожденное ее чистотой и честностью. Даже мысли о ней теперь вызывали у Фолкнера благоговение. Она не обладала безудержным нравом и трепещущей чувствительностью его погубленной возлюбленной, однако ни в чем ей не уступала.

Но хотя оба наслаждались передышкой от тревог, которую подарила им судьба, чувство временной безопасности являлось, в сущности, нездоровым и противоестественным. По ночам Фолкнера терзала лихорадка, на лбу залегли болезненные морщины, свидетельствующие о душевных страданиях и упадке. Элизабет с каждым днем бледнела и худела; ее походка утратила упругость, голос звучал глухо, в глазах вечно стояли слезы, а веки отяжелели и потемнели. Отец и дочь постоянно помнили о своей беде и боялись движением или звуком пробудить чудовище, временно впавшее в оцепенение; но тень его нависла над ними и омрачала их дни; в воздухе, которым они дышали, ощущалось его ледяное дыхание, и никогда они не испытывали настоящей беззаботности. Они могли молиться и

подчиняться обстоятельствам, радоваться, что им до поры до времени ничего не угрожало, но каждая песчинка в песочных часах имела значение, и каждая мысль, возникавшая в уме, подвергалась тщательному анализу. Они обдумывали каждое слово и выбивались из сил, неустанно пытаясь притупить свои чувства.

В разлуке они очень тосковали. Элизабет закрывала за собой дверь и уносила всякую надежду и радость жизни. Фолкнер снова становился узником, обвиненным преступником, человеком, которого ждала самая чудовищная судьба; псы закона осаждали его со всех сторон и взирали на него как на свою добычу. Его благородное сердце нередко наполнялось страхом. Опуская голову на подушку, он мечтал никогда больше не просыпаться; отчаяние не давало ему сомкнуть веки долгими ночами, когда на них давила непроглядная тьма; он просыпался вялым и апатичным, его преследовали навязчивые мысли о смерти, пока наконец не приходила Элизабет и не развеивала мрак, освещая тьму его души лучами своей чистой души.

Сама Элизабет тоже мучилась в одиночестве; тихие вечерние часы вдали от Фолкнера проходили в меланхолии и унынии. Ее окружало

абсолютное безмолвие; казалось, люди ее покинули и она осталась одна во всем белом свете. В городе и окрестностях многие ее жалели; многие восхищались ею, некоторые предлагали свои услуги, но никто не навещал преданную дочь и не пытался скрасить ее одиночество. Между ней и миром встала преграда: она была дочерью человека, обвиненного в убийстве. Англичане добры к близким, но к чужим относятся с подозрением; Христос учил нас, что все люди — братья, но англичане не признают этих уз. Они так боятся незаконного вторжения в свои неприветливые дома, так страшатся дурного обращения, что каждый строит себе крепость и оттуда взирает на кротость и милосердие как на врага, готового к нападению. Потому Элизабет проводила часы наедине со своими мыслями, и те были ее единственными спутницами.

Иногда, отвлекшись от Фолкнера и его несчастной судьбы, она вспоминала Джерарда Невилла, щедрого друга, на которого она всецело полагалась, но который никак не мог помочь и ее утешить. Теперь они разлучены; она знала, что он думал о ней, его верный и пылкий нрав не дал бы ему забыть о заветном предмете его чаяний. Бывало, во время утренней прогулки

или ночью, глядя в окно, она видела высоко на небосклоне звезды и бледную недвижную луну, и сама Природа словно заговаривала о нем, а ее душа переполнялась нежностью. И все же он был далеко; от него не поступало вестей, никаких доказательств, что он по-прежнему ее помнил. Леди Сесил тоже не писала и не присылала за ней. Невыносимо чувствовать, что тебя все оставили, и юная Элизабет пролила немало горьких слез; вслед за своим несчастным отцом она даже начала желать молчаливого покоя могилы, который мало чем отличался от того образа жизни, который они теперь вели, хотя в сердцах их по-прежнему теплилась жизнь, а души жаждали сочувствия и утешения.

Глава XLIII

Итак, узник и его юная спутница оказались в ситуации, когда страхи и надежды временно пришли в неподвижное равновесие. В некотором смысле они не надеялись и не боялись: рассуждая спокойно, они не ожидали самого худшего, хотя несомненно различали нависшую над ними беду. Как потерпевшие кораблекрушение моряки, севшие в шлюпку и выброшенные в бушующее море, они видели приближающееся судно и верили, что с палубы заметили их сигнал и корабль направляется им навстречу. Оставалась вероятность, что судно внезапно развернется и бросит их на милость волн. Впрочем, на такое окончание своей несчастной истории они не рассчитывали.

Шло время, и у них появились новые поводы для беспокойства. Адвокат Фолкнера мистер Колвилл направил в Америку своего поверенного, чтобы тот привез Осборна. С последнего обещали снять все обвинения, и все же сложно было не тревожиться, что он, возможно, не приедет. Фолкнер беспокоился меньше всех; он не сомневался в Осборне, он его знал, когда-то

спас ему жизнь, и именно благодаря Фолкнеру его судьба сложилась благополучно. Фолкнер знал слабости Осборна и понимал, как просто с ним совладать. Адвокаты придерживались иного мнения. Осборн вел спокойное существование, ему ничего не угрожало — с какой стати подвергать себя бесчестью и добровольно соглашаться на клеймо преступника, хоть и освобожденного от обвинений? Он мог бы найти сотни способов уклониться. Да и был ли способ доказать, что Осборн, о котором говорил Хоскинс, был тем самым Осборном, что состоял в услужении у Фолкнера и считался причастным к смерти миссис Невилл?

В Вашингтон отправили некоего Хиллари; тот отбыл в сентябре и после приезда немедленно написал своему начальнику. Плавание прошло тяжело, как всегда бывает осенью; они пристали к американскому берегу лишь в последний день октября. Хиллари писал, что Осборн был в городе и на следующий день должен был с ним увидеться. Письмо от него пришло в конце ноября; имелись все причины полагать, что Хиллари и Осборн в скором времени отплывут в Британию. Но прошел ноябрь, и начался декабрь, а путешественников все не было; над морем продолжал дуть юго-западный ветер, лишь изредка меняв-

ший направление; только с наступлением зимы он стал более свирепым; в Ливерпуль постоянно приходили пакетботы из Америки, пробывшие в пути то семнадцать, то двадцать дней, но Хиллари все не возвращался и не писал.

Тем временем лес сбросил листву, но по-прежнему стояла теплая приятная погода; она рождала в Элизабет надежду, девушка радовалась иногда выходившему солнышку и ясным дням, сменявшим утренние туманы. Однажды утром Элизабет выехала на верховую прогулку, и именно в этот день, шестнадцатого декабря, ее одинокое времяпровождение принесло ей особенное удовольствие. Утро выдалось погожим и безветренным, быстрая езда разогнала в жилах кровь, а голову занимали мысли, за которые Элизабет отчасти на себя злилась; но как бы она ни старалась себя сдерживать, пламя теплилось все ярче. Накануне в девять вечера она возвращалась из тюрьмы и заметила фигуру мужчины, который поспешно прошагал мимо и встал в отдалении, словно охраняя ее и наблюдая за ней издалека. Когда он поравнялся с аркой, в трепещущем свете фонаря она увидела прямо перед собой его тень. Ночь выдалась ясная, лунная, а он стоял на открытом месте рядом с ее домом, и она узнала Джерарда

Невилла, хоть его и было плохо видно. Неудивительно, что она сразу ощутила, как груз упал с души: он ее не забыл и не смог больше терпеть их разлуки; видимо, решил хотя бы мельком на нее взглянуть, но не решался заговорить.

Тем же утром она зашла в отцовскую камеру и обнаружила там двух посетителей — Колвилла и его поверенного Хиллари. Оба сидели с вытянутыми серьезными лицами. Элизабет встревоженно повернулась к Фолкнеру; вид у него был суровый и презрительный. Увидев ее, он улыбнулся и произнес:

— Моя дорогая, пусть тебя не шокируют новости, которые принесли эти господа. Не знаю, как они повлияют на мою судьбу, но вряд ли один этот фактор однозначно ее определит. Однако ты не представляешь всей глубины моего презрения к жалкому трусу, который смеет называть себя человеком! Осборн отказался приехать.

Разумеется, услышав это, Элизабет ужаснулась, и по просьбе Фолкнера Хиллари еще раз пересказал случившееся во время его поездки в Америку. Он выяснил, что Осборн в Вашингтоне, и без промедления договорился о встрече. Они увиделись, Хиллари показал Осборну письма Фолкнера, заявил, что действует от его имени и речь идет о

жизни и смерти. Услышав имя Фолкнера, Осборн побледнел; он, кажется, боялся распечатывать письма и все бормотал, что это, должно быть, какая-то ошибка. Наконец он сломал печати; в приступе жалкой трусости щеки этого человека побелели, а руки дрожали так, что он чуть не выронил бумагу. Наконец Хиллари увидел, что он дочитал до конца и не знает, что ответить; тогда заговорил сам Хиллари. Тут Осборн выронил письмо и, запинаясь и заикаясь, произнес:

— Я же говорил, это ошибка; мне ничего не известно, я впервые слышу об этом деле и никогда не был знаком ни с каким мистером Фолкнером. Знать его не знаю.

По тому, как побледнели его дрожащие губы и затрепетал голос, Хиллари понял, что он лжет и очень напуган, и попытался объяснить, что тому ничего не угрожает, если он согласится дать показания. Но чем больше он говорил, тем упрямее Осборн отрицал, что ему что-либо известно об изложенных в письме событиях и о человеке, о котором идет речь. Он обрел уверенность; собственные слова согрели его, и он отрицал свою причастность уже не робко, а дерзко, пока даже решимость Хиллари не поколебалась; в то же время Хиллари разозлился и принялся

допрашивать Осборна на адвокатский манер об обстоятельствах его прибытия в Америку, а тот отвечал на эти вопросы с очевидным страхом. Наконец Хиллари спросил, помнит ли тот такой-то и такой-то дом, такое-то путешествие и имя своего спутника и знает ли человека по фамилии Хоскинс. Услышав эту фамилию, Осборн вздрогнул так, будто в него попала пуля. Если раньше он был просто бледен, то теперь его щеки побелели как мел, ноги подкосились, а голос пропал; затем он встрепенулся и притворился, что страшно разозлен столь дерзким вторжением в свою жизнь и назойливыми расспросами. При этом он ненамеренно выдал себя и показал, что знал о случившемся, хотя никогда бы в этом не признался; наконец закончив гневную и бессвязную тираду, он вдруг покинул зал (они встречались в таверне) и вышел на улицу.

Хиллари надеялся, что Осборн еще подумает и опомнится. Он отправил ему письма Фолкнера и вызвал его на следующий день, но Осборн пропал; оказалось, накануне вечером он сел на пароход до Чарльстона и уехал из Вашингтона. Хиллари не знал, как поступить, и обратился к властям, но те ничем не могли ему помочь. Тогда он тоже поехал в Чарльстон, некоторое время искал Ос-

борна, но тщетно; видимо, тот путешествовал под другим именем. Наконец он случайно нашел человека, который знал Осборна лично; тот сказал, что неделю назад Осборн уехал в Новый Орлеан. Продолжать поиски казалось бессмысленным, но Хиллари все же отправился в Новый Орлеан и ничего там не нашел. Возможно, Осборн скрылся в городе, а может, уехал в Мексику или затаился в окрестностях Нового Орлеана — выяснить это не представлялось возможным. Время проходило в бесплодных поисках; нужно было что-то решать. Не надеясь на успех, Хиллари подумал, что лучше всего вернуться в Англию и рассказать о своих неудачах, чтобы адвокаты не теряли времени и начали искать иные средства, раз их делу был нанесен столь сокрушительный удар.

Пока он рассказывал, Фолкнер, которого привело в бешенство недостойное поведение Осборна, немного успокоился и заговорил с обычной сдержанностью.

— Показания одного человека не могут иметь такой вес, — промолвил он. — Никто не верит, что я убийца; все знают, что я невиновен. Нужно лишь доказать это юридически; это не так уж сложно, ведь мы будем взывать не к слепому правосудию, а к разуму двенадцати человек, которые

наверняка сумеют отличить правду от лжи. Разумеется, необходимо сделать все возможное, чтобы прояснить мой рассказ и подкрепить его фактами; я уверен, что честной и внятной исповеди будет достаточно, чтобы меня оправдали.

— Вы правы, надо надеяться на лучшее, — сказал мистер Колвилл, — но то, что Осборн отказался приехать, само по себе не очень хорошо, прокурор будет на этом настаивать. Я бы заплатил сто фунтов, чтобы он приехал!

— Я бы не дал и ста пенсов, — съязвил Фолкнер.

Адвокат уставился на него; эта реплика произвела на него неприятное впечатление: ему показалось, что клиент был даже рад, что столь важный свидетель не объявился, а для него это было равноценно признанию вины. Он продолжал:

— Я не разделяю вашего мнения и рекомендовал бы послать за ним еще раз. Если бы у вас был друг, настолько вам преданный, что согласился бы пересечь Атлантический океан и попытаться переубедить Осборна…

— Будь у меня такой друг, ради этой цели я не стал бы просить его пересечь и канаву, — раздраженно ответил Фолкнер. — Если люди скорее

готовы поверить такому мерзавцу, как Осборн, чем джентльмену и солдату, пусть забирают мою жизнь. В моих глазах она не стоит таких усилий, и, если мои соотечественники жаждут моей крови, я с радостью сниму с себя бремя жизни и положу наземь.

Мягкое прикосновение Элизабет привело его в чувство; он взглянул в ее полные слез глаза, понял свой промах и улыбнулся, чтобы ее успокоить.

— Джентльмены, я должен извиниться перед вами за свою горячность, — промолвил он, — а перед тобой, моя дорогая, за то, что придаю значение пустякам, однако в этих пустяках есть мерзость, которая уязвила бы даже человека более спокойного нрава! Я не стану умолять сохранить мне жизнь, это слишком унизительно; я невиновен — вот все, что нужно знать людям, и они это поймут, когда страсти утихнут и их ненависть ко мне угаснет. Больше мне нечего сказать; я не могу призвать ангела с небес, чтобы она сама поклялась в моей невиновности; не могу заставить негодяя Осборна покинуть свое безопасное убежище. Я должен принять весь удар на себя и нести свое бремя; я предстану перед судьями, и если те, увидев меня и услышав, все же признают меня виновным — пускай; я буду

рад умереть и покинуть этот несправедливый кровожадный мир!

Достоинство, с которым Фолкнер произносил эту речь, его высокомерное и презрительное, но все же благородное выражение и бесстрастный чистый голос взволновали сердце каждого из присутствующих. «Слава богу, я люблю этого человека так, как он того заслуживает», — с нежностью подумала Элизабет, и ее глаза засияли, а оба адвоката были глубоко тронуты, о чем свидетельствовали их взгляды и голоса. Перед уходом мистер Колвилл сердечно пожал Фолкнеру руку и обещал служить ему со всем рвением и чрезвычайным старанием.

— Не сомневаюсь, что наши усилия увенчаются успехом, — добавил он, и эти слова явно были в большей степени продиктованы его заново пробудившимся интересом к делу, чем здравым суждением.

По-настоящему мужественные люди, столкнувшись с новой угрозой, всегда обнаруживают в себе свежие запасы сил. Фолкнер, вероятно, впервые ощутил себя готовым ко встрече со злой судьбой. Он отбросил присущую ему избыточную впечатлительность, собрался с духом и преисполнился благородной решимости. Он отрекся

от зыбких надежд, за которые прежде цеплялся, перестал ждать, что то или иное обстоятельство склонится в его пользу, и, безоговорочно поручив свое дело могущественной неодолимой силе, управляющей человеческими судьбами, ощутил одновременно спокойствие и облегчение. Если расплатой за гибель его жертвы станут бесчестье и смерть, пусть будет так; час страданий придет и минует, он превратится в хладный труп, а его собратья удовлетворятся местью. Он чувствовал, что распоряжение о его жизни или смерти уже подписано на небесах, и был готов к любому исходу; с этого часа он решил изгнать из своей души все трепетные чувства, внутренние терзания, надежду и страх. «Да свершится воля Господня» — эта фраза отпечаталась в его душе, оставив в ней нестираемый след; в нем проснулось чувство, состоящее отчасти из христианского смирения, отчасти — из фатализма, приобретенного за время жизни на Востоке, и отчасти — из философской стойкости.

Теперь при Элизабет он говорил об Осборне без едкости.

— Я больше не презираю этого человека, — сказал он. — Мы же не ненавидим стихии, когда те нас уничтожают; так зачем же злиться на людей?

Говорят, что одно слово Осборна может меня спасти; но Алитея тоже могла бы спастись, если бы ветер стих и унялись волны. Только не в нашей власти повлиять на то и другое. Раньше мне казалось, что я могу управлять событиями, пока внезапно у меня не отняли бразды. Несколько месяцев назад я радовался, потому что думал, что наказанием за мое преступление станет смерть от рук ее сына, а теперь я в тюрьме и все считают меня преступником! Нам кажется, что та или иная случайность может меня спасти, хотя на самом деле все давно решено, давно записано, и остается лишь терпеливо ждать назначенного времени. Будь что будет, я готов; я научил свой дух смирению и с этого часа готов умереть. Когда все кончится, люди поймут, кто был прав, кто виноват, и мне воздастся по справедливости, а бедолага Осборн горько пожалеет о своей трусости. Он будет мучиться, вспоминая, что одним лишь словом мог сохранить мне жизнь, но уже ни одна сила на Земле не сможет меня воскресить. Он неплохой человек; если бы сейчас он мог представить свое будущее раскаяние, то не проявлял бы столь жалкой трусости — трусости, которая в основе своей происходит из благих побуждений. Им движет боязнь стыда, ужас от того,

что он причастен к столь страшной трагедии, и неотступный и жестокий спутник вины — стремление забыть о последствиях своих действий. Но если бы ему объяснили, как приумножится его чувство вины, если из-за его молчания я погибну, все эти причины показались бы ничтожными и тут же утратили бы значение.

— А возможно ли это сделать? — спросила Элизабет.

— Наверное, да, — ответил Фолкнер, — но мы тут бессильны. Мы отправили к нему человека, который, хоть и не был полностью безразличен к нашему делу, не обладал красноречием и не горел тем пылом, который способен побудить слабого человека к действию, — во всяком случае, настолько слабого, как Осборн. Осборн мог бы стать злодеем, если бы слабость не мешала ему следовать своему призванию: он всегда мечтал быть честным. Теперь у него хорошая репутация; он был одним из несчастных отбросов цивилизации, кормящихся пороками, изгоев общества, но стал в глазах окружающих уважаемым и надежным его членом. Естественно, он не желает терять всех преимуществ этого положения, заслуженного с таким трудом и совсем недавно. Ему кажется, что, бросив меня в беде, он сохранит их. Если бы

он осознал свое заблуждение и кто-нибудь смог донести до него, каким жалким он станет в собственных глазах и какие проклятия обрушатся на него после моей смерти, он бы сразу передумал и выступил в мою защиту с тем же старанием, с каким сейчас пытается скрыться и молчать.

Глава XLIV

Элизабет молча слушала. Все случившееся произвело на нее глубокое впечатление. Она обдумывала идею, которая захватила ее с того момента, когда адвокат намекнул, что необходим друг, горящий рвением спасти Фолкнера и готовый пересечь Атлантику, и до этой самой минуты, когда сам Фолкнер объяснил, какие благие последствия ждут их всех — если бы кто-нибудь смог ясно и красноречиво втолковать это Осборну.

Идея заключалась в том, что она должна поехать в Америку. Она не сомневалась, что, встретив Осборна, сможет его убедить, а трудности путешествия ее не пугали, так как на своем веку она объехала много стран. Она подробнее расспросила Фолкнера, и его ответы пуще прежнего укрепили ее в решимости следовать своему плану. Она не видела препятствий и уже не сомневалась в успехе. Правда, у нее совсем не оставалось времени, но она полагала, что суд снова отложат, если возникнет надежда, что Осборн все-таки явится дать показания. Ей было

тягостно оставлять Фолкнера без друга, но цель путешествия казалась важнее; она должна была поехать. Фолкнеру она ничего не сказала, и тот не догадывался, о чем она думала.

Полностью занятая мыслями об этой затее, вечером она возвращалась домой, даже не вспоминая о Невилле, чье появление так занимало ее все утро. Лишь на пороге своего дома она вдруг вспомнила о нем и поняла, что по пути домой его не видела; окинув взглядом открытую площадку, где он стоял накануне вечером, она никого не заметила. Нахлынули разочарование и грусть; она подумала, что у нее совсем нет друзей и никто не поможет ей подготовиться к путешествию, никто не даст совет, так что придется всецело полагаться на наемных помощников. Но ее независимый и стойкий дух поборол эту слабость, и, поднявшись в свою комнату, она села писать записку мистеру Колвиллу. Она попросила его зайти к ней, так как хотела подготовить все для поездки, прежде чем сказать об этом Фолкнеру. Сидя за столом, она услышала на тихой улице быстрые решительные шаги; затем в дверь торопливо, но деликатно постучали. Она вздрогнула. «Это он!» — подумала она, и тут же вошел Джерард; она протянула руку, ее переполняла радость, сердце

бешено колотилось, а глаза сияли.

— Как ты добр! — воскликнула она. — Ах, Невилл, как же я счастлива, что ты приехал!

Сам Невилл не выглядел счастливым; он побледнел и похудел, его черты были отмечены прежней меланхолией, которую ей на время удалось развеять, а в глазах появился дикий свирепый блеск, напомнивший ей, каким он был в Бадене. Элизабет с ужасом отметила эти следы страдания, у нее невольно вырвалось:

— Что стряслось? Есть новости?

— Несчастная судьба всегда подкидывает нам новости, — ответил он. — Свежие и все более и более печальные! Я не вправе тяготить тебя своими чувствами, но больше не мог оставаться в стороне; я должен был увидеть, как беды повлияли на тебя.

Он был мрачен и взбудоражен; она же сохраняла спокойствие и смиренно думала о долге; она велела себе день ото дня терпеливо исполнять свою задачу и ради Фолкнера даже казалась веселой. Ей подумалось, что причиной огорчения Невилла стало какое-то новое несчастье. Она не знала, что бесплодные попытки облегчить ее бедственное положение, тщетные размышления об ужасах, которым она подвергалась, и горькое

сожаление из-за их разлуки лишили его сна, аппетита и покоя.

— Глядя на твою стойкость, я презираю себя за слабость, — промолвил он. — Ни одна женщина, ни одно человеческое существо не способно на такое благородство; должно быть, ты презираешь таких, как я, согбенных и сломленных судьбой. Но я вижу, что с тобой все в порядке и половина моих опасений не оправдалась! Бог хранит и оберегает тебя; надо было больше в него верить.

— И все же, Невилл, скажи, что случилось?

— Ничего! — ответил он. — Но разве это не чудовищно? Я никак не могу смириться с выпавшими на нашу долю бедами; как неупокоенный призрак, я не нахожу себе места! Я очень эгоистичен в своих чувствах, но все мои мысли — о твоих страданиях; если бы все зло обрушилось на меня, пощадив тебя, я бы порадовался самым невыносимым мукам! Но ты, Элизабет, — ты стала жертвой моего жестокого отца, и будущее представляется мне еще ужаснее настоящего!

Элизабет удивилась его словам: что он имел в виду?

— Будущее, — повторила она, — принесет моему отцу свободу; что в этом ужасного?

Он уставился на нее в печальном недоумении.

— Да, — продолжала она, — как бы ни тяготили меня мои печали, я не унываю и не сомневаюсь, что в конце концов справедливость восторжествует. Нам многое придется вытерпеть; наша стойкость подвергается испытаниям, а сердце терзается в муках, но беды пройдут, и лишь терпение нам поможет; суд закончится, он выйдет из тюрьмы, мы снова обретем свободу и будем в безопасности!

— Теперь я понимаю, — ответил Невилл, — что мы живем в разных мирах, и несправедливо показывать тебе будущее, каким его вижу я.

— Но все же расскажи мне. Объяснись! — воскликнула Элизабет. — Ты так меня напугал, что лучше выслушать любое объяснение, чем терзаться мыслями о том, что значат твои слова и вид.

— Нет, — ответил Невилл, — не хочу, чтобы на тебя влияла моя слабость. Твое восприятие и твои надежды, безусловно, основаны на разумных доводах. Прости мне столь банальное сравнение в такой печальной ситуации, но мы с тобой как две стороны одной медали. Я вижу только темное и пугающее, я живу среди твоих врагов — точнее, врагов мистера Фолкнера. Я слышу лишь разговоры о его вине и готовящемся

наказании, и это сводит меня с ума. Я умолял отца не мстить. Сам я не сомневаюсь, что рассказ мистера Фолкнера правдив, и мне ненавистна мысль, что такого благородного человека ждет подобная судьба; когда же я думаю, что ты вовлечена в эту чудовищную и несправедливую историю, кровь стынет в моих жилах. Я умолял отца, спорил с ним, просил Софию убедить его, что справедливость важнее мести; но все было тщетно. Если бы ты видела старика, — я имею в виду своего отца, прости, что столь непочтительно о нем отзываюсь, — если бы знала, какое дьявольское злорадство рождают в нем мысли о мести и с каким отвратительным восторгом он расписывает все подробности позорного наказания, которому подвергнется тот, кто многократно превосходит его благородством, ты бы тоже его возненавидела. Он ядовито и презрительно отзывается о моей слабости, каковой он считает готовность простить человека, погубившего мою мать, уважение к нему и сочувствие к тебе. Впрочем, меня это не трогает; я прихожу в отчаяние, лишь представляя, что он победит, а ты будешь несчастна и навсегда для меня потеряна… Я почему-то думал, что такие же мысли посещают и тебя и ты страдаешь даже больше моего, — продолжил

он. — Я представлял, как ты корчишься в муках отчаяния и чахнешь под грузом невыносимых пыток. Ты постоянно снилась мне, и в этих снах с тобой случалось что-то страшное; ты истекала кровью, лежала бледная и умирала. Иногда ты и вовсе являлась мне в образе моей несчастной матери, какой ее описывал Фолкнер, когда нашел качающейся на волнах, холодной и бледной. Я видел и другие картины, еще более пугающие. Не в силах добиться отклика от собственного отца, я возненавидел общество людей и последний месяц жил в Дроморе. Несколько дней назад туда приехал отец. Я удивился, а потом узнал причину его приезда. Он ждал появления Осборна. Как стервятник летит на мертвечину, так и он почуял запах беды и поторопился явиться; в Ливерпуле у него имеется свой человек, который должен был сообщить, как только об Осборне станет что-то известно. Эта гнусная тяга к злу вызвал у меня отвращение; я оставил его и приехал сюда, чтобы понаблюдать за тобой хотя бы издали, надеясь, что твой вид очистит мой «проклятый дух»[33] от влияния мрачных чувств, которым я так долго предавался. Отец узнал, где я; утром я

[33] Примечания: 33

Отсылка к «Гамлету», сцена с появлением призрака отца Гамлета: «Блаженный ты или проклятый дух» (пер. М. Л. Лозинского).

получил от него письмо; можешь догадаться о его содержании.

— Он рад, что Осборн отказался приехать, — догадалась Элизабет, которую очень впечатлила картина ненависти и злобы, нарисованная Невиллом; слушая его пылкий рассказ, она дрожала с ног до головы; его слова всколыхнули в ней яростные чувства.

— Не просто рад; он торжествует, — ответил Невилл. — А ты, ты и мистер Фолкнер, разве вы не в отчаянии?

— Если бы ты видел моего милого отца, — ответила Элизабет, и при мысли о Фолкнере к ней вернулось мужество, — то понял бы, сколько сил придают человеку осознание невиновности и благородный ум! Он не отчаивается, даже если случается худшее, храбро смотрит в глаза настоящему и со смирением думает о будущем. Стойкость его души поражает; его дух несгибаем.

— И ты разделяешь его чувства?

— Отчасти да; но меня также поддерживают другие мысли. Трусливый поступок Осборна тяжело ударил по нам, но все еще можно исправить. Человек, которого мы послали за Осборном, слишком легко сдался. Надо пробовать другие средства. Я сама поеду в Америку, найду Осборна,

и можешь не сомневаться: у меня получится его уговорить.

— Ты? — вскричал Невилл. — Ты поедешь в Америку? И будешь выслеживать человека, который не хочет, чтобы его нашли? Это невозможно! Ты окончательно сошла с ума. А Фолкнер согласен на эту безрассудную затею?

— Ты не стесняешься в выражениях, — заметила Элизабет.

— И имею на это право, — ответил Невилл. — Впрочем, прости. Но моя горячность оправданна: тебе нельзя ехать в Америку! Во-первых, это не подобает приличиям, а во-вторых, бессмысленно. Представь, что ты высадилась на берега этой огромной страны и ищешь человека, который прячется неведомо где; неужели ты планируешь бродить по улицам больших городов и ездить по всей стране туда-сюда, лишь бы его отыскать? На это способен только самый неутомимый человек, а тебе в силу возраста и пола это вряд ли удастся.

— И все же я поеду, — задумчиво проговорила Элизабет. — Сколь многое остается несделанным, потому что нам кажется, что это невозможно, а ведь если постараться, оказывается, что ничего сложного нет! Если передо мной возникнут непреодолимые препятствия, я смирюсь, но

пока не вижу ни одного; меня не снедает распространенный страх перед неизвестностью, свойственный тем, кто всю жизнь просидел на одном месте; я путешествовала с детства и знаю, что проехать тысячу миль так же легко, как сто, разве что чуть больше устанешь. Если меня и ждут опасности и трудности, я легко их преодолею, ведь всё — ради моего дорогого отца.

Произнося эту речь, она казалась прекрасной как ангел; ее непокорность была свободна от грубости и возникла не из любви к противоречию, а из уверенности, что ее ничто не остановит и ничто ей не повредит при исполнении долга. Ее бесстрашие порождалось благородством великодушного сердца, которое не верило в людскую испорченность. Она подробно растолковала своему другу причины, укрепившие ее решимость. Рассказала, как Фолкнер описывал характер Осборна, и объяснила, что, если тот не явится на суд, ущерб будет огромен, и его все-таки можно убедить, если за уговоры возьмется человек, преданный делу.

Невилл внимательно слушал. Она замолчала; он задумался и не ответил, и тогда она продолжила говорить, но он по-прежнему не издавал ни звука. Наконец она произнесла:

— Я вижу, что убедила тебя; ты поддался мне, ты согласен, что мое путешествие — долг и необходимость.

— Кажется, мы оба склонны придавать огромное значение долгу и принимать внезапные, если не сказать опрометчивые решения. Возможно, мы оба склонны перегибать палку и потому вызываем осуждение окружающих. Так давай хотя бы друг у друга находить одобрение. Тебе нельзя ехать в Америку, это будет бесполезно; ты не добьешься успеха, несмотря на свое рвение. Но я поеду. Естественно, все — я имею в виду сэра Бойвилла и прочих — сочтут меня сумасшедшим или даже хуже; но сердце подсказывает, что я все делаю правильно. Я потратил много лет, пытаясь выяснить судьбу матери. Теперь мне все известно. В рассказе Фолкнера нет недомолвок. Я нашел в нем ясный и удовлетворительный ответ, но другие почему-то сомневаются в правде и воображают себе отвратительные картины. Обоснованны ли их подозрения? Я так не считаю, но многие в этом уверены и считают, что истина выяснится на предстоящем суде. Однако этот суд будет фарсом, если окажется несправедливым и неполным, а без Осборна он таким и будет. Как сын — ее и сэра Бойвилла, — я обязан сделать все

возможное, чтобы развеять сомнения. Я решил; я еду, и не сомневайся, без Осборна я не вернусь. Ты же позволишь занять твое место и действовать от твоего имени? Ты веришь в мое усердие?

Элизабет снаряжалась в Америку, повинуясь бесхитростному велению долга и рассудка. Но предложение Невилла глубоко ее тронуло; слезы хлынули из глаз, и дрогнувшим от чувств голосом она произнесла:

— Боюсь, это невозможно; ты наткнешься на слишком сильное сопротивление. Но я никогда, никогда не смогу отплатить тебе за великодушие, с каким ты предложил свою помощь.

— Я делаю это не только ради тебя, но и ради себя, — ответил он. — Что до сопротивления — это моя забота. Ты знаешь, что ничто меня не остановит на пути к цели. А моя цель ясна. Безошибочный внутренний голос твердит, что я прав, а в чужом одобрении я не нуждаюсь. Мной должна бы двигать жажда справедливости и, возможно, сочувствие к человеку, ставшему причиной наших страданий, но я не стану притворяться, что я лучше, чем есть: если бы речь шла только о Фолкнере, это дело интересовало бы меня куда меньше. Однако речь о моей матери, относительно которой не должно остаться

даже намека на недомолвки. Все должно быть предельно ясно, ни у кого не должно остаться сомнений; твою жизнь тоже не должна омрачать тяжкая судьба того, к кому ты питаешь беспримерную преданность, и ты не должна из-за него терзаться. Он невиновен, я это знаю, но если мир считает его убийцей и относится к нему как к преступнику, сможешь ли ты когда-нибудь стать счастливой? Благодаря тебе я осуществил то, к чему стремился; я бесконечно тебе обязан и хочу вернуть долг. Впрочем, дело не только в обязательствах; ты знаешь, что мое желание тебе служить безгранично, что я люблю тебя так сильно, что не выразить словами, и остро ощущаю любую обиду, которую наносят тебе. Я ничего не могу с собой поделать; даже если весь мир мне запретит, я должен сделать все для твоего благополучия. Ты, с твоей чистотой и благородством, сто́ишь тысячи подобных моему отцу. Теперь, когда ты знаешь все о моих побуждениях и причинах моих поступков, разве можешь ты сомневаться в моей решимости?

Пылкость и горячность Невилла смела возражения Элизабет, пробудив в ней глубокую нежность и благодарность. Он с гордостью произнес:

— Я докажу, что я твой друг. Небеса дали мне

возможность тебе послужить; я благодарен им за это.

Он казался таким счастливым и так безудержно радовался, что ее сердце тоже исполнилось радости — более спокойной, но такой же искренней. Они были молоды и любили друг друга; это само по себе казалось блаженством, но жестокие обстоятельства сблизили их, умножив счастье и сделав привязанность более пылкой и прочной. Теперь же, когда он нашел способ быть ей полезным, а она всецело на него положилась, рухнула последняя пелена и последняя преграда, и их сердца соединила чистейшая любовь, что возникает лишь при полном доверии и безраздельной взаимной симпатии.

Невиллом всегда управляли великодушные порывы, но он нередко бывал опрометчив в своих решениях и торопился действовать; его чувствительной душе было неприятно смотреть на страдания даже самого порочного человека, и он глубоко сопереживал всем страждущим. Поэтому, размышляя о положении, в котором оказалась Элизабет, он приходил в бешенство. Представляя ее нынешнее существование, он не думал о различных обстоятельствах, которые смягчали ее бедственное положение; он представ-

лял только самое худшее, самое отвратительное и в мрачнейших красках; его воображение рисовало картины ужасного будущего Фолкнера, о котором сам Фолкнер и Элизабет изо всех сил старались не думать. Фолкнера ждала та же судьба, что и самых жестоких преступников, и Невиллу она казалась неизбежной; он часто задумывался, почему Фолкнер не хочет сбежать и почему Элизабет, такая преданная и смелая, не придумает, как вызволить его из темницы. Он пытался заставить отца прозреть, смягчить его сердце, но тщетно. Он также искал в давно минувшем прошлом какие-нибудь улики, которые могли бы оправдать Фолкнера: ездил в Треби и видел могилы несчастных родителей Элизабет; встречался с миссис Бейкер и собрал рассказы очевидцев о том, как Фолкнер высадился на берег, но не узнал ничего, что помогло бы прояснить загадку смерти его матери. Единственным следом оставалось собственное признание Фолкнера, в котором каждая строчка была правдивой и представлялась ему столь благородной данью памяти бедной Алитеи, что попытки отца заподозрить Фолкнера во лжи и извратить его слова казались ему ужасными и отвратительными.

Поначалу софистика сэра Бойвилла и его убе-

дительные аргументы сбили Невилла с толку, но вскоре преданность Элизабет делу Фолкнера заставила его передумать; ему открылась низость мотивов отца и истинный ущерб, который тот нанес репутации матери.

Тогда Невилл решил избавить окружающих от предрассудков в отношении Фолкнера или хотя бы добиться справедливого суда и стал во всеуслышание заявлять о своей уверенности в невиновности Фолкнера. Он отзывался о нем не иначе как о джентльмене, великодушном и порядочном человеке; твердил, что в наказание за свое преступление он должен погибнуть от руки мужа или сына жертвы или предстать перед судом своей совести, а преследовать его так, как преследует сэр Бойвилл, бесчестно и бессмысленно. Рассказ Фолкнера раздосадовал сэра Бойвилла, его тщеславие было сильно задето противостоянием со стороны сына и равнодушием жены, которая самолично признавалась, что его не любит. Он был не в силах понять великодушную натуру Невилла и, помня о его прежнем рвении в расследовании дела матери, думал, что тот с готовностью поддержит его месть. Однако нынешние доводы сына, уважение к врагу и желание, чтобы к тому отнеслись со снисхождением, что вполне соот-

ветствовало джентльменскому кодексу чести, представлялись сэру Бойвиллу безумием и даже хуже: радуясь позору и страданиям врага, он почти убедил себя, что его обвинения — чистая правда и наказание осужденного преступника наконец удовлетворит жажду мести. Больной старик, уже одной ногой стоявший в могиле, он тешил себя мыслью, что его хватка по-прежнему была смертельной и тот, кого он ранил, терзался в агонии, признавая его власть.

Вернувшись в Дромор из Карлайла, Джерард стал искать встречи с отцом. Когда Осборн отказался присутствовать на суде, самые смелые надежды сэра Бойвилла оправдались; увидев сына, он саркастически его поздравил, показав всю жестокость своего сердца. Джерард ответил сдержанно, сказав, что это обстоятельство действительно может роковым образом повлиять на суд, но с ним нельзя просто так смириться, и он сам отправится в Америку и попытается уговорить Осборна приехать, чтобы в истории его матери не осталось темных пятен и грядущий процесс оказался бы полным, справедливым и удовлетворительным. Услышав эту новость, сэр Бойвилл на миг онемел от ярости. Последовала свирепая сцена. Джерард уже все решил и считал

свой поступок правильным, поэтому оставался спокойным и непоколебимым. Сэр Бойвилл, привыкший не стесняться в бранных выражениях, выплевывал оскорбления и злобные проклятья. Он называл сына осквернителем материнской памяти, позором семьи и всего человеческого рода. Джерард улыбался, но в глубине души ощущал себя несчастным оттого, что они с отцом обречены на вечное противостояние; ему пришлось призвать на помощь весь свой энтузиазм, чтобы побороть унизительное и печальное воздействие отцовского негодования.

Они расстались так и не договорившись. Сэр Бойвилл поехал в город; Джерард отправился в Ливерпуль. Дул встречный ветер, и непохоже было, что он скоро изменится; Джерард решил воспользоваться временной отсрочкой и снова встретиться с Хоскинсом, предположив, что это поможет ему в поисках; он также решил посоветоваться с его другом, американским консулом. Он поспешно купил билет на корабль, отплывавший через четыре или пять дней, а затем отправился в Лондон.

Глава XLV

Узнав, что Джерард Невилл собирается поехать в Америку и уговорить Осборна дать показания, Фолкнер ощутил, как его мировоззрение пошатнулось. Элизабет рассказала ему о своем плане и решении друга ее заменить. Ее глаза сияли, щеки раскраснелись от удовольствия, ведь тот, кого она любила, доказал, что он — достойный человек. Фолкнер был растроган еще сильнее, хоть и чувствовал себя униженным тем самым великодушием, которое вызывало у него такое восхищение. Кровь вскипела в жилах, он терзался от осознания собственных недостатков при мысли о благородстве того, кому он причинил столько зла. «Лучше молча умереть, чем платить за свою жизнь такую цену!» — хотел было сказать Фолкнер, но то не была цена подлости, и он не мог не восхититься благородством сына той, которую так страстно любил. Порой мысли о прошлом причиняют нам невыносимые муки и в нас зарождается стремление и жажда изменить события, случившиеся много лет назад. Фолкнер снова стал сожалеть, что Алитея вышла замуж,

и мучиться оттого, что она не разделила с ним его судьбу, как он надеялся, а ее сын не был его сыном; что у них не было общего быта, повседневных удовольствий и надежд на будущее. Все его чувства возродились, а с ними и жгучая ревность, будто Алитея не покоилась в могиле уже много лет, а до сих пор украшала чей-то дом своими красотой и добродетелью.

Впрочем, постепенно эти чувства улеглись, и он, к большому удовольствию Элизабет, принялся нахваливать достоинства Джерарда. Фолкнер же с радостью отмечал, что к дочери вернулась жизнерадостность, щеки снова расцвели, а шаг стал пружинистым, хотя еще недавно казалось, что она утратила прежнюю резвость. Она не перестала переживать за Фолкнера, но ее размышления уже не были такими мрачными; теперь она много думала о Невилле, его путешествии, поисках, успехе и возвращении, и дух любви, которым были продиктованы все его действия, овладел ее грезами; она то и дело начинала улыбаться без причины, будущее виделось ей в радужном свете, и к ней вернулась способность вести беззаботный живой разговор, который скрашивал их с Фолкнером тяжелые тюремные часы.

Невилл тем временем приехал в Лондон и на-

ведался к американскому консулу; от него он узнал, что Осборн оставил свой пост и уехал из Вашингтона, а куда — неизвестно; это случилось совсем недавно, и выследить его не удалось. Было очевидно, что понадобится немало сил и времени, чтобы его найти, и Невилл решил, что нельзя терять ни минуты; близился конец декабря. Если он отправится в Америку сейчас, при самом неблагополучном раскладе он едва успеет вернуться к созыву весенней выездной сессии. Он также узнал, что Хоскинс уехал в Ливерпуль.

Перед отъездом из Лондона Джерард навестил леди Сесил. Несмотря на свою светскую искушенность — а может быть, благодаря ей, — та совсем не одобряла поведение сэра Бойвилла. Она верила, что Фолкнер поведал истину; миссис Невилл была оправдана, ее честь восстановлена. Сомнения в этом рассказе лишь причиняли вред всем участникам истории; добиваться мести со столь злобным и жестоким упрямством было низко и вульгарно. Фолкнер был джентльменом и заслуживал соответствующего отношения; теперь они с Элизабет находились в ужасающих условиях, и леди Сесил было страшно даже думать об этом.

Узнав, что Джерард едет в Америку выручать Фолкнера, она удивилась, но он представил свое

путешествие в ином свете; сказал, что едет не ради Фолкнера, а ради истины и справедливости. Когда они разговаривали, появился сэр Бойвилл; взгляды и поступки сына привели старика в бешенство, однако его досада вызвала у них лишь отвращение и не смогла поколебать их уверенность.

Невилл поспешил в Ливерпуль; в гавани свирепствовал юго-западный ветер, из-за которого ни один корабль не мог отплыть в Америку, и становилось ясно, что путешествие будет долгим и, возможно, опасным. Но Невилл мог думать только об отсрочке и очень тревожился. Он посвятил время поискам Хоскинса, но нигде не мог его найти. Наконец ему сообщили, что ветер переменился и пакетбот готов отплыть. Он поспешил на корабль; вскоре их уже швыряли бурные волны, берег скрылся из виду, и они остались наедине с темным небом и океаном, который с каждой минутой вздымался все выше и бушевал все сильнее. Невилл держался за трос и смотрел на горизонт, вспоминая, как всего несколько месяцев назад планировал предпринять то же путешествие по летнему морю; теперь перед ним стояла иная цель; правда выяснилась, разгадка нашлась, но его открытия разбудили неистовые

страсти, и теперь вокруг него крепчали шторма.

Три дня и три ночи корабль лавировал между волн Северного пролива, не продвигаясь вперед ни на полмили; они потеряли три дня; когда же они прибудут на место? Невилла охватило нетерпение; он ужаснулся при мысли о задержке, впал в отчаяние и разуверился в успехе. На четвертую ночь порывистый ветер усилился, начался ураган, и не осталось выбора, кроме как вернуться в гавань; на следующий день капитан пристал к берегу в Ливерпуле, считая, что ему очень повезло, и, хотя ураган закончился и ветер сменился более благоприятным, теперь необходимо было встать в док на переоснастку. Преисполненный горького разочарования Невилл сошел на берег; пакетботу требовалось несколько дней на ремонт, и он передумал плыть этим кораблем и нашел торговое судно из Нью-Йорка, отправляющееся ранним утром на следующий день. Он решил, что поплывет на нем, и поспешил в американскую кофейню, чтобы встретиться с капитаном и обо всем договориться.

Капитан только что ушел, но к Невиллу подошел официант и сказал, что в частном кабинете сидит мистер Хоскинс, о котором тот прежде спрашивал. «Проводи меня», — сказал Невилл и

последовал за официантом.

Хоскинс оказался не один, а с другом; они сидели по обе стороны от камина и пили вино. Невилл заметил, в какое смятение они пришли, когда он вошел. Рядом с Хоскинсом сидел светловолосый и светлокожий человек, довольно красивый, хотя уже и немолодой; его добродушное лукавое лицо при виде Невилла приобрело испуганное и недоуменное выражение, а когда назвали его имя — мистер Невилл, — он, кажется, пришел в ужас.

— Доброе утро, сэр, — поздоровался Хоскинс. — Слышал, вы обо мне спрашивали. Я думал, мы все уладили.

— Вы — возможно, — ответил Невилл, — но у меня остались вопросы. Я искал вас сначала в Лондоне, затем здесь, но не смог найти.

— Да, я знаю, — ответил Хоскинс. — Я ездил в Рейвенгласс навестить свою старуху перед отплытием, и вот я здесь, место на корабле ждет меня, и я не намерен терять ни минуты. Я отплываю с капитаном Бейтманом на «Овайхи».

— Тогда я еще успею вас расспросить, — заметил Невилл. — Я пришел сюда как раз затем, чтобы договориться о проезде с капитаном Бейтманом.

— Неужели, сэр? Вы все-таки решили плыть? Я

думал, с этим покончено.

— Нет, это важнее, чем прежде. Я должен повидаться с Осборном и привезти его сюда: без его показаний не получится полностью прояснить судьбу моей матери.

— Без его показаний вы, скорее всего, добьетесь, что мистера Фолкнера повесят, — заметил Хоскинс.

— Я собираюсь привезти его, чтобы спасти человека, которого считаю невиновным в таком преступлении. Вот зачем я еду в Америку. Я хочу, чтобы все узнали правду; я не намерен мстить.

— И ради этого готовы поехать в Америку? — повторил Хоскинс.

— Именно; считаю это своим долгом, — ответил Невилл. — Скажу больше: я уже отплыл в Америку на борту «Джона Адамса», но нас настиг ураган, и мы вынуждены были вернуться. Я высадился на берег всего полчаса назад.

— Не может быть! — воскликнул Хоскинс. — Нет, послушайте — я должен спросить еще раз: вы действительно отплыли в Америку, чтобы привезти Осборна, и теперь собираетесь плыть на «Овайхи»?

— Да; почему бы и нет? Что в этом странного? Я искал вас, потому что надеялся, что вы подска-

жете, как мне найти Осборна, так как тот решил скрываться.

— Вы пришли по адресу, Господь свидетель; этот человек трус и не заслуживает лучшего, поэтому скажу вам прямо, мистер Невилл: Осборн улизнул из этой комнаты в тот самый момент, когда увидел вас!

Невилл отметил, что друг Хоскинса вышел, но решил, что тот сделал это из вежливости; теперь же его ошеломила странность совпадения и столь невероятный и удачный поворот событий.

— Говорят, что, когда гремучая змея смотрит на добычу, птица не может шевельнуться и подходит все ближе и ближе, пока не попадает врагу прямо в зубы. Бедняга Осборн! Он хочет попасть на Тихоокеанский берег, уехать далеко, и вот он здесь; как бы он ни уворачивался, все равно в конце концов попадет в лапы закона и угодит в те самые силки, в которые так боится попасть, притом что он не был пособником убийства. Вы же в это не верите, мистер Невилл? Не верите, что даму убили?

— Готов поспорить, что нет, — ответил Невилл. — Будь иначе, я бы не желал встречи с Осборном и не стал бы вмешиваться. Странно, очень странно, что он здесь; по-вашему, он при-

ехал не для того, чтобы свидетельствовать в защиту Фолкнера?

— Он прибыл под вымышленным именем, — ответил Хоскинс, — притворившись поверенным Осборна; у него с собой заверенные заявления, и он надеется послужить мистеру Фолкнеру, не подвергая опасности свою шкуру.

Хоскинс не лгал; Осборн на самом деле был слабым человеком — добрым, но малодушным. Как только он услышал, что Хиллари отплыл в Европу, и решил, что ему ничего больше не угрожает, на душе стало скверно по другой причине. У него сохранилось письмо Фолкнера — хотя он отрицал, что знаком с автором, — в котором тот твердил, что Осборн должен приехать; письмо было написано простым, но убедительным языком, и каждое слово в нем взывало к сердцу Осборна. Он понял, что своим поведением может привести своего щедрого благодетеля к позорному концу. Эта мысль преследовала его, как неупокоенный призрак; но, думал он, если Фолкнера повесят, что мешает повесить и его? Подозрение может пасть на обоих.

Когда Хиллари приехал к нему и попытался убедить, у Осборна возникло много возражений. Он подумал о честной жизни, которую вел до

сих пор, о своем уважаемом положении, независимости и респектабельности нынешнего существования — и побоялся рискнуть этими преимуществами; ему не хотелось, чтобы люди видели в нем прежнего Осборна, преступника, чьи негодяйства остались в Англии; он искренне надеялся, что время разорвало цепь, связывавшую его прошлое с настоящим, и не горел желанием вновь ощутить на себе ее тяжесть. Но эти ничтожные соображения развеялись, как только он осознал, какая опасность на самом деле грозила Фолкнеру. Легко поддаться состоянию, которое когда-то являлось для нас естественным. Осборн был рад попрощаться со своей прежней неопределенной и недостойной жизнью, но его склонности никуда не делись, и он взялся за старое. Кроме того, он знал, что Хиллари сообщил о причине своего приезда властям в Вашингтоне, и чувствовал, что, даже если продолжит все отрицать, ему никто не поверит.

Друзья-американцы принялись его расспрашивать и смотреть на него с подозрением; ему это не нравилось, и он начал подумывать о поездке на Запад. Он внезапно затосковал по родине, а главное, не мог ни отдыхать, ни спать, ни есть, ни заниматься повседневными делами; его по-

всюду преследовал образ благодетеля, которого он бросил умирать смертью преступника. Он не собирался менять свое решение и представать перед судом, чтобы его спасти; напротив, при мысли об этом кровь стыла в жилах, и он весь съеживался, но считал, что сможет спрятаться в Англии; никто не заподозрит, что он там; он явится на место, чтобы наблюдать за событиями, и если окажется, что сумеет чем-то помочь, не скомпрометировав себя, у него будет возможность, по крайней мере, рассудить, как далеко стоит зайти. Это единственное, на что был способен его нерешительный ум. Хоскинс был прав, сравнивая его с птицей, загипнотизированной гремучей змеей: он и впрямь был заворожен происходящим, разверзнутая пасть притягивала его и грозила поглотить. Через десять дней после отъезда Хиллари из Америки он сам сел на корабль, идущий через Атлантический океан. Хоскинс был первым, кого он встретил после высадки на берег; Невилл стал вторым. Его сердце при виде юноши похолодело; он терзался и горько раскаивался, что вообще решил приехать. Из-за своей трусости он успел тысячу раз умереть от страха перед человеком, который не представлял для него никакой угрозы.

Невилл же решил, что раз Осборн явился в Англию добровольно, это сильно упрощает дело. Он не сомневался, что получится уговорить Осборна выступить с показаниями в нужное время. Невилл велел Хоскинсу успокоить своего приятеля и убедить с ним увидеться; если же тот станет возражать, устроить встречу тайно. Невилл пообещал не пытаться его поймать, а предоставить полную свободу действий, и надеялся, что беспокойная совесть, что привела Осборна в Ливерпуль из Америки, после внутренних терзаний и борьбы наконец побудит того сделать то, что он должен был сделать с самого начала.

Но шли дни, а Осборн как в воду канул; Хоскинс больше его не видел, и никто не знал, куда он делся и где прятался. Отплытие «Овайхи» задержалось из-за встречного ветра, но скоро корабль покинул гавань. Хоскинс уехал. Возможно, Осборн тоже был на борту этого корабля и сейчас возвращался в страну, где нашел убежище. Невилл встречался с капитаном; тот отрицал, что у него на борту есть такой пассажир, но ведь он мог поклясться молчать или Осборн — замаскироваться. Невилл взошел на палубу и внимательно вгляделся в лица всех пассажиров, расспросил экипаж и путешественников и даже подкупил

матросов, чтобы те сообщили ему, если кто-то прячется на борту. Но в тот день отплывал не один «Овайхи»; почти тридцать пакетботов и торговых судов, задержавшихся на берегу из-за встречного ветра, ждали прилива, чтобы наконец выйти в море. Невилл думал было обратиться в суд за ордером на обыск, но мысль об этом была ему неприятна и даже, пожалуй, отвратительна. Осборн оказался бы полезен им как свидетель лишь в том случае, если бы сдался добровольно. Если его схватят силой как пособника в деле об убийстве, он сядет на скамью подсудимых рядом с Фолкнером, и в показаниях не будет никакого смысла; а то, что Невилл способствовал аресту, сочтут за проявление жестокой враждебности к обвиняемому. И все же мысль, что Осборн покинул английские берега, приводила Невилла в бешенство; еще хуже было не знать, уехал он или остался. В первом случае Невилл еще мог отправиться следом за ним и успел бы его привезти.

Когда мы действуем от лица другого, то гораздо больше подвержены сомнениям, чем если наши поступки касаются только нас самих. Мы боимся то проявить недостаточно рвения, то испортить все своей назойливостью. Неудачи расстраивают нас, но мы не осмеливаемся предпринять дерз-

кий шаг, который, несомненно, сделали бы, если бы речь шла о наших собственных интересах. Невилл не сомневался, что Фолкнер не стал бы раздумывать и рискнул всем, лишь бы поймать Осборна, но сам не осмеливался предпринять такой опасный и, возможно, роковой шаг.

Начался прилив; в доках поднялась вода. Один за другим суда, отплывающие в Америку, снимались с якоря и выходили в море. Невиллу было мучительно смотреть, как раскрываются и наполняются ветром их паруса и как быстро они удаляются от берега. Он стал горько укорять себя в равнодушии и решил, что есть лишь один способ исправить ошибку: как можно быстрее сесть на один из пакетботов и приплыть в Америку одновременно с Осборном, который, как ему казалось, уже направляется туда. Торопливый в принятии решений и опрометчивый в действиях Невилл не терпел неопределенности; самым болезненным для него было сомневаться и колебаться, а потом жалеть, что из-за сомнений он все потерял. Его успокаивали лишь конкретные действия, поэтому он решил отправиться в плавание. Он поспешил в гостиницу за деньгами и самым необходимым; у входа ему вручили письмо, содержание которого полностью изме-

нило направление его мыслей. Лицо просияло, а сумятица в голове сменилась счастливой безмятежностью. В один момент изменив свои планы, он не отправился в Америку, а тем же вечером уехал в Лондон.

Глава XLVI

Узник и его преданная подруга не догадывались об этих важных изменениях. Каждый день Элизабет вставала со своего места у камина и подходила к единственному окну отцовской камеры; она придвигала к нему свой вышивальный столик, но смотрела не на цветы, над которыми работала, а на небо и, подперев щеку рукой, внимательно следила за облаками. Она думала, что Джерард уже в море, но облака не меняли направление и неслись в одну сторону, причем противоположную той, куда лежал его путь. Так она коротала каждое утро, а когда возвращалась в свои комнаты, где можно было не думать ни о чем другом, кроме возлюбленного и его путешествия, ее пристанище уже не казалось одиноким, а зима — угрюмой. Она была не просто счастлива; восторженное ликование ускоряло биение ее сердца, и она вновь и вновь перечисляла про себя добродетели Невилла и все, за что была ему признательна.

Фолкнер с удовольствием отмечал, как под влиянием любви и надежды его милая дочь

повеселела, как похорошели и смягчились ее лицо, жесты и голос, а на смену серьезности пришла нежная игривость. Юность, влюбленность и счастье прекрасны в своем единении. «Дай бог я не испорчу жизнь этому светлому созданию, — думал он. — Пусть она будет счастливее Алитеи; если и есть в мире мужчина, достойный ее, так это Джерард Невилл». То и дело молча отрываясь от книги, которую читал, он смотрел на ее задумчивое лицо, чье выражение свидетельствовало о полной погруженности в мысли, которые, впрочем, были приятными, и с грустью вспоминал собственную жизнь: детство, омраченное печалями, солнечные лучи, рассеявшие тучи, и кульминацию — бурю и кораблекрушение. Неужели жизнь всегда такова и состоит из несбывшихся надежд, неудовлетворенных желаний и надменных фантазий, что приводят к роковым поступкам и низвергают гордецов в бездну ада? Будет ли она в его возрасте смотреть на жизнь, как он смотрел сейчас, и представлять ее бескрайней пустыней или бесконечным запутанным лабиринтом, где все тропинки приводят к горькому концу? Он надеялся, что это не так; небеса должны были вознаградить Элизабет за ее невинность.

Однажды они занимались каждый своим делом; Фолкнер притворялся, что поглощен чтением, и старался не прерывать грезы Элизабет, чувствуя, что те ей приятнее всякой беседы. Внезапно она воскликнула:

— Дорогой отец, ветер переменился! Правда переменился; смотри, дует попутный! Чувствуешь, как похолодало? Дует с севера и немного с востока: если ветер не переменится снова, Невилл скоро доплывет!

Фолкнер отвечал ей улыбкой, но ему было унизительно думать о цели путешествия Невилла, и, услышав, как Элизабет весело щебетала, что того ждет удача, Фолкнер почему-то опечалился. В этот момент вдруг отодвинулся засов на двери камеры и в замке повернулся ключ; вошел надзиратель, а за ним другой человек, который нерешительно вышел вперед и, взглянув на присутствующих в камере, попятился и произнес:

— Это какая-то ошибка; мистера Фолкнера здесь нет.

Если бы не его привычное самообладание, Фолкнер вскочил бы и вскрикнул — так он был удивлен, увидев вошедшего; он сразу его узнал — ведь, в отличие от самого Фолкнера, годы не оставили на нем столь сурового отпечатка.

Время, болезнь и угрызения совести — плохие скульпторы; они исказили изящные величавые черты, и он уже не походил на того Фолкнера, который своими руками вырыл Алитее могилу. Он удивился, увидев человека на пороге, но не подал виду и лишь со спокойной улыбкой произнес:

— Нет, это не ошибка; я тот, кого вы ищете.

Осборн, по-видимому, теперь его узнал и робко приблизился; он был в смятении. Надзиратель вышел, а Фолкнер сказал:

— Осборн, хочу поблагодарить вас за этот поступок; я верил, что вы в конце концов придете.

— Нет, — ответил Осборн, — я не заслуживаю благодарности, я... — Он смутился и покосился на Элизабет.

Фолкнер это заметил и, угадав его мысли, произнес:

— Не бойтесь, Осборн; эта юная леди вас не выдаст; здесь вы в безопасности, как и в Америке. Я так понимаю, вы приехали под фальшивым именем; никто не знает, что вы — тот самый человек, который несколько месяцев назад отказался явиться в суд и спасти своего собрата от смерти.

— Я и сейчас не понимаю, как это осуществить, — нерешительно промолвил Осборн. — Я приехал не за этим; я просто не мог оставаться в

стороне… решил, что надо сделать что-нибудь.

— Элизабет, дорогая, — сказал Фолкнер, — поблагодари мистера Осборна за неожиданно оказанную нам услугу. Только что ты любовалась облаками, которые гнал тот же ветер, что и судно, несущееся ему навстречу. Но оказалось, он уже здесь; мы не смели и надеяться.

Элизабет слушала затаив дыхание; она боялась вымолвить даже слово — вдруг оказалось бы, что все ей привиделось; исполнив просьбу Фолкнера, она со всем женским изяществом обратилась к дрожащему Осборну, который уже поглядывал на дверь, словно мечтая очутиться с другой ее стороны и боясь, что его предаст собственное сердце, — ведь, как верно подметил Хоскинс, он неосознанно двигался навстречу своей судьбе, словно загипнотизированная добыча навстречу хищнику. Он не смог противиться желанию увидеть Фолкнера и узнать, как тому живется в тюрьме, но все же решил ничем не рисковать и представился перед судьями поверенным Осборна. Он предъявил фальшивые документы и заявление, составленное в Вашингтоне и засвидетельствованное официально, в котором он утверждал невиновность Фолкнера: он привез их в надежде помочь своему благодетелю, а в

итоге его пустили к Фолкнеру. Осборн настолько полагался на честь своего покровителя, что не колеблясь отдался в его власть, прекрасно понимая, что тот не станет удерживать человека против воли; однако сердце его по-прежнему трепетало, а душа съеживалась от страха и никак не позволяла совершить тот шаг, который спас бы Фолкнеру жизнь.

Наблюдательный Фолкнер угадал мысли Осборна по поведению, но Элизабет, которая гораздо хуже разбиралась в людях, была моложе и оптимистичнее, решила, что с его появлением сбылись все надежды. Она поблагодарила его с такой теплотой и так чистосердечно хвалила за доброту и великодушие, что Осборн понял: сложнее всего будет противостоять ее обаянию и разочаровать девушку. Наконец он начал оправдываться, запинаясь на каждом слове; сказал, что они могут требовать от него чего угодно, если ему не придется рисковать своей безопасностью; он явился, но не стоило просить о большем и рассчитывать на большее; Господь свидетель, он был невиновен, как и мистер Фолкнер. Но ведь он никак не мог повлиять на ситуацию; Фолкнер не доверялся ему; в ту пору он даже не знал, кто эта дама, а его показания наверняка ничего не

стоили, ведь ему нечего было добавить, и ради этого придется рисковать репутацией и жизнью.

Звуки его собственного голоса, как водится, придали Осборну смелости, и он заговорил уверенно. Элизабет отпрянула, встревоженно посмотрела на Фолкнера и увидела на лице того неприязненное и презрительное выражение; она накрыла своей ладонью его руку, словно пытаясь предотвратить взрыв негодования, но и ее глаза возмущенно сверкали, пока она слушала Осборна. Несчастный малый трепетал под их взглядами, переминался с ноги на ногу и боялся смотреть в глаза, но знал, что оба наблюдают за ним, и чувствовал, как их пронзительные взгляды завораживают его и проникают в самую душу. Некоторые слабые люди поддаются уговорам, но самых слабых может одолеть лишь презрение и укор; Осборн принадлежал к последним. Уверенная речь сменилась заиканием; затем он замолчал и, собрав последние силы, двинулся к двери.

— Довольно, сэр, — спокойно и презрительно промолвил Фолкнер, — уходите; спешите прочь и не останавливайтесь, пока не окажетесь на берегу, не сядете на корабль и не выйдете в море; будьте покойны, я больше не стану за вами

посылать; у меня нет никакого желания быть обязанным вам жизнью.

— Если бы я мог спасти вам жизнь, мистер Фолкнер, — начал Осборн, — но я…

— Не будем об этом спорить, — прервал его Фолкнер. — Скажу одно: все сходятся во мнении, что ваши показания могут меня спасти. Если бы я на самом деле совершил это преступление, унизительная зависимость от вас сама по себе стала бы достойным наказанием. Идите, сэр; вам ничто не угрожает! Не советую задерживаться здесь, возвращайтесь в Америку; в таких местах, как это, у стен есть уши, и вас могут заставить спасти своего собрата по человечеству против вашей воли, так что торопитесь. Ступайте, ешьте, пейте, веселитесь, — что бы со мной ни случилось, обещаю, даже мой призрак не станет вас преследовать. Умоляю об одном: больше не оскорбляйте меня своим присутствием. Немедленно уходите.

— Вы сердитесь, сэр, — испуганно проговорил Осборн.

— Надеюсь, нет, — ответил Фолкнер, который действительно почувствовал, как в нем вскипает негодование, и вовремя сдержался. — Сердиться на труса ни к чему; мне вас жаль, вы раскаетесь, но будет слишком поздно.

— Не говори так! — воскликнула Элизабет. — Не говори, что он раскается, когда будет слишком поздно! Он ведь уже раскаивается, ведь правда, мистер Осборн? Вы зря боитесь; вам прекрасно известно, что мистер Фолкнер слишком благороден и не станет подвергать вас опасности, чтобы спасти себя; мало того, он не боится смерти — лишь бесчестья и вечного ужасного позора; такой страшный конец должен пугать даже его, а вы… Нет, вы не можете, хладнокровно и спокойно все продумав, предать его такой судьбе! Не можете, я вижу, что вы на это не способны.

— Элизабет, довольно! — разгневанно прервал ее Фолкнер. — Я не позволю, чтобы ты умоляла этого человека спасти мою жизнь и даже мою честь; пусть случится худшее, пусть меня осудят и повесят — я все выдержу, кроме унизительных воззваний к такому человеку.

— Теперь мне все ясно, — сказал Осборн. — Я решил; поступайте со мной как знаете; я этого боялся, но считал себя сильнее; поступайте со мной как захотите, зовите надзирателя; я сдамся. — Он побледнел как смерть и, спотыкаясь, направился к стулу.

Фолкнер повернулся к нему спиной.

— Сэр, уходите, — повторил он, — я отказыва-

юсь принять вашу жертву.

— Нет, отец, нет! — нетерпеливо выкрикнула Элизабет. — Не отказывайся, прими ее, и прими с благодарностью; хотя это и не жертва вовсе, мистер Осборн, уверяю вас, это не так; все намного проще, чем вам кажется. Вас не посадят в тюрьму; никто не знает о вашем приезде, и стоит вам согласиться дать показания, как вам тут же даруют прощение. Вы станете свидетелем, а не… — Тут ее голос дрогнул, и она повернулась к Фолкнеру со слезами на глазах.

Осборн заметил перемену чувств; заверения Элизабет тронули и подбодрили его, он надеялся, что ей можно верить; прежде он слишком боялся и пребывал в таком смятении, что, даже не слушал толком, что ему говорили, и думал, что его самого станут судить, а уж помилуют потом или нет — еще не решено. Но теперь на него подействовали молодость, прямота и обезоруживающая красота Элизабет; она развеяла его страхи; он обрел способность ясно мыслить и еще раз поразился внешнему виду своего бывшего благодетеля. В его чертах читались достоинство и стойкость, страдания и выдержка; он производил впечатление человека по натуре благородного, но сломленного судьбой, о чем

свидетельствовало его властное, но измученное страданиями лицо; он напоминал остов некогда великолепного корабля; его упадок был настолько величавым, а на его высоком и открытом челе, испещренном болезненными морщинами, читалась такая неподдельная невиновность, и настолько благородно-сдержанным было его лицо, побледневшее от заточения и пережитых мук, что Осборн ощутил смесь жалости и уважения, вскоре пересилившую все остальные чувства.

Перестав бояться и глядя на своего покровителя со слезами, которыми он словно заразился от Элизабет, Осборн шагнул вперед.

— Простите меня, мистер Фолкнер, — промолвил он. — Простите мои сомнения и трусость — да, можете называть меня трусом, если угодно; я прошу об этом забыть и разрешить мне за вас заступиться. Надеюсь, вы не отвергнете мое предложение: хоть и с запозданием, оно идет от сердца.

Фолкнер не стал изображать холодность; его лицо осветила сияющая улыбка, и он протянул Осборну руку.

— Благодарю вас от всей души, — ответил он, — и глубоко сожалею, что вы пострадали из-за меня; это я совершил преступление, а вы были

лишь исполнителем; понимаю, как тяжело вам подвергаться подобным испытаниям из-за связи со мной, но вам ничто не грозит; я лучше погибну самой ужасной из смертей, чем подвергну вас опасности.

Элизабет, торжествуя, написала короткую записку и вызвала мистера Колвилла, чтобы тот немедленно все устроил.

— А Джерард, отец? — спросила она. — Мы должны написать мистеру Невиллу и отозвать его из далекого и бесполезного путешествия!

— Мистер Невилл в Ливерпуле, — сказал Осборн, — я видел его в день приезда; он, кажется, искал меня, и, клянусь, Хоскинс меня выдал. Мы должны быть настороже…

— Мистера Невилла бояться не стоит, — ответила Элизабет. — Он благородный, великодушный человек и добивается правды и справедливости. Он верит в невиновность отца.

Тут их прервали; вошел адвокат. Он и не надеялся увидеть Осборна и не мог поверить в свою удачу. Осборн уже начал сомневаться, тревожиться и что-то подозревать, и адвокат поспешно увел своего «посланника небес», как он его называл, чтобы тот дал показания и приготовился сдаться властям. Фолкнер же остался наедине с

приемной дочерью.

В этот момент они получили награду за все свои несчастья; окрыленная надеждой Элизабет опустилась перед Фолкнером и обняла его колени, в восторженном приступе благодарности вознося хвалу небесам. Фолкнер тоже ликовал, но к благодарности за спасение, на которое он и не надеялся, примешивались унижение и уязвленная гордость. Его надменный дух противился мысли, что теперь он в долгу перед таким ничтожным человеком, как Осборн. Лишь после нескольких часов размышлений, когда в нем вновь проснулись угрызения совести из-за судьбы Алитеи и пробудилось желание оправдать ее перед всем миром, когда он вспомнил о любви своей преданной дочери, он смог успокоить бушевавшие в сердце страсти и вновь обрести стойкость и смирение, которые постоянно стремился в себе развить.

Сладкозвучный голос Элизабет развеял эти шторма и вознаградил его за самообладание, что наконец к нему вернулось. Невозможно было не разделять ее счастья и не радоваться любви ее кроткого, но такого храброго и верного сердца. Когда Элизабет ушла, и очутилась в своей одинокой комнате, где Джерард совсем недавно ее навещал,

и стала думать о нем, мысленно благодаря за все, она стала еще счастливее и перед сном написала ему письмо с рассказом о случившемся. Это письмо он и получил в Ливерпуле, когда собирался во второй раз отплыть в Америку; именно поэтому он передумал плыть. Он немедленно выехал в Лондон, чтобы сообщить леди Сесил хорошую новость.

Глава XLVII

Ненадолго для узника и его дочери настало счастливое время; в тюрьме такое случается нечасто. Но скоро — слишком скоро — все изменилось, и в юдоль страданий вернулось привычное уныние. Когда приходит беда, наше настроение то и дело меняется. Поначалу мы испытываем ужас, потрясение и ошеломление; затем гибкий ум постепенно начинает приспосабливаться к трагедии, пытается осмыслить ее и в новых обстоятельствах учится по-новому себя утешать, находя для этого поводы, которых в счастливое время даже не замечал. Однако это состояние ума недолговечно. Больному тоже удается временно утихомирить боль, приняв другую позу, но постепенно и эта поза начинает вызывать усталость и скованность; так и человек в беде не может вечно проявлять выдержку, терпение, спокойный философский дух и кроткое благочестие и находить в них утешение; внезапно сердце начинает бунтовать, возвращаться к старым привычкам и желаниям, и все, что прежде поддерживало, перестает помогать, отчего мы испытываем лишь

большее разочарование и неудовлетворенность.

В сердце Фолкнера велась постоянная борьба. Его захлестывали волны чувств: ненависти к себе, стремления к свободе, острой, мучительной неприязни ко всем ограничениям и препятствиям, стоящим между ним и волей. Он ненавидел себя за то, что так низко пал; злился, что Элизабет из-за него была вынуждена находиться в таком месте; всем сердцем презирал врагов и обвинял судьбу. Но стоило ему закрыть глаза, как он снова видел бушующую реку, пустынный берег и прекрасное создание, лежавшее мертвым у его ног; тогда угрызения совести, подобно ветру, вновь разгоняли бурю в его душе. Он чувствовал, что все это заслужил и сам сплел цепь обстоятельств, которую называл своей судьбой; лишь уверенность в собственной невиновности придавала ему стойкость и даже наполняла умиротворением.

Элизабет следила за переменами его настроения с ангельской нежностью. Его страдания часто ранили ее впечатлительную натуру, но в ее добродушном характере было столько сочувствия и терпения, что даже если не удавалось его утешить, она никогда из-за этого не раздражалась. Когда, изливая свою несчастную душу, он проклинал само мироздание, она лишь кротко

слушала; улучив подходящий момент, пыталась внушить ему более благородные и чистые мысли и никогда не оставляла ненавязчивых попыток это сделать; собирала все хорошие новости, а на плохие не обращала внимания. Ее улыбки, слезы, веселость или кроткая печаль приносили облегчение и успокаивали.

Пришла зима, ненастная и унылая. В тюрьме, находившейся в самой северной части острова, стоял невыносимый холод; темные тюремные стены побелели, снег осел на прутьях оконной решетки, и, когда Фолкнер выглядывал наружу, ему в лицо летел снежный вихрь. Отсюда человеку позволялось лишь одним глазком взглянуть на кусочек мрачного неба; он вспоминал широкие русские степи, быстрые сани и грезил о свободе. А Элизабет брела домой по холоду и слякоти, вздыхала и думала о бархатном греческом лете, и тогда ей казалось, что зима становится еще холоднее.

Дни сменяли друг друга; по вечерам Элизабет возвращалась к одинокому очагу и думала: «Вот прошел еще один день; близится финал». При мысли об этом она содрогалась, и, хотя была убеждена, что после суда Фолкнера освободят, со страхом взирала, как одна за другой рушатся пре-

грады, отделяющие его от рокового дня. Прошли январь и февраль; наступил март, первое число месяца, в который все должно было решиться. Они чувствовали себя несчастными путниками, истерзанными бурей; когда уже они пристанут к заветному берегу? Когда снова ступят на твердую землю и распрощаются с вечной неопределенностью?

Первого марта, вернувшись вечером домой, Элизабет обнаружила на столе письмо от Невилла. Бедняжка Элизабет! Она так нежно и пылко его любила, но как мало выпало на ее долю сладостных любовных грез; ее влюбленность проходила на фоне такой отчаянной трагедии и тяжелого горя, что предаваться мечтам казалось преступлением против ее благодетеля. И все же сейчас она смотрела на письмо, думала: «Это от него!», и ее переполнял восторг; глаза затуманились слезами радостного предвкушения, а осознание, что она любима, уняло всякую боль и наполнило Элизабет трепетным торжеством и радостным, хоть и неопределенным ожиданием.

Она сломала печать; внутри был конверт, предназначенный «мисс Рэби», и она улыбнулась, представив, с каким удовольствием Джерард выводил это имя, считая его залогом их будущего

союза; но когда она развернула письмо и пробежала глазами первый лист, ее охватили совсем другие эмоции. Невилл писал:

«Моя дорогая, милая Элизабет; пишу в спешке, но сомнения так мучительны, а новости распространяются так быстро, что, надеюсь, я первым успею рассказать о новом ударе, который приготовила нам судьба. Мой отец заболел; его жизнь в опасности. Боюсь, это отсрочит суд; твоему отцу придется дольше пробыть в заключении, а тебе — оставаться заложницей долга, который ты так храбро выполняешь. Надо терпеть. Мы не в силах изменить события, но когда я думаю, сколько всего нам приходится переживать в эту минуту, мое слабое сердце разрывается от мук.

Не знаю, что известно сэру Бойвиллу о текущей ситуации; он слишком болен, не может долго говорить и хочет лишь, чтобы я находился рядом с ним. Пару раз он сжимал мою руку и ласково на меня смотрел; не припомню, чтобы раньше он хоть раз проявлял отцовскую нежность.

Естественная связь между нами так прочна, что я тронут до глубины души и ни за что его не оставлю. Несчастный мой отец; во всем мире у него нет ни одного друга, ни одной родной души, кроме меня; всю жизнь он был таким презрительным и высокомерным, а теперь, в нужде, стал как маленький ребенок и черпает единственное утешение в естественной привязанности. Душа покорно замирает при виде непривычных проявлений доброты. Поистине, зачем править силой, когда тирания любви всецело подчиняет нас себе?

София очень добра, но она ему не родная дочь. Близится час, когда мы должны прибыть в Карлайл. Что случится, если мы не сможем присутствовать на заседании? Поправится ли отец? Я охвачен тревогой и смятением; все решится через пару дней; даже если сэр Бойвилл пойдет на поправку, он еще не скоро сможет отправиться в путь.

Впрочем, не бойся, что я забуду о твоих интересах, ведь я воспринимаю их как свои. Несколько месяцев я ждал, когда ты

освободишься от ужасов своего нынешнего положения, и мне мучительно думать о новой отсрочке. Даже твое мужество ослабнет, даже твоему терпению есть предел. Подожди еще немного, Элизабет, не дай своему благородному сердцу подвести тебя в последний час, в последнем испытании. Будь такой, как всегда: твердой, смиренной, великодушной; я верю в твою способность все превозмочь. Скоро я опять напишу; если возможно что-то для тебя сделать, непременно сообщи. Я пишу это письмо у кровати отца; он не спит, но лежит неподвижно. До скорой встречи; я тебя люблю; я страдаю и радуюсь, произнося эти слова. Не сочти меня эгоистом за то, что даже сейчас, в столь неподходящий момент, я испытываю такие чувства».

«Верно, верно, — подумала Элизабет, — без устали ткут ловкие пальцы; быстро сплетается паутина судьбы. Мы не смеем ни думать, ни надеяться, ни даже дышать; мы должны ждать назначенного часа; смерть трудится исправно; чей черед будет следующим?»

На следующий день все участники процесса узнали новость и встревожились. Выездная сессия должна была состояться через несколько дней; имя Фолкнера значилось первым в списке, и, как ни горько было думать об отсрочке, надо было приготовиться и снова собраться с духом. Несколько дней прошли в тревожном ожидании; больше писем Элизабет не получала и боялась, что жизнь сэра Бойвилла по-прежнему в опасности, а Джерард мучается от неизвестности. Она с надеждой и ужасом ждала почтальона; ее постоянно терзало гнетущее беспокойство. Наконец пришла весточка от леди Сесил; новости были неутешительные, состояние сэра Бойвилла не изменилось.

Начались заседания выездной сессии; наутро судьи должны были прибыть в Карлайл, и городок охватила суета, местами даже радостная. Однако в тюрьме никто не радовался; там царили страх и печаль. Суду предстояло рассмотреть несколько уголовных дел; Элизабет похолодела, услышав, как о них говорят, и возненавидела жизнь и обстоятельства, в которых порой оказываются люди; она всегда печалилась, понимая, что не сможет смягчить чьи-то страдания, но теперь напрямую столкнулась с ужасающими

условиями тюрьмы и невыносимым, вопиющим и отвратительным убожеством.

В день приезда судей Элизабет пришла к Фолкнеру в камеру с письмом в руке; с порога она сообщила, что принесла хорошие новости, но выглядела беспокойной и чуть не плакала. Он понял, что случилось нечто ужасное и непредвиденное. В руках она держала письмо от Невилла и дала Фолкнеру его прочитать.

> «Моя милая подруга, скоро я приеду в Карлайл, но это письмо придет раньше, и из него ты первой узнаешь о смерти моего бедного отца. Слава богу, наконец я исполнил свой долг; он умер со спокойной душой, примирившись со мной и всем миром. От мучительной боли он сперва впал в беспамятство, и мы боялись, что так он и умрет; но перед смертью на пару часов пришел в себя и, хотя был очень вял и слаб, мыслил ясно. Дорогая Элизабет, как мало нам известно даже о самых близких людях! Каждый окутывает себя завесой условностей, и эта завеса, окрашенная в разные цвета, имеет мало общего с человеком, который находится

под ней. Мы считали отца тщеславным жестоким эгоистом, и он таким был, но также обладал качествами, о которых мы не догадывались: великодушием, человечностью и смирением. Он прятал эти качества, считая их пороками, боролся с ними, и гордость не позволяла ему признать их достоинствами его несовершенной природы; он презирал себя за них, пока не очутился на смертном одре.

Тогда он сбивчиво попросил меня, своего единственного сына, простить ему ошибки и жестокость. Он попросил у меня прощения ради моей дорогой матери и признал, что обошелся с ней несправедливо. „Если бы мне довелось пожить еще, — добавил он, — пробудившаяся совесть вынудила бы меня хотя бы частично исправить зло, которое я посеял. Но уже поздно. Как странно, что я никогда не прислушивался к шепоту справедливости, хотя порой очень отчетливо его слышал; я обратил на него внимание только сейчас, когда уже ничего нельзя сделать. А если можно? Можно ли что-то исправить? Пожалуй, да…“ Тут он напо-

ловину приподнялся на кровати, и в его подернутых поволокой глазах полыхнул прежний огонь; потом его голова снова упала на подушку, и он тихо, но отчетливо произнес: „Фолкнер — Руперт Фолкнер — невиновен, я знаю это и чувствую, но пытался его уничтожить. Теперь я хочу засвидетельствовать, что верю в правдивость его признания; Алитея пала жертвой собственного геройства, он ее не убивал. Запомни, Джерард, передай это судьям и спаси его; он много выстрадал, пообещай, что сделаешь это, и тогда я буду знать, что Бог и Алитея меня простили, как я простил их. Я поступаю так, как хотела бы твоя мать; я делаю это, чтобы ее порадовать“.

В тот момент я заплакал, и мне не стыдно в этом признаваться; его гордое сердце смягчилось, когда он вспомнил о добродетели давно погибшей жены, о которой так долго думал с обидой и жестокостью, и для меня это означало торжество всего хорошего в этом мире. Но из-за слез я несколько минут не мог произнести ни слова благодарности. Он заметил, что я

тронут, но силы его покидали, и, сжав мою руку, он пробормотал: „Я исполнил свой последний долг; теперь усну“. С этими словами он отвернулся и больше уже не заговорил, лишь произнес мое имя; потом его губы зашевелились, я наклонился к нему, прислушался и услышал имя матери, которое он прошептал перед тем, как издал последний вздох.

Больше я не могу писать; суд состоится немедленно, еще до похорон. Я приеду в Карлайл, и все пройдет хорошо, Элизабет; встреча осчастливит нас. Благослови тебя Господь сегодня и всегда; ты это заслужила».

Глава XLVIII

С этого момента события развивались стремительно; все волновались и предвкушали скорое завершение. «Завтра будет суд», — думала Элизабет. Смертным не пристало мечтать о безопасности, особенно когда их судьба зависит от суждений и поступков собратьев. Фолкнера могли оправдать, но исход суда все же нельзя было предсказать со всей определенностью; даже если бы симпатии склонились в его пользу, достаточно было упрямства одного присяжного, чтобы чаша весов перевесила. В сердце Элизабет закрался тошнотворный страх; она пыталась его скрыть, пыталась улыбаться и повторяла: «Сегодня последний день нашего заточения».

Фолкнер не думал о плохом: осознание собственной невиновности вытеснило страх. Мысли о позорном процессе вызывали у него острую неприязнь, но внешне он казался сдержанным, и вся его наружность свидетельствовала о выдержке и уверенности в высших силах, куда более могущественных, чем любой человек. Настала его очередь ободрять Элизабет. Оба обладали бла-

городством и простотой характера и понимали друг друга с полуслова. Но Фолкнер долго хранил в душе тайные мысли и планы, о которых никому не рассказывал вплоть до этого самого момента; теперь, когда наступил кризис, он решил, что необходимо хотя бы частично приоткрыть завесу, скрывавшую будущее.

— Да, — ответил он Элизабет, — завтра наше рабство закончится; я снова стану свободным человеком и поспешу распорядиться этой свободой. Первым делом я уеду из Англии; эта земля принесла мне одни несчастья; когда закончится суд, я покину ее навсегда.

Элизабет вздрогнула и вопросительно взглянула на него: неужели он решил не учитывать ее желания, ее судьбу? Он знал, что она надеялась быть с Невиллом и любила его; именно поэтому она дорожила Англией. Фолкнер взял ее за руку.

— Ты тоже ко мне присоединишься, но позже; а пока, дорогая, я хочу, чтобы ты выполнила мою просьбу и согласилась ненадолго со мной разлучиться.

— Никогда! — воскликнула Элизабет. — Меня не проведешь: ты поступаешь так ради меня, а не ради себя, но ты заблуждаешься. Мы никогда не расстанемся.

— Дочери расстаются с семьей, когда выходят замуж, — заметил Фолкнер. — Они оставляют отца, мать, родной дом и следуют за своими супругами. Ты не можешь нарушить привычный закон человеческого общества.

— Не проси меня с тобой спорить и возражать твоим доводам, — отвечала Элизабет. — Наши обстоятельства отличаются от обстоятельств любой другой семьи! Не стану утверждать, что обязана тебе большим, чем другие дочери обязаны отцам; возможно, кровные узы связывают людей так же прочно, как долженствование, что я к тебе испытываю, но я не стану спорить. Я тебя не оставлю. Другие могут думать что хотят; если я так поступлю, мое сердце будет укорять меня бесконечно. Я буду представлять, как ты скитаешься в одиночестве, болеешь и страдаешь, и не обрету спокойствия.

— Не стану отрицать, у меня никого нет, в этом разница между мной и другими людьми, — ответил Фолкнер. — Но я не настолько слаб и беспомощен и не нуждаюсь в постоянной поддержке. Я очень дорожу твоей компанией; она мне дороже свободы и жизни, Господь тому свидетель, и когда-нибудь мы воссоединимся, и я снова буду наслаждаться твоим обществом, а до

тех пор не бойся, что я буду страдать в одиночестве; я вполне способен наладить мимолетные отношения с людьми. В мире достаточно людей, готовых благоволить одинокому незнакомцу; уважение можно купить за деньги, а доброту — завоевать безукоризненными манерами. Я найду друзей, если захочу; не успеешь оглянуться, как мы снова встретимся.

— Мой дорогой отец, — сказала Элизабет, — ты меня не обманешь. Я понимаю, что тобой движет, но ты ошибаешься и хочешь, чтобы я тоже ошибалась на твой счет. Однако я слишком хорошо тебя знаю. Ты никогда ни с кем не заводил случайной дружбы; светская беседа не дарит тебе удовольствия. Ты разговариваешь с людьми, чтобы навести справки, посоветоваться или самому сказать что-то полезное, но эти разговоры не приносят тебе счастья; счастье рождается только в твоем сердце, а его не так-то просто впечатлить. Разве не ты долгие годы оставался верен одной идее и одному лишь образу и, хотя вы были разлучены, всецело посвятил себя ей одной? И разве крах твоих мечтаний не стал проклятьем всей твоей жизни, разве не он привел тебя сюда? Прости, что я об этом вспоминаю. Я не смогу стать для тебя тем, чем была она, но у тебя не получится

изгнать меня из своего сердца и мыслей, как не получилось изгнать и ее. Я в этом уверена. Мы не связаны кровными узами, — оживленно продолжила она, — но в одном мы похожи: наша главная черта — преданность, мы не признаёмся в этом другим, чтобы те не подумали, что мы хвастаем. Возможно, это не достоинство, а недостаток, по крайней мере иногда; тебе твоя преданность принесла несчастье. Но со мной никогда так не будет: судьба постоянно вознаграждает меня за мою верность. Что бы ни случилось, я тебя не оставлю; даже если я потеряю Джерарда Невилла, ничего не поделаешь; я не смогу с тобой расстаться, это меня убьет. Я должна следовать естественному и непреодолимому зову своего сердца.

Она продолжала:

— Завтра и послезавтра мы еще об этом поговорим. Я без колебаний сделаю все для твоего счастья, но сейчас, дорогой отец, давай не станем больше обсуждать будущее; мое сердце слишком занято настоящим, а будущее представляется несбыточной мечтой. О, какой счастливой я себя почувствую, когда будущее наконец настанет, когда отдаленное будущее обретет интерес и важность в наших глазах!

В этот момент их прервали. Зашел человек,

потом другой, и пугающие детали завтрашнего процесса вытеснили все мысли о планах, о которых Фолкнер счел нужным сообщить своей юной подруге. Он погрузился в текущие заботы; принял всех, со всеми поговорил серьезно и без тени смущения, а бледная и несчастная Элизабет сидела рядом, дрожала, незаметно вытирала слезы и смотрела то на Фолкнера, то на его гостей. Укрывшись в темном уголке за спиной Фолкнера, она наблюдала, слушала, и сердце ее почти разрывалось. «Оставьте его в покое! После всего, что он пережил, оставьте его в покое, наконец! — думала она. — Он и так всю жизнь терзается воспоминаниями! Ах, если я когда-нибудь стану так же жестока, как эти люди, пусть добрые ангелы меня отринут!»

Пришло время расставаться. Завтра им предстояло увидеться лишь после суда; юной девушке не пристало присутствовать на слушаниях, да это было и бессмысленно. Фолкнеру и так уже сделали немало послаблений из-за его особого положения, давности преступления и сомнений в его виновности, которые теперь окончательно укрепились. Но существовал предел допустимого, и завтра все должно было решиться; его освободят и снимут с него все обвинения — или осудят

по всей строгости и приговорят к последнему испытанию.

Они торжественно попрощались. Отчаяния не было; Фолкнер крепился, Элизабет пыталась выглядеть спокойной, но ее губы дрожали, и говорить она не могла; ей казалось, что им предстоит расстаться на годы, а когда они снова встретятся и она взглянет ему в лицо, изменится уже слишком многое и перемены будут слишком заметны, а пережитые ими страдания — слишком велики. Одна лишь представляла, что будет завтра, а другому предстояло это пережить; тысячи взглядов, обвинение, показания, речь защитника, вердикт — мысли о каждом из этих этапов зазубренными ядовитыми стрелами вонзались в их благородные и трепетные сердца; они страшились не только опасности, но и бесчестья. Элизабет хотелось, чтобы весь мир осознал, что тот, на кого все смотрели с глубоким презрением, на самом деле честнейший человек; она хотела объявить, как гордится их узами и как крепка ее привязанность. Она должна была молчать, но ее распирали чувства, и ее последние слова отчасти выразили переполнявшие ее эмоции. «Лучший из людей! Безупречный, честный, благородный, щедрый! Господь защитит тебя и вернет тебя

мне!» — сказала она.

Они расстались. Ночь и тишь сгустились вокруг его кровати. Со стоической решимостью он запретил себе вспоминать о прошлом и тревожиться о будущем. Он возложил свои надежды и страхи к ногам Всемогущей Силы, в чьих ладонях заключена Земля и все на ней сущее. Он решил больше не беспокоиться об исходе суда, который был предопределен, хоть и неизвестен. Первое время его ум молчал и оставался спокойным, но, поскольку человеческое сознание даже под пытками не способно надолго сосредотачиваться на одном предмете, его постепенно захватили трепетные и приятные воспоминания. Он вспомнил, как был непослушным, но все же не совсем пропащим мальчишкой; вспомнил домик и крыльцо, увитое душистой жимолостью, в тени которой сидели больная бледная дама с лучистыми глазами и ее прекрасная дочь, чью мягкую руку он держал, когда они вдвоем устраивались у ног ее матери и слушали мудрые наставления. Потом его мысли перенеслись к совместным с девушкой прогулкам; он вспомнил, как они бродили по холмам и долам, когда их шаги были еще легки, а сердца не обременены заботами, и душа его воспаряла к небесам, где уже успел обосноваться

блаженный дух ее матери. До чего же безжалостна жизнь, раз юные невинные мечты привели эту девушку к безвременной кончине, а его самого — в тюремную камеру! Мысль об этом резкой болью отозвалась в груди; он прогнал ее и начал вспоминать Грецию, опасность, которой там подвергался, и их с Элизабет приключения на берегах Закинфа. Тогда на его сердце лежал тяжкий груз, и даже красоты солнечного края казались подернутыми мрачной пеленой; даже бодрящая нежность приемной дочери его не утешала. По сравнению с тем временем его нынешние переживания, встреча с судьбой и раскаяние уже не представлялись столь печальными. Наконец его сморил сон, и до утра он спал спокойно, как накануне суда могут спать лишь невиновные, хотя его ждали мучительные испытания.

Ближе к утру сон стал тревожным; узник стонал и ворочался, потом открыл глаза, вздрогнул и попытался вспомнить, где находится и зачем он здесь. Ему что-то грезилось, но он не помнил, что именно. Снилась ли ему Греция или унылый безлюдный берег Камберленда? Что за светлая туманная фигура манила его за собой? Алитея или Элизабет? Но, не успев понять, кто ему снился, он узнал стены камеры и увидел тень от оконной

решетки на занавеске. Настало утро, то самое утро, но где он встретит завтрашний рассвет?

Он поднялся и отодвинул штору; напротив вздымались темные высокие стены, громадные, с потеками дождя; прозрачный дневной свет заливал все вокруг и проникал в каждую щель, но солнце не светило, и погода стояла безрадостная. Ранний серый холодный рассвет, рассеивающий ночную мглу, всегда навевает невыразимое одиночество, если грядущий день сулит несчастья. Ночь окутывает нас своим покровом, становится защитой и убежищем; ночью спят люди и дремлет закон; даже суровые судьи лежат в своих кроватях, как безобидные дети в колыбелях. «Они и сейчас спят, — подумал Фолкнер. — Отдыхают на мягких подушках за роскошными портьерами, но день уже наступил, и вскоре они займут свои места, меня выведут перед ними, а все почему? Потому что пришел день, пришла среда, потому что долям времени даны имена, без которых они бы прошли незаметно».

Как хирург, глядя на человеческое тело, порой видит лишь скопление костей, мышц и артерий, хотя внутри каждого тела трепещет душа, способная на шекспировские страсти, так и несчастный человек препарирует жизнь и замечает лишь

происходящее на поверхности; он не понимает, как люди, каждый из которых спит и бодрствует, ходит и встречает себе подобных, могут причинять друг другу столько несчастий или, наоборот, дарить друг другу столько блаженства. Такие чувства тяготили Фолкнера по мере того, как за окном постепенно светало и тьма над узким тюремным двориком рассеивалась, а предметы в камере приобретали привычные цвет и вид. «Все спят, — снова подумал он, — все, кроме меня, несчастного; а спит ли моя Элизабет? Надеюсь, небеса охраняют ее сон! Пусть ее милые глаза подольше остаются закрытыми в этот проклятый день».

Он оделся задолго до того, как обитатели тюрьмы проснулись, хотя надзиратели встают очень рано. Скрипнули засовы; в коридоре послышались голоса. Знакомые звуки вернули его к реальности и заставили вспомнить о том, что сегодня неизбежно должно было произойти. В нем вновь пробудилось высокомерие; упрямая гордость ожесточила сердце; он вспомнил, в чем его обвиняют, подумал о том, как все его ненавидели, и о своей невиновности. «Я готов покаяться и искупить вину; готов понести любую кару ради Алитеи, однако несправедливости в мире не

станет меньше; отныне я отмечен бесчестьем, но чем я хуже своих собратьев? Мой дух не сломлен, я не склонюсь; хотя бы этого у меня не отнять».

Он напустил на себя бодрый вид и перенес все рутинные приготовления с притворным равнодушием; иногда в его орлиных глазах вспыхивал огонь, а иногда они смотрели в пустоту; вся жизнь пронеслась у него перед внутренним оком, но он не испытывал ни нетерпения, ни трепета, ни страха; ни разу не подумал об опасности и смерти; его поддерживала мысль о собственной невиновности. Он готовился вытерпеть и преодолеть лишь нынешний позор и одиночество, которое должно было за ним последовать, так как верил, что на всю жизнь будет отмечен клеймом и, даже если его оправдают, он станет изгоем.

Наконец его повели на суд; сердце полнилось гордостью, в глазах пылала решимость; он вышел из мрачного тюремного здания на солнечную улицу. Повсюду стояли дома, но ему показалось, что через просвет между ними виднеется плоскогорье, широкие поля и лесистые холмы — творение самого Господа. Солнце освещало пейзаж, и свободному человеку этот кусочек природы в узком просвете показался бы ничтожным, но узник, в течение нескольких месяцев видев-

ший лишь стены камеры, взирал на него такими глазами, будто мир предстал перед ним во всем своем величии. Что есть человек в сравнении с силой, которая поддерживает Землю и управляет солнечными лучами? А ведь судить его будут люди! Какая ирония! Человек и все сотворенное им — не более чем игрушка во всемогущих руках Господа, и эта игрушка сейчас распоряжается его судьбой! Он попытался приподняться над унизительными обстоятельствами и взглянуть на происходящее с высоты; тогда на него наконец снизошел истинный благородный покой, и он ощутил, что никакие слова и поступки судей не смогут его ранить; его опора была в другом — он полагался на собственную невиновность и внутреннее убеждение, что он в безопасности, как если бы находился в самом далеком и тайном убежище, неведомом человеку; он шел, и вокруг него словно витало облако покоя, непроницаемое для всех ветров.

Он вошел в здание суда с разгладившимся челом и таким достоинством, что никто не заподозрил бы в нем человека с нечистой совестью; все, кто его видел, склонялись на его сторону. Четким и ровным голосом он произнес «невиновен» и присягнул Господу и своей стране с такой

уверенностью и смирением, что все сидевшие в зале прониклись к нему сначала восхищением, а затем, оправившись от первого чувства, самой искренней жалостью. Никогда еще в этих стенах не бывало человека, настолько не запятнанного пороком и явно не способного ни на какое преступление. Судьи привыкли видеть перед собой грубых негодяев и закоренелых бандитов, а Фолкнер не только удивил их, но и заставил прислушаться к себе, и каждый почувствовал, что, возможно, по справедливости больше заслуживает оказаться на скамье подсудимых, чем этот узник.

Потом они вспомнили, что решается вопрос жизни и смерти и присяжные должны постановить, будет этот человек жить или умрет. Все затаили дыхание — не только зрители, но и те, кто часто присутствовал на таких мероприятиях и к ним привык. Все обычные судебные процедуры в этот день сопровождались необыкновенной торжественностью. Зал не просто замер в ожидании, а зрители испытывали не только жадное любопытство и жгучий интерес, но и трепет при мысли, что такого человека могут приговорить к позорному концу.

Когда закончились предварительные про-

цедуры и началось слушание, Фолкнер сел. Со стороны казалось, что он витает в облаках. Он и на самом деле размышлял на темы куда более мучительные, чем происходящее вокруг; в ушах его звучали крики несчастной Алитеи, он вспомнил, как она в последний раз спала в хижине на берегу; вновь явственно увидел мутные воды, затягивающие в свой водоворот ее промокшую безжизненную фигуру, и глубокую могилу, которую вырыл своими руками. Искупил ли он этот грех годами страданий и раскаяния, или нынешний позор и, возможно, худший из исходов являлся более подходящим для него наказанием? Что бы ни случилось, он был готов вытерпеть самый суровый удар и отдать жизнь в расплату за все, чего столь жестоко, хоть и непреднамеренно ее лишил. Он совсем забыл о суде, пока не услышал голос, так похожий на голос Алитеи. Неужели мертвые могли говорить? Несмотря на свою собранность, он задрожал с головы до ног; его мысли витали далеко, пока эхо, казалось, ее голоса не окликнуло его; через миг он опомнился и понял, что голос принадлежал сыну Алитеи Джерарду Невиллу, который давал показания.

Фолкнер услышал, как сын жертвы заявляет о его невиновности, и его душа благодарно за-

трепетала; он улыбнулся, чувства смягчились, и прежняя угрюмость и горечь сменились надеждой и сопереживанием. Теперь казалось, что его должны оправдать и он обязан произвести на присутствующих благоприятное впечатление, всем своим поведением показать, что не сомневается в справедливости тех, от кого зависит его судьба, и держаться достойно, как и должен невиновный человек. С этого момента он внимательно следил за всем происходящим в суде, больше откликался, но сохранял спокойствие и решимость, так как верил, что его усилия приведут к успеху. Зрители заметили эту перемену и стали смотреть на него с удвоенным интересом. Тем временем часы в зале суда отмеряли время, стрелки молча отсчитывали минуты и часы; еще немного, и все будет кончено, но какая судьба его ждала?

Глава XLIX

Случись Элизабет увидеть Фолкнера в суде, она бы позавидовала выдержке, с которой он терпел эти унижения. Расставшись с ним накануне вечером, она даже не пыталась уснуть. Закутавшись в шаль, бросилась на диван и в течение долгой ночи просыпалась каждый час; безумные, непонятные и болезненные сны не давали ей покоя. Утром она попыталась собраться с мыслями, вспомнила о своей уверенности, что сегодня Фолкнера освободят, и оделась нарядно, чтобы поприветствовать его с праздничным видом. Дожидаясь часа, когда должен был собраться суд, она не могла побороть нервную дрожь. Но тут в ее дверь постучали; слуга объявил, что пришла миссис Рэби.

Элизабет обрадовалась дружелюбному женскому лицу; она так долго была лишена поддержки со стороны представительниц своего пола. Иногда ей писала леди Сесил, и эти письма всегда были полны теплых чувств, но ее, кажется, ошеломил масштаб трагедии, приключившейся с подругой, и она не знала, как правильно ее утешить. Леди

Сесил обладала добрым сердцем, дружелюбным нравом и здравомыслием, но все же была очень приземленной и ограниченной. Однако миссис Рэби — та могла похвастаться более утонченным восприятием; она рассматривала любой предмет сквозь одну и ту же призму, и потому ее сочувствие было выборочным, но побуждения чисты и возвышенны. Впрочем, решив навестить Элизабет в этот раз, она вышла за пределы своих ограничений.

Решение покинуть самоотверженную племянницу долго тяготило ее совесть. Она восхищалась ее героизмом и всецело его одобряла; она привыкла превозносить и поощрять добродетель, но не сделала ничего, чтобы вознаградить свою родственницу. Она принимала решения с учетом принципов своей религии и интересов семьи, и хотя при этом сопротивлялась естественным великодушным побуждениям, считала, что поступает правильно. Она ни с кем не обсуждала Элизабет, кроме леди Сесил; та расхваливала юную подругу, но не упоминала о Фолкнере, а именно он был камнем преткновения, мешавшим миссис Рэби заступиться за девушку.

Когда Элизабет уехала в Карлайл, миссис Рэби вернулась в Беллфорест. Она не знала, как

заговорить на эту тему со свекром, а когда все же отважилась, старик, уже почти впавший в маразм, промолвил: «Поступай как знаешь, дорогая; я тебе доверяю; делай как считаешь нужным для вашего с детьми благополучия». Рассудок и память старого мистера Рэби слабели день ото дня; к моменту начала суда над Фолкнером он уже ничего не понимал. Вся ответственность за семейные дела легла на плечи миссис Рэби, и та, желая поступить правильно и боясь ошибиться, стала бороться с лучшим в своей натуре: она колебалась, раскаивалась, но продолжала бездействовать.

Невилл крайне неодобрительно относился ко всем, кто не поддерживал Элизабет. Он никогда не видел миссис Рэби, но заранее питал к ней сильнейшую неприязнь. Случилось так, что на следующий день после смерти сэра Бойвилла он был у леди Сесил, когда явилась миссис Рэби, и хотя леди Сесил запретила кого-либо пускать, ради Элизабет для миссис Рэби сделали исключение и пригласили в дом. Когда объявили о ее приходе, Джерард сидел в гостиной один; он поспешно встал и хотел удалиться, но один лишь вид этой дамы заставил его передумать. Мы склонны смеяться над претензиями науки

физиогномики, но разве можно поспорить, что первое впечатление — самое важное? А миссис Рэби произвела на Невилла самое благоприятное впечатление; ее высокий задумчивый лоб, большие темные меланхоличные глаза, благородство манер в сочетании с явными признаками эмоциональности наводили на мысль, что перед ним женщина, способная на великодушие и героические жертвы. Он почувствовал, что София, должно быть, что-то сделала не так, раз не смогла живо заинтересовать ее делом Элизабет. Пока он приходил к этим умозаключениям, у миссис Рэби сложилось о нем столь же доброе впечатление. В лице Джерарда Невилла было что-то ангельское, какая-то неземная чистота и благородная неэгоистичность, отчего люди даже вопреки себе начинали ему симпатизировать; он был воплощением чувствительности, одаренности и любви. Уже через минуту они с миссис Рэби общались как старые друзья. Узнав, что они уже беседуют, леди Сесил не стала их прерывать. Они говорили долго; Невилл вспоминал, как познакомился с Элизабет Рэби, коротко пересказал историю Фолкнера, описал его и момент, когда тот признался, что причастен к гибели Алитеи. Он добавил, что не сомневается в его невиновно-

сти, и передал миссис Рэби последние слова сэра Бойвилла. Потом они долго говорили о тюремном заключении Фолкнера, преданной любви Элизабет и испытаниях, которые им пришлось пережить. Даже каменное сердце дрогнуло бы, услышав эту историю. Слезы струились по щекам Джерарда, когда он описывал невинность девушки, ее прямоту и полное забвение себя.

— И я ее покинула! — воскликнула миссис Рэби. — Мы все ее покинули! Это неправильно. Езжайте в Карлайл завтра и идите в суд; как только мистера Фолкнера оправдают и они уедут из этого города, где их имена и история у всех на устах, я увижусь с ней и постараюсь компенсировать свое прежнее равнодушие.

— Будет уже поздно, — ответил Джерард. — Вам будет приятно осознавать, что вы восхищаетесь существом, превосходящим всех остальных людей добродетелью, но вы не сможете ей помочь. Как только Фолкнера оправдают, она перестанет нуждаться в поддержке. Поддержка нужна сейчас. В час суда эта несчастная и самоотверженная девушка останется совсем одна; она будет страдать, чувствуя, что во всем белом свете у нее нет ни одного друга, но не захочет жаловаться. Как я жалею, что для Софии столь важны приличия,

иначе она уже была бы рядом с Элизабет, хотя ей, связанной с нашей семьей, это неловко. Но вы, миссис Рэби, — вам ничего не мешает! Она ваша племянница; бесполезно скрывать это от мира, пускай все будут осведомлены. Люди так или иначе узнают об этом — от меня, ведь я собираюсь сделать ей предложение как мисс Рэби; если бы она носила фамилию Фолкнер, я не смог бы больше с ней видеться. И когда все откроется, разве не осудят вас, что вы ее покинули? Поступи́те мудро и великодушно; завоюйте ее благородное и нежное сердце своей добротой, и сам этот поступок станет вам наградой. Спешите в Карлайл; будьте рядом с ней в печальный час, ведь еще никому столь юному и невинному не приходилось переживать такие тяготы!

Его слова тронули и убедили миссис Рэби; она почувствовала, как с глаз упала пелена, осознала свой долг и поняла, как скверно поступила, решив пренебречь Элизабет. Она больше не сомневалась, и теперь, увидев, как рада ей племянница в тяжелый час и как благодарит ее за доброту, услышала подтверждение в собственном сердце и перестала корить себя за прежнее равнодушие.

Опухшие глаза Элизабет, ее робость и нервозность выдали, что она не спала всю ночь и ее

одолевали самые сильные тревоги. И все же она утверждала, что отца — как она с особой гордостью именовала Фолкнера в этот критический час — оправдают. Миссис Рэби воспользовалась смятением девушки и попыталась отвлечь ее от мучительных попыток вообразить ход суда, происходящего так близко от их местоположения, и направить разговор в будущее. Элизабет сказала, что Фолкнер хочет уехать из Англии, и заявила о своем намерении его сопровождать; когда миссис Рэби намеками попыталась ее разубедить, она и слушать не стала.

— Он был мне отцом; я его дитя. Что бы вы сказали о дочери, которая покинула отца в беде и болезни? Дорогая миссис Рэби, не забывайте, что отец, несмотря на все свое мужество, слаб здоровьем; он привык к моей заботе и умрет, если за ним будут ухаживать слуги. Если я его покину, он впадет в отчаяние и апатию.

Миссис Рэби слушала и восхищалась девичьими пылом, добротой, чувствительностью и твердостью. Но ее одолевали терзания; разные мысли приходили в голову, и она не смела идти у них на поводу — слишком безумными и опасными они казались. Все же щедрое от природы сердце искушало ее пренебречь соображениями

благоразумия и религиозными ограничениями. Чтобы отвлечься, она упомянула о Джерарде Невилле. Тут щеки племянницы порозовели от удовольствия, в глазах отразилась радость, а на губах заиграла легкая улыбка. Она заговорила о Джерарде, превознося его как человека, чьим добродетелям нет равных на земле. Тепло и искренне она описывала его преданность матери и великодушие по отношению к ней самой; красноречиво хвалила его решение поехать в Америку и искать Осборна ради нее и справедливости.

— Но если ты уедешь с мистером Фолкнером, — заметила миссис Рэби, — вы с Джерардом больше не увидитесь.

— Я в это не верю, — ответила Элизабет, — но если так суждено, я готова смириться. Он никогда меня не забудет; я знаю, что достойна буду его и в разлуке; лучше так, чем пожертвовать всем, что я считаю благородным и добродетельным; тогда он начнет меня презирать, а это куда хуже: отсутствие любви горше отсутствия физического, оно непоправимо и вечно, в то время как расстояние будет легко преодолеть, когда наши обязательства перестанут друг другу противоречить. Я поеду с отцом, потому что тот страдает; Невилл может присоединиться к нам, ведь мой отец ни в

чем не виноват. Я чувствую и знаю, что он меня не забудет и не сможет долго быть со мной врозь.

Глава L

Пока они беседовали, на улице послышались быстрые шаги. В разговоре с миссис Рэби время пролетело быстро; часы пробили три, и в дверь дома постучали. Элизабет резко замолчала, побледнела и сцепила пальцы в нервном ожидании. Вошел Осборн.

— Все кончено! — воскликнул он. — И все хорошо! — Со слезами на глазах он бросился к Элизабет, пожал ей руку и принялся пылко и радостно ее поздравлять; он был совсем не похож на испуганного человека, каким она привыкла его видеть.

— Мистера Фолкнера оправдали; он свободен и скоро будет здесь! Никто не усомнился в его невиновности; присяжные даже не уходили совещаться.

Осборн продолжал рассказывать о суде. Сам вид Фолкнера расположил к нему присяжных. Его честный открытый лоб, уверенная манера, четкий и чистый голос, очевидно говоривший правду, — все свидетельствовало в его пользу. Барристер, выступавший со стороны обвинения,

представил дело скорее как таинственное происшествие, которое необходимо расследовать, чем как преступление. Джерард Невилл дал показания в пользу обвиняемого; он рассказал, как Фолкнер, которого ни в чем не подозревали и не собирались обвинять, по собственной воле поведал о причастности к смерти несчастной матери Невилла, чтобы восстановить ее репутацию и успокоить ее родственников. Письмо с признанием, которое Фолкнер написал в Греции и оставил в качестве объяснения на случай, если погибнет, подтверждало правдивость этого рассказа. Джерард заявил, что верит в его невиновность, а когда передал последние слова отца и сообщил, как на смертном одре тот попросил записать, что считает Фолкнера невиновным в предъявленных тому обвинениях, — слова эти прозвучали только что, ведь того, кто их произнес, еще даже не похоронили, — все поразились, что Фолкнер подвергся столь длительному тюремному заключению и унижениям судебного процесса. После этого вышел Осборн и дал четкие и убедительные показания. Наконец самого подсудимого спросили, что он может сказать в свою защиту. Когда он встал, все взгляды обратились к нему; разговоры в зале стихли, все затаили дыхание, установилась

торжественная тишина. Он произнес краткую речь, говорил спокойно и убедительно и сослался в качестве доказательства своей невиновности на сами свидетельства, что предъявлялись против него. Это правда, что из-за него погибла женщина; он не просил милости; ради нее и ее героизма, что толкнул ее на смерть среди волн, он требовал справедливости и ни на секунду не сомневался, что присяжные рассудят мудро.

— Любой, кто его услышал, уже не смог бы сомневаться в его невиновности, — сказал Осборн. — Его орлиные глаза смотрели на присяжных, и весь вид свидетельствовал, что он говорит правду и ни в чем не виноват; он держался смиренно, но благородно, будто понимал, что чистой совести и уверенности в своей правоте достаточно, чтобы склонить присяжных на свою сторону. И верно — они не сомневались ни секунды; услышав вердикт, я сразу побежал сюда; впрочем… а вот и он!

На улице раздались шаги, топот множества ног, а потом Элизабет услышала на лестнице поступь, которую не спутала бы с другой. Вошел Фолкнер; она кинулась к нему и прижала к груди, заключив в долгие и ласковые объятия. Никто не произнес ни слова.

На несколько секунд их охватила почти болезненная дрожь; от переизбытка чувств из глаз хлынули слезы, и вот наконец их охватило подобающее случаю ликование. К Фолкнеру вернулось самообладание; он пожал руку Осборну и сказал ему спасибо, а Элизабет познакомила его с миссис Рэби. Он сразу оценил ее доброту и выразил сердечную благодарность, показав, как переживал из-за того, что в трудный час Элизабет осталась одна. Вскоре в комнату набилась толпа, и им пришлось выслушать много поздравлений; они всех благодарили и слушали бесконечные рассказы присутствовавших на суде, хотя им было весьма неприятно об этом вспоминать. И все же в момент ликования сердце, согревшись и открывшись, не проводит различий между сословиями. Среди тех, кто очевидно радовался исходу суда и чей приход особенно растрогал Фолкнера и Элизабет и наполнил сердце особой благодарностью, был надзиратель; сначала тот стыдился приходить, но, услышав, что освобожденный узник с дочерью планируют немедленно уехать из Карлайла, попросил разрешения увидеть их еще раз. Бедный малый смотрел на Элизабет как на ангела, а Фолкнера воспринимал как полубога; даже в беде те не растеряли своей доброты, были

к нему внимательны и чем могли помогали; поэтому теперь радости надзирателя не было предела, на его лице читался восторг, и не оставалось сомнений в переполнявших его сердце чувствах и благодарности.

Наконец суета и сутолока стихли; гости разошлись. Фолкнер и его милая спутница оказались одни и несколько часов провели в такой счастливой безмятежности, что сами ангелы могли бы им позавидовать. Фолкнер не спешил ликовать и по-прежнему глядел в прошлое с раскаянием, но зря полагал, что случившееся в тот день глубоко ранит его гордость; зря уверял себя, что после суда его честь будет неизбежно запятнана. Сердце свидетельствовало о другом; в нем совсем не осталось места для привычных изощренных сожалений, так как теперь его переполняли другие чувства. Фолкнер наконец испытал искреннюю радость и умиротворение, и ничто в нем не противилось этим приятным переживаниям, поскольку он не был склонен к показной тонкости и не цеплялся за свои горести.

К вечеру, когда стемнело, Фолкнер сказал:

— Дорогая моя, пойдем прогуляться.

Услышав эти слова, Элизабет одновременно засмеялась и заплакала от радости. Фолкнер надел

шляпу и взял Элизабет за руку; они вскоре пересекли границу города и зашагали по сельской дороге. Ветер колыхал прозрачные верхушки деревьев; небо усыпали звезды, раскинулись поля, и все это казалось освобожденному узнику благословением небес.

— Сейчас я думаю, что все это было создано специально для меня! Как же прекрасна природа, и какая это благодать — быть свободным! Боже, я не могу поверить своему счастью; лишь одно омрачает светлую картину — образ моей потерянной, погибшей Алитеи; иначе мое счастье превзошло бы возможности хрупкого человеческого существа.

На обратном пути в город мимо проехала карета, запряженная четырьмя лошадьми. Элизабет сразу узнала пассажира — это был Джерард Невилл. Она ощутила болезненный укол, так как вспомнила, что они не успели поговорить и, возможно, разлучились навсегда. Вернувшись домой, измученная усталостью и угнетенная этими размышлениями, она пожелала Фолкнеру спокойной ночи, и тот, радуясь, что теперь они находятся под одной крышей, поцеловал ее и обнял. Войдя в свою комнату, она увидела на туалетном столике письмо, улыбнулась, и на ее

щеках заиграли ямочки. Письмо было от Невилла. Он очень коротко поздравил ее и сообщил, что должен спешить в город, где его ждали печальные обязательства — похороны отца; умолял, чтобы они с Фолкнером не предпринимали поспешных действий. «Не в моих силах разогнать тучи, которые нас окружают, — писал он, — но я знаю, что не могу и не должен тебя потерять. Пусть пройдет немного времени; давай подумаем и попытаемся понять, как примирить наши обязанности с более важной необходимостью не разлучаться. Не спеши, Элизабет, и не позволяй отцу действовать опрометчиво. Худшее позади; наконец можно перестать ненавидеть и жить счастливо».

Элизабет поцеловала письмо и убрала его под подушку. Той ночью она спала сладко и хорошо выспалась.

Рано утром зашла миссис Рэби. Увидев Фолкнера, она сразу прониклась к нему расположением, как когда-то проникся к ней Джерард. Между родственными душами существует магнетическое притяжение; встречая себе подобных, тонкие и возвышенные умы сразу это отмечают. Миссис Рэби с первого взгляда поняла, что перед ней человек необыкновенных душевных качеств;

пережитые страдания стерли все его прежние недостатки, и он стал самым благородным и кротким из людей. В силу своего великодушия миссис Рэби не могла смотреть на добродетель, не испытывая желания тут же ее вознаградить. Она снова вспомнила свой план, который до этого казался ей непрактичным; стремление к щедрости и желание приносить пользу, естественным образом рождавшиеся в ее сердце, заставили ее отнестись к своему замыслу более снисходительно, и постепенно она отмела все возражения и решила действовать.

«Мы привыкли жаловаться на скучную жизнь, заурядность и ущербность наших собратьев, но стоит Провидению познакомить нас с двумя людьми редкой души, наделенными самыми превосходными качествами, как мы придумываем тысячу отговорок и, прикрываясь благочестием, изгоняем их из своего круга. Часто ли можно встретить столь честного, деликатного и одаренного человека, как мистер Фолкнер? А девушку, подобную Элизабет, — само воплощение добродетельной верности? Эти люди своим примером научат моих детей существованию и ценности человеческой добродетели и сделают это лучше многотомных трактатов о морали».

Эти размышления занимали миссис Рэби всю предыдущую ночь. Утром она зашла к новым друзьям и со всей свойственной ей деликатностью пригласила их составить ей компанию в Беллфоресте и поселиться там на следующие несколько месяцев.

Глаза Элизабет заискрились от радости. Фолкнер сразу же согласился, что Элизабет должна поехать, но сам отклонил приглашение.

— Вы слышали его, дорогая тетя, — воскликнула Элизабет, — но прошу, не принимайте его отказ; не позволяйте ему упрямиться!

— Ты о многом забываешь, — возразил Фолкнер, — но, я уверен, миссис Рэби понимает мои доводы. Я благодарен ей за доброту, но она должна понять, что я отклонил ее приглашение из чувства приличия.

— Значит, вы считаете, что я пригласила вас из вежливости, думая, что вы откажетесь? — спросила миссис Рэби. — Вы ошибаетесь. Я понимаю, что вы имеете в виду и на что намекаете; давайте забудем о церемониях, принятых среди случайных знакомых, и поговорим начистоту, как друзья; вы согласны?

— Вы очень добры, — ответил Фолкнер, — но разве кто-то, кроме этой милой девочки, согла-

сится стать моим другом?

— Если бы я считала, что пережитые беды и несправедливость настолько ожесточили ваше сердце, что вы чувствуете необходимость закрыться от мира и предаваться горестным воспоминаниям, я бы отозвала свое приглашение, ведь дружба — взаимное чувство, и тот, кто поглощен лишь собственными переживаниями, не может быть ничьим другом. Но ведь это не так! Ваше сердце полно сочувствия, Элизабет подтвердит; разве не согласились вы ради нее жить дальше, когда страдания чуть не довели вас до самоубийства? Давайте сразу отбросим предрассудки, которые я считаю недостойными нас обоих. Читая учебники истории и узнавая о судьбах людей, переживших суровые испытания, как мы относимся к тем, кто покинул их в минуту несчастья? Разве не называем их малодушными и не начинаем их презирать? Не причисляйте меня к таким людям. Если бы ваша жизнь всегда была безоблачной, я бы прошла мимо вас, не обратив внимания. Ваши мучения — вот что возбуждает во мне дружеские чувства и готовность сблизиться, ведь вы сумели проявить мужество, покаяться и подняться над самой страшной бедой, которая только могла выпасть на человеческую долю.

— Думаю, вы понимаете, что я имею в виду, ни к чему долго объяснять — это мы еще успеем, — продолжила она. — Я отношусь к вам с уважением, и все, что говорю и делаю, отражает мои истинные чувства. Ради Элизабет не позволяйте миру считать, что тот, кто удочерил ее и вырастил, не заслуживает, чтобы его уважали и ценили. Я прошу вас поехать с нами в Беллфорест; не отказывайтесь, мне не терпится познакомить своих девочек с их безупречной кузиной и завоевать ее сердце своей любовью и добротой; если позволите, я с гордостью и радостью отплачу вам за все, что вы для нее сделали, попытавшись компенсировать пережитые несчастья дружеским общением и спокойной обстановкой.

Речь миссис Рэби была пылкой и искренней, но еще более красноречивая мольба мерцала в глазах Элизабет.

— Я повсюду готова за тобой следовать, — сказала она Фолкнеру, — и не стану жалеть о любом твоем решении. Но в Беллфоресте мы будем очень счастливы.

Фолкнером двигала скромность, а не ложная гордость. Он чувствовал себя счастливым, но, думая о будущем, представлял, что должен стать изгоем, человеком, на котором лежит клеймо.

Такое положение дел казалось ему несправедливым и глубоко его ранило. Он воспринимал его как наказание за прошлые грехи и был готов принять его с гордо поднятой головой, но ему было очень приятно встретить человека, который отнесся к нему с великодушием миссис Рэби и был способен подтвердить слова делом. Он чувствовал, что заслуживает уважения, и согласился, что лишь светские условности мешали ему принять ее любезное приглашение. Так почему он должен был отказываться? Итак, он с искренней признательностью согласился, и на следующий день они выехали в Беллфорест.

Глава LI

Стоял один из дней, что иногда выпадают в марте, — теплый, ласковый и бодрящий, как сама весна. В прозрачных ветвях щебетали птицы, и если карета на минуту останавливалась, заливистая песнь жаворонка заставляла путников посмотреть наверх и любоваться голубыми сводами его небесного жилища. Природа наполняла радостным ликованием все сердца, но Фолкнер охотнее других откликался на ее зов. Впрочем, все трое путешественников испытывали приятные чувства. Миссис Рэби ощущала естественное удовлетворение человека, совершающего великодушный поступок. Элизабет чувствовала, что поездка в Беллфорест приближает ее к Невиллу; ничто не мешало ему переступить порог дома ее деда. Но Фолкнер был счастливее всех. Его переполняла не примитивная радость человека, которому удалось сбежать от угрозы; он радовался отчасти оттого, что Элизабет возвращалась в семью, ведь обстоятельства сложились так, что только там она могла быть счастлива и не разлучаться с ним. Он также чувствовал облегчение,

ведь с его плеч упал груз, который так долго его тяготил. Но была еще одна причина, которую он не мог сформулировать даже для себя. «И ожил я, и был я император»[34] — такими словами можно было охарактеризовать его теперь; он больше не взирал на природу с печалью и укоризной, не запрещал себе испытывать нежные чувства и не взращивал в себе раскаяние, считая своим долгом терзаться. Он примирился с собой и людьми; когда суд закончился и его освободили, воспоминания сразу перестали его мучить, а по жилам потекла здоровая кровь. Впервые признавшись в своем преступлении, он показался Невиллу человеком, стоявшим на пороге смерти. Теперь же было очевидно, что болезнь отступила; его грудь расправилась, взгляд прояснился и ожил. Ни разу с тех пор, как они уехали из Греции, Элизабет не видела его таким счастливым; за все время их общения он ни разу не пребывал в столь спокойном и жизнерадостном расположении духа. То была его награда за страдания, дар небес человеку, что стойко терпел и предпочел открыться любви, а не лелеять в сердце гордыню и отчаяние. Это было естественным следствием

[34] Примечания: 34
Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» (пер. А. Радловой).

благородного нрава, способного возвыситься даже над своими ошибками, признать, что его природе чужд порок, и позволить добру вступить в неприкосновенные права.

Они въехали на территорию поместья с широкими аллеями и тенистыми просеками. В прозрачном лесу зеленели кедры, лиственницы и сосны, расцвечивая его множеством красок; из-под земли пробивались первоцветы; набухли и позеленели почки. Фолкнер вспомнил свой приезд в Беллфорест предыдущим летом; тогда он совсем не подозревал о грядущих событиях, а сердце его и мечтать не смело о покое, необъяснимо переполнявшем его теперь. В тот раз огромные угодья и величественный особняк показались ему мрачным пристанищем религиозного фанатика; теперь же он видел перед собой долину счастья, где правили любовь и жизнерадостность.

Навстречу миссис Рэби вышли ее дети: две изящные девочки пятнадцати и шестнадцати лет и подвижный мальчик лет двенадцати. Они обожали мать и обрадовались приезду новой кузины. Их сияющий вид и веселые голоса окончательно развеяли атмосферу меланхолии, которая прежде витала в почтенном особняке.

Даже сам старый Осви Рэби, окончательно впавший в маразм и не понимавший, что происходит, улыбался и казался довольным, глядя на окружавшие его веселые лица. Он, кажется, не понял, кто такая Элизабет; но понял, что это какая-то родственница, и общался с ней с подобострастным почтением; учитывая, каким надменным тоном он разговаривал с Фолкнером прежде, смотреть на это было очень забавно.

Чего же не хватало для полного счастья? В компании юных сестер и брата Элизабет заметно повеселела; она особенно понравилась младшему, Эдвину, поскольку держалась на коне так же бесстрашно, как он сам, и рассказывала ему бесконечные истории о далеких краях, где ей довелось побывать, и о своих приключениях, среди которых были и страшные, и смешные. В миссис Рэби она нашла возлюбленную подругу, с которой можно было часами вести серьезные разговоры, а поправившееся здоровье и бодрость Фолкнера несказанно ее радовали.

Но куда же пропал Джерард Невилл? Все прочие радости жизни меркли в отсутствие его влюбленных взглядов и восторга взаимной симпатии. Любовь больше других чувств вынуждает нас отказаться от своего вездесущего «я» и целиком

отдать себя другому человеку; это всепоглощающее чувство, чья красота не омрачена ни тенью, ни завесой. Прочие человеческие страсти занимают лишь небольшую часть души; любовь же поглощает душу целиком и дарит полное блаженство или абсолютное несчастье. Элизабет не боялась, что Джерард ее забудет. Он не забыл о ней в темный час, а теперь его тень бродила с ней по аллеям Беллфореста и воспоминание о его любви наполняло благоуханные весенние ветра дотоле неведомой сладостью. Теперь Элизабет могла спокойно отдаться любви и проводила долгие часы в одиноких и блаженных грезах; ей почти не верилось, что такое счастье можно найти на земле. Что за перемена, что за контраст между чудовищными условиями тюрьмы в Карлайле и полянами ее родового поместья, особенно прекрасными для влюбленного взгляда! Совсем недавно весь мир под небосводом казался обителью слез и печали, а теперь будто рай установился на земле и она ступила в его благословенные пределы.

Но шли недели, и Элизабет встревожилась. Джерард не приезжал и не писал. Наконец пришло письмо от леди Сесил; та поздравляла Элизабет с освобождением Фолкнера и радовалась доброте

ее тети; тон письма казался дружелюбным, но натянутым, и, перечитав его несколько раз и обдумав каждое слово, Элизабет пришла к выводу, что друзья не слишком рады, что они с Фолкнером очутились в ее родовом поместье. Ей казалось, что она превратится в Элизабет Рэби и Невилл немедленно сделает предложение, однако теперь ей намекали, что Фолкнер по-прежнему рядом, а Невилл и человек, уничтоживший его мать, не могли взаимодействовать.

В новообретенный рай Элизабет вновь проникли тревога и печаль. Девушка пыталась казаться прежней, но при всякой возможности убегала и в одиночестве размышляла над своей странной судьбой. Она понимала, что Невилл тоже горюет, и от этого огорчалась пуще прежнего, представляла его внутреннюю борьбу и почти убедила себя, что вынесет все, лишь бы он был счастлив. Элизабет вспомнила их последнюю встречу; он казался взбудораженным и несчастным. Она не сомневалась, что никто, кроме нее, не сможет осчастливить его и успокоить; так неужели они больше никогда не увидятся?

Фолкнер ревностно следил за Элизабет, как внушала ему великая любовь, и вскоре заметил в ней перемену. Прежде она радовалась без повода;

ее походка была легкой, а в голосе и смехе звучало чистое счастье. Теперь же улыбка ее казалась вымученной, девушка часто витала в облаках и старалась при всякой возможности остаться в одиночестве; при этом она заботилась об отце еще усерднее и нежнее, будто хотела доказать, что ради него готова на любые жертвы. Он все это видел, и сердце болело при мысли, что его ошибки по-прежнему отравляют жизнь — и его собственную, и той, кем он так дорожил.

Он видел, что миссис Рэби разделяет его беспокойство. Племянница стала проводить с ней заметно меньше времени. Элизабет не могла признаться, что ее печалило, но не могла и притворяться перед мудрой подругой, которая читала ее как раскрытую книгу и чьи советы и утешительные слова она боялась услышать. От Фолкнера не укрылось, с какой тревогой миссис Рэби смотрела на юную родственницу; он угадал ее мысли и снова был вынужден себя возненавидеть; ему казалось, что он уничтожает счастье всех, кто оказывается с ним рядом.

Постепенно стало ясно, что все участники этой истории ощущали себя потерянными и несчастными и что им стоило бы поговорить. Одна Элизабет смирилась со своей судьбой и

потому молчала. Фолкнер рвался не говорить, а действовать; ему хотелось уехать и исчезнуть навсегда; и потому он тоже терзался молча. Первой заговорила миссис Рэби, которая заметила, как печальны те, кого она мечтала видеть счастливыми. Однажды они с Фолкнером остались наедине, и она сказала:

— Чем больше я смотрю на свою дорогую племянницу и восторгаюсь ею, тем сильнее ощущаю необходимость отблагодарить вас за то, что она такая. Ее природный нрав сам по себе превосходен, но вы своей заботой и воспитанием взрастили в ней высочайшее благородство. Если бы она попала к нам в детстве, скорее всего, ее поместили бы в монастырь, а принятая в таких учреждениях система способна навредить даже самым безупречным натурам. Лишь вам мы обязаны нашим прелестным цветком, и если благодарность может служить наградой, моя целиком принадлежит вам; я всегда буду считать самым радостным долгом стремление услужить вам и доказать свою признательность.

— Я был бы намного счастливее, — сказал Фолкнер, — если бы смел оценивать свое вмешательство в ее судьбу так, как это делаете вы; боюсь, я нанес моей любимой дочери непопра-

вимый ущерб и именно из-за меня она теперь страдает, хотя по своей доброте никогда в этом не сознается; но в конце концов эти страдания могут ее погубить. Если бы я вернул ее вам, ее бы вырастили здесь, и им с Джерардом Невиллом не пришлось бы разлучиться.

— Но они могли бы и не встретиться, — возразила миссис Рэби. — Гадать о прошлом бессмысленно; его не изменить, и каждое звено цепи выковано и скреплено высшей силой, у которой имелась своя особая на то причина. Невозможно до конца постичь, какое событие влечет за собой другое; одно маленькое изменение — и никого из нас сейчас бы здесь не было. Джерард Невилл, безусловно, вызывает интерес у всякого, кто его увидит; он достоин нашей Элизабет и испытывает к ней пылкую привязанность; он оставил в ее юном сердце глубокий отпечаток, который я вовсе не желала бы стереть. Уверена, если они поженятся, их ждет величайшее счастье, на которое только способны смертные.

— Я прекрасно понимаю, что стою на пути этого союза, — ответил Фолкнер. — Но будьте покойны, я не намерен и дальше препятствовать благополучию моей девочки. Поэтому я и пришел посоветоваться: как уладить эти проти-

воречия, точнее, как устроить мой отъезд, чтобы устранить преграду, но не вызвать подозрения Элизабет?

— Я не люблю заговоры, — ответила миссис Рэби, — и терпеть не могу что-то делать тайком; надеюсь, вы не против, если я буду с вами откровенна. Мы с Элизабет много об этом говорили; она решительно намерена не выходить замуж, лишь бы не разлучаться с вами. Она спокойно об этом рассуждает и твердо держится своего выбора; говорит, что не возьмет на себя новые обязательства, если надо будет предать старые — тогда она обречет себя на вечные муки, и те, кто любит ее, не должны об этом просить. Утром я получила письмо от Джерарда. Думала, показать ли его вам или племяннице; полагаю, лучше сначала вам его прочитать, если вы, конечно, не против.

— Покажите его мне, — попросил Фолкнер, — и разрешите на него ответить; я не привык бояться невзгод, я встречусь с этой бедой и постараюсь все исправить, чего бы это ни стоило.

Письмо Невилла было исповедью человека, чьи желания противоречили его принципам; впрочем, в справедливости этих принципов он уже сомневался. Вначале он глубоко сожалел об отчуждении, возникшем между Элизабет и

его семьей, и просил миссис Рэби нанести визит леди Сесил. Сообщил, что та горит желанием ее видеть и откладывает приглашение лишь потому, что хочет убедиться, что миссис Рэби все еще заинтересована в дружбе с ней; ее собственные дружеские чувства остались такими же теплыми и искренними.

> «Буду с вами откровенен, — *продолжал он*, — так как ваше превосходное чутье может подсказать нам, как поступить, и развеять наши сомнения. Вы, наверно, уже догадались о причине наших сложностей, хотя едва ли сможете понять, какие муки причиняет мне моя дилемма. Позвольте относиться к вам как к другу; рассудите, как мне лучше поступить; я верю в чистоту и добродетель женского сердца, особенно если речь о такой замечательной женщине, как вы. Поначалу я думал обратиться за советом к самой мисс Рэби, но боюсь ее самоотверженности. Согласны ли вы — а я знаю, что вы ее любите, — взять на себя ответственность за это решение?»

Далее Невилл коротко, но пылко описывал

свои чувства к Элизабет и уверял, что те никогда не изменятся; он также не сомневался, что эти чувства взаимны.

«Поэтому я прошу не только за себя, — *говорил он*, — но и за нее. Не сочтите меня излишне самонадеянным; такое неординарное поведение можно оправдать лишь взаимной привязанностью, ведь перед ней отступают все остальные соображения. Наше с Элизабет счастье зависит от того, насколько серьезно мы отнесемся к нашим чувствам, которые, я уверен, никогда не изменятся. Они могут стать для нас источником вечного блаженства или до конца дней причинять нам страдания. Впрочем, зачем я это объясняю, если на самом деле хочу сказать, что, если мы любим друг друга — а мы друг друга любим, — ни одна сила на земле ее у меня не отнимет и рано или поздно она станет моей; наша разлука причиняет мне невыносимые муки, терпеть которые уже нет сил.

Смогу ли я пожать руку человеку, из-за которого погибла моя мать, и жить с ним

рядом как с другом и близким родственником? — продолжал он. — Я должен принести эту жертву ради Элизабет; смогу ли я забыть об осуждении общества и собственных естественных побуждениях и даровать ему абсолютное прощение, и позволят ли мне это сделать?

Признаюсь, дорогая миссис Рэби, я моментально проникся к Фолкнеру восхищением, когда увидел, как он терпит самое глубокое унижение, с которым только может столкнуться человек. Он был закован в кандалы, как преступник, но лицо его хранило достоинство и было преисполнено благородного превосходства над остальными смертными, взгляд был спокоен, но пронизывал насквозь, а голос рассудителен. Такими людьми полнится рай, куда с большей охотой допускают благородных кающихся грешников, чем тех, кто всю жизнь бездумно соблюдал узкий свод моральных правил и никогда не ошибался, потому что никогда ничего не чувствовал. Я прощаю его от всего сердца ради своей матери. Я не передумаю; я буду и впредь ценить его

достоинства и прощаю его за весь вред, что он мне причинил, но можно ли объявить о моем решении во всеуслышание? Станете ли вы меня презирать, если я это сделаю? Если станете, моя судьба решена: я потеряю Элизабет и навсегда уеду из Англии; куда — неважно.

Но прежде чем вы примете решение, вспомните, что этот человек наделен высшими добродетелями. Он любил и уважал мою мать и сполна расплатился за свои деяния. Я прихожу к выводу, что с Фолкнером нас связывает намного больше, чем с любым другим человеком, который не знал мою мать и для кого ее имя ничего не значит и не пробуждает воспоминаний и сожалений; ведь он был другом ее детства, любил ее долго и преданно; собственно, безумная любовь и толкнула его на преступление.

Я чувствую, что вместе с ним мы сможем оплакать ее несчастную судьбу и при этом я уже не стану проклинать его за то, что он стал причиной трагедии. Нет, к такому человеку никто не может остаться равнодушным; уверен, если мы

сблизимся, его благородные качества завоюют мое самое горячее расположение; не будь моя мать его жертвой, я бы с радостью обратился за советом к Руперту Фолкнеру и высоко бы ценил его мнение. Его имя — вот что стоит между мной и милосердием и одновременно лишает меня любви и надежды.

Мои мысли бессвязны, ведь я пишу все, что приходит в голову; спутанный лабиринт доводов, в котором я прошу вас найти верную дорогу. Что бы вы ни решили, я постараюсь вас послушаться, но еще раз умоляю: не спешите. Если от вашего решения пострадаю не только я, но и Элизабет, смогу ли я исполнить приговор, который обречет ее на муки, подобные тем, что сейчас терзают мое беспокойное сердце? Никак нет; я скорее покину этот мир, чем причиню ей хоть каплю страданий. Мы втроем найдем далекое убежище и будем счастливы, невзирая на осуждение света, и даже ваше неодобрение нас не остановит».

Сердце Фолкнера переполняли чувства, когда

он читал эти строки. Он не мог не восхищаться прямотой Невилла и был растроган его пылкой добротой по отношению к себе, но гордость оказалась сильнее сожалений, и он немедленно сел писать решительный ответ. Все его существо противилось мысли, что Джерард и Элизабет из-за него пострадают, и он написал:

«Вы обратились за советом к миссис Рэби, но позвольте мне ответить на ваше воззвание и решить этот вопрос. У меня есть на это полное право: миссис Рэби очень добра, но никто не тревожится о благополучии Элизабет сильнее меня.

Привязанность, которую Элизабет испытывает к вам, безусловно, не ослабнет до конца ее дней, ведь ее верное сердце не способно измениться; таким образом, ее счастье зависит от вас, и вы должны принести жертву, чтобы его обеспечить. Приезжайте в Беллфорест, и я благословлю вас; вот все, о чем я прошу; после этого вы больше никогда меня не увидите, обиженный и обидчик навсегда расстанутся; обо мне не беспокойтесь, я в силах вытерпеть все, что мне уготовано. Вы же

должны компенсировать моей милой дочери все, чего она лишится с моим уходом, взять на себя не только роль мужа, но и отца и отзываться обо мне всегда ласково — иначе ее сердце будет разбито.

Никто не должен знать о нашем плане; я не привык таиться и обманывать, но ради Элизабет готов себе изменить. Миссис Рэби нельзя доверять; лишь мы с вами любим Элизабет так горячо, что готовы пожертвовать собой ради ее счастья. Она тоже не должна ни о чем догадаться; ради ее же блага пускай она никогда не узнает, что мы ее обманули. Нет ничего странного в том, чтобы после свадьбы отец и дочь ненадолго разлучились; потом мы сделаем так, чтобы эта разлука затянулась на неопределенный срок; а скоро она отвлечется на новые обязанности и забудет обо мне.

Прошу, приезжайте немедленно, несколько дней потерпите рядом с собой виноватого Фолкнера и тем самым заслужите мое самое драгоценное сокровище. Не бойтесь, я не стану задерживать свой отъезд ни на минуту дольше необходи-

мого; как только Элизабет станет вашей женой, я уеду за океан. Исполнив мое желание, вы не навлечете позор на себя или свою невесту: мисс Рэби не носит мою проклятую фамилию. Я прошу лишь действовать безотлагательно; мне трудно скрывать истинные чувства, находясь рядом с моей дорогой Элизабет, поэтому прошу, сделайте так, чтобы мне не пришлось долго ее обманывать.

Я без колебаний и с огромным удовольствием препоручу Элизабет вашим заботам. Вы ее заслужили; ваше великодушие поможет смириться с ее привязанностью ко мне и горем из-за нашей разлуки. Только, молю, никогда не отзывайтесь обо мне плохо. Когда вы поймете, что больше меня не увидите, вам будет легче забыть, чего я вас лишил; старайтесь помнить лишь о том, что вы приобрели, и радоваться, что Элизабет отныне ваша».

Глава LII

Настал прекрасный месяц май; нежные зеленые листочки воздушной дымкой окутали серые ветки; лунными ночами заливались соловьи, а на рассвете к ним присоединялся целый пернатый хор. Луга устилал вышитый ковер из самых благоуханных весенних цветов, а поля зеленеющей кукурузы с тенями облаков сверкали на солнце, как озерная гладь. В такую пору сердце полнилось надеждой и ликованием, но Фолкнера вновь стали одолевать тревоги, о чем свидетельствовал его хмурый взгляд исподлобья. Он стал избегать даже общества Элизабет и катался верхом без нее, а вечера проводил в уединении в своей комнате. Впервые в жизни Элизабет была им недовольна. «Я всем ради него пожертвовала, — думала она, — и все равно он несчастен! Одна лишь любовь носит скипетр и правит безраздельно; другие чувства прислушиваются к голосу разума, который оспаривает их власть и требует ее раздела; так мы становимся мудрее, но, увы, низвергаем с трона чувства, лишая их всевластья. Я не могу осчастливить Фолкнера,

но теперь и Невилл из-за меня несчастен, и этим мукам не видно конца; впрочем, я не намерена нарушать свой обет и вовсе этого не желаю».

Однажды в теплый погожий день Элизабет отправилась прокатиться с кузинами; миссис Рэби решила вывезти свекра на прогулку в фаэтоне, запряженном пони. Фолкнер ненадолго ушел из дома, затем вернулся; прошло несколько дней с тех пор, как он отправил Невиллу письмо, но до сих пор не получил ответа. Он ощущал смятение и грусть, но одновременно радовался отсрочке разлуки. Внезапно через стеклянную дверь гостиной он увидел мужчину, скакавшего к дому по аллее, узнал его и воскликнул: «Все кончено!» В тот момент он мысленно перенесся в чужой край и представил себя в окружении чужих людей, вдали от всего, что было ему дорого. Такова была расплата за приезд Джерарда Невилла, ведь именно он был гостем, который, спешившись, через несколько минут вошел в дом.

Он подошел к Фолкнеру, протянул руку и произнес:

— Давайте подружимся, мистер Фолкнер; с этого момента мы должны вести себя как друзья. Объединим усилия ради счастья самого драгоценного и безупречного создания на этом свете.

Фолкнер не смог пожать ему руку; он вдруг стал холоден, но поспешно отвечал:

— Надеюсь, так и будет; мы должны действовать сообща, только так мы добьемся успеха.

— Но есть еще один человек, с кем нужно посоветоваться, — продолжил Невилл.

— Миссис Рэби?

— Нет! Сама Элизабет. Она одна может решить, как лучше поступить; она одна подскажет правильный путь. Во мне можете не сомневаться; я знаю, что она выберет, и готов последовать ее решению. Думаете, я смог бы ее обмануть? Попросить ее руки, став самым счастливым человеком на свете, но сделать это с помощью обмана? Будь я способен на такой поступок, я был бы ее недостоин. — Невилл продолжал: — Однако, по всей истине, я бы не стал советоваться и с Элизабет; я все решил, теперь дело за вами. Я приехал к вам, мистер Фолкнер, просить руки вашей приемной дочери, но не собираюсь вас с ней разлучать; я возненавижу себя, если стану причиной ваших и ее страданий. И если мне понадобится объяснить мой поступок миру, я сошлюсь на вас; вы мое оправдание, мне больше ничего не надо объяснять. Ради счастья мисс Рэби мы должны объединить усилия и, полагаю, оставаться дру-

зьями до конца своих дней.

— Вы очень великодушны, — ответил Фолкнер, — и, пожалуй, справедливы. И я не был бы недостоин называться вашим другом, если бы вы были кем-то другим, а не самим собою.

— Именно потому, что я тот, кто есть, я смею столь самонадеянно предлагать вам свою дружбу.

В этот момент на лужайке послышались легкие шаги, и на пороге возникла Элизабет. Увидев Фолкнера и Невилла вместе, она замерла в изумлении; вскоре ее удивление сменилось неприкрытой радостью, а лицо, отражавшее все, что творилось в ее душе, засияло от счастья. Фолкнер повернулся к ней и произнес:

— Элизабет, позволь представить тебе моего друга; оставлю тебя с ним, он объяснит цель своего визита. Я же лишь скажу, что в моих глазах он не связан только что сказанными словами; вы вместе должны посовещаться и все решить, исходя из соображений взаимного счастья; это мое единственное условие, на котором я настаиваю. Будьте счастливы и, если понадобится, забудьте обо мне; я готов сам о себе забыть и сделаю это с большим удовольствием.

С этими словами он покинул комнату, а они, не

сговариваясь и будто боясь, что кто-то им помешает, вышли на лесистую поляну и, прогуливаясь под сенью прекрасных вязов на поросшей молодой травой лужайке, признались друг другу в самых потаенных чувствах и помыслах. Невилл объявил о своем решении не разлучать ее с благодетелем.

— Я не боюсь осуждения света, — промолвил он, — я к нему привык; чужое мнение никогда меня не волновало, я не сворачивая продолжал идти к цели. Я поступаю правильно, как велит мне сердце; даже Господь вознаграждает кающихся, и с точки зрения религии и морали мои поступки оправданы, а уж соответствуют ли они кодексу светской чести — пусть решают другие; по мне, так они ничем ему не противоречат. Раньше я думал, что должен вызвать Фолкнера на поединок, но месть моего отца воспрепятствовала этому. Теперь в глазах всего света он невиновен; все знают, что он стал причиной смерти моей матери случайно. В стародавние времена рыцари после честного сражения становились друзьями, уважая друг друга за проявленное мужество. Мы с Рупертом Фолкнером — как те рыцари, а с тобой, Элизабет, мы объединим усилия и поможем ему забыть о прошлом и прожить много лет в счастье

и безмятежности.

В ответ Элизабет могла лишь смотреть на него с благодарностью; она чувствовала, что не надо ничего говорить и тем более спорить. Великодушие Невилла было понятно всякому, кто знал Фолкнера; одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что, прощая этого человека, любящий и преданный сын не осквернял память матери, ведь сам Фолкнер боготворил ее как ангела и искупил свою ошибку годами невыразимых мук. Невилл не сомневался, что поступает правильно, и не искал чужого одобрения; он хотел заручиться одобрением лишь одного человека — Элизабет, чье сердце, растроганное его благородством, щемило от любви и благодарности; она попыталась их выразить, но, к счастью, влюбленные не нуждаются в словах, чтобы передать невыразимое. Невилл ощутил ее глубокую признательность, и не было во всем свете более счастливой пары, чем эти двое; они шагали рядом, взявшись за руки, и в их сердцах, как и над головой, ясно сияло солнце; под сенью величавого тенистого леса Беллфореста они наслаждались благодатным часом любви, первым из многих в их вечном союзе.

Все, что раньше казалось трудноосуществи-

мым, свершилось легко. Никто из них не искал оправданий выбранному пути. Они просто знали, что не могут поступить иначе. Элизабет не могла предать Фолкнера; Невилл не мог от нее отречься; их компромисс казался странным, но по-другому быть не могло: несмотря на все трагические и злополучные обстоятельства, что должны были их разлучить, этим троим суждено было остаться вместе на всю жизнь.

Даже леди Сесил признала, что выбора не было. Невилл не мог отказаться от Элизабет; слишком ценным та была сокровищем, чтобы добровольно от нее отречься. Через несколько недель, в назначенный день бракосочетания сэра Джерарда Невилла и мисс Элизабет Рэби, леди Сесил явилась в Беллфорест и с неподдельным удовольствием увидела, как двое ее друзей, которых она ценила и любила больше всего на свете, наконец скрепили свое счастье законными узами. А доброе сердце миссис Рэби снова порадовалось, что ее вмешательство привело к такому удачному концу.

Читатель этой истории может и не согласиться, что столь сложный вопрос должен был решиться именно так, а не иначе; однако произошло именно это, и ни одна женщина, увидев Руперта

Фолкнера, не посчитала бы решение Невилла несправедливым или необдуманным; а всякому мужчине достаточно было один лишь раз взглянуть на Элизабет, чтобы утвердиться в том же мнении.

На долю Фолкнера выпало ровно столько счастья, сколько способен испытать человек, чей ум отмечен незаживающей раной греха. Он покаялся и заслужил прощение на земле и — хочется верить — на небесах. Себя он так и не простил, и только это омрачало его судьбу — единственная тень, от которой он так и не смог избавиться; но благодарность, которую он испытывал к окружающим, и ласковая кротость, взращенная чувством, что с ним обошлись более благосклонно, чем он того заслуживал, стали компенсацией за воспоминания, в которых он вечно оплакивал могилу Алитеи.

Что до Невилла и Элизабет, их счастье было безраздельным. Им не было дела до светского общества, но, когда они вышли в свет, их достоинства вызвали всеобщую симпатию и уважение; они радовались друг другу, своей растущей семье и Фолкнеру, к которому, как верно заметил Невилл, было невозможно относиться с равнодушием. Они бесконечно восхищались его

просвещенным умом, безупречной нравственностью, взращенной пережитыми страданиями, и глубочайшей привязанностью к ним обоим. Они жили в изобилии и могли не ограничивать себя в щедрости, а добродетели помогали отыскать правильный путь в запутанном лабиринте жизни. Они часто бывали в Дроморе, но жили в Бакингемшире, и Фолкнер купил виллу поблизости. Он вышел на покой, коротал дни за книгами и размышлениями и стал настоящим мудрецом. Но сердце его оставалось неизменным, и больше всего на свете его радовало общество обожаемой Элизабет, Невилла, которого он полюбил так же сильно, и их прекрасных детей. Рядом с ними он ни разу не вспомнил, что их не связывали кровные узы; он любил их как родных детей и внуков. Так время шло, и ничего не менялось; так они живут до сих пор, и Невилл ни разу не пожалел о спонтанном поступке, который привел его к дружбе с тем, чьи действия принесли ему несчастья в детстве, но без кого его взрослое счастье было бы неполным.

Истина, или Воспитание сердца *(Любовь Сумм)*

«Фолкнер», опубликованный в 1837 году, принадлежит к числу поздних произведений Мэри Шелли. Викторианская эпоха уже успела сменить романтическую, в которую был создан чрезвычайно яркий, на века прославивший писательницу вымысел. Окружение Мэри Шелли в 1816 году, когда ей привиделся «Франкенштейн», составляло дворянство — пусть обедневшее или бунтующее; основной аудиторией были девушки и женщины из благородных семей и их преданные молодые родственники, читавшие вслух или сами баловавшиеся пером. Но к 1837 году островное королевство заметно обуржуазивается. Избирательная реформа 1832-го существенно расширила политические права среднего класса и укрепила в этом сословии интерес к образованию для детей, к собственному чтению, в особенности направленному на понимание законов общества и человеческих чувств, иначе говоря, к чтению романов. И в «Фолкнере» некая просветительская задача ощутима — не только

на уровне воспитания молодой героини, о чем немало сказано впрямую, но и в подробных описаниях различных общественных механизмов, в которых новым читателям предстояло разобраться. Например, развод через суд палаты пэров; уголовный суд и работа полиции («Фолкнер» еще не детектив, но, как и у Диккенса, чувствуется, что широкий читательский спрос вот-вот пробудит к жизни этот жанр); осторожно затронутый католический вопрос: родственники героини принадлежат к этому вероисповеданию, что усиливает их клановую замкнутость. Само воспитание героини, в особенности образовательное путешествие, также входит в круг интересов расширяющегося образованного и деятельного общества. Одновременно с Мэри Шелли этими темами займется целая плеяда авторов, на пятки наступает Диккенс: очерки и «Посмертные записки Пиквикского клуба» уже вышли в свет к моменту появления «Фолкнера», в следующие два года появятся «Оливер Твист» и «Николас Никльби». Но Диккенс — реалист (с поправкой на сатирические преувеличения), а Мэри Шелли и в лишенном фантастических элементов «Фолкнере» сохраняет преемственность с романтизмом и готическим романом своей юности, поэтому

начнем с нескольких слов об этих истоках ее творчества.

Для всего мира Мэри Шелли — в первую очередь автор «Франкенштейна». Имя это стало нарицательным до такой степени, что создателя чудовища, всеевропейского голема, путают с самим чудищем, и нередко франкенштейном обзывают кого-то, кого считают искусственным, нежизнеспособным созданием, или — в зависимости от того, к каким толкованиям более склонна эпоха, — зомби, роботом, сейчас, пожалуй, и ботом, ИИ.

Раннее произведение Мэри Шелли, написанное очень молодой женщиной, едва отгремела эпоха Наполеоновских войн, воспринимается как кладезь архетипов, к которым то и дело обращается беспокойная мысль. И не только в сюжете дело: создание искусственного человека, взбунтовавшегося против создателя и губящего все, что этому создателю дорого, — само по себе не столь уж небывалый мотив. Поименованный выше голем, творение еврейских мудрецов, к разрушениям также был склонен и против своих творцов мог восстать. А вообще тема искусственных существ, заведомо опасных, ибо жизнь, а тем более жизнь человекообразную дает лишь Создатель,

простирается достаточно далеко и в прошлое, до этой образцовой книги, и в будущее — наше и то, которое мы живописуем своей фантазией. Более, чем сам сюжет, бессмертие «Франкенштейну» обеспечивают умело расставленные знаки: роман этот — рай для исследователей, приверженных семиотике (далее мы убедимся, что пристрастие к значимым именам писательница сохранила и в поздних работах). Само имя «Франкенштейн», «вольный камень» с немецкого, отсылает к масонам, «ереси» человека, создающего самого себя и соперничающего с Богом. Второе название, «Современный Прометей», намекает на стремление тех же масонов, а также ученых и просветителей облагодетельствовать человечество новыми открытиями, как в древнегреческой мифологии поступил Прометей. Титан принес людям огонь; современный Прометей пускает в ход электричество. Оба своими открытиями лишь приумножили бедствия людей — и свои несчастья.

Титанизм, вызов условностям мира, проявится и в «Фолкнере», но бунт становится локальным. Герой противопоставляет свою страсть законам света, обычаям религии, желаниям любимой, ее материнству — и губит бедную Алитею, разуме-

ется, — однако не замахивается на мироздание в целом, а в конце романа признаёт все то, против чего восставал. И такое укрощение бунта, его локализация, а затем и разрешение без череды новых и новых жертв — важный итог творчества Мэри Шелли. От полета фантазии и борьбы категорических противопоставлений она движется к уровню человеческих трагедий и возможности благополучной развязки.

В скобках о благополучной развязке. Само клише «хеппи-энд» звучит пренебрежительно, мол, это что-то на потребу невзыскательного читателя. Трагедии XX века усилили нашу подозрительность к благополучию, в «настоящей» книге оно вроде бы неуместно. Однако в самом истоке наших трагических представлений о жизни — собственно, в древнегреческой драме — хеппи-энд, то есть избежание катастрофы, физическое сохранение персонажей и восстановление нормальной жизни, случается. У Эсхила это происходит через суд, освобождающий Ореста от кары за матереубийство, и суд сам превращается в величественную трагедию. У Еврипида, более других великих трагиков склонного представлять мир как хаос, а человека — игрушкой жестоко-легкомысленных богов, из пережитого

ужаса рождаются трагедии с благой, почти что комической развязкой. Ион в одноименной трагедии избег судьбы Эдипа или Ореста, а его мать не стала по неведению Медеей — незаконное и уже выросшее дитя подсунули в качестве наследника доверчивому отчиму; Алкеста, в опять же одноименной трагедии, жертвует собой ради мужа, но Геракл, прервав ненадолго пир, выводит героиню из царства мертвых, и все, включая зрителей, могут предаться веселью, выпивке и обжорству. Так что к хеппи-эндам стоит присмотреться: порой это не дань низовому запросу на уход от катастрофы, а дорогой ценой, из крайностей и катастроф, обретенное равновесие. К такому равновесию Мэри Шелли приходит в самом конце «Фолкнера», прожив не только этот роман, но и весь путь от не находящих разрешения на земле предельных конфликтов «Франкенштейна», «Последнего человека» и «Матильды».

Имя Франкенштейна само заключает в себе крайности, ибо может быть прочитано вовсе не как намек на вольных каменщиков, а как «Франков камень»: «камень», «штайн» — частый элемент в названиях старинных феодальных крепостей. Супруги Шелли проезжали поблизости от вполне реального замка Франкенштайн — и это

опять же искусство писательницы: выхватывать из жизни реалии и наполнять смыслами. А еще можно счесть этот «камень» камнем франков: до границы же с Франконией от основанного Карлом Великим Ингольштадта, куда поехал учиться современный Прометей, менее ста километров. То есть можно увидеть некое родство между Франкенштейном и городом его прометеева подвига; причем город этот — и местная столица Контрреформации, и штаб иллюминатов, тех самых просветителей — борцов против религии, к которым тяготел муж Мэри. Традиции, «косность» — и вольность, бунт — в одном имени.

Франкенштейн — швейцарец, уроженец страны, в начале XIX века еще довольно дикой и бедной, но действительно вольной, республиканской и веротерпимой не за счет сглаживания противоречий, а за счет соединения крайностей: тут жили преданные католики, из которых набиралась гвардия римского папы, и самые жестоковыйные протестанты, кальвинисты, верившие в предопределение, обреченность большинства людей аду и спасение лишь горстки, пристально следящей за каждым шагом, своим и соседей. И вот из этой довольно-таки гремучей смеси рождается человек XIX века — не романтический

поэт, но ученый, экспериментатор, отважно гальванизирующий сшитый из туловища и членов казненных преступников труп. Да, тут мы можем найти что угодно, вплоть до Булгакова, и на том не остановиться. Неожиданно для начала XIX века, ведь наука еще только-только раскачивалась и опыты с электричеством еще не вели к освещению домов или решению других практических задач. Такая отвага, вызов Творцу, — из студенческой жажды превзойти профессоров. Мотивация, которую разрабатывает Мэри Шелли, — вот что опередило свой век. И совершенно осознанная угроза техногенных катастроф, последствий того, что натворит человек, вздумавший, будто он ничуть не глупее Бога.

Такое же предостережение звучит и во второй книге Мэри Шелли — «Последний человек»: мир гибнет от войны, мародеров, чумы. И если во «Франкенштейне» несчастья обрушиваются лишь на семью незадачливого изобретателя, тут уже тотальная эпидемия. В финале обеих книг вырастает великий символ одиночества: Франкенштейн и его творение растворяются в безбрежных снегах Арктики; последний выживший, Лайонел, приходит в обезлюдевший Рим и пишет там историю гибели мира, не ведая,

сыщется ли когда-нибудь для нее читатель.

Это еще одна важная черта ранних романов Мэри Шелли: рассказ от первого лица, помещенный в контекст «писем в никуда». Франкенштейн исповедуется перед капитаном полярного судна, который пишет письма далекой невесте, — но корабль заперт во льдах и надежды вернуться почти нет, да и какой голубиной почтой могли бы эти письма попасть в руки адресата? И Франкенштейн, и Лайонел потому и принимаются повествовать, что потребность выговориться огромна, а смерть — со всех сторон. Условность же такой «рукописи, найденной в бутылке» и неведомо как из небытия попавшей в руки автора, — обычный прием готической и романтической литературы. Так же и последний роман того периода, «Матильда», в основном состоит из письменной предсмертной исповеди заглавной героини.

Эти романы были написаны Мэри в короткую пору ее супружеской жизни, а все остальное, включая только что прочитанную нами книгу, — после гибели Перси Биши Шелли. Поздние произведения так заметно отличаются и стилем, и посылом, что нам придется немало постараться, чтобы обрести цельный образ автора и понять,

как и почему ранние вещи соединяются с тем, что написано после, и где в центре этого разнообразия «та самая» Мэри Шелли.

Обстоятельства написания «Франкенштейна» сами по себе добавляют магнетизма (выразимся на тогдашний лад) знаменитому тексту. 1816 год, только что закончились Наполеоновские войны, перекроена карта Европы. Мощнейшее извержение вулкана изменило в тот год погоду на континенте: на вилле Диодати Байрон и компания, в которую входили супруги Шелли, мерзли посреди лета. Немыслимые, тектонические сдвиги. Менялось представление о Европе, о патриотизме, о свободе. Вскоре — но еще не сейчас — начнутся национальные революции, и романтизм для Байрона превратится в борьбу за освобождение Эллады (надежду погибнуть, сражаясь за правое дело, то есть за греков, Мэри Шелли подарит и Фолкнеру). Пока романтизм — еще смутное и всеохватывающее бунтарство, и мужчины отдаются ему с упоением и тоской. А Мэри уже провидчески чувствует и творческую силу романтизма — если он приложен к некоему делу, если соединен с любовью и самопожертвованием, не сводится к «для себя лишь ищешь воли», как сформулировал Пушкин, — и

его опасность, даже губительность, если сила чувств превратится в индульгенцию. И не так уж важно, какие именно чувства разгуляются: жажда познания, честолюбие, потребность во власти или в трех картах, а может, то, что принимают за любовь. Если силой чувств романтик оправдает любые свои грехи, если способность чувствовать причисляет его к элите человечества, возносит над теми, кто этой способностью обладает в меньшей мере, — тут-то и возникает гальванизированный труп, претендующий быть человеком, или чума, превращающая в трупы только что дышавших людей.

Вскоре на нее и впрямь обрушатся утраты, одна за другой. В итоге почти все умирают: и дети, рожденные Мэри; и Аллегра, незаконная и всеми любимая дочь Байрона; гибнет в море нежный поэт и плохой пловец Перси Биши Шелли. Но все это лишь предстоит. Откуда же эта печаль, Диодати?

Диодати — название, придуманное Байроном вместо трезвенного Бель Рив, «красивый берег», вроде бы в честь владельцев, но уж слишком пророчески: «данные Богом». Компания очень молодых людей была собрана воедино любовью, богоборчеством, смертоносной романтикой. Мэ-

ри Шелли, в ту пору еще Мэри Годвин, бежала с Шелли, состоявшим в романтическом браке с некоей Харриет: детки убедили друг друга, что их притесняют. Ему было едва девятнадцать, Харриет шестнадцать, они оформили брак в Шотландии, родили девочку и через пару лет, получив родительское прощение, подтвердили брак по английским законам и зачали мальчика — буквально за месяц до того, как Шелли объяснился с Мэри. Параллельно у Шелли были романы, платонические влюбленности, обретения родственных женских душ, попытки жить коммуной. На этот раз шестнадцать лет было Мэри, Перси Биши — зрелых двадцать два, и они бежали уже всерьез, поскольку на родительское прощение рассчитывать не могли, да и законы Англии к прелюбодеям относились сурово. Были неудачные роды, были младенческие смерти, потом появился на свет здоровый мальчик, но наследником Шелли и его предков-баронетов будет тот, от Харриет. На момент, когда Мэри писала «Франкенштейна», она была в глазах света и закона любовницей Шелли; ее сводная сестра Клэр пыталась стать любовницей то Шелли, то Байрона (и в итоге родила бедняжку Аллегру), а врач Полидори, создавший первого Вампира,

был влюблен то ли в Байрона, то ли в себя — в любом случае безответно. В конце того же года Харриет утопится в Серпентайне, что почти невозможно в мелком парковом водоеме, и Мэри станет законной женой Шелли — менее законной в собственных глазах, чем была до того, пока за соблюдение ритуала не пришлось заплатить жизнью, тем более чужой.

Бунтарка Мэри была привержена вечным ценностям: любить, доверять, сохранять, а не губить живое. Такое с бунтарями случается, ведь зачастую бунтари — дети. И старшим они предъявляют не новые, неслыханные понятия, а их же, родительские, только с юным пылом. Чудовище Франкенштейна тоже стремилось прежде всего к любви и обращалось к своему «родителю» с кроткой мольбой создать подобную ему женщину. Когда же ему отказали в самом праве любить и быть любимым, то есть в праве быть человеком и просто живым существом, ведь «всякой твари по паре» — вот тут он и начинает губить жизнь, губить все, чего коснулась любовь его незадачливого творца.

Любовь, доверие и самый бунт Мэри Шелли имеют непривычный для нас оттенок: в них, сквозь них, всегда светят совесть и сострадание. В

ранних, знаменитых ее произведениях это порой почти незаметно, и все же внезапно кусает за сердце. Почему Виктор (Виктор! то есть «победитель») Франкенштейн отказал своему творению в праве иметь пару? Он уподобился Богу в креативности, создавая это существо, но весьма далек от любви Бога ко всему, им сотворенному (автор! а любишь ли ты сотворенных тобой персонажей? даешь ли им достаточно свободы и надежды? — в поздних книгах мы видим, как Мэри этому научилась). Почему Виктор Франкенштейн допустил, чтобы за убийство, совершенное его выкормышем, заплатила жизнью служанка? (Не себе ли этот вопрос, автор? кто заплатит жизнью за твою свободу, твое творчество?)

Через шесть лет после смерти Харриет утонет и Перси Биши Шелли — в море. Не эти ли две смерти соединила Мэри Шелли в «Фолкнере», погубив героиню в обычно безопасном, женщина вброд перейдет, протоке, наполнившемся бурной приливной водой? Имя этой женщины — Алитея, то есть «истина». Истина погибает первой — даже не в начале романа, а еще до его начала, в затакте. Как в пословице: первой в войне погибает истина. В войне самолюбий, самоутверждающихся любовей, извечной войне полов,

статусов, предрассудков, ценностей. Интрига романа (назовем так, ибо это не совсем сюжет, сюжет сложнее) заключается в поисках истины об Истине. И даже в буквальных поисках Алитеи — ни муж, ни сын не знают, где она, жива или мертва, их предположения относительно причин ее бегства или похищения, ее виновности или невиновности, ее судьбы совершенно превратны. Тот человек, который может раскрыть истину, — тот, кто последним видел Алитею как живой, так и мертвой, сам борется с различными интерпретациями произошедшего, не знает, осознанно Алитея рисковала жизнью, или под воздействием страха и отчаяния, или в полубреду; стократно переигрывает мысленно ситуацию: а если бы я не отлучился во время ее сна? а если бы по оплошности не разлучил ее с сыном? Он не в силах постичь истину о своих чувствах к Алитее, о ее чувствах к нему, о мере своей вины, о своем долге перед сыном погибшей. На осмысление этого понадобится почти весь объем романа.

Одной из пружин сюжета становятся многократные попытки Фолкнера то раскрыть истину, то ее утаить — в итоге истина, как в античной драме, устанавливается судом. И это вполне уместно, ведь «алитея» — древнегреческое слово,

и вокруг него должна совершаться эсхиловская драма суда. Кстати, для истины у греков было несколько слов, в том числе «этюмон», от которого образована «этимология», и неслучайно выбирается именно «алитея»: «этюмон» ближе к точному значению — «алитея» же означает «незабываемое». Как известно, текшая в царстве мертвых река Лета даровала забвение, приставка «а» в «алитее» это забвение отрицает. И такое значение имени опять же оправдывается: на всем протяжении романа Фолкнера терзает память и он отчаянно пытается забыть.

Выходит, интерес к говорящим именам, проявившийся в «Франкенштейне», Мэри Шелли сохраняет и в позднем своем творчестве. Но в эту пору в работе с именами появляется нечто новое: имена меняются на протяжении текста вместе с изменяющейся идентичностью персонажей. Элизабет, удочеренная Фолкнером, должна вернуть — и под конец романа возвращает — свою подлинную фамилию Рэби (впрочем, чтобы тут же сменить ее на «Невилл»). Фолкнер был Рупертом только для Алитеи и, возможно, только для той Алитеи, подруги своего детства, которой уже нет, которая превратилась в миссис Невилл. Также Фолкнер не опознает в подростке Джерарде сына

Алитеи и не противится его дружбе с Элизабет до тех пор, пока не прозвучит роковая фамилия Невилл.

Для каждого персонажа принципиальным становится вопрос, признает ли он свое имя, принимает ли, «врастает» ли в него. Таким образом «Фолкнер» оказывается — и об этом много писали критики, в том числе наши современники, — романом взросления, воспитания, в особенности воспитания чувств и взращивания своей идентичности, а не романом страстей и перипетий. Отсюда и возможность (но только возможность, надежда) благой развязки — итог процесса взросления.

Героев этой книги мы застаем в момент начала новой жизни, после катастрофического (именно катастрофического, тут уж без всякой благой развязки) обрыва жизни старой. Маленькая Элизабет совершенно одинока: умерли ее отец, изгнанный из своей семьи за неравный брак, и мать, которая не успела дописать письмо, вверяющее малышку единственной подруге — той самой Алитее. Девочка ежедневно отправляется на кладбище и проводит многие часы у могилы родителей, там же играет, разговаривает с матерью (отца она почти не помнит). Край этот настолько отдален от

всего, дик и уныл, что Фолкнер выбирает его для самоубийства. Там, на могиле матери Элизабет, эти двое и встречаются. Девочка останавливает самоубийцу; несостоявшийся самоубийца, разобрав бумаги, устанавливает имя ребенка, находит письмо к Алитее и понимает, что, погубив свою возлюбленную, лишил несчастную сироту шанса обрести дом. А значит, взять на себя заботу об Элизабет — что-то вроде компенсации или даже долга, завещанного погибшей. Так Фолкнер и Элизабет покидают царство мертвых и возвращаются в мир живых, заметно изменившись: Элизабет, хотя и помнит свою предысторию, считает Фолкнера отцом и носит его фамилию; Фолкнер пытается убежать от своего прошлого, и поначалу ему это удается — именно в той мере, в какой он вкладывается в будущее, в воспитание Элизабет.

Некоторое время они проводят в Англии, затем отправляются в путешествие, включающее и обычные центры паломничества по Европе, и хоть уже не экзотические для XIX века, но все же нетипичные места, в частности юг Российской империи. В планах Фолкнера чуть ли не покинуть в итоге европейский континент. Отчасти это подсказано практическими соображениями

— совершённое преступление может все-таки его нагнать, если останки Алитеи обнаружатся, — но в большей степени это романтическое бегство прочь из цивилизованного мира, от его ригидности, помешавшей идеальной любви «Руперта» и «Алитеи», как ему представляется. Когда же Фолкнер научается видеть в случившемся свою, и только свою вину, его, как Ореста в греческой трагедии, начинают преследовать эринии, богини отмщения, призраки нечистой совести. Бегство от себя, от своей совести, от раскаяния — тоже вполне романтический мотив, но все же иной, чем в ранних романах Мэри Шелли: персонаж перестает видеть архиврага во всем мире, в людях, и видит его в себе, в своей незабывающей памяти, во внутренней (инкорпорированной, сказали бы сейчас психологи) Памяти-Истине-Алитее.

Так в романтическом тексте возникает тема личностных изменений, перемен, воспитания чувств. И на этой теме автор сосредотачивается с пристальностью ученого, который ставит опыт и, в отличие от Виктора Франкенштейна, не отворачивается от своего творения, а день за днем тщательно фиксирует его уже самостоятельную жизнь. Современному читателю может показаться утомительной манера Мэри Шелли

постоянно и иногда в схожих выражениях описывать происходящее в душе Элизабет и заглавного героя — хотя и в глазах современного читателя радикальность, неожиданность и отрадность перемен под конец книги, уж наверное, искупит эти повторы. А если приглядеться, то вовсе это не автоматические повторы: да, Фолкнер многократно переживает одно и то же, и передается это в схожих словах, но тем самым как раз подчеркивается его зацикленность, фиксация, как сказали бы спустя полвека, на травме. Его душа омертвела, в ней нет жизни; психологические процессы, даже такие сильные, как отчаяние, попытки стереть свое прошлое или уничтожить самого себя, протекают однообразно — до тех пор, пока он не оживет, пока не произойдет подлинное раскаяние, которое и означает перемену ума. Нет полной перемены ума — нет изменений в описаниях побуждений и эмоций. Но и для Фолкнера эти описания долго меняются по чуть-чуть, на уровне одного эпитета, добавленного слова, оттенка — ведь именно так и совершаются перемены в душе: долго копятся, а затем и в жизни, и в романе происходит драматический переворот.

Современникам же Мэри Шелли эти пассажи не казались затянутыми: пока не изобрели кинема-

тограф, никак иначе невозможно было передать то, что кино приучило изображать теперь уже и в книгах: черточкой, жестом, мимикой. Однако и среди современников находились проницательные, замечавшие необычность, нестабильность этих описаний. Критики же конца XX века осмыслили это как открытие писательницы, как тонкую игру на противопоставлении привычных механистических описаний должных и ожидаемых чувств и новаторской передачи чувств, меняющихся в развитии, поддающихся влиянию и в свою очередь влияющих на других людей.

Так и маршрут путешествия обозначен достаточно схематично, порой сводится чуть ли не к перечню. Выделяются в нем гувернантки и учителя, которых Фолкнер подбирает Элизабет на каждой станции. Опять же исследователи отмечают, что характеристики этих третьестепенных персонажей достаточно варьируются, чтобы полностью избавить нас от подозрения, будто многократные описания чувств главных героев монотонны из-за недостаточности таланта писательницы или ее усталости: как-никак «Фолкнер» написан под конец ее творческой карьеры. Все у Мэри Шелли прекрасно получается, в том числе и разнообразные, и нюансированные портреты

внешности и души — когда ей это надо. Но как маршрут путешествия обозначен пунктирно (а уж она могла бы развернуться с описаниями городов и пейзажей, и умела это, и неоднократно выпускала коммерчески успешные травелоги), так пунктирно и странствие души до тех пор, пока не приведет каждого из героев к самому себе и всех — друг к другу.

От момента расставания с Англией до момента возвращения путь души совершают и Фолкнер, и Элизабет (а позднее выяснится, что и Джерард Невилл). Духовное развитие Фолкнера и его приемной дочери описывается как два отдельных, но тесно переплетенных процесса; эти спирали можно сравнить с молекулами ДНК, которые в своем переплетении образуют новое и живое. Это новое и живое — и сама выросшая Элизабет, и ее отношения с Фолкнером, которого девушка считает отцом именно потому, что он ее воспитал, то есть помог ей стать той, кто она есть; это и воскресающая душа Фолкнера, и обретенная истина, и брак Элизабет и Джерарда — все, к чему приведет нас в итоге книга, окажется живым, потому что пройдет через омертвение, однообразие чувств.

Фолкнер совершит несколько попыток воскреснуть. Удочерение Элизабет станет первой, и

некоторое время энергия доброго дела поможет ему продержаться. Это — и само путешествие, в котором расстояние между героем и его преступлением увеличивается, позволяя ему обдумывать произошедшее с некоторой дистанции и пытаться уже не реактивно вычеркивать и свое прошлое, и самого себя в акте самоубийства, но искать способы примириться с собой. И то, как растет его заботами Элизабет, тоже помогает Фолкнеру существовать, поскольку он видит свою полезность, необходимость, а еще потому, что Элизабет взращивает в себе ключевое свойство, которое и станет главной пружиной романа: сочувствие.

Эта книга все же не является в точном смысле слова романом воспитания: нам показывают развитие души Элизабет через перечень укрепляющихся в ней чувств, но чему учили, по какой методике эти сменяющиеся учителя и гувернантки, мы не знаем, нам вовсе не предлагают в оболочке художественного чтения очередную педагогическую утопию. Элизабет достигает в своем развитии определенной точки, и тогда происходит кардинальная перемена души и участи и для нее самой, и для Фолкнера, и для Джерарда Невилла. В первый раз это происходит при встрече Элизабет — еще девочки — с подростком Джерар-

дом. Джерард дик и нелюдим, Элизабет с трудом укрощает его, вслух и каждым своим поступком выражая понимание, что поведение Джерарда вызвано травмами его прошлого (мальчик растет без матери и с суровым, отчужденным отцом) и что его человеческий потенциал прекрасен и непременно проявится в большей мягкости и отзывчивости. Но цепочка эпизодов, ведущая к детской облагораживающей дружбе, обрывается: Фолкнер осознает, кто этот мальчик, — осознает, что это он, Фолкнер, сделал его полусиротой, дикарем, погубил того Джерарда, каким тот должен был стать, каким воспитывала его обожающая мать.

Последствия для Фолкнера: он вновь ввержен в отчаяние и желает погубить себя, но все же произошел определенный сдвиг по сравнению с началом книги: он не желает совершить самоубийство, умереть как отверженный, но жертвует свою жизнь на алтарь греческой свободы. Кроме того, он оставляет запечатанное письмо с полным признанием: гордость не позволяет ему признаться во всеуслышанье, отдать себя на милость ненавистному супругу Алитеи, но появляется потребность раскрыть истину хотя бы после своей смерти.

Последствия для Джерарда: мы надолго теряем его из виду, но встретим снова по воле случая, когда он придет на помощь Элизабет, пытающейся спасти раненого, почти умирающего Фолкнера и вывезти его из Греции на родину. Довольно скоро мы убедимся, что мальчик-дикарь превратился в сдержанного и сострадательного юношу и что в эту сторону его направила встреча с Элизабет.

Последствия для Элизабет: она словно бы не изменилась. Снова и снова Мэри Шелли подчеркивает ее преданность Фолкнеру, ее неизменность, и только ее телесное здоровье истощается почти до предела, уходит на то, чтобы не дать названому отцу погибнуть физически, — но вскоре мы убедимся, что еще больше она вкладывается в его нравственное возрождение.

Следующий акт — Англия. Невилл ухаживает за Элизабет, сводная сестра Невилла рассказывает Элизабет его историю. Юноша не чувствует себя вправе любить Элизабет так, как уже готов ее любить, пока не исполнит свой долг перед матерью: не установит истину, не выяснит, жива она или мертва, не очистит ее имя. И когда об этом узнаёт Фолкнер, он осознаёт свой долг перед Алитеей, ее сыном и своей названой дочерью: дать Алитее покой и посмертную реабилитацию — восста-

новить душевный покой ее сына, — а Элизабет вернуть ее истинное имя, поскольку Элизабет Рэби может выйти замуж за Джерарда Невилла, а Элизабет Фолкнер не может этого сделать.

Мы подробно проговариваем эти два узловых момента романа, поскольку именно в них проявились обозначенные выше свойства позднего творчества Мэри Шелли: способность к изменениям — перемена имени — врастание в настоящего / настоящую себя. Но с того момента, как Фолкнер делает свое признание — в письменном виде, текст в тексте, эго-документ внутри авторского повествования, — роман обретает новые измерения: сам роман полностью врастает в настоящего себя.

Исповедь Фолкнера создает полифонию. Есть история Алитеи, ее мужа и сына, рассказанная сводной сестрой Джерарда, — и есть исповедь Фолкнера; они дополняют друг друга. Мы узнаём и что чувствовал, из какого ощущения своего права действовал Фолкнер, и как он переживал и переосмыслял случившееся. Мы узнаём, как его действия отразились на тех, о ком он первоначально и думать не хотел. И мы обнаруживаем целую сеть человеческих взаимодействий, которую ни один человек не в состоянии охватить

мысленным взором, когда решается на тот или иной поступок, но которая зримо приходит в движение.

Из этих трех сторон, составляющих место человека в мире, — внутреннее «я», другие люди, общественные последствия — наименее неожиданным для читателя будет внутреннее «я» Руперта. О том, что он виновен в гибели Алитеи, мы догадывались, и та романтически-ожесточенная форма, в какой он повествует о своем одиночестве, жажде любви, об уверенности, что эта женщина должна была принадлежать ему, — тоже вполне привычна. Перемена свершилась лишь отчасти: он жаждет раскрыть истину, он жаждет избавиться от этой ноши, он охотно жертвует собой ради счастья Элизабет — но наш герой еще далек от искупления. В той мере, в какой его повесть и сопутствующие действия соответствуют нашим ожиданиям, он — все тот же.

Сложнее последствия для других. Фолкнер изначально видит жертвами своей опрометчивости Алитею и самого себя — он умер вместе с ней. Затем круг жертв в его представлении расширяется, включая новую молодую пару — Джерарда и Элизабет, которые из-за его греха не могут вступить в брак. Рассказ сводной сестры дополняет

сведения о том, как пострадал Джерард: чуть не умер от горячки; был насильно приведен отцом в палату пэров свидетельствовать о бегстве матери, чтобы отец мог с ней заочно развестись; ушел из дома и скитался в глуши, ища следы матери, и наконец был силой водворен под отцовский кров и суровую отцовскую руку. Мистер Невилл считал себя опозоренным, и позор этот вымещал на сыне; сын считал мать оклеветанной и жизнь был готов положить на то, чтобы ее оправдать. И этот рассказ подтверждает твердолобость Невилла-старшего, не умевшего ценить верную, чистую душой, талантливую Алитею (Фолкнер в исповеди упоминает, что похитить Алитею его подтолкнула случайная встреча с Невиллом в клубе: супруг достойнейшей на свете женщины — что признавали и его сотрапезники — цинично хаял огулом весь слабый пол).

Но есть одна деталь, умышленно спрятанная от читателя, который торопливо глотает страницы во время этого рассказа, предугадывая вот-вот роковое столкновение судеб Джерарда, Элизабет и Фолкнера. Несколько фраз, второпях и небрежно проговоренных сводной сестрой: она упоминает, что у Джерарда была родная сестра, младшая, маленькая. Что эту девочку мистер Не-

вилл, черствый по отношению к жене и суровый с сыном, обожал. Эта девочка слишком мала, она не присутствует в момент похищения Алитеи, Алитея только и твердит Фолкнеру что о сыне. Девочка вскоре умирает: мать исчезла, няньки недоглядели. Эти несколько фраз так торопливы, так разбросаны по напряженному рассказу, да и саму рассказчицу мало интересует судьба этой малышки — она ее никогда не знала. К основному сюжету девочка отношения вроде бы не имеет. Никак она не подвигает и не меняет сюжет, и в выверенном противостоянии пар — старший Невилл и младший; Джерард и Фолкнер; Джерард и Элизабет и так далее — нет ей никакого места. А если она не нужна ни для сюжета, ни для композиции, зачем же она появляется и исчезает под пером Мэри Шелли? Зачем возникает, обреченная тут же умереть?

Эта маленькая «ненужная» судьба — оклик реальности, напоминание обо всех тех, кого приносят в жертву страстям или сюжетам. Эта «незначительная деталь», стоит на миг сосредоточить на ней внимание, раскрывает в романе еще одну мощную тему: тему материнского присутствия или отсутствия, матерей и дочерей, сирот без матери. Ведь эта загубленная девочка —

третье поколение несчастливых женщин одной семьи. Мать Алитеи была не слишком счастлива в браке, ее муж-моряк подолгу отсутствовал и к жене относился «по-мужски», то есть без понимания, — а к тому времени, как с ней познакомился Руперт, женщина была уже тяжело больна. Но, несмотря на свой недуг, она была добра к сироте: в этом доме Руперт отогрелся душой, обрел материнскую и сестринскую ласку — Алитея была для мальчика сестрой, ни тот ни другая не успели вырасти до иной любви прежде, чем Руперт отправился в Индию. Это уж в разлуке созрела любовь взрослая — и собственническая. Отец-капитан выдал дочь замуж за Невилла и был чрезвычайно доволен таким выгодным браком: чувства дочери его нисколько не интересовали. И Невилл-старший, хотя что-то в его душе было разбужено красотой и чистотой Алитеи, все же не сумел причаститься истины — был холоден, отчужден, циничен. Настоящий английский джентльмен эпохи торжествующего викторианства. И как Алитея рано осталась без матери и потому была обречена на безлюбый брак и непонимание себя, так и эта девочка осталась — но совсем маленькой — без матери и погибла. Так почти ушла в мир теней и Элизабет, если бы

не вывел ее оттуда Фолкнер.

Фолкнер, Джерард Невилл, а скорее всего, и Невилл-старший — мальчики, выросшие без матери. Их души неполны, в них искажена любовь. Фолкнер спасался через Элизабет, Джерард тоже. Отец Джерарда, как мы услышали из рассказа о бедствиях после похищения Алитеи, пытался спастись через маленькую дочь, в нее вложил истинную свою любовь. К Джерарду был суров, но малышку обожал с рождения. Он мог бы стать для нее таким отцом, как Фолкнер для Элизабет, — быть может, ему бы удалось и воспитать ее, и научиться не принуждать ее сердце, и с ней воспитался бы он сам? Но девочка умерла, и сердце мистера Невилла умерло вместе с ней. Ожесточенно он преследует исчезнувшую жену в уверенности, что она изменила ему и детям, добивается заочного развода, умерщвляет ее в своих мыслях, даже если она где-то жива и благоденствует, как ему видится, пытается убить память о ней и в душе сына — так возникает раскол между Невиллом-старшим и Джерардом.

Джерард верит в свою мать и упорно разыскивает истину. Он мог бы превратиться в фанатика, но встреча с Элизабет смягчила его, и Джерард открывается женскому влиянию. Таким влиянием

стала для него сводная сестра — Невилл-старший, получив развод, поспешил жениться на женщине с дочерью-подростком. Его жизнь это не украсило, а вот для Джерарда оказалось существенно.

Под конец книги появляется все больше женщин, готовых любить, верить, поддерживать — в том числе родственницы Элизабет по отцу. Фолкнер еще в самом начале этой истории обратился к деду Элизабет, предлагая семье позаботиться о сироте. Из ответа старика он понял, что, хотя с голоду пропасть Элизабет не дадут, любви и внимания дочь отщепенца, изменившего родовой религии и гордости, не дождется. Да и в целом семья замкнутая, оцепеневшая в своей старинной религии. А может быть, Фолкнеру необходимо было верить, что он спасает девочку и от сиротства, и от того насилия над сердцем, которое свершилось над Алитеей, а прежде — над матерью Алитеи, над матерью самого Фолкнера и которое непременно ждет и Элизабет, когда она войдет в брачный возраст, если окажется в этой семье. Фолкнер всей душой и всем воспитанием готовил Элизабет к свободе выбора — это его дар ей, пробуждавший и его душу. (Наступит момент, когда Фолкнер вполне осознает, что и сам принуждал Алитею, принуждал с таким эгоизмом, с

механистическим непониманием устройства ее души, что убил ее, отменил живого и чувствующего человека еще прежде, чем она захлебнулась там, где умела ходить вброд.)

Но чтобы увенчать этот дар, чтобы Элизабет смогла выйти за Джерарда после того, как Фолкнер сделает свое признание, необходимо вернуть ее в семью отца: Джерард не может жениться на той, кто носит имя убийцы его матери. И Фолкнер вновь обращается к родным Элизабет; дед ее близок к маразму, старший брат отца умер, однако на призыв откликается вдова этого брата — по крови чужая Элизабет, описанная как женщина довольно ограниченная и правилами света, и своей религией. Ограниченная или неограниченная, она берет Элизабет под крыло, нисколько не стесняет ее свободу, не противится безумному решению оставаться с Фолкнером в тюрьме, где сам себя обличивший убийца находится в ожидании уголовного суда, старается, насколько может, облегчить ему заточение и поддержать здоровье девушки. К этому сонму женщин-заступниц, неродных по крови, но родных по женской природе — сводная сестра Джерарда, вдова дяди Элизабет — можно добавить и чудесную гувернантку, не раз подталкивавшую сюжет романа в

нужном направлении и оказавшуюся не персонажем, полезным для развития действия, а еще одной волшебной помощницей.

Подспудно, нарастая к развязке, в романе развивается тема спасительного женского влияния. Лишь бы женщина обрела свободу от мужского насилия над чувствами — и она спасет мужчину от самого себя, сдерет с него кору себялюбия, эгоизма, пробудит в нем настоящую любовь.

Суд оправдал Фолкнера. Это была античная драма суда — суда, который очищает от пролитой крови и усмиряет эриний, богинь отмщения. Герой избавился от наказания, доказав, что никакого умысла убивать не имел: Алитея погибла во время попытки бежать, когда и сам он уже отправился за лошадьми, чтобы вернуть ее домой, — он духовно переродился. Он очистился от греха, то есть перестал жить во грехе, жить отчаянием, мечтой о самоубийстве и вместе с тем эгоизмом и гордыней, ведь своим отчаянием он бросал вызов, отвергал этот мир и самого Бога, вторично убивал Алитею. Руперт обрел мир с самим собой — и смирение. Он вышел из тюрьмы и более гордым, но иной гордостью — сознанием, что не совершил преступления, — и более смиренным, мягким. Обрел мир и Джерард, узнав истину о

своей матери и оплакав ее — и сумев простить Фолкнера. И Элизабет, которая не только примирила двух своих любимых, но и создала семью, в которой у нее был и муж, и отец.

Но все это, быть может, менее удивительно, чем произошедшее с Невиллом-старшим. Почти до последнего вздоха тот преследовал Фолкнера, настоял именно на суде вместо джентльменской дуэли, на которую надеялся сам виновник и которую, разумеется, предполагал Джерард. Парадоксально, но таким образом Невилл-старший, желая причинить больше зла, обречь Фолкнера на позорную казнь, спас и Фолкнера, в итоге оправданного, и Джерарда с Элизабет, которые никак не смогли бы вступить в брак, если бы эстафета убийцы перешла от Фолкнера к Джерарду, если бы Джерард убил на дуэли названого отца Элизабет. И что же? Этот человек, о котором мы на протяжении романа мало что знали и знали неприятное — о его жестокости, ограниченности, цинизме, о том, как мало он ценил жену, как суров был с сыном, как вся его жизнь в итоге свелась к мести даже не за любимую жену, а за свой «позор», — этот человек на смертном одре просит сына побыть рядом и признаётся: ты был прав, я напрасно преследовал того человека; хорошо,

что ты сумел простить. Он умирает с любовью к сыну, со словами прощения на устах.

Не та ли маленькая девочка, дочь Истины, крошечный росток любви в черствой душе, пришла за ним в последний миг?

Все, все в этом романе спасены и искуплены любовью.